

|| 6 ||

Н О В Ы Й М И Р

|| 1952 ||

Н О В Ы Й М И Р

6



1952

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVIII

№ 6

Июнь, 1952 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПАРУИР СЕВАК — На моей земле, стихи. Авторизованный перевод с армянского Марка Максимова	3
А. АКИМОВА — Первое сентября, повесть	8
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — Красные ворота, стихи	80
НИКОЛАЙ ПЕРЕВАЛОВ — «Человек без паспорта», стихи	81
ЛЮДМИЛА МОЛЧАНОВА — Детство Лены, повесть	83
КРИШАН ЧАНДР — Мест Махалашми, рассказ. Перевод Ю. Мирской	129
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
СЕМЕН ГАРИН — Милянфан — долина риса	139
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
Д. МЕЛЬНИКОВ, Л. ЧЕРНАЯ — Под сенью доллара, под знаком свастики	167
ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ	
В. АСМУС — Абу Али Ибн-Сина	188
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
С. МАРШАК — Литература — школе	197
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — О драматургии для детей	209
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
П. ВЕРШИГОРА — Всеволод Вишневский (Очерк жизни и творчества)	224
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	259
Ю. Лукин. Советы мастера. — В. Огнев. Тема и индивидуальность. — М. Брагин. О пользе военной грамотности. — Е. Успенская. Дети Алтая. — С. Тураев. Незавершённый труд.	
<i>Политика и наука</i>	276
Л. Славин. Путь английского интеллигента. — Академик Н. Цицин. Растительный мир Советского Союза. — Кандидат географических наук Е. Лукашова. Умение видеть. — Кандидат биологических наук И. Поляков. Биолог-материалист.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (апрель—май 1952 года)	286

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

П А Р У И Р С Е В А К

★

НА МОЕЙ ЗЕМЛЕ

С армянского

Г Е Р О И

Если б не было того, что миновало, —
Зоя ныне б строила каналы,
Самой нежной матерью была бы,
Среди нас, весёлая, жила бы,
В песнях и труде не уставала.

Если б не было того, что было,
Если б нас война не разлучила, —
Краснодонцы ныне бы по праву
Всё равно завоевали славу:
Любка бы на сцене танцевала,
Громова болезни врачевала,
И стихи поэта Земнухова
Может, мы учили б слово в слово,
Если б не было того, что миновало.

...Но теперь, учебники листая,
Скромная такая и простая,
Не знакомая ещё с грозюю.
Где-нибудь растёт другая Зоя.
Где-нибудь Тюленин подрастает,
В первый рейс Гастелло вылетает,
Где-нибудь в стране моей широкой
Учит Лиза Чайкина уроки
И Олег — Фадеева читает.

Да не где-нибудь, а рядом с нами!
Всюду, где алеет наше знамя,
Входят в жизнь уверенно и смело
Тысячи Олегов и Гастелло.
В школы отправляются учиться,
Строят города и жнут пшеницу
Или плавят сталь в печах плавильных,
Или давят виноград в давилнях,
Или зорко стерегут границу.

Каждый день друг друга мы встречаем,
Спорим и беседуем за чаем
И по-братски пожимаем руки

Шаги твои остановит
Вежливое:
«Простите!»
Стоит пред тобою русский
Совсем незнакомый друг.

— Простите, товарищ! Как мне
Добраться...

И он называет
Ну, скажем, музей Революции
Или депо Ильича.
И даже ничуть не колеблется,
И даже не замечает,
Что ты не москвич...

И сам он,
Похожий на москвича,
Такой синеглазый парень, —
Быть может, и впрямь с Арбата,
А может, из Вязьмы,
С Дона,
Из русской далёкой Читы, —
Спрашивает армянку,
 гуцула,
 грузина,
 тата,

И в голову не приходит
Ему,
Что не здешний ты.

Конечно же, это мелочь.
Здесь нечего и гордиться.
Но когда меня — армянина —
Остановили так, —
Я с гордостью в сердце думал
О нашей большой столице,
О нашей земле великой,
Где я и карелу — земляк.

НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ

1

Я бы мог заверить, что опять сейчас
Школьником-мальчишкой в классе жду звонка.
Хорошо знакомый белостенный класс,
Те же парты, та же влажная доска.

Так же мой учитель только с виду строг,
Даже пальцы в той же меловой пыли,
И стоит у карты бойкий паренёк,
И на всё с портрета смотрит вождь земли.

Я бы вас заверил, глаз не отводя,
В том, что не был в школе только день-другой

Если б не седины на висках вождя,
Если б карта мира не была другой.

Я запомнил Запад предвоенных дней —
Мёртвый и холодный, он лежал, как лёд,
От озёр финляндских и до Пириней,
От британской Темзы до днестровских вод.

На восток от красной, от моей страны
Был Китай — огромный, жёлтый и чужой,
И, акулой хищной выплыв из волны,
Скалилась Япония за морской межой.

Свастика — на запад, на восток — кинжал,
Папское кадило, ржавый ятаган!..
Но когда у школьной карты я стоял,
Как стоит сегодня этот мальчуган, —
Я мечтал: у кули будет светлый дом,
Я мечтал: воспрянут Запад и Восток.
Я мечтал.
А ныне, говоря о том,
Отвечает мальчик пройденный урок.

2

Отвечает мальчик. Палец окунул
В синеву морскую и пошёл, пошёл —
Из равнин на взгорья, из страны в страну,
Из столиц в просторы, где не видно сёл.

Твёрдо знает карту этот мальчуган.
Вот спросил учитель, и нашёл он вмиг
Керчь...
Знакомый город! Там однополчан
Я на поле боя хоронил своих...

Вот и Днепр.
Откуда знать тебе, сынок,
Сколько я траншей отрыл на берегу,
Как в студёных водах до костей промок
И в огне пожаров высох на бегу!..

Вот и Львов.
Поныне вижу я во сне
Пригород сожжённый, пепелища хат
И в пробитой миной каменной стене
Щель, через которую бил мой автомат...

Мальчуган границу перешёл уже,
А лицо спокойно и беспечен взор...
Помню, как на этом взятом рубеже,
Как ребёнок, плакал пожилой сапёр.

А мальчишка даже и не удивлён,
Без труда форсирует жилки синих рек:

Висла,
 Одер,
 Эльба...
 Всю Европу он
 Открывает сызнава — этот человек.

И в моём солдатском сердце торжество:
 Мы прошли с боями Запад и Восток,
 Чтоб иною стала карта для него,
 Чтобы он спокойно проходил урок.

3

Скоро перемена.
 В полной тишине
 Старый мой учитель медленно встаёт.
 И у карты мира, как бывало мне,
 Новое задание школьникам даёт.

Ни о чём с учителем мы не говорим,
 Но обоим ясно: если тот урок,
 Что на Эльбе дали мы врагам своим,
 Кое-кто забудет —
 мы напомним в срок:

— Если вы осмелитесь вновь итти войной,
 Если трубы снова позовут в поход, —
 Знаю,
 мальчик этот
 весь простор земной
 Твёрдым шагом мужества
 вслед за мной
 пройдёт!

Авторизованный перевод Марка Максимова.



А. АКИМОВА

★

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Повесть

Глава первая

Сима

Утро двадцать восьмого августа тысяча девятьсот сорок девятого года повернуло судьбу Ксении Николаевны Доброво, как руль поворачивает лодку. В это утро Ксению Николаевну разбудил ранний телефонный звонок.

В трубке звенел незнакомый молодой женский голос.

— Ксения Николаевна?

— Да, я. Простите, не узнаю...

— А вы меня и не знаете... — Говорившая набрала воздуха, прежде чем произнести свой длинный титул. — Старший преподаватель кафедры литературы Новоботского (так послышалось Ксении Николаевне) педагогического и учительского института имени Ковпака.

— А фамилия? Фамилия как? — перебила её Ксения Николаевна.

Говорившая оказалась кандидатом филологических наук, как и сама Ксения Николаевна. Но фамилии её — Пустовалова — Ксения Николаевна никогда не слышала. Никогда не слышала она и об институте, которому почему-то присвоено было имя легендарного партизанского командира.

Голос в телефоне, впрочем, не давал задумываться.

— У меня к вам важное дело. Вы — это как раз то, что мне надо. Три человека сказали. Мне необходимо сегодня же вас повидать... — Пустовалова, видимо, сама испугалась категоричности своего тона и добавила: — Если это вас не очень затруднит... Можно, я к вам приеду?

— Да, пожалуйста...

— Можно, я сейчас приеду?

— Да, конечно, только я ещё не...

— Не встали ещё? Ничего. Мне долго ехать.

И сразу — частые гудки. Ксения не сказала даже своего адреса. Впрочем, та, наверно, узнала его там же, где и телефон. Но Ксения не успела сообщить тех особых примет, которые есть у каждого адреса, например — вторые ворота направо или — между магазином и булочной. Одна очень близкая приятельница Ксении, бывавшая у неё сотни раз, не нашла её квартиры, когда после войны убрали стоявшую у парадного ванну с песком.

Принять душ, торопливо застегнуть пижаму, привести в порядок тахту — только и успела Ксения, как в дверь её квартиры постучались.

Над звонком висела табличка с тщательно выписанной фамилией Доброво. Поэтому Ксения могла бы и не принимать стука на свой счёт.

Но всё равно, в квартире больше никого не было: не съехали ещё с дач. Надо было открыть.

Тот же звонкий молодой голос, что и в трубке, спросил за дверь: — Я сюда попала? Ксения Николаевна Доброво здесь живёт?

Незачем было смахивать крошки со скатерти и подмазывать губы. Не следовало удивляться тому, что Пустовалова не увидела звонка и таблички над ним. Приметы адреса тоже ничем бы не помогли.

И света в передней можно было не зажигать. Приезжая всё равно бы не увидела ни узкого коридора, заставленного вещами, ни полнеющей, но ещё статной фигуры Ксении, ни её тяжёлой рыжеватой косы, ни зелёных глаз.

Ничего не увидела и не могла увидеть Пустовалова, потому что она была слепа...

И Ксения поняла это, как только открыла дверь и увидела её, остановившуюся на пороге с вытянутыми вперёд руками...

Звонкий голос и юное лицо с удивительно чистым выражением принадлежали незрячей, как она сама о себе говорила.

«Как же она одна доехала? Почему она не попросила меня приехать к ней? А может быть, она не совсем слепа?» — все эти мысли промелькнули в голове Ксении. Но, разумеется, ни одной из них она не высказала.

Пустовалова была совсем слепа. Ксения легко убедилась в этом, потому что из-за её неловкости гостя наткнулась на большой сундук в коридоре.

Только тогда Ксения догадалась взять слепую под руку.

Но и это было не то. Наконец, Пустовалова сама просунула свою руку под руку Ксении Николаевны.

И только тогда Ксения спросила:

— Почему же вы?..

— Почему же я не сказала вам по телефону, что я незрячая?

— Совсем не то! Но я бы...

— Что «вы бы»? Приехали сами ко мне?.. А вот это-то и неудобно. Я остановилась в университетском общежитии. В комнате без меня три человека, а пришлых сколько набирается?

У неё была певучая московская речь, и такие слова, как «пришлых», звучали в её устах очень естественно.

— И вообще всё это совершенно ни к чему, — продолжала слепая. — Я ведь совсем, как зрячая. Только, правда, не вижу и, если меня не предупредить, могу в чужом коридоре на сундук наткнуться.

Юмор у неё был спокойный и добродушный.

На следующий день, когда поезд, увозивший их обеих в Новоболотов, отошёл от Киевского вокзала, Пустовалова, чтобы сразу отклонить возможное восхищение Ксении, объяснила:

— Видите ли, в моём положении середины не дано — либо самое сложное, либо самое простое. То есть, конечно, всякий труд почётен... Но я хочу сказать, что входящих и исходящих в конторе я записывать не могу, потому что я по-вашему ни писать, ни читать не умею. И в школе преподавать тоже не могу, — как я стану на доске писать? А в институте я буду преподавать. Иначе остаётся лишь самая скромная работа: верёвки плести, вязать что-нибудь в артели...

И Сима, действительно, была такая же, как зрячие...

В чулках-паутинках, модных туфлях и синем шёлковом платье, с причёсанными парикмахером светлыми лёгкими волосами и с маникюром, она была свободна и от тени неряшливости и равнодушия к внешности, которые, как казалось Ксении, могли быть у слепой.

Она сама наливала воду в стакан и устраивала в нём цветы. Сама резала хлеб и намазывала его маслом. В вагоне при ней было множество узелков, пакетов и баульчиков. Всё — поручения новоболотовцев — старсжилов и новосёлов. Кому словарь Ушакова, кому «Историю партии», кому чулки-капрон, коробку трюфелей или какую-то особую сумочку (таких в Новоболотове ещё не было).

Она, не гордившаяся нисколько тем, что кончила с отличием университет и в срок защитила диссертацию, что удаётся и не всем зрячим, была откровенно горда тем, что сама сделала все эти покупки и сама выбирала материю и фасоны для всех своих платьев.

— Вот и для этого тоже... А оттенок синего хорош? — спросила она Ксению так, словно когда-либо видела оттенок какого-нибудь цвета и могла вообще представить себе, что такое цвет и что такое оттенок.

Сима (она не позволила Ксени, которая была старше, называть её иначе) очень любила брать на себя дела, которые не давались даже зрячим.

Таким было и то дело, которое свело её с Ксенией.

Через два дня открывался Новоболотовский педагогический и учительский институт, а введение в литературоведение читать было некому. Заведующий кафедрой — обходительнейший Василий Николаевич Сушков, совместитель, основная работа которого была в МГУ, — пообещал, но не нашёл преподавателя.

Не нашли его ни декан, ни заместитель директора по учебной части. Не нашёл и сам директор.

Всё было. Факультет языка и литературы педагогического института был. Отделение языка и литературы учительского института было. Деканат со свеженькой вывеской на дверях был. Студенты были. Преподаватели тоже. А введение, которое должно читаться в самом начале, — на то оно и введение! — читать было некому.

Сима только что кончила аспирантуру при Московском университете. Читать она должна была русскую литературу девятнадцатого века, значит, ещё не скоро. Пока что она готовила курс. Это не дело ещё, а подготовка к делу.

Сима пришла к директору и сказала:

— Константин Иванович, пошлите меня в Москву. Я там училась и найду преподавателя. В крайнем случае, временного — курс прочесть.

Константин Иванович постучал пальцем по столу и сказал:

— Вы так думаете? Вы в этом уверены? Привезёте?

Такая у него была манера переспрашивать, задавать вопросы, словно в сомнении, хотя на самом деле он вовсе не был нерешительным человеком.

— Да, я так думаю. Привезу! — сказала Сима без тени колебания.

И Константин Иванович, взявший её в институт — слепую, прямо с аспирантской скамьи, не прочитавшую ни одного курса в своей жизни, — поверил ей и в этом.

— Хорошо, поезжайте и привезите!

Он нажал кнопку. Вошла секретарша Люся.

— Выпишите Серафиме Тимофеевне командировку с завтрашнего дня. — Он обернулся к Симе. — На сколько дней?

— На неделю. С сегодняшнего.

— А управитесь? Хорошо, с сегодняшнего. Люся, пошлите, пожалуйста, за билетом на вокзал.

Только и было разговора у неё с директором...

К Ксению Симу привели три разговора — с профессором Гродским, её постоянным руководителем в университете и в аспирантуре, с мужем

Ксению подруги — редактором университетских «Известий» — и с доцентом Громачком.

Сентябрь у Ксении в Московском педагогическом институте, где она постоянно работала, не был занят. Это не значило, что не существовало других дел. Но Сима полагала, что самое важное дело на свете — это чтобы в Новоболотовском институте в его первый год своевременно и хорошо было прочтено введение в литературоведение. И Сима сумела уговорить Ксению. Вернее, Сима просто-напросто её увезла. Двадцать восьмого августа Ксения сказала, что она подумает и даст ответ завтра или послезавтра. Но двадцать девятого её разбудил знакомый стук в дверь. В дверях стояла Сима и улыбалась. Она стянула с руки перчатку и высыпала на ладонь кипу бумажек, которые при ближайшем рассмотрении оказались двумя железнодорожными билетами в Новоболотов.

— Почему вы... — начала было Ксения.

— Что «почему вы»? Взяла билеты, не дождавшись вашего ответа? А если бы вы отказались?

— Почему вы не сказали мне, чтобы я заказала билеты по телефону? Сима просто расхохоталась.

— Вы, наверное, думаете, что Новоболотов — это Сочи в курортный сезон? Или что мне трудно было съездить на вокзал?

Такая была Сима. Посмотрели бы вы на неё, когда, обвешанная своими свёртками и узелками, она стояла в тамбуре, готовясь к выходу на станции Новоболотов первый! Впрочем, это, конечно, шутка. Новоболотов первый — он же и Новоболотов второй, и Новоболотов третий.

Ксения, не говоря ничего своей спутнице, грешным делом, очень волновалась. Поезд стоит в Новоболотове всего две минуты. Как она выгрузится со слепой и с таким количеством вещей? Ксения и сама везла с собой целый чемодан книг и конспектов — кто его знает, какая в институте библиотека?

По секрету от Симы Ксения попросила двух девушек из соседнего купе и смешливого парня, ехавшего с ними, помочь высадиться.

Прошёл проводник. Новоболотов — следующая. Через двенадцать минут.

Если бы не проблема высадки, Ксения была бы спокойна. Месяц в новом месте — к этому она привыкла. Она ездила читать вузовский курс в Ташкент и в Ригу. С публичными лекциями побывала в Донбассе, в Баку. В войну несколько раз выезжала на фронт, тоже с лекциями. А туристские поездки в каждый отпуск, где, что ни день, менялись виды, нравы, характеры?

Поезд замедляет ход. Вагоны вздрагивают и останавливаются. Вещи — в тамбуре, провожатые наготове.

Сима смеётся.

— Какие вы все милые! Только напрасно. Это же не великое переселение народов!

Паровоз дёргает ещё один раз, совсем бесшумно. Ксения не успела предупредить Симу, и та шагнула на платформу. Хорошо — смешливый парень успел поддержать её.

Новоболотов. Сима не видит огромных букв. Не видит и встречающих — немолодую женщину в платке, юношу в кепке и высокого мужчину средних лет в фетровой шляпе. И всё-таки почему-то она идёт к ним навстречу и первая говорит:

— Мама, Серёжа, это вы? Как хорошо, что вы тут!

— И я здесь, Серафима Тимофеевна, имею честь вас приветствовать, — снимает шляпу высокий человек, кланяясь приезжим.

— Василий Николаевич Сушков, заведующий нашей кафедрой, —

представляет Сима. — Здравствуйте, здравствуйте, Василий Николаевич! Привезла! — И заговорщически шепчет (впрочем, этот шёпот всем ясно слышен): — Знаете, кто это? — Сима торжественно отчеканивает: — Доброво, Ксения Николаевна. Кандидат, доцент, преподаватель московских вузов. — И уж совсем тихо добавляет: — Лучше всех, говорят, читает этот курс.

Сушков улыбается.

— Спасибо за рекомендацию, Серафима Тимофеевна... Но мы с Ксенией Николаевной давно знакомы.

Сими́на мама, Настасья Ивановна, умело подставляет Симе руку, согнутую калачиком, и все направляются к машине.

— Директор приносит свои извинения, — говорит Ксении Сушков. — Он очень хотел, но не мог вас встретить. У него комиссия по приёмке здания.

Куда теперь, в институт? Уже вечер. Никого нет, кроме комиссии. В гостиницу, где будет жить Ксения? Тоже нет.

— Домой!

У Сими́, которая в Новоболотове всего две недели, есть дом. Потом Ксения узнает, что почти все приезжие преподаватели института живут ещё в гостинице, снимают комнаты. Но Симе первой и пока единственной, по настойчивому ходатайству директора, горсовет дал квартиру. Сима этого не подозревает.

Настасья Ивановна всю жизнь прожила под Загорском (бывший Сергиев посад), в часе езды от Москвы. Там у неё свой дом и семья — сын, сноха, трое внучат. Но она вместе с Симой переехала в Новоболотов. Всем нужна, а этой всего нужнее: как она одна — незрячая — будет в чужом месте? И братишку, Серёжу, кончившего десятилетку в Загорске, Сима взяла к себе — пусть учится в институте.

Машина остановилась у деревянного дома. От него пахло свежим тёсом, сосной, лесом. Новоболотов усиленно отстраивался после оккупации.

Все соседи из трёх других квартир — на крыльце.

— С возвращением, Серафима Тимофеевна! С удачей!

— Симочка, с победой!

— Привезла? Вот молодец!

Откуда-то они уже знают, что приезжую зовут Ксенией Николаевной.

— Добро пожаловать!

Стол накрыт. Шумит самовар. С деревенской застенчивостью Настасья Ивановна угощает студнем, пирогами, приговаривая:

— Уж не обессудьте, если что не так.

Так начался и кончился первый день Ксении Николаевны в Новоболотове.

«Пустоваловы... — думала она, засыпая, — купеческая фамилия! Почему Пустоваловы? Мать на купчиху совсем не похожа».

Утром как-то пришлось к слову, и Настасья Ивановна рассказала, что Сими́н дед служил в дворниках у купца, и купец придумал ему эту фамилию.

Глава вторая

Вуз в Новоболотове

Двумя примерно месяцами раньше — а именно, двадцатого июня — секретарь Новоболотовского райкома партии позвонил утром по телефону в областной центр заместителю председателя исполкома по культурпросветработе.

— Константин Иванович? Костя? Да, я, Дробяско. Наше «Красное знамя» получил? Что там? Да ничего особенного! Сейчас прочитаю. «В Новоболотове с текущего учебного года открывается учительский институт»... Это, понимаешь, заголовок, жирным шрифтом набран. Слушай текст: «В связи с введением в сельских местностях, а следовательно, и в Новоболотовском районе, обязательного семилетнего обучения и вытекающей отсюда нехваткой педагогического персонала»... — Здесь Дробяско перебил самого себя: — Ну, в общем ясно... Поздравляю тебя и благодарю. От района благодарю, от города благодарю. И лично от себя. Почему тебе спасибо? Ладно, не скромничай! А что, я тоже хлопотал... Так район-то мой. И потом я ведь и лично заинтересован. Почему? Как почему? А дочка подрастёт. В вуз ей надо будет итти. Раньше бы уехала, а теперь при мне останется. Сколько ей лет? Разве забыл? Четыре. У тебя тоже новости? Узнаю, когда приедешь? А ты к нам собираешься? Ждём. Привет от будущей студентки. До свидания!

В это же утро телефон зазвонил и на столе заведующей учебной частью третьей Новоболотовской школы-десятилетки Неонила Александровны Васильевой.

— Неонила Александровна, Неонила Александровна, Неонила Александровна! — зазвенели, запищали, загудели юными басами в телефонной трубке сразу несколько голосов.

— У телефона Неонила Александровна. Что вам, неугомонные, от Неонила Александровны опять надо? Выучили, выпустили, думали — наконец отвяжетесь! А они опять — Неонила Александровна да Неонила Александровна... — Васильева очень похоже передразнила сначала пискливый голосок, а потом и ломающийся бас.

— Неонила Александровна, Неонила Александровна, Неонила Александровна! — снова зазвенело и загудело в телефоне. — Можно, мы сейчас к вам придём — очень важное дело?

И они пришли -- десять человек выпускников, в этом году окончивших школу. У них, действительно, было важное дело. Они прочли заметку о том, что в их городе открывается институт. Все десятеро собирались стать педагогами. Но не для всех это было просто. Четверо, правда, собирались подать в Московский и Ленинградский институты. Но и им было страшновато: так далеко от дома... А шестерым из-за семейных обстоятельств уехать было просто невозможно. Вот Володя Ермолаев — гордость школы, кончил с золотой медалью. Отец его погиб в войну, и Володя живёт теперь вдвоём с мамой, а у неё после оккупации — грудная жаба. Как он её оставит?

Теперь Володя мог поступить в Новоболотовский институт, хотя ему и хотелось бы кончить четырёхгодичный педагогический, а не двухгодичный учительский.

Володя произнёс речь от лица всех десяти.

— Неонила Александровна! — начал он очень торжественно. — Мы знаем, сколько вы хлопотали, и в райкоме, и в облисполком писали, и в обком, и в министерство, чтобы у нас в Новоболотове открыли институт и готовили своих учителей... Как вы нам посоветуете, — Володя сбился с торжественного тона, — поступать в новый институт или всё-таки подождать?

— А мне как посоветуете? — спросила девушка в очках, Соня Дубровина; у неё в войну погибла мать и остались трое младших братьев и сестёр. — Серьёзное ли мы здесь получим образование?

— Да что вы ко мне пристаёте? — рассердилась Васильева. — Кончили вы школу уже. И всё! Теперь у вас деканы будут, ректор, а вы всё к завучу!

— И всегда будем к вам ходить! Никакого декана: никогда так любить и так уважать не станем, — отрезала Таня Коковкина, рыжая, веснушчатая, довольно самоуверенная девица.

— Та-ня! — предостерегающе произнесла Васильева, погрозив пальцем, и тут же улыбнулась, опустила руку. Ведь Таня больше не девочка, не ученица; на выпускной вечер пришла в длинном платье и танцевала с самим директором.

Таня не замолчала.

— И не говорите! Я на физмат пойду, литературой больше заниматься не придётся, а всё равно никакого декана так любить не буду. Но вы всё-таки скажите, Неонила Александровна, подавать в Новоболотовский институт или нет? Может, всё-таки лучше в Герценовский Ленинградский или в Московский имени Ленина? Как вы посоветуете?

— Что я вам скажу, дорогие мои? Прогадаете вы или нет? Безусловно, по началу наш институт будет слабее старых столичных вузов. Но зато он свой, Новоболотовский, и потом от вас, студентов, тоже зависит сделать его хорошим.

Месяцем позже выяснилось, что институт в Новоболотове будет педагогическим, и тогда почти все приходившие к Неониле Александровне решили поступать. Только двое медалистов — Таня Коковкина и Витя Василевский — послали бумаги в Ленинград.

Самое Неонилу Александровну судьба также привела вскоре в новый институт.

Разговоров об институте в Новоболотове велось много. Город славился до тех пор больше всего спичками. Вокруг — непроходимые леса; сосны увозят далеко, на стройки, а из осин изготавливают на маленькой фабричке (по четвёртому пятилетнему плану она будет расширена) спички, лучшие в Союзе, с медведем на фабричной марке. А в общем — районный центр, как все районные центры, в которых наде пожить, чтобы полюбить их. Речь у жителей здесь, правда, несколько особенная, что объясняется географическим положением Новоболотова: на стыке трёх республик — России, Белоруссии и Украины.

Есть в городе театр, фельдшерская школа, школа поварского ученичества, есть лесная школа и два техникума — торговый и зоотехнический. А вот вуза до сих пор не было.

— Теперь не мы за высшим образованием ездить будем, а к нам из самого областного центра смогут приезжать... Такого института во всей области нет. А что он пока только учительский, так — лиха беда начало, а там мы и педагогический откроем с четырьмя курсами, чтобы для десятилетки учителей готовить! — Так рассуждали новоболотовцы, встретившись в аптеке, в фойе кинотеатра, в библиотеке, в универмаге, в продовольственном магазине и даже на базаре, у востов с цветами. Новоболотов славился махровыми нарциссами и скрещёнными с розами душистыми пионами.

— У нас будет институт! — заявляла какая-нибудь домохозяйка, жена мастера спичечной фабрики, взвешивая на руке гуся или утку.

А продавец колхозного ларька, не упуская интересов своей артели, мечтательно тянул:

— А чи я своо сына або дочку не отдам до вас учиться? Пускай учительницей вернётся до школы, яку сама скинчила. У нас уже заседание правления было, разбирали, кого отпустить в районный институт.

Институт... Институт... Институт... — только и разговора было в городе и районе.

Но где же он будет помещаться, институт? Ведь за два месяца институтского здания не построить! Область, в лице заместителя председателя облисполкома по культпросветработе, оказывается, всё предусмотрела. А бывшая духовная семинария, где вот уже тридцать лет «ютится» городской архив, будучи не в силах заполнить и трети старинного ампириного здания? Вот здесь-то и решено было поместить Новоболотовский институт... И как бы вы думали, чьё имя решили присвоить новорождённому институту? Батьки Ковпака! В этих местах его соединение долго партизанило. Немало его партизан оказалось в первом же институтском приёме.

Но всего этого ещё мало. И правительственного постановления. И энтузиазма новоболотовцев. Как мало и наличия прекрасного, просторного здания...

Разве думала епархия о лабораториях, кабинетах и опытных участках, о кабинете марксизма-ленинизма и кабинете русского языка? О библиотеке — не духовной, состоящей из Житий святых и разных Экклезиастов, — а о настоящей библиотеке советского вуза? А времени всего два месяца!

Кроме того, учащиеся-то найдутся, а учить кто будет?

Кто будет директором, кто деканами, заместителем по учебной части и по части административно-хозяйственной? Откуда возьмутся заведующие кафедрами, профессора, доценты, старшие преподаватели и преподаватели просто?

Кто будет читать советскую литературу и историю древнего мира?

Неужели — через два месяца подойдёшь к дверям бывшей семинарской церкви, а на них вывеска: «Читальный зал»? Войдёшь и увидишь: всё на самом деле — книги, газеты, журналы... И тишина, та самая тишина, которая в читальном зале нужна не меньше, чем новинки художественной и научной литературы!

В Министерство просвещения уже шли письма из колхозов Новоболотовского района. В одном письме благодарили министерство и лично товарища Каирова за институт в их районном центре; в селе открывалась школа-семилетка, и учителя для старших классов просто необходимы. В других письмах были прямо заявки: просим закрепить за нашим колхозом пять, семь, десять мест во вновь организуемом институте: на таком-то отделении — столько-то, таком-то — столько-то. Это один председатель придумал и рассказал на районном активе, а другие, не разглашая, по секрету друг от друга, стали писать в Москву.

Словом, институт был нужен, его открытия ждали.

«Институт должен быть открыт в срок!» — так называлась передовая, напечатанная в «Красном знамени» спустя несколько дней после заметки, о которой секретарь Новоболотовского райкома Дробяско говорил по телефону.

Глава третья

Студенты

На левой половине двери прибит голубенький почтовый ящик. Фёдоров прибил его, как только разъехались его первые выпускники и первые письма стали приходить по адресу: Пырьевское п/о, Веприцкий сельсовет, село Угощи, учителю Фёдорову, Николаю Фёдоровичу. Ежедневно, подъезжая на велосипеде к домику с голубым ящиком, почтальон Пырьевского почтового отделения ещё издали подавал сигнал своим звонком.

Не застав хозяина дома, он опускал в ящик письма и газеты — центральную и районную, а через день и «Литературную».

Но обычно почтальон прилагал все усилия, чтобы сдать корреспонденцию лично адресату. Он изучил школьное расписание и порой даже делал лишнюю петлю, чтобы подкатить к дому с зелёной крышей и высоким крыльцом тогда, когда Николай Фёдорович сидит над тетрадками у окна или копается в огороде, возит на себе сына Витю или читает во словарём «Германию» Гейне. Словом, когда Николай Фёдорович дома, и можно хоть несколькими словечками перекинуться с ним. Продолжительность разговора, разумеется, зависела от того, чем занимался в это время учитель.

Почтальон, человек уже немолодой и не сумевший выучиться, любил серьёзный умственный разговор. Интеллигентнее Фёдорова, считал он, в его радиусе человека не было. Интеллигентнее и обходительнее.

Как-то, не застав учителя дома, он попробовал было доставить почту ему в школу, и посредине урока просунул голову в дверь класса. Этот поступок не был одобрен Фёдоровым и больше не повторялся.

Сегодня, хотя время было ещё каникулярное, почтальон не застал адресата дома и опустил почту в голубенький ящик.

Придя домой часов в десять, после горячего партийного собрания, Фёдоров заметил, что из ящика торчит край газеты.

— Только «Знамя», — сказал он разочарованно, сразу опознав районный орган по маленькому формату.

Вряд ли он произнёс бы это, если бы знал, какие перемены в его судьбе вызовет именно этот номер районной газеты.

...Через час состоялся семейный совет. В нём приняли участие все взрослые: сам Фёдоров, его жена и жена брата. На войну братья Фёдоровы (старший — агроном и младший — учитель) пошли вместе. Вернулся один Николай. Встретили его с почётом. Из начальной школы, где он пять лет преподавал до войны, перевели в семилетку. То есть его просто перевели в старшие классы. Школа была та же самая, только из начальной она стала неполной средней.

Из младшего брата он превратился в главу большой семьи. Его жена тоже была учительницей, вела класс с первого до четвёртого, потом снова возвращалась в первый. Вдова брата вела общее хозяйство и растила всех пятерых сорванцов — сыновей и племянников.

Фёдоров, как и почтальон, в общем, тоже недоучился. Кончил в областном центре педагогическое училище, женился на девушке одного с ним выпуска. Начал работать.

За войну он подзабыл и то, что знал. В основном, конечно, вырос, повидал, как говорится, Европу, увидел и СССР так, как можно увидеть только издали и после разлуки. Но не успел прочитать многих книг, а преподавать в средней школе ему и вообще никогда не приходилось. Фёдоров сидел ночами, сам проходил программу своих классов по русскому языку и литературе, обгоняя своих учеников на восемь-десять уроков.

Ученики задавали вопросы самые неожиданные, непредусмотренные никакой программой, — о Гюго, о Пановой и даже не по литературе, — например, о Вьетнаме. А писать грамотно не умели, да и в устной речи были не в ладах с падежами и ударениями.

Фёдоров подписался на «Книгу почтой», получил «Историю русского литературного языка» Виноградова. Вынимая из сумки новинки советской литературы или журнал «Литература в школе», почтальон всегда опускал очки на нос и, вздёрнув густую левую бровь, смотрел на Фёдорова поверх стёкол. Понимаю, мол, брат, понимаю, какой ты у меня адресат!

А Фёдоров всякий раз, когда семиклассники ставили его втупик жаж-

дой разнообразных знаний или пугающей цифрой ошибок в диктанте, думал: «Хорошо бы пойти учиться!».

Он любил своё учительское дело. Выучиться бы и вернуться в Угощи, в свою школу, с настоящей подготовкой...

Но семья! Колхоз помогал вдове своего погибшего агронома. Жена работала. Однако пятеро ребят — это слишком много, чтобы уезжать далеко и надолго.

— Институт рядом! — наступая на Николая всей своей крупной фигурой и задевая его развевавшимся при резком движении передником, говорила жена покойного брата Катя. — Всегда можно будет тебе подбросить сала, яичек. Что праздник — будешь наведываться!

— Ещё вы мне будете подбрасывать! — возмущался Фёдоров, откидывая Катин передник левой рукой и загибая пальцы на правой. — Меня что манит в этой заметке? Во-первых, действительно, рядом. Во-вторых, есть учительский, значит, только два года. Это всё-таки легче.

— Ну вот и поезжай! — отозвалась Надя, его жена. — Выучишься, потом я поеду. А то хватаешься за одну книгу, за другую. По ночам не спишь...

И столько милой женской заботы было в словах той и другой; и Катя — постарше, поглубже, с морщинками, проложенными горем и заботой; и Нади — помоложе, повеселее, но тоже скрывавшей юмор и ласку под внешней грубоватостью и только прикосновением руки с чернильным пятнышком на указательном пальце показавшей, как она его любит и как хочет исполнения его желаний...

Фёдоров застеснялся, разволновался и с подчёркнуто деловым азартом спросил:

— А директор? Директор меня отпустит? И экзамен! Экзамен ведь надо держать!

Но директор отпустил его. По области было дано указание не задерживать сельских учителей без высшего образования, если они захотят поступить в Новоболотовский институт, особенно тех, которые преподают в средней или неполной средней школе.

И Фёдоров, подготовившись за два месяца, поехал держать вступительные экзамены.

В педагогический институт желающих поступить было гораздо больше, чем в учительский. Но и туда наплыв был большой.

Шли вступительные экзамены. На свежавыкрашенной двери кабинета русского языка висело объявление: «Экзамены по русскому языку для поступающих на отделение языка и литературы учительского института».

Экзаменующиеся, как всегда, «висли» на дверях, стояли у дверей цепочкой, заглядывали в дверную скважину.

Девушка в сиреновой жакетке, кругленькая, весёлая, с ямочками у левого глаза и на подбородке, и парень чуть не вдвое выше её, постукивавший протезом и палочкой, отошли к окну в глубине коридора.

— Теперь восьмой билет! — сказал парень, перелистывая пачку, видимо, самодельных билетов.

— Хватит билетов! Перед смертью не надышишься! И так знаю, а не знаю, так сейчас уже не выучу! — она смешала пачку, которую на вытянутой ладони держал парень. — Ты знаешь, Вася, я даже бояться перестала... Прямо какое-то равнодушие!

А Вася, уже и не слушая её, неожиданно спросил:

— Нюра, а Нюра, а что мы будем делать, если, скажем, ты поступишь, а я не поступлю? Или я поступлю, а ты не поступишь? Значит, кто-то из нас останется соломенным вдовцом на целый год, до следующих экзаменов?

Нюру тоже живо заинтересовало это рассуждение.
 — Так и нечего играть свадьбу в августе. Подумаешь, к Успенью! Что нам это Успенье? — загорелась она. — Оба поступим — поженемся, как в приказе про себя прочтём. Один кто поступит — тогда подождём жениться.

— Постой, постой! А если оба провалимся?

— Оба? — Нюра даже удивилась, как это он не понимает, что тогда будет. — Тогда ни в коем случае не будем теперь жениться! Какая тут может быть свадьба, когда надо по-серьёзному готовиться?..

По коридору шла женщина лет сорока с небольшим, пышная, суевливая, и с ней девчушка, похожая на мать и в то же время совсем другая, непохожая, как молодость не похожа на зрелость, весна на осень, цветок яблони на яблоко. Вдруг она остановилась.

— Мамочка, неудобно, никто в вуз на экзамены с родителями не приходит. Я очень тебя прошу — уйди! Ну подожди меня в гостинице! Я провалюсь и приду.

— Как это провалишься, Александра? И не смей даже говорить! Типун тебе на язык!

— Конечно, провалюсь! Я бы пошла, послушала, как сдают, что спрашивают, а тут ты, надо тебя уговаривать.

Мать развела руками и сказала, обращаясь к уборщице:

— Вот, расти их! В школе училась, была ещё дочка, ребёнок, а теперь нате, я ей мешаю, стесняю её...

— Мамочка! — умоляюще протянула дочь.

— Иду, иду... Дай перекрещу только.

— Мама!

— Не верю, не верю, знаешь, что не верю, а всё-таки на всякий случай. — И крестя дочь мелкими, частыми крестиками, так что её пухлые ручки так и мелькали в воздухе, попятилась к выходу.

Оставшись одна, Шура Матвеева тут же устремилась к толпе у двери кабинета.

— Сдаём? — спросил, шагая ей навстречу статный офицер в кителе без погон. — Вы на какой? На педагогический? Десятилетку, наверно, только что кончили...

Не ожидая Шуриного света, он отошёл к группе старших, таких же, как он, демобилизованных.

Если подняться только на один марш лестницы, пересекающей коридор, и взглянуть на весь этот народ, толпящийся у дверей кабинета русского языка, и взглянуть на всех сидящих и стоящих группами, парочками и в одиночку у дверей, у окон, на ступеньках, — сразу видно будет, какие разные люди собрались здесь, чтобы поступить в Новоболотовский педагогический и учительский институт.

Были здесь и такие, как Шура Матвеева. — выпускники десятилеток областного центра. И девушки и ребята из сельских десятилеток, обычно постарше городских и годами и по виду, больше испытавшие, многие с партизанскими медалями. Были и сельские учителя и учительницы, которых легко было узнать по размеренности походки, по степенности.

Встречались здесь и однополчане. Николай Фёдорович Фёдоров, командовавший артдивизионом, разговаривал с замполитом своего полка, поступавшим на физмат. Были здесь односельчане, как моряк Воронин и пехотинец Фомин; один — подтянутый, сдержанный, другой — мешковатый, с взлохмаченными волосами. Были фронтовики, уже давно оторвавшиеся от армии и флота и несколько лет занимавшиеся мирным трудом, как Фёдоров. И фронтовики, только что демобилизованные, как Воронин, на плечах которых не выгорели ещё следы от погон.

Были, наконец, и выпускники вечерних школ — рабочие спичечной фабрики и других предприятий области, поставленные войной к станкам, раньше времени повзрослевшие или действительно взрослые. Они догоняли упущенное и были уверены в своём праве на высшее образование. После рабочего дня, по вечерам учиться трудно. Поэтому они особенно уважали учение. Уважение это сказывалось и в том, как они берегли свои заботливо обёрнутые в бумагу книги, и в том, как тщательно списывали расписание экзаменов.

Все эти категории поступающих в институт можно было увидеть в коридорах второго этажа.

Но студентов здесь ещё не было. Были только будущие студенты. Как не было и института. Был только будущий институт.

Глава четвёртая

Первое сентября

Приближение этого дня всегда чувствуется заранее. В магазинах — особый спрос на карандаши, пеналы, ленты и коричневую материя.

Прошлогодние форменные платья, владелицы которых за лето непростительно выросли, удлиняются. Выпускаются курточки и брючки.

А если в доме есть семилетний — сколько связано с этим волнений! Первая форма, первая тетрадь, первое перо, первый урок...

Все члены семьи — мать, отец, бабушка — мыслью и сердцем возвращаются к своему первому учебному дню, словно он снова ожидает их.

Встретите ли вы первого сентября молочницу в дачном поезде или после концерта зайдёте за кулисы к народному артисту, посетите ли вы булочную или научно-исследовательский институт — всё равно непременно возникнет разговор о детях, которые пошли сегодня в школу впервые, или о детях, которые вступили в свой третий, пятый, седьмой год обучения. О больших детях, которые выдержали экзамены в вуз и сегодня впервые сели не на школьную, а на студенческую скамью... И о совсем уже взрослых детях, которые начинают свой последний вузовский год...

День первого сентября следовало бы красным отметить в календарях. Выйдите только на улицу в этот день! В любом советском городе, в станционном посёлке, в селе, отдалённом от железной дороги, в горном ауле, в степной станице — всюду вы непременно увидите радость проводов дома и радость встречи в школе. Как флаги, развеваются красные пионерские галстуки, мелькают белые банты и белые фартуки. Везде — цветы, цветы, цветы. Учителя в лучших костюмах, на учительницах шуршат шёлковые платья.

Если вы человек средних лет и у вас есть дети, или если вы преподаёте в школе, в техникуме, в институте, — вы почувствуете себя членом этого великого братства первого сентября.

Если же у вас нет детей и вы никого не учите и не учитесь сами, то вам захочется что-нибудь сделать для тех, кто учится: портфель или куртку, скамью или парту, написать книгу, которую читали бы наши дети — школьники и студенты.

Если же вы молоды, вы радуетесь, потому что первое сентября — это ваш праздник, праздник молодёжи страны, где все учатся, где самые лучшие здания — школы и университеты.

Первое сентября в Новоболотове началось золотистым утром.

Семь часов. Только что умолк гудок спичечной фабрики. Прошёл, оставив след на пыльной мостовой, первый автобус на вокзал.

А в институте уже — жизнь. На главной лестнице — директор и его заместитель. Директор тремя ступеньками ниже, отчего он кажется ещё меньше ростом. Он показывает на голую лестницу и спрашивает:

— А ковёр? Где ковёр, который мы купили для этой лестницы? И цветы где?

Фёдор Борисович, заместитель по хозяйственной части, совершенно спокоен. Это — крупный, плотный, уверенный в себе и в своих поступках мужчина лет сорока пяти.

— Купили, Константин Иванович, конечно, купили. И цветы из садоводства, которые мы с вами отобрали, тоже привезли, в горшках и в корзинах. — Он говорит всё это, не торопясь, обстоятельно, и вместе с тем кажется, что он успокаивает капризного ребёнка, твёрдо решив не возмущаться и гнуть свою линию. — Только, может быть, ковёр-то не сразу класть! Попривыкнут, тогда уже... А цветов не много ли? Как на юбилее...

— Да? Вы в этом уверены? — спрашивает директор. И резко меняет интонацию: — Прошу распорядиться к восьми часам постлать на лестнице ковёр и по обеим сторонам поставить цветы! Распорядитесь и возвращайтесь. Будем продолжать обход!

Директору уже сорок семь, но он худощав, строен, лёгок на ногу. Как мальчик, бегаёт по аудиториям, с этажа на этаж, из крыла в крыло. Нюхает, как пахнут скамьи. Залез на стул, чтобы поправить карту мира, — она скосилась вправо.

Двадцать минут девятого. В воротах появляются студенты. Рассаживаются группами, парами на скамейках, расставленных вдоль асфальтированной дорожки у кустов сирени. Сирень ещё семинарская, она цветёт каждый май; дорожку асфальтировал институт.

Половина девятого. В профессорской собираются преподаватели. Ксения пришла вместе с Симой. Она почти никого не знает, и Сима шепчет ей на ухо, узнавая всех по шагам, по голосу.

— Это заведующий кафедрой языка, доктор филологических наук, профессор Белоусов. Он в Минске кафедрой заведывал. Но он здешний, у него дом тут. Услышал, что институт будет, и сам написал в министерство.

Сима не знает, что этот доктор наук — маленький старичок с остреньким носом и унылыми усами, в обтрёпанных брюках и несвежей толстовке.

Дама в шляпе с вуалью, нервно меняющая папиросы, — Ирина Владимировна Алексеева, ленинградка, перенёшшая блокаду, — будет читать зарубежную литературу.

Скромная женщина с толстой косой, уложенной короной, и с толстой кипой книг преподаёт советскую литературу, а в этом году будет вести и практические занятия по восемнадцатому и девятнадцатому векам.

Здесь, разумеется, не все. Собрались те, кому читать в первые часы. Пришли и энтузиасты. Симе, например, не то что сегодня, но и в первом полугодии, вероятно, читать не придётся, а она пришла. Ещё далеко не все съехались. Кроме Ксении, конечно, будут и другие московские совместители.

Стремительно откидывается зелёная портьера, и в профессорскую входит директор. Он взволнованно мнёт в руке клетчатый шёлковый платок.

— Присядемте, товарищи, как перед дорогой. Большой путь впереди! Все садятся.

Директор тут же вскакивает, бежит к окну.

— Вы посмотрите, вы только посмотрите!

Все бегут за ним. Сима тоже вскакивает, но потом садится. В окно заглядывает берёза, директор отстраняет её тяжёлую верхушку. Двор полон студентов. И какой-то высокий парень в морском кителе, при орденах и медалях (директор помнит его по экзамену: сдал блестяще); командует:

— По росту становись! Направо равняйся! По порядку номеров расчитайсь!

И все становятся, равняются, рассчитываются. Не только парни с военной выправкой, бывшие моряки, пехотинцы, танкисты, но и деревенские девушки, жмущиеся друг к другу, и бойкие десятиклассницы из областного центра, и солидные сельские учителя.

— По четыре становись! Два шага направо! Шагом марш!

Парень в кителе запекает мягким баритоном (командовал он словно другим — твёрдым голосом) гимн демократической молодёжи.

Большие круглые часы в вестибюле показывают без десяти девять. Представительный швейцар (и откуда только сманили такого?) открывает двухстворчатую старинную дверь. Студенты входят. Звенит первый звонок нового института. Звенит заливисто и ласково. Входите, мол, дорогие, входите! Ждём, ждём, ждём!

На стене — огромное новенькое расписание. Дощечки с надписями приглашают в аудитории.

— Введение в литературоведение: 24-я аудитория, отделение языка и литературы, 1-й курс!

Впрочем, здесь все курсы первые.

Ксения знает, 24-я — в конце коридора, на втором этаже. Сколько раз начинала она этот курс и другие курсы! Читала рижанам... Читала москвичам. Но, пожалуй, никогда ещё так не волновалась.

Может быть, потому, что этот директор, с которым она даже не успела ещё поговорить как следует, такой торжественностью окружил открытие Новоболотовского института, а мало ли у нас открывается новых вузов?.. Или потому, что студенты так необычно — строем и с песней — вошли в своё здание...

Второй звонок — для преподавателей. Ксения входит в аудиторию.

Студенты встают. А вот и тот парень, который командовал во дворе.

— Здравствуйте, товарищи, садитесь!

Парень не садится. Он представляется. Его фамилия — Воронин. Он произносит маленькую речь.

— Ксения Николаевна, мы о вас слыхали и даже читали ваши статьи. Мы очень рады, что вы будете у нас преподавать.

В руках у него появляется букет.

— Это вам от нашего курса, Ксения Николаевна.

А Ксения думает: «Этот будет хозяином в институте! Он уже хозяин!».

Она входит на кафедру.

Первая лекция началась...

Глава пятая

Как учить?

Кабинеты открыты до одиннадцати. Директор входит в кабинет русского языка, садится за стойку около лаборантки, в тени настольной лампы. Его не видно. В кабинете почти пусто — двадцать минут до конца. Никто уже не занимается. Только трое продолжают видимо давно начатый спор: лохматый парень в косоворотке, моряк, командовавший студентами в первый день и поэтому знакомый директору, и девушка в сиреневой жакетке.

— А я вам так скажу, — говорит лохматый, — нам эти тонкости ни к чему. Приеду я в свою деревню, где я вырос и все меня вот какого, он показал на ножку стола, — помнят, да начну таким вот штучкам своих же деревенских ребят обучать, что они мне скажут? Не хотите ли, мол, Ванька, дяди-Сашин, поворот от ворот? Два годочка, мол, в районе поучился, а уже нос дерёт... И пусть она меня, эта москвичка, не поправляет: к маме, а не к мамы, или как там ещё? Это для письма всё годится, а не в разговоре.

Он говорил бы, наверно, ещё долго, нарочно подбирая слова поглубже, но его перебила девушка в сиреновой жакетке.

— Всё равно, так или этак, а в свою деревню нам никак возвращаться нельзя. По городскому ли будешь говорить или по деревенскому, не в том дело. Разницы сейчас уж большой нет. Ваня это зря говорит. А всё равно—будешь ты Нюра и Нюра, а не Анна Васильевна. А по-другому тоже нельзя. Выучился, в свою деревню приехал и уже с подружками или с ребятами знаться не хочет.

«Киселёва,—вспомнил директор,— та самая, о которой я слышал от декана...»

Высказанная Нюрой мысль, видимо, очень занимала её, потому что она прибавила:

— Я директору заранее предупредила, чтобы он меня и Васю в другое село послал, когда распределение будет.

— Директора, — нетерпеливо поправил моряк.

— Я и говорю: директора.

— Нет, ты говоришь «директору». В прошлом году десятилетку кончила, а родительный падеж с дательным путаешь!

— А если у нас учитель так говорил?

Но моряк уже не слушал её.

— А я с тобой, Ваня, не согласен, что надо к отсталости, если она где ещё есть, приспособливаться. Ведь чего наш директор хочет, как я его понимаю? Мы вот на восемьдесят процентов из глухих деревень. А всё равно нам образование надо дать самое настоящее, чтобы и мы деревенских детей учили не только не хуже городских, не хуже столичных.

Директору в его засаде захотелось обнять моряка, так верно этот парень, даже фамилии которого он ещё не знал, определил то, в чём был главный смысл его работы.

«Интересно, — подумал директор, — оценят ли его ребята, когда будут выборы в бюро: первое комсомольское собрание назначено на четверг?» Но спор продолжался, и, отвлекшись от своих мыслей, директор стал слушать.

— Я же не против образования говорю! — возражал лохматый Ваня, которого, видимо, задело слова моряка. — Кто же теперь, Серёга, против образования? Силком меня, что ли, сюда затащили? Ещё какой бой на партгруппе и на правлении выдержал. Я только насчёт всяких лишних придинок: не скажи так, а скажи этак! С одним глаголом «хотеть» замучаешься! И потом должна же Доброво понимать, что у нас тут до русского языка украинский и белорусский примешиваются. Что это, легко нам, что ли?

— Легко только ворон на крыше считать. Литературный язык, знаешь, что такое?

— Вот эти-то тонкости народу и не нужны!

— Нет, нужны!

— Нет, не нужны!

Они стояли друг против друга, эти два односельчанина и старых

дружка, как два петуха, готовых к бою. Но вмешалась Нюра Киселёва.

— Айда гулять, ребята, всё равно уже заниматься не будем! Поздно!

— Айда, — добродушно согласился Ваня Фомин.

— Хорошо, пойдём, пожалуй, — сказал Серёжа.

Директор подождал, пока за ними закрылась дверь, стихли шаги в гулком коридоре, и только тогда кивнул лаборантке и вышел тоже.

Прежде чем переехать в Новоболотов и занять пост директора института, он работал в этой же области заместителем председателя облисполкома по культурно-просветительной работе, и это именно ему звонил секретарь райкома Дробяско, обрадованный тем, что в Новоболотове будет открыт институт. А раньше Константин Иванович занимал ещё большую должность в Москве и сам попросил перевода оттуда в область, пережившую оккупацию.

Постановление об институте не было для него неожиданностью. Он сам начал хлопоты — писал в Совет Министров и в ЦК. Когда постановление было получено в области, Константин Иванович явился к первому секретарю обкома и сказал:

— Хочу этот институт открыть. Директором хочу поработать, с министерством предварительно договорился.

Константин Иванович хорошо работал зампредом. Он сделал много, при нём открылись областной театр, студия кинохроники, два института в областном центре, а сколько техникумов, школ!

Он был работником большого масштаба, и его решение многих удивило. Не так-то легко было добиться, чтобы его отпустили.

Почему же, в самом деле, Константин Иванович захотел стать директором института? Было ли здесь одно бескорыстное стремление переехать из областного центра в районный, с налаженной, хорошо идущей работы перейти на новую, незнакомую?

Если говорить откровенно, это было не совсем так. Ещё когда Константин Иванович в тридцатом году поступил в Комакадемию, он мечтал о вузовской кафедре. Не вышло, послали на партийную работу. Потом перебросили на советскую. Из одной области переводили в другую. Нескольким раз он сам просил о переводе. С интересом осваивал новые места и новые отрасли хозяйства. В Средней Азии — хлопок. В Казахстане — кожу и хлеб. В Мурманске — рыбу и корабли.

Новорождённый институт казался ему пока только его лишь детищем. Здесь сразу, сходу он мог начать новое дело, сам, своими руками создавать новый вуз, да ещё в районном центре... Ему казалось, что таких вузов ещё не было. И потом, это будет работа в институте. Он сможет не только руководить общей постановкой преподавательской и научной работы, но и сам, наконец-то, преподавать. А там, глядишь, и научную работу вести... Диплом Комакадемии давал ему на это право. Ведь его товарищи, того же выпуска — давно уже профессора, доктора наук...

Труд педагога издавна привлекал Константина Ивановича, вот почему он и решил просить назначение в Новоболотовский институт.

В областном центре у него была хорошая квартира, каких в Новоболотове не было вовсе.

Жена Константина Ивановича работала в Центральной поликлинике. Она любила театр и часто ездила с мужем в Москву.

Как сказать ей? Ведь не назначали, сам попросил...

Из Москвы он увёз её в город средней руки — областной центр. Это уже после войны. А каких только неожиданностей не преподносил он ей раньше, за двадцать лет их совместной жизни!..

Но у Марии, он знал это прекрасно, был счастливый характер: она умела во всём находить хорошую сторону. Она умела быть довольной, что далеко не всем дано. И поэтому ей легко было жить. И с ней легко было жить.

Вот она испечёт пирог, подаст на стол, заварит чай. Ничего в этом нет необыкновенного — как у всех. Но на пироге какие-то особенные листья из теста и ягоды из цуката, чай — генеральской заварки, а скатерть хрустит... И Мария сияет.

У его племянницы должен был родиться ребёнок — как она готовила приданое, как вышивала распашонки и каждую носила показывать мужу!..

Сам Константин Иванович только в детстве, прибегая из школы, ещё на лестнице начинал рассказывать, что сегодня было, кто подрался, кто на уроке петуха пустил, кому пятёрку неправильно поставили.

А у Марии это осталось на всю жизнь. Ещё не успеет снять халат, как начинается — инъекции, резекции. Читательская конференция по новому роману, экзамен по марксизму-ленинизму.

Стоило им переехать в областной центр, как это стал лучший город Советского Союза. «Слава богу, ей ещё муж достался, о котором хоть что-нибудь хорошее можно сказать», — без излишней скромности подумал Константин Иванович. Но если бы она даже вышла за завхоза облизполкома, который на ходу спит и так длинно оправдывается, что его и ругать перестали, — всё равно бы она так же значительно произносила бы: «Михал Петрович!».

«Нет, это ты уже, пожалуй, заврался, Константин Иванович!» — остановил сам себя будущий директор Новоболотовского института.

Отец Марии Петровны был старик, как все старики, служил в московском учреждении, помещавшемся в старинном подворье, в одном из переулков Зарядья. А как она подавала своего отца: «Папа сказал!» Или: «Папа привык!». Или: «Иду покупать папе рабочие брюки!». Что будет она говорить о Новоболотове, самом обычном, ничем не замечательном районном городке?

С этими мыслями Константин Иванович и вошёл в свою квартиру в областном центре.

Она уже знала. Ей позвонил по телефону первый секретарь обкома, пока муж её, отпустив машину, шёл пешком домой из Дома Советов.

Секретарь обкома полагал, что жена Константина Ивановича не очень-то обрадуется переезду из области в район. К тому же она москвичка. Он ждал, что она скажет: «Но почему мы? Костя, слава богу, не мальчик, работник столичного масштаба. Можно было бы ценить!»

Мария Петровна, только лишь он успел произнести две первые фразы, быстро и радостно заговорила в трубку:

— Новоболотов, да это же чудесно! Я всю жизнь мечтала пожить в маленьком городе. И цветы!

— Какие цветы? — удивлённо и недоверчиво переспросил секретарь обкома.

— Как какие? Новоболотов славится цветами. Разве вы не знаете? Как Мичуринск — фруктами. Я садик заведу, обязательно. И вы, Никита Юрьевич, должны мне обещать, что весной приедете посмотреть мои пионы.

Она уже собралась жить там остаток лета, и осень, и зиму, чтобы в марте или апреле посадить пионы.

«Вот это жена!» — с восхищением подумал секретарь обкома, которому жёны ответственных работников доставляли порой немало хлопот.

Этим же разговором о цветах, о том, как можно будет интересно

наладить научно-исследовательскую работу в новоболотовской поликлинике, о том, какой у них будет дом с половичками и как приятно, когда в доме бывает много молодёжи, а не много начальства, она встретила Константина Ивановича, и он обнял свою маленькую, тщательно завитую, в белоснежной кофточке жену.

Была ли это любовь, как в «Евгении Онегине», «Ромео и Джульетте», в «Анне Карениной», в «Тихом Доне»? Или это было просто искусство жить и радоваться всему, что есть жизнь: рождению чужого ребёнка (у самой у неё не могло быть детей), прочитанной книге, цветам, побеждённой болезни?

Любила ли она его — Константина Ивановича Иванова, 47 лет, члена партии с 1920 года, с высшим образованием, художого, непоседу, сына железнодорожного машиниста, или (он всё возвращался к этой мысли) она была хороша со всеми, а значит и с ним тоже, и для любого мужа делала бы то же?

А он, он и про свою любовь к ней не мог бы сказать, та ли это любовь, что у Андрея Болконского к Наташе Ростовской. Но ему было хорошо с ней, и он делался лучше, оттого что она жила с ним: в нужде и в достатке, когда он был большим начальником и когда — начальником поменьше.

...Министр подписал его назначение, с трудом нашли ему замену в облысполкоме. Надо было начинать.

И он начал своё директорство. На ремонт и перестройку семинарского здания поставил Фёдора Борисовича. Полёта в нём, правда, нет, но в цементе и гвоздях — поэт...

А сам поехал в Москву за профессорами и преподавателями, не доверяя объявлению о конкурсе, данному, как положено, в «Учительской газете».

Прежде всего, приехав в столицу, он добился того, о чём хлоптал ещё раньше: чтобы открыт не учительский институт — двухлетний, готовящий учителей для неполной средней школы, но педагогический — четырёхлетний, а в его составе и учительский.

Через несколько лет десятилетка станет в селе обязательной, — где тогда взять учителей для трёх последних классов?!

А помещение позволяет разместить оба института, и высококвалифицированных профессоров и преподавателей легче будет привлечь!..

Министерство одно решить не могло и доложил на Совете Министров. Правительство утвердило и дало ассигнования. Это было гораздо большее дело, чем предполагалось сначала.

Газета «Красное знамя» напечатала ещё заметку: «В Новоболотове будет педагогический институт». И приём начался сразу в оба института.

Почему Константин Иванович из большого выпуска филологов аспирантуры МГУ выбрал слепую, никогда не преподававшую в вузе и вообще никогда нигде не работавшую? Он считал так: если Пустовалова, лишённая зрения, добилась учёной степени и, как он узнал, защитила её так же хорошо, как училась, значит, это человек выдающийся.

Белоусов вовсе не сам надумал переехать из Минска в Новоболотов, как полагала Сима. Это Константин Иванович написал ему и попросил министра телеграфировать.

Алексееву он встретил в отделе кадров главка высшей школы. Она не ужилась в Кирове и договаривалась с инспектором о новой работе. Ей было явно очень трудно.

Константин Иванович заговорил с ней, не представляясь.

Она — ленинградка. Выехала в сорок третьем, вернуться не может: погибли в блокаду муж, мать, ребёнок. Училась в Институте истории искусств — гнезде формалистов, но и в Ленинградском университете.

Кончила аспирантуру, диссертация её пропала, когда переезжали Ладогу, и степени у неё нет...

За свою разнообразную жизнь Константин Иванович видел и таких надломленных, не нашедших своего места людей. Чего, казалось бы, проще — человеку нужна работа, что ж тут так терзаться?

Вероятно, она была по-настоящему образована, но уж слишком утончена...

Он пригласил Алексева в Новоболотов читать зарубежную литературу.

— Город, — предупредил он, — маленький. Институт — новый. Студенты будут и малоподготовленные. Иностранную литературу, возможно, доставать будет трудно. Смотрите, может, не понравится!

Но ей нравился сам Константин Иванович. Размах у него, видимо, большой. Как он попал в этот Новоболотов? Сняли откуда-нибудь? Не спрашивая прямо, она подводила его к ответу. Он отшутился, так и не ответил. Вместо этого сказал очень серьезно:

— Одно знайте — мы там нужны. Очень. Больше, чем в Москве и Ленинграде. Вы понимаете, что это значит, — вам предстоит раскрыть им Шекспира и Бальзака.

Алексеева поехала. Сразу же, вместе с ним. И перед открытием вместе со всеми вешала занавески, составляла списки для библиотеки.

...Да, он мог сказать, что хорошо подобрал преподавательский состав, а это оказалась далеко не лёгким делом.

Просто положиться на объявление в «Учительской газете», на заявку в отдел кадров министерства: лингвистов столько-то, географов столько-то, математиков столько-то; профессоров столько-то, доцентов столько-то... Нет, это было ему не по душе. То есть, конечно, отдел кадров помог и даже очень. Но жениться заочно Константин Иванович не согласен, другое дело по деликатному сватовству.

Потом, разумеется, состоялся конкурс на замещение профессорско-преподавательских вакансий во вновь открытом институте. Всё прошло, как положено.

Кое-кто, правда, надул, не подал бумаг, не приехал. Кое-кто сбежал сразу или немножко погодя, пройдя конкурс. Строго говоря, таких можно бы притянуть к ответу. Но стоит ли? Будет ли толк из их работы?

Несколько находок принесло и объявление о конкурсе; например, Лебедев — превосходный историк из Владимира... Но большей частью конкурсная комиссия, придирчиво сопоставив данные, утвердила людей, подобранных Константином Ивановичем.

Институт работал. Всё было, как полагается: расписание, учебный план, семинары, заседания кафедр... На лестнице лежал ковёр и по бокам неё стояли цветы. Деканы были заботливые, болели душой за факультет, за отделение; преподавателей было много не просто хороших, а блестящих. — таким коллективом мог бы гордиться любой институт.

И всё же разговор, подслушанный в кабинете русского языка, был не первым сигналом, что совсем не всё шло так, как хотелось. Может быть, студентам нужен был пока хлеб, а им предложили пирожное?..

Надо поговорить с секретарём парторганизации, созвать бюро... Как учить — это же самое главное! Программы, конечно, для всех институтов одинаковые, но ведь люди-то разные!

Константин Иванович дошёл до гостиницы. Там разместилась часть институтских преподавателей. Общежитие для студентов открыли заранее. Уже приезжая экзаменоваться, они там останавливались. Квартиры и комнаты для профессорско-преподавательского состава ещё не были готовы.

Гостиница одной стороной выходила на базар, фасадом — на главную городскую площадь. В своё время Константин Иванович, работавший тогда в облисполкоме, сам настоял, чтобы выстроили этот дом.

Гостиница была маленькая, на тридцать коек. Ещё было три отдельных номера — обкомовский, особого назначения и для столичных гостей. Общие комнаты в случае надобности тоже превращались в номера.

Штат гостиницы был соответственно мал. Директор, одна дежурная, две уборщицы, с разными, как водится, характерами. Бухгалтером гостиницы была женщина очень религиозная. Во все решительно праздники, закрыв в положенный час бухгалтерию, она уходила в церковь.

Дежурная, одинокая старушка, очень любила читать. Она жила в гостинице и, жалея директора — многодетную мать, — почти бессменно дежурила с книжкой в руках. Чистоту, порядок, благоустройство Нина Константиновна поддерживала безукоризненно.

Стараясь не шуметь, Константин Иванович вошёл в светлый коридор. Пахло чуточку угаром — от самовара, чуточку духами «Белая сирень»: должно быть, по коридору недавно проходила Алексеева.

Никто не спал. То есть из институтских. Два приехавших председателя колхоза и один учитель из «глубинки», набегавшись за день, видели уже третий или четвёртый сон. Нигде никого не было видно. Ксения Николаевна с Симой и Сушковым пошли в театр на премьеру. Остальные сидели по своим номерам.

— «Бесприданницу» вы смотрели? — глядя на Константина Ивановича поверх очков, спросила Нина Константиновна. Она интересовалась всеми делами своих постояльцев.

Константин Иванович смотрел — и в Москве, и в области, и здесь, когда представитель реперткома попросил его, случайно оказавшегося тогда в Новободотове, прийти на просмотр нового спектакля.

— А чаю, как же чаю? — захлопотала Нина Константиновна. Она же и кормила постоянных жильцов, а Константин Иванович пока был один, Марию Петровну ещё не отпустили из поликлиники.

Из своего номера вышла Алексеева. На ней был какого-то странного покроя халат, с хвостом и крыльями.

— Как хорошо, Константин Иванович, что вы пришли, — сказала она, присев на краешек кушетки. — Я хочу вам рассказать, сегодня в институте...

— Больше об институте я сегодня не говорю и вам не советую. Ведь есть же в богатом русском языке другие слова, кроме этих — институт, лекции, кафедра, знания. Давайте лучше поговорим о любви!

Глава шестая

О любви

Он и не знал, Константин Иванович, какая любовь пришла к этой, слегка увядшей, трудно сходявшейся с людьми Ирине Владимировне Алексеевой.

Она держалась как красивая, а красивой, собственно, не была; разве что — когда-нибудь раньше, давно. Но даже самая обыкновенная шляпка выглядела на ней по-особенному. Поэтому всегда казалось, что она одета вызывающе и вызывающе держится.

Не все понимали, как понимал Константин Иванович, что она просто надломлена и устала. А ей казалось, что другие женщины её не любят, может быть, завидуют.

Не блокада ли и пережитое горе сделали её такой странной, хотя многие люди, пережившие блокаду, стали сильнее и крепче? — иногда

думала сама Алексеева, замечая, как на неё смотрят. Не один из её студентов, мальчик с детскими голубыми глазами, совсем не считал её странной.

Однажды он дождался её на улице, за институтской калиткой, когда кончились лекции.

— Ирина Владимировна, можно, я вас провожу?

Она ждала какого-нибудь вопроса по курсу. Он спросил:

— Вы одна, Ирина Владимировна, у вас в Новоболотове никого нет?

На прямо поставленный вопрос трудно отвечать не прямо. Она ответила:

— Никого. У меня вообще теперь никого нет, если кем-нибудь считать родственников. Друзей у меня, впрочем, тоже больше нет...

Он не удивился.

— А у меня мама есть. Приходите к нам! Мама очень гостеприимная и литературу любит.

И он стал провожать её каждый день, этот студент исторического факультета. Потом (тоже, наверно, из-за неё) он перевёлся на литературный. Он смотрел на неё, как на Беатриче, с которой она ещё не успела студентам рассказать. Его звали Володей — самое обыкновенное имя, и фамилия обыкновенная — Ермолаев. Но он казался ей удивительным. И, действительно, это был очень способный и очень развитый мальчик.

Но что такое Новоболотов? Здесь даже необщительной Ирине Владимировне приходилось здороваться сто раз на день.

Все студенты узнали, что Володя Ермолаев, который в первый же месяц перевёлся на литературный (хотя исторический лучше, и ученических тетрадей не будет), провожает эту сухопарую, чудную Алексееву, которая так любит непонятные слова.

Знали и преподаватели и уборщицы. Марфуша сказала вчера Ирине Владимировне:

— Вы бы уняли этого своего, чтобы цветами под столом не сорил!

А как унять, как сделать, чтобы он перестал приносить цветы? Почему Володя полюбил её — старуху, по сравнению с ним?.. Да, старуху, с таким измученным и усталым сердцем... Алексеева иногда задумывалась над этим.

Он был пытлив и тянулся к знаниям. А Алексеева была для него источником бесчисленных сведений. И потом — он был добр и нуждался в человеке, менее счастливом, чем он сам. Девочки же, с которыми он учился, были такие же, как он. Что мог он узнать от них? А Ирину Владимировну он всё время интервьюировал: что думает она о Пабло Неруде, о Бабаевском? Какой поэтический размер лучше — ямб или хорей? Кого она любит больше — Толстого или Чехова?

Он спрашивал её о Багрицком, который для него был старинным поэтом — почти как Тютчев. И об актёре Щукине, которого он не мог видеть, так же как Алексеева не видела Ермоловой и всегда спрашивала о ней.

Но он ещё считал Алексееву и красивой. Ему нравился её усталый, нежный голос... Она никогда не кричала, как студентки с его курса:

— Володька, где тебя носит?

А спрашивала томно:

— Володя, почему я так давно вас не видела?

Ей было тридцать восемь, и, может быть, у неё больше ничего в жизни не будет... Тот, кого она могла бы полюбить, наверно, её не любит.

С кем ей дружить здесь? Ксения Николаевна? Эта, пожалуй, подошла бы больше всех. Но она не делает попыток к сближению, а Ирине Владимировне так трудно первой подойти к человеку.

Так уж получилось, что она ни с кем не сошлась ещё в институте. Даже с Симой, этой открытой душой.

И вдруг Константин Иванович говорит:

— Не надо об институте, поговоримте о любви!

— Поговорим! — неожиданно принимает его вызов Алексева.

Он приглашает её к себе, не смущаясь Нины Константиновны.

Константин Иванович живёт один в маленькой комнатухе, переделанной для жилья из какого-то служебного помещения. Алексева осмотрелась: на стене карта мира, на столе книги, на всём отпечаток какой-то удивительной аккуратности.

«О чём он будет говорить? — мысленно спрашивает Ирина Владимировна. — О Володе? О том, что все обращают внимание на это неуместное поклонение?»

Нет. Он говорит о свадьбе, о межфакультетской свадьбе, о которой ему сказали оба декана. А невесту он сегодня видел и даже узнал её с неожиданной стороны, но это уж особый разговор. Она с отделения языка и литературы, жених — с исторического. Все преподаватели обоих факультетов должны принять в этой свадьбе участие.

— Да, конечно... Хотя я у них не читаю. Она с учительского? Он — историк, педагог? Тогда я его должна знать... Вы говорите — с протезом? С партизанской медалью? Высокий. Знаю, конечно. А! Теперь и её знаю — маленькая, в сиреневой кофточке... И что же вы хотите, Константин Иванович? Флёр д'оранж?

— Вы так думаете? Вы в этом уверены? — серьёзно спрашивает директор.

Но флёр д'оранж — это, конечно, шутка. А вот подарки от деканата, от дирекции и от преподавателей нужны. И посажённым отцом будет декан исторического, а посажённой матерью — декан литературного. И пир устроят в самой большой — 45-й аудитории. Всё это нужно непременно.

Ирина Владимировна всё ждала, что он скажет о Володе, намекнёт, пошутит, по-начальнически, хотя и мягко, с юмором, попросит прекратить всё это.

Но он заговорил о другом.

— Нам всем ещё очень много думать надо, как всё получше наладить, не притёрлось ещё ничего, не утряслось...

А чего ей сейчас хотелось? Говорить о любви к ней Володи, о чужой свадьбе или об институте?

Она сказала только:

— Да, они просят диктовать, я прямо не знаю...

Ей надо бы встать и уйти, сказав что-нибудь вроде: «Спокойной ночи...» или «Завтра рано встать». Но Ирина Владимировна ничего этого не сказала и вдруг заплакала:

— Если бы вы знали, — сказала она. — Не что я для вас?!

Константин Иванович покачал головой и сжал её руку обеими руками.

— Не надо, — сказал он, глядя ей прямо в глаза. — Я вам друг.

Глава седьмая

Диктовка

Диктовать или не диктовать? Это, действительно, превратилось в Новоболотовском институте чуть ли не в основную проблему педагогического процесса, если выразиться по-учёному.

Ксению это просто удивляло.

Преподаватели разделились на две категории, чтобы не сказать — два лагеря: диктующих и недиктующих.

Одних интересно было слушать, как роман, но невозможно записывать, и студенты не знали, как будут им сдавать.

Других, может быть, совсем неинтересно было слушать, — но ведь лекция это же не кино, — зато слово в слово можно было всё записать. Это верная четвёрка, а то и пятёрка, а без четвёрки стипендии не дадут. Такие студенческие разговоры Ксения уже не раз слышала, и они заставляли её задуматься.

Сначала она даже не понимала, в чём, собственно, дело. Ведь в институт люди идут по своей воле, почему же они боятся настоящих знаний? Помогла ей понять случайная ассоциация. Один московский знакомый в письме к Ксении подтрунивал над её прошлогодним увлечением верховой ездой. И Ксения вспомнила, какой бывает отсев в манеже. Гарцевать на коне хочется всем, но ведь начинается-то не с гарцевания, а с седловки. И болят ноги. И лошадь может укусить. И инструктор ругается, если сделаешь что не так...

А потом, когда человек уже овладел рысью — и учебной и строевой — и научился затягивать подпруги и верно заправлять стремена, никакого гарцевания ещё не будет, а будет галоп и те же окрики инструктора, и препятствия, на которых лошади или обнесят, или с нескрываемым злорадством сбрасывают неумелых седоков.

Высшее образование, конечно, не верховая езда. Но и здесь и там встречаются люди, которые прельстились конечным результатом, не всем верно его себе представляя, и не терпели чёрной работы, не переносили препятствий.

А в этом институте многим действительно по-настоящему трудно. Трудно и самой Ксении. Встретили её цветами, теперь же пошли не цветы, а ягоды. Студенты ещё резче, чем преподаватели, раскололись на два лагеря. И Ксения очутилась под перекрёстным огнём. Главное расхождение — у «учителей», как в студенческом просторечии называют студентов учительского института. Одни слушают Ксению просто восторженно. Вот хотя бы Фёдоров. Ему за тридцать, он фронтовик, сельский учитель, без высшего образования. После учительского он, конечно, кончит педагогический заочно. Почти после каждой лекции Фёдоров подходит к Ксении, спрашивает о первоисточниках, просит прокомментировать то или иное место у Маркса. Вчера подошёл с новым номером «Вопросов философии», спросил, что она думает о статье по эстетике. Иногда он присылает записку с каким-нибудь вопросом по существу лекции. Он многого ещё не знает, вопросы его бывают наивными. Но каждый из них говорит о том, что человек хочет и будет знать.

Зато другие «учителя» донимают такими записками: «Читайте по-медленнее, невозможно записывать!».

У «педагогов», как называют в том же институтском просторечии студентов педагогического института, таких любителей записывать слово в слово меньше, но и там они встречаются.

К Ксении на лекцию уже приходила комиссия — декан факультета Неонила Александровна Васильева, Сима и легкомысленный Василий Николаевич. Вошли после звонка, сели на последней скамье. Потом обсуждали.

— Читает хорошо, ничего не скажешь, на высоком научном уровне, и совершенно понятно. А записывать им трудно. Много новых сведений, мыслей и оборотов не стандартных. И быстро говорит... — высказалась Неонила Александровна; она единственная из них троих преподавала прежде в периферийных вузах.

— Но почему трудно? Ведь не каждое же слово студент должен записывать, а смысл! Это, кажется, азбучная истина, известная ещё с ломоносовских времён, — горячился Сушков, и правая рука его всё ту же и ту же ввинчивала университетский значок в лацкан.

Сима сначала помолчала, затем каким-то особенным, только ей свойственным застенчивым жестом повернув голову вбок, — всё-таки ей иногда было трудно в мире зрячих, — сказала:

— Меня им легко будет слушать! Я свои лекции написала, иначе цитат не найду. И читать быстро я не могу. А Ксении Николаевне — зачем же ей медленно читать? Ведь она меньше успеет сказать.

Так и разошлись ни с чем...

Потом Ксения Николаевна пришла на лекцию к Неониле Александровне, читавшей введение в языкознание. У той всё было написано до последнего слова, хотя она была зрячей. И она просто диктовала, как в школе диктант, — монотонным голосом и повторяя слова. Ксения не поленилась, проверила: почти всё это было в учебнике, и даже выражения повторялись. А ведь она была живым и мыслящим человеком.

Пошла Ксения и на лекцию Ирины Владимировны. У той было очень интересно, даже самой Ксении. Но как-то разбросанно, много ассоциаций, понятных только тем, кто всё это знал раньше. И так стремительно; что и самым сильным записывать было трудно. Читала Алексеева, правда, только «педагогам» — на литературном и историческом, зарубежная литература в учебный план «учителей» не входила.

Белуёв знал очень много, но читал большей частью скучно, иногда только зажигаясь. У него студенты не протестовали и ничего не требовали, потому что просто-напросто боялись его. Он был старик, доктор наук и сердитый.

Больше Ксения ни к кому на лекции не ходила, но думала обо всём этом много.

А сегодня у неё новое затруднение.

Лекции её шли уплотнённо, забирая львиную долю расписания, чтобы она могла уложиться в месяц с небольшим. Но это нарушало строгость общего учебного плана и затрудняло, как выражаются методисты, «усвояемость» материала. Студенты, оказывается, роптали, жаловались, бегали в деканат, даже в учебную часть, ей же не говорили ничего, кроме прямых и завуалированных просьб о диктовке. Но в расписании её часы перестали идти таким густым ежедневным косяком.

Сегодня, как только прозвонил звонок с лекции у «учителей» и она не успела ещё сойти с кафедры, её окружил человек пятнадцать студентов. И Серёжа Воронин торжественно, как если бы он был главой делегации, сказал:

— Ксения Николаевна! Мы, то есть мы и педагоги, хотим с вами переговорить по очень серьёзному принципиальному вопросу.

Ксения вспомнила, что в четверг состоялось первое общепедagogическое комсомольское собрание и что Воронина выбрали секретарём комсомольского комитета.

Стараясь не показывать смущения, Ксения ответила, ни о чём не спрашивая:

— Да, пожалуйста. Сейчас или в другое время?

— Сейчас? Но у вас ещё четыре лекционных часа. А вечером заседание кафедры. — Воронин показал полную осведомлённость в распорядке её дня. — Вы не могли бы часов в пять? И где вам удобнее, в институте или у вас в гостинице?

Здесь вставила реплику Валя Козина:

— Чтобы пришло столько, сколько поместится у вас в номере.

Ксения улыбнулась.

— Человек семь-восемь, больше, пожалуй, не разместится.

А Серёжа как бы размышлял вслух:

— Да, пожалуй, лучше прийти к вам... Общий разговор рискованно затевать... Можно, мы придём сегодня в пять?

— Пожалуйста. Номер семь. — И хотя это был, наверно, антипедагогический вопрос, она спросила: — Вы что, разочаровались во мне?

— Нет, — ответил, улыбаясь, Воронин. — Нисколько, и даже напротив. Поэтому мы и хотим с вами поговорить.

Ксения ждала пяти часов и этого разговора. Она думала о нём, читая лекции в последние четыре часа. Думала по дороге в гостиницу, проходя мимо городской трибуны и минуя пожарную каланчу. Думала за обедом, невпопад отвечая Нине Константиновне.

Чем занять себя, чтобы прошли, наконец, эти два часа между обедом и пятью? Пробовала готовиться к послезавтрашним лекциям, ничего не идёт в голову. Читать... Она никак не могла оторвать глаз от одной и той же строчки. А спросить бы её — о чём эта строчка? — не ответит.

Но что заставило её так волноваться перед разговором со студентами? Сколько их — этих студенческих посещений, сколько доверительных бесед, у неё дома и урывками в институтских коридорах, на улице, выпало на её долю за пятнадцатилетнюю педагогическую работу...

Они пришли ровно в пять. Их было семеро. Из полтора часа человек, которым Ксения читала в Новобологове, она за три недели лично познакомилась с немногими. Но этих она знала.

Стар сту педагогов, женщину с умным, некрасивым лицом, Ксения знала хорошо. Её все называли Анна Павловна. Только декан говорила ей «Анечка» и «ты».

У дверей остановился ярый сторонник диктовки и, как ни странно, близкий приятель Серёжи Воронина — Ваня Фомин. Ксения знала, что студенты прозвали его «Ваня лохматый». Он действительно как будто бы не очень любил причёсываться.

Девчущечка, которую хотелось звать дочкой — такая она была трогательная, с двумя косичками, каждый день с новым бантом, в туфельках на низком каблуке, — часто поднимала руку, посылая записки с вопросами по теме лекции и уже отличилась на практических занятиях, это была Валя Козина, отличница из десятилетки областного центра. Она училась на педагогическом.

Стихи Пети Шебунина, выпускника вечерней рабочей школы, тоже педагога, украсили первый номер институтской стенной газеты. Он партизанил у Ковпака, был голубоглаз, вихраст, употреблял местные словечки.

Пятой была девушка в очках, без каких не обходится ни один курс, Соня Дубровина — «четыре у», так звали её с лёгкой руки Ксении преподаватели и откуда-то прознавшие студенты: умная, усердная, учёная, утомительная. Шестой и седьмой, разумеется, — Воронин и Фёдоров.

После второго приглашения студенты расселись. Воронин прикрыл и даже с разрешения хозяйки запер дверь.

Начался разговор при закрытых дверях.

И Нине Константиновне, которая делала вид, что совершенно поглощена развозкой труб «на себя» в романе Ажаева «Далеко от Москвы», и особенно бухгалтеру Татьяне Гавриловне очень хотелось узнать, о чём говорят в седьмом номере.

Ксения молчала и ждала, чтобы заговорил кто-нибудь из студентов. Они тоже смущённо молчали. Ксения переводила взгляд с одного на другого, с Воронина на Фёдорова, на Фомина... Больше всего её смущал, признаться, именно Фомин. Что он недоволен её лекциями, — этого она не могла не знать.

Пришлось первой нарушить молчание.

— Ну, товарищи, я жду.

Заговорил не Воронин, как она могла ожидать (ведь он был самым активным и решительным), а Фёдоров:

— Вам, конечно, Ксения Николаевна, может показаться чудно и то, что мы напросились к вам домой, и то, что мы пришли, а молчим, и то, наконец, что мы вам скажем... — Тут он снова замолчал.

На Ксению напала смешинка.

— Если вы уже заговорили о том, что может мне показаться чудным, так это пока только второе. В вашем желании прийти ко мне — ничего чудного не вижу. Всю жизнь студенты ко мне ходили. Что вы скажете, я просто не знаю. А вот то, что вы пришли и молчите, как семеро молчалников, — это, действительно, несколько странно.

Тогда они заговорили все сразу.

— Не знаем, как вы встретите то, что мы скажем, потому и молчим, — сказала Анна Павловна.

— Так волнуемся... — поддержала её Валя Козина.

— Как бы в калошу не сесть, — образно пояснил Петя Шебушин.

— Очень уж неожиданным и дерзким с нашей стороны может показаться вам то, о чём мы хотим вас просить, — подытожил Серёжа Воронин.

Ксения вопросительно подняла брови, но ничего не сказала.

— Ладно, раз пришли, надо говорить, — перебил всех Фёдоров. — Я начну издали. — Он посмотрел на дверь, как будто бы непосредственно за дверью находилось то, с чего он собирался начать. И то, что он сказал затем, прозвучало так, словно это много раз уже говорилось или само собой подразумевалось, и ничего особенного в этом не было. — Нам-то, конечно, интересно, чтобы у нас такой преподаватель, как вы, работал постоянно и всё, что может, нам отдавал. Но, как ни странно, думаю, что это и для вас небезынтересно. Вы только не обижайтесь, Ксения Николаевна, на то, что я скажу, и поймите меня правильно. По-моему, лучше всего человек себя чувствует, когда он абсолютно необходим...

Здесь Ксения недоуменно посмотрела на Фёдорова, а Валя Козина дёрнула его за рукав. Он встретил взгляд Ксении прямым, решительным взглядом, а Валину руку отстранил, не обернувшись.

— Я не хочу сказать, что в Москве вы не нужны, — продолжал Фёдоров. — Кто бесполезен у себя дома, тот и в другом месте пользы не принесёт.

Здесь уже Серёжа Воронин испуганно посмотрел на Фёдорова. Но глот выдержал и Серёжин взгляд.

— Но, скажем прямо, и людей таких, как вы, в Москве много больше, чем в Новоболотове, даже во всей нашей области. И всё в Московском институте налажено.

Ксения улыбнулась:

— Да, пожалуй.

— А здесь вы очень много можете сделать для нового дела.

— И что вы хотите? — перебила Ксения. — Чтобы я, как Василий Николаевич, стала у вас постоянным совместителем?

Фёдоров и остальные студенты замаялись.

— На крайний случай, — сказала Анна Павловна.

А Валя Козина прибавила:

— Хоть бы так. А то мы даже себе представить не можем, что очень скоро кончатся ваши лекции.

И они снова заговорили все сразу, перебивая друг друга, так что Ксения далеко не всё могла расслышать. Они только что стали студен-

тами, но уже усвоили присущую студенческой среде манеру разговаривать. Казалось, оживлённый разговор в их представлении — это такой, в котором все говорят одновременно и никто никого не слушает.

Всё же было ясно, что они просят Ксению Николаевну перейти в их институт на постоянную работу и что даже обязательства не менее, чем она, опытного и квалифицированного московского доцента Сушкова — треть года проводить в Новоболотове — от неё им было бы недостаточно.

Ксению, вероятно, ни за что не отпустили бы из Московского института. Студенты любили её везде. И всё-таки, конечно, то, о чём они просили, было приятно, хотя как реальная возможность Ксенией совершенно не воспринималось. Как это вдруг сменить Москву на Новоболотов?!

Но не так-то просто было это сказать студенческой делегации. Получилась неловкая пауза. Паузу прервал пришедшийся очень кстати, как подумала Ксения, стук в дверь.

— Войдите! — воскликнула Ксения несравненно более радостно, чем это говорится обычно. Но она забыла, что дверь была заперта. Тот, кто находился за дверью, толкнул её ещё раз, ещё... Серёжа Воронин вскочил, повернул ключ и распахнул дверь.

— Медведь! — обрадовалась Ксения.

— Сидите тут, запершись с молодёжью, а стариков и не впускаете, — шуточно заговорил вошедший.

Медведь — это его фамилия, но могло бы быть и прозвищем — тоже институтский преподаватель, только другого факультета — математик. На первом партийном собрании его выбрали в бюро, а бюро — секретарём партийной организации института. Он тоже жил ещё в гостинице.

Ксения была мало с ним знакома, но знала, что Медведя звали Львом Ильичём, что он сибиряк и вся его биография удивительно походила на решение именно той задачи, которую только что задали ей студенты. Она вспомнила, на физмате говорили: Медведь мог бы сделать большую научную карьеру. Но он считал, что и математика требует связи с жизнью. Поэтому, окончив аспирантуру в Ленинграде и блестяще защитив кандидатскую диссертацию, попросился на преподавательскую работу. Так он попал сюда, в новый институт.

Только лишь войдя в комнату, Медведь сразу же догадался, что здесь происходит какой-то ответственный разговор. Он назвал себя стариком, а на самом деле был совсем не намного старше Фёдорова и Анны Павловны. А по любопытству к жизни, по способности расти, всё время двигаться вперёд походил на сверстника Серёжи Воронина. Поэтому ему легко было со студентами, на которых он не смотрел сверху вниз, как легко было с ними и Ксении. Но между ним и новоболотовскими студентами отсутствовала та преграда временного пребывания, которая лежала между ними и Ксенией и которую Ксения не хотела и не могла убрать. Естественно, что сейчас ему было намного легче, чем ей, и непонятным образом догадавшись, зачем студенты пришли, он спросил:

— Хотите уговорить Ксению Николаевну совсем перейти в наш институт и переехать в Новоболотов?

Воронин утвердительно кивнул головой.

— А Ксения Николаевна отказывается? — последовал такой же прямой второй вопрос Медведя.

Тогда высказался Ваня Фомин:

— А зачем ей соглашаться? Вы только сообразите, товарищ Медведь, где жизнь богаче — в Новоболотове или в Москве? Пошли, ребята, пустая трата времени. То и выходит, что я говорил. Айда!

Фомин вышел, но за ним никто не последовал.

— Ну зачем его было сюда брать? — укоризненно кивнула Анна Павловна в сторону Серёжи Воронина. — Чего от него можно было ожидать?

Серёжа покраснел. Ваня Фомин был его старым товарищем, единственным в институте, кого он знал с детства, и ему хотелось, чтобы Ваня во всём участвовал.

Ксения готова была взорваться, но сдержалась и сказала любезно, хотя всё-таки суховаты:

— Спасибо, товарищи. Я вам очень благодарна, но вы сами понимаете, такие вещи сразу не решаются. Я подумаю, может быть, потом...

Ксении было неловко. Она даже как-то съёжилась, словно замёрзла в этот погожий сентябрьский день. Особенно ей почему-то было неловко перед Медведем, который ведь так же, как она, мог бы вернуться отсюда в Ленинград или в Москву, а вот остаётся тут навсегда. Но, говорили, он и здесь работает над докторской диссертацией.

Атмосферу разрядила Анна Павловна. Со своей женской способностью становиться на точку зрения другого человека, она поняла, что для Ксении было бы просто невозможно вот так сразу согласиться переехать из Москвы в Новоболотов.

— Конечно, Ксения Николаевна, — заговорила Анна Павловна, — вы подумайте, посоветуйтесь, узнайте, согласятся ли вас перевести в наш институт. Вас ведь, поди, и не отпустят из Москвы... Знайте только, что мы вас очень полюбили за этот короткий срок и мечтаем, чтобы вы у нас либо на совсем остались, либо хотя бы регулярно наезжали к нам.

Фёдоров встал и обратился к товарищам:

— А не пора ли нам восвояться?

Ксения и Медведь остались вдвоём.

Почему Медведь зашёл к ней? Потому, что сосед по гостинице и выпала свободная минута? Потому, что секретарь парторганизации и хочет узнать свои кадры в быту? Или потому, что Ксения ему просто нравилась. Что-то подсказывало ей, что последнее предположение самое правдоподобное. А он ей нравился? Этого Ксения не знала, но, во всяком случае, ей хотелось бы нравиться ему.

Так или иначе, но было неприятно, что Медведь застал её со студентами, а она, в общем, трусливо и вовсе уж не героически себя вела...

«И пусть! — думала она. — И пусть! Я такая и есть, и пусть он знает обо мне правду и думает, что хочет!»

Но Медведь вовсе не выразил своего презрительного к ней отношения. Он просто спросил:

— Вы, наверно, никогда не жили в маленьких городах?

— Никогда. Больше двух недель, во всяком случае, не жила.

Её ответ прозвучал простодушно, по-детски. В Ксении, несомненно, было что-то очень его привлекавшее... Может быть, знание жизни и интерес к людям... Может быть, радушная манера... А может быть, и глаза — зеленоватые, с искорками. В ранней молодости Медведь потерял невесту и с тех пор не встретил никого, кто вызвал бы в нём большую любовь. Размениваться на случайные связи он не умел.

Ксения прервала внезапно наступившее молчание:

— А вы жили в маленьких городах?

— Я? Я в таком стойбище прожил до двадцати лет, какие вы только в кино видали. Я всюду жил... В Вене был, в оккупационных войсках. Учился в Иркутске и в Ленинграде. На Камчатке работал, на Чукотке, в Таллине. И, по мне, жить везде можно. Конечно, у меня здоровье исключительное.

И он так улыбнулся, открывая свои крупные, крепкие, белые зубы.

и так развернул плечи, что нельзя было не поверить в его богатырское здоровье и счастлившую способность всюду не только приживаться, но и жить в полную силу.

Они вышли вместе, и он проводил её до института. Они были, что называется, хорошей парой. Он — высокий, статный, и она — выше среднего роста, крепко сбитая, красивая несколько тяжеловатой русской красотой.

Но они не были ещё парой.

Остановившись у ворот института, Медведь вежливо приподнял шляпу.

— Простите за непрошеное вторжение. Всего хорошего.

Пожал руку и пошёл.

Она ещё минутку постояла у ворот, глядя, как уменьшается его удаляющаяся фигура. Потом по асфальтовой дорожке прошла в здание, которое ей скоро предстояло покинуть навсегда.

Глава восьмая

Воскресенье

Человек просыпается в непривычном месте. Он не сразу соображает, где он и почему здесь. Ему снились домашние сны: привычные, всегдашние.

Когда Ксения, тогда ещё совсем молоденькая студентка, отправилась в своё первое, свадебное, путешествие, её муж вдруг останавливался на улице чужого города и удивлённо спрашивал:

— А почему это Ксюшка оказалась в Астрахани?

Это было давно. Мужа нет уже в живых, шесть лет Ксения вдовует. Но с тех пор, и с ним, и потом без него, идя по чужой улице, глядя на чужое море, Ксения спрашивала себя: «А почему я в Сочи?» Или: «Как это я попала на набережную не Москвы-реки, а Енисея?».

Но шли годы, и с каждой новой поездкой всё реже и реже посещало Ксению это чувство удивления. Мир больше не казался чужим, улицы — незнакомыми. Хорошо было узнавать новые места и новых людей, но главным теперь всегда было чувство общности. Сядешь в поезд, войдёшь на палубу, поднимешься на трибуну какого-нибудь бакинского или ташкентского зала — и всё ты дома, в своей стране.

И совсем уже по-иному Ксения теперь думала о себе в поездках: «А вот наша Ксюша и в Тамбове». Или: «Занесло Добровиху на Тянь-Шань!».

Она теперь всюду приживалась легко. Привыкала к дежурным в гостиницах, к вечеру первого дня всегда знала нужные трамвайные маршруты.

Здесь, в Новоболотове, не было трамваев и не надо было привыкать к их маршрутам. Автобус ходил с главной городской площади на вокзал и обратно. В таком маленьком городе, да ещё так долго — три недели, Ксения не жила ни разу. В будни было легче. Во-первых, очень некогда. Вечерами, правда, иногда мучительно хотелось поговорить с кем-нибудь из старых друзей. Хотелось выглянуть в окно и убедиться, что за окном — Москва, что ты живёшь в Москве, и Москва для тебя, Софроничий для тебя и МХАТ для тебя. И выставка художников на Кузнецком, и Репин в Третьяковке — для тебя. И катки тоже. А изредка — ресторан «Арагви»...

Но воскресенье! В воскресенье было особенно трудно.

Сегодня тоже было воскресенье. Привыкнув в Новоболотове рано вставать, готовиться к лекциям, Ксения и сегодня проснулась в семь.

Стенка напротив была не московской, домашней, но уже привычной. Потянулась. Чтобы проснуться окончательно, сделала зарядку. Потом осторожно выглянула в коридор. Все двери были закрыты. Накинув халат, Ксения прошла в дежурку. Нина Константиновна убирала с кушетки свою постель.

— С чего день начнём? — спросила Нина Константиновна. — С бани или с базара?

Это были их традиционные воскресные занятия.

...А базар уже шумел за окнами — многоголосый, не умолкавший ни на секунду. Звенели горшки, которые особенно хороши в Новоболотове. Воинственно гоготали гуси. Подзадоренные ими, поднимали неистовый визг поросята.

Ксения выглянула в окно, её всегда радовало изобилие земных плодов.

Овощной ряд! Курчавые кочаны цветной капусты и неправдоподобно громадные, белые и нежнозелёные кочаны капусты обыкновенной. Морковь — красная и оранжевая, свёкла — фиолетовая. Помидоры — розовые, яркокрасные, жёлтые.

Направо — сверкают новыми вывесками и свежавыкрашенными ставнями колхозные мясные ларьки. Телячьи ноги лежат особняком от свиных голов, живые куры с опаской поглядывают на ощипанных.

А налево — молочный ряд. Сметана в глечиках и в стеклянных банках. В ларьке колхоза «Новая жизнь» — огромные, стянутые обручами кадки. Бидоны молока. Масло кругами. Яйца в лукошках по сотне.

Запах настоящего огуречного рассола — укроп, чеснок — витал над базаром, вызывая у мужской половины его посетителей грешную мысль о выпивке.

Ну как здесь, в Новоболотове, не стать чревоугодницей?!

А цветы? То, что так радует человека, утешая его в неудачах, больших и малых... Рядом с царством яблок — бумажного ранета, шафрана, мичуринского бельфлёра — расположилось царство цветов. Георгины с лепестками застрёнными и георгины с закруглёнными лепестками. Густого красного цвета, как старинное вино, и цвета чайной розы. Шары флоксов на высоких негнущихся стеблях и невзрачные, выносливые астры.

Баню тоже было видно из другого окна в конце коридора. Баня в Новоболотове приобретала такое значение, какого она не имела и не могла иметь в Москве; даже за многие свои странствия Ксения не привыкла умываться из ладошки.

— В баню, сначала в баню! — решительно сказала Ксения Николаевна, взвесив все обстоятельства.

Насладившись баней, отправились на базар.

Там было всего так много, что и за десять минут можно бы управиться. Но какая же уважающая себя хозяйка ходит по базару десять минут? Она приценивается к картошке у первой колхозницы, но приценивается и у всех остальных, чтобы потом вернуться к той же первой.

Именно так вела себя на новоболотовском базаре в базарный, воскресный день Нина Константиновна. Это было, правда, несколько удивительно, потому что, будучи женщиной несобычайно принципиальной, она покупала всё по возможности только в колхозных ларьках. А масло в ларьке колхоза имени Димитрова продавалось по той же цене, что и в ларьке колхоза имени Ворошилова, и было не хуже и не лучше: здесь и там — хорошее.

Ксения была ей плохим партнёром, она вслух хвалила телятину и не взмущалась якобы высокой ценой на яйца. Нина Константиновна ото-

слала её покупать цветы и горшки для цветов. Горшков этих, впрочем, в Ксенином номере была уже целая коллекция.

Ежеминутно Ксения встречала знакомых: Фёдора Борисовича с супругой; Настасью Ивановну, очень озабоченную, с двумя кошёлками; даже Алексею в её шляпе с вуалью. Кого только не было на базаре в воскресный день!..

У гостиницы остановился автобус. По ступенькам скатился и запрыгал по мостовой бидон.

— Лови его, держи! — закричал какой-то мальчишка.

Высокий военный побежал за бидоном, поднял и спросил:

— Чей?

— Мой. Большое спасибо. Только напрасно вы... Я бы и сама подняла, — откликнулась тоненькая миловидная женщина в скромном синем костюме, нагружённая такими же бидонами, кринками, узлами и большой корзиной с помидорами.

— Видишь, Наденька, как нехорошо... Я же говорил, что ничего мне не надо подбрасывать, — укоризненно произнёс мужской голос из глубины автобуса.

Ксенин голос показался знакомым.

— Да это же Фёдоров! — воскликнула она уже в ту минуту, когда сам он, тоже обвешанный узлами и мешками, показался на ступеньке.

Фёдоров смутился, даже покраснел. Только потом он смог произнести:

— Здравствуйте, Ксения Николаевна. Это — моя жена Надежда Петровна. Пожалуйста, познакомьтесь. Вот зачем-то навезла мне целую ярмарку.

— Очень приятно, — сказала Ксения, пожимая локоть Надежды Петровны. — Молодец ваш муж, серьёзно занимается!

— Ну, чего там серьёзно? — смутившись, грубовато перебил Фёдоров. — Нормально занимаюсь. Я окончу, она в институт пойдёт. Сейчас преподаёт в начальной школе.

Повернувшись к жене, Фёдоров сказал:

— Давай, Наденька, я ещё этот узел у тебя возьму.

— Так здесь же творог, ты раздавишь, Коля!

Смущённая ещё больше, чем муж, она, не глядя, поклонилась Ксенин и, сгибаясь под тяжестью своей ноши, пошла в сторону общежития. Фёдоров, пожав руку Ксенин и кивнув Нине Константиновне, зашагал за ней.

...Когда вернулись, наконец, в гостиницу, на больших деревянных часах в конце коридора пробило двенадцать.

У Ксенин сегодня к обеду званы гости: директор, декан, заведующий кафедрой, Сима с матерью и братишкой. Семь человек. Да ещё они с Ниной Константиновной — девять. Тут хозяйкам можно развернуться. И они стараются. Нина Константиновна колдует на кухне, собираясь удивить гостей какими-то немислимыми соусами, подливками, сладкими. В кои-то веки она, одинокая старуха, домом которой стала гостиница, а семьей — постояльцы, могла блеснуть перед такими гостями!

Ксения тоже собиралась блеснуть, скрасить цветами в живописно глазированных горшках, кринках, глечиках, макитрах скудость сервировки и обыденность гостиничной мебели старого древтрестовского образца.

Принимать гостей было одной из главных страстей Ксенин, любившей книги, но справедливо считавшей, что нег на свете ничего интереснее живого человека. А разве можно с людьми только в профессорской встречаться?

Гости званы к трём. Садиться за работу в воскресенье не хочется. Ксения подошла к окну. Какой он, Новоболотов, если не торопиться в институт, если посмотреть на него спокойно и увидеть его весь сразу?

А из её окна, с третьего этажа видно далеко-далеко...

Над городом возвышались монастырь с горбатой стеной из серого камня, церковь деревянная старообрядческая и собор, построенный, видимо, при Александре III, со сверкающей белой штукатуркой и золотыми, полукруглыми куполами. Они возвышались над деревянными особнячками с затейливой резьбой на окнах. Они возвышались и над домами только что построенными — каменными, четырёх- и шестиквартирными, над пустырями, только что освобождёнными от обломков. У деревянных особнячков были высокие заборы. Из-за такого забора могла выглянуть только самая высокая яблоня. Парадные двери прятались во дворах. Новые дома были опоясаны палисадниками, молодыми фруктовыми садами, выходившими прямо на улицу.

Поодаль стояла фабрика, вся в лесах — пристройки, новые корпуса. Большое неуклюжее кирпичное здание, где раньше помещались присутственные места, помолодело, когда его обсадили яблоньками и тополями и населили парнями и девушками из лесного техникума.

Электростанцию тоже можно было разглядеть из окна. Рядом с ней уже построена новая. Сейчас свет горит только до часу и часто гаснет. Поэтому все спрашивают инженера из облкомхоза, когда, наконец, пустят новую станцию.

А вот новый сквер у гостиницы закончен. И в центре его — небольшой бронзовый памятник Ленину.

Взгляд Ксении остановился на памятнике и тут же выразил удивление. Посредине скверика стоял Петя Шебунин и смотрел на её окно. В руках у него была толстая папка.

Ксения вспомнила, что вчера, во время разговора за закрытыми дверями, Петя всё порывался что-то сказать ей. Но так и не сказал. И только уходя, очень долго жал ей руку.

Как-то вдруг Ксения догадалась, что это ведь к ней пришёл Петя Шебунин без товарищей и стесняется войти. Поэтому он и стоит здесь у памятника, от смущения перебирает ногами и смотрит на её окно.

— Петя! А, Петя! — закричала Ксения. — Вы ко мне пришли?

Петя робко кивнул головой. Он смущался так, как может смущаться только взрослый парень в кирзовых сапогах и выгоревшей гимнастёрке, когорую уже распирали его раздавленные плечи.

Петя писал повесть о партизанском районе — о том самом Новоболотовском районе, в центре которого он прожил свою жизнь. Материал у него был. Очень много материала, своеобразного. Никем ещё не описанного, не тронутого. Талант у него, наверно, тоже был, если считать главным в писательском таланте — умение видеть и слышать. Но писать он не умел совсем. Он выглядел мешковатым парнем, ударения ставил неправильно, мог сказать «Флёрбер», но читал много и литературу знал хорошо. И, главное, всегда думал над тем, что читал, не повторяя заученных определений. Он сравнивал прочитанное с жизнью. Одного студента, чрезмерно честолюбивого, успел прозвать Жюльеном Сорелем. В Василии Николаевиче Сушкове — это он сказал по секрету одной Ксении — Петя нашёл черты Стивы Облонского.

И всё-таки его чтение было умным, живым, но не писательским, а читательским. Петя ещё не умел, читая, учиться искусству писать. Ксения не была писателем, но она занималась литературой и литературной теорией и столько раз давала советы тем, кто пишет, что и ему смогла, наряду с самыми простыми замечаниями — не сталкивать «что» и «ко-

торый», не злоупотреблять местоимениями, не повторяться, прояснить сюжет, — сделать несколько замечаний, которые показывали и понимание партизанского движения, и понимание писательского дела.

— Видите ли, — сказала Ксения, в увлечении усевшись на край стола, — местами вы слишком близки к своему материалу и пишете так, как раньше неграмотные степные пастухи пели о том, что у них перед глазами: «Я иду, иду, иду, вижу — стоит верблюд, на верблюде колючка. Я снял колючку, иду, иду, иду, вижу — стоит ещё один верблюд»... Всё подряд писать нельзя. Искусство начинается с отбора. Лев Толстой говорил, что он так отбирал факты: которые ему по шерсти — брал, а которые против шерсти — отбрасывал. А у вас столько подробностей о дереве, из которого делают спички, что из-за этого дерева партизанского леса не видно.

Петю поразили эти слова. Он схватил ручку и блокнот — тут же записать. И пристальный, упорный взгляд его говорил без слов, что он уже думает, как отобрать, как узнать — что по шерсти, а что против неё в бесформенной ещё гряде событий и описаний, которую представляло собой то, что он уже называл своей повестью.

Ксения помолчала с минуту и сказала:

— А местами вы, наоборот, отходите слишком далеко от своего материала и начинаете придумывать что-нибудь для интереса, какие-то таинственные дохищения... Это — недоверие к тому, что происходившее на самом деле действительно самое интересное. Меня просто удивляет, — брови Ксении поднялись вверх, выражая высокую меру её удивления, — как это вы не понимаете, что никакие ваши выдумки не могут быть интереснее того, как жил при немцах целый партизанский район, жил точно так, как при советской власти? А ведь самая обыкновенная для нас подписка на заём превращалась там в подвиг... И слова «райком» и «райземотдел» звучали, как «борьба» и «победа»?! Как вы этого не понимаете?

Лицо Ксении выразило теперь уже не удивление, а сожаление.

— И как вы могли предпочесть этому вещи, много менее интересные и в литературе уже не раз бывшие?!

Петя понял и это. Он встал, собираясь уходить и неловким движением записывая свою рукопись в папку. Никаких слов благодарности Ксения от Пети не услышала. То, что она сказала ему, прочитав отрывки и отдельные главы — всего листа два печатных из десяти им написанных, было так важно для него, что благодарность ничего не смогла бы выразить и поэтому выглядела бы даже как-то неуместно.

Петя просто сказал, что ни от кого другого он не мог бы это услышать.

— Почему же? — смутилась Ксения. — Я понимаю, в Новоболотове, но в областном центре, в Москве...

— Я посылая свою рукопись в Москву, в журнал.

— Не ответили?

— Ответили и вроде даже тепло. Пишите, мол, не отчаивайтесь! Способности у вас есть. Умения, правда, — это деликатно дали понять, — ещё нет. Учиться надо у классиков и советских мастеров литературы. А как учиться? — спросил Петя уже от себя.

И Ксения поняла то, что нельзя было понять, не пожив в Новоболотове, что хотя отсюда до Москвы и было всего пятнадцать часов езды поездом, дистанция между районным центром и столицей была ещё для Пети Шебунина очень велика. И что письмо из литературной консультации не может дать то, что даёт живое слово. А она, московский доцент Доброво, могущая не научить писать (этому научить не-

льзя), но помочь научиться, была для Пети Москвой в самом Новоболотове. Именно Москвой...

И когда Петя жал ей руку с такой энергией, словно её рука была силомером, Ксения понимала, что не имеет уже теперь права бросить Петю с его повестью, что она обязана помочь ему довести его работу до конца.

Глава девятая Воскресный обед

Первой пришла вместе с мужем Неонила Александровна Васильева. Та самая Неонила Александровна, к которой приходили советоваться десять выпускников и которая тогда ещё не подозревала, что скоро станет деканом факультета языка и литературы. Они с Ксенией были совсем непохожи друг на друга и всё время спорили — диктовать или не диктовать студентам. Но подружились с того самого часа, когда Ксения впервые вошла в маленькую комнатку деканата, где, по преданию, выдавались когда-то свечи для ежедневного церковного расхода.

Глядя на Васильеву, но ещё не зная её, можно было, пожалуй, подумать, что она и сама была причастна к раздаче церковных свечей и с тех самых пор хозяйничает в этой комнатке. Она была худощавая, стриженная, с тёмным лицом иконы старого письма.

Пригласил её в институт Константин Иванович, обнаружив в завуче одной из новоболотовских школ человека, обладающего редкой способностью быть и матерью учащихся, и строгим их пестуном; целиком отдаваться их отметкам и их общему образованию; их поведению на неделе и большой их судьбе. К тому же Неонила Александровна кончила аспирантуру и лет восемь преподавала в институтах введение в языкознание.

В Новоболотове она перебралась после войны. Муж её, Николай Яковлевич, вернувшись с фронта тяжело контуженным, нуждался в полном покое и, как утверждали медицинские комиссии, в сельском образе жизни. Одно это могло вернуть ему равновесие.

В Новоболотове издавна жил отец Неонилы Александровны, мастер спичечной фабрики. Она и сама здесь родилась. У отца был свой домик. При доме фруктовый садик и огород. С десяток кур. Всегда воспитывался очередной поросёнок Васька. Отец был вдов, мать Неонилы Александровны умерла давно. Девушки с фабрики, очень любившие старика, приходили поочередно к нему убирать и стряпать. В саду и на грядках он возился сам. Теперь его почти целиком заменил зять.

Прежде инженер, влюблённый в свою профессию, порой даже пренебрегавший женой ради сборки мотоцикла или каких-то ящичков, которым предстояло перевернуть всё телефонное дело, Николай Яковлевич теперь целыми часами копался на огороде, поднимал вдруг какого-нибудь жука и долго, пристально его рассматривал. Внешне он не производил впечатления больного — крупный, широкоплечий, с румянцем во всю щёку. Только речь была ещё замедленной и затруднённой.

У них родились три года назад близнецы. И Неониле Александровне доставалось изрядно. Полностью на её попечении были муж, отец, дети (в просторечии — близнята) и их нянька Шура, которую в её восемнадцать лет надо было воспитывать не меньше, чем близнецов и студентов. Весь дом держался на Неониле Александровне.

— Не знаете, кто в ближайшие дни в Москву поедет? — воля, спросила Васильева, перебив Ксенины мысли. — Судки бы надо попросить купить, папе обед носить на фабрику.

— А разве здесь нет?

— Не смотрела, — и Васильева улыбнулась. — Все мы привыкли — из Москвы да из Москвы, а иное у самих есть. Только что ромашку и васильки не привозили.

Но спросила она о том, кто едет в Москву, и заговорила о судках явно от смущения, чтобы сказать что-нибудь.

Ксения, конечно, знала Васильеву-декана. Васильеву-жену она видела первый раз.

Первые гости всегда чувствуют себя как-то неловко, словно они проявили меньше выдержки, чем другие.

Но недаром Ксения любила и умела принимать гостей. Зная, что Васильева не обидится, если хозяйка займётся только Николаем Яковлевичем, она достала из чемодана томик Чехова и раскрыла его на рассказе «Крыжовник».

Николай Яковлевич читал, конечно, в своё время этот рассказ, как и другие рассказы Чехова, но из памяти его после контузии выпало многое, не только произведения художественной литературы, но и основы технических расчётов.

Его заинтересовало название рассказа.

— Что это вы, — он не назвал Ксению, так трудно было ему произносить длинные отчества, — сельским хозяйством?.. — Слово «занимаетесь» или «увлекаетесь» он тоже опустил.

— Это же Чехов! — начала Ксения... Но Васильева уже сигнализировала глазами: ему нельзя говорить, что он что-нибудь забыл.

Ксения, однако, сумела так предложить прочесть рассказ вслух, что это несколько Николая Яковлевича не обидело.

Читала она хорошо и знала это. Но лучшего слушателя, чем Николай Яковлевич, нельзя было себе представить. Уже не мывшийся с весны помещик Алёхин в кальсонах вместо брюк поразил его воображение. А история «монашества без подвига», история того, как человек выросл жёсткий и кислый крыжовник и перестал быть человеком, потрясла его совершенно.

— Как это там, Ксения... — он запнулся, и она сама подсказала: «Николаевна», — про молоточек?

И Ксения прочла это место ещё раз: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясётся беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».

Николай Яковлевич встал и поцеловал руку своей жены.

Удачно получилось, что тут пришли именно Пустоваловы.

Ведь Настасья Ивановна всю жизнь занималась сельским хозяйством, пока Симочка, вот -- она показала на дочь, чтобы за Симочку не приняли кого-нибудь другого, — не вышла в вузовские преподаватели и не переехала в Новоболотов...

Они с Николаем Яковлевичем прямо-таки нашли друг друга.

Брату Симы — Серёже, которому могло бы быть неловко в слишком взрослом для него обществе, Ксения подсунула свежие номера «Вокруг света», а сама заговорила с Симой о новостях в Московском университете. Неонила Александровну и не надо было занимать. Она любила Ксению, несмотря на то, что та была столичной косточкой, излишне нарядная приходила в институт и не хотела считаться со студентами, а только блистать своим искусством.

Но Ксения не была равнодушным человеком, и Неонила Александровна оценила это и считала теперь её своим другом на всю жизнь. У Доб-

рово был не только лекторский — у неё был человеческий талант. А у Васильевой у самой было умение обращаться с людьми, и это умение, этот дар она больше всего уважала в других... Сейчас она была больше всего благодарна Ксении за улыбку, которую та сумела вызвать на лице её больного и любимого мужа.

...Сейчас придут ещё гости. Пожалуйста, пусть приходит кто угодно, хоть сам Каиров или Кафтанов. Муж Неонила Александровны сегодня не был ни калекой, ни инвалидом.

Надо сказать, что это был первый выход Николая Яковлевича в свет. Неонила Александровна и сама-то не смогла бы выбраться на этот обед, если бы отец не остался с внуками... Приглашение прийти с мужем, надо признаться, она приняла с большими колебаниями...

Но сейчас она очень радовалась, что пришла с Николаем Яковлевичем... Кто знает, может быть, это начало прежнего.

Действительно, пришли ещё гости. Самые весёлые: Константин Иванович и Сушков. И привели с собой двух дам, из-за них-то они, собственно, и задержались.

— Вы нам разрешите, — сказал Сушков, — представить вам своих дам. Я надеюсь также, что скатерть-самобранка Нины Константиновны...

Одну из дам представлять не было нужды, так как это была Ирина Владимировна Алексеева, которую привёл легкомысленный и милый Сушков.

Вторая дама была торжественно представлена тем же Сушковым:

— Вы имеете честь лицезреть перед собой свою начальницу, супругу самого директора, — и он тут же сыграл туш на тарелках, заблаговременно расставленных Ниной Константиновной.

Действительно, это была Мария Петровна, которой сразу же, как и Алексеевой, нашлось место за «скатертью-самобранкой». Камчатная, добротная, ещё из приданого, скатерть Нины Константиновны с полным основанием могла быть названа так.

Мария Петровна — это ведь недаром была она, а не кто-нибудь другой! — сразу установила преимущества этой гостиницы перед всеми другими гостиницами, что, надо сказать, отнюдь не лишено оснований.

Правда, «Интурист» в Тбилиси или Баку, свердловский «Большой Урал», не говоря уже о московской «Москве» или ленинградской «Астории», были, вероятно, и больше и комфортабельнее... Но другие гостиницы в районных и даже областных центрах не могли состязаться с новоболотовской. Недаром она без всякого добавления называлась просто «гостиница» — от слов «гости» и «гостеприимство».

И это наилучшим образом подтвердила Нина Константиновна обедом, которым она накормила в воскресный день гостей Ксении Николаевны.

Всё вышесказанное и ещё многое другое — о том, как тепло вспоминают Нину Константиновну все, кто пожил под её заботливой опекой, каким другом она бывает для бездомных командировочных и для тех, кто приехал сюда на постоянную работу, но ещё не получил квартиры, — было упомянуто в тосте Константина Ивановича, первом тосте, открывшем пир.

А пир удался просто на славу. Шампанское принесли Константин Иванович с Сушковым. Но всё остальное было творчеством Нины Константиновны. Тут были шляпки маринованные и шляпки солёные, опёнки, грузди, рыжики во всех видах и даже сливы, маринованные каким-то новым способом.

Всё это было, разумеется, заимствовано из запасов Нины Константиновны, ибо такой революции в кулинарно-гастрономической технике не

могла бы произвести и сама Мария Петровна, владевшая секретом тортов «Молния» и печения «Минутка».

Вошла девочка лет тринадцати — Нина, дочка директора гостиницы, заменявшая сегодня Нину Константиновну в дежурке: Константина Ивановича вызывали к телефону. Вернулся он очень быстро. На его худом, подвижном лице играло заговорщическое выражение. Он выдержал паузу, чтобы окончательно заинтриговать всех, потом скромным, тихим голоском произнёс:

— Ксения Николаевна, это звонил мой старый приятель. Славный парень, такой, знаете, без затей. Он хотел ко мне зайти, а я у вас. Вы не рассердитесь, что я его без спроса позвал сюда?

И через пять минут между Настасьей Ивановной и Неонилой Александровной сидел мужчина лет сорока восьми, коренастый, одноглазый, но с очень зорким взглядом, с мощными усами и сочным, часто улыбающимся ртом.

Неонила Александровна была с ним знакома, называла его Сергей Сергеевич, но почему-то смущалась в его присутствии. Сима тоже узнала его.

Ксения же вглядывалась и вглядывалась. Откуда она его знает? Где-то видела. А где? Кто он такой? Константин Иванович просто представил его как своего старого знакомого — Сергей Сергеевич, и всё.

Наконец-то вспомнила... На городском активе, куда она опоздала из-за лекции, он сидел в президиуме. Да это же Дробяско, первый секретарь райкома партии, первый человек в районе, в котором она сейчас работает.

Секретарь райкома был сегодня выходной и вовсе не собирался немедленно начать «осуществлять руководство».

Сначала разговор вертелся вокруг искусства Нины Константиновны. Потом поговорили о московских театрах... Высказали свои предположения о Сталинских премиях по литературе и искусству, которые будут присуждены за этот ещё не окончившийся год.

Заспорили об одной книге. Ирина Владимировна сказала:

— Слишком уж как-то облегчённо пишут.

— Зато народу понятно! — возразила Неонила Александровна.

— Пусть помучаются, если не понимают!

— А зачем же мучиться?

— Помните стихотворение Маяковского «Массам непонятно»?..

Спор разгорался и вовлекал остальных.

Константин Иванович неожиданно сказал:

— А ведь вы знаете, товарищи, это имеет прямое отношение к нашему институту!

И тогда только всем стало по-настоящему интересно. Как ни хорош был и культурен разговор, который они вели до того, но всех их, если говорить по совести, — хотя сегодня и был воскресный день и званый обед, — гораздо больше, чем премьера в театре Ермоловой и то, какую премию получит «Свет над землёй», волновали дела института, с которым все они были связаны.

Испытывая некоторую неловкость перед Дробяско, которому, как ей казалось, должен быть скучен этот деловой разговор, Ксения всё же спросила:

— А какое отношение это имеет к институту?

— Я думаю, вот какое, — заговорил Константин Иванович. — Помните, товарищ Сталин говорил, что мы должны сделать всех рабочих и крестьян культурными и образованными, и со временем сделаем. А мы с вами непосредственно этим и занимаемся. В нашем институте,

вы все это знаете, четыре пятых студентов из села. Из них почти половина фронтовиков, учившихся давно и многое позабывших. Да и те, которые только что кончили сельские десятилетки, подготовлены недостаточно. Не все, конечно, но многие. Очень ещё сказалось и то, что район был оккупирован. Библиотеки сгорели. Школы не работали. Мне вчера один студент сказал с восторгом: «Наконец, я вижу Гоголя в оригинале!». Библиотеку в их селе после освобождения собрали, но Гоголя у них ещё нет. Им только учитель рассказывал «Ревизора» и «Мёртвые души». А мы с вами не имеем права выпустить через четыре или через два года людей недостаточно образованных и культурных, не только потому, что никакому вузу не дано такого права, но и потому, что мы готовим учителей. Вот, значит, и стоит перед нами вопрос — как, получая плохо подготовленных первокурсников, выпустить их настоящими специалистами и людьми широкой образованности?

— Можно мне? — спросил Сушков, словно это было собрание с президиумом и колокольчиком. — Я вам так скажу... Много лет я читаю на первом курсе филологического факультета МГУ. И каждый год мы ругаем медалистов.

— Каких медалистов? — неожиданно спросил Дробяско, погружившийся в кресло в глубине комнаты и, казалось, не слушавший разговора.

— Точнее будет сказать — не медалистов, а порядок, по которому окончивших школу с медалью в текущем и прошедшем году принимают в вуз без экзамена. Иногда, правда, если очень уже большой конкурс — то с коллоквиумом по специальности. Но этот коллоквиум, собственно, защитная мера, которую выработали мы, преподаватели вузов. А то бывало так — примут медалиста без всякой проверки, а потом оказывается, что он и корову-то пишет через «ять» и не уверен, кто именно автор «Современной идиллии». Разница между выпускниками столичных школ и школ крупных городов и выпускниками школ деревенских часто так велика, что, где можно, их так и разбивают на группы.

В дверь постучали. Вошёл Медведь.

— Вот хорошо, что вы пришли! — закричала Ксения Николаевна.

И сразу смутилась, как смущаются люди, нечаянно высказавшие то, что они действительно думают, но чего совсем не собираются оглашать и не знают, подлежит ли это огласке.

— Хорошо-то, хорошо, однако, не зван на пиршество.

— Здесь же одни филологи!

— И руководство.

Понятно, что приход Медведя оказался кстати: речь ведь шла о главной для института проблеме. Он этого, конечно, не знал и вовсе не рассчитывал, что у Ксении Николаевны гости.

Все были так увлечены, что кто бы ни вошёл в эту минуту, разговор уже не мог прекратиться. Нина Константиновна бесшумно внесла какие-то горшочки и баночки, подала Медведю бульон, пирожки, фаршированную курицу, сливочный крем. Он, впрочем, вряд ли мог бы так точно квалифицировать эти блюда и голько понимал, что ест что-то очень вкусное...

А разговор шёл.

Ксения, как бы думая вслух, сказала:

— Всё-таки Москва подравнивает. У меня были такие: на первом курсе, как говорится, сероват. А на четвёртом, глядишь, он и образованный марксист, и знаток литературы, и даже увлекается балетом.

— А Новоболотов не подравняет? — снова задал вопрос Дробяско.

— Кого подравняет? — спросил в свою очередь, естественно, ничего ещё не понимавший Медведь.

— Студентов, — маловразумительно пояснил Константин Иванович, радуясь, что хоть на этот раз парторг, к которому он порой ревновал коллектив, чего-то не знает и не понимает.

Но Медведь всё-таки догадался, о каком подравнивании идёт речь, и сказал:

— Должен подравнять! В этом-то и вся задача.

— А вы как думаете? — Это Дробяско, которого разговор стал явно задевать за живое, спросил Васильеву.

— Я думаю, что всё это высокие материи, а есть вещи более простые и более насущные — программы, учебный план, экзамены, отметки и стипендии. Вы знаете, Сергей Сергеевич, что студент получает стипендию только если учится на пятёрки и четвёрки. А сколько у нас таких, которые могут обойтись без стипендии?

— Вы так думаете? — словно бы некстати, с невинным видом, спросил Константин Иванович.

А Дробяско, ожидая продолжения, протянул:

— Ну и что же?

— А вот — то! — сердито заговорила Васильева, будто отвечала не ему, а кому-нибудь из своих институтских противников. — Читают, как соловьи, а студент, окончивший десятилетку — не у Новикова сто десятую в Москве, а в своей Заболотовке у такого же, как он сам, деревенского парня из периферийного института, а то и совсем без институтского образования, или даже нашу третью новоболотовскую, — записывать за ними не в состоянии.

Неонила Александровна забыла уже, какие нежные чувства питала только что к Доброву, и вся была объята гневом и неприязнью.

Тогда Сима сказала своим звонким голосом:

— Сергей Сергеевич! — Почему-то теперь все стали обращаться к секретарю райкома, хотя не он начал этот разговор и вообще больше молчал. — Я ещё никому ничего не читала, — продолжала Сима, — но я училась, и я тоже деревенская девушка, к тому же незрячая.

Здесь Настасья Ивановна неожиданно всхлинула. Весь этот разговор задевал её больше, чем можно было подумать.

— Дальше, дальше! — невольно вырвалось у Медведя.

— Школа у нас была, правда, неплохая, — попрежнему медленно рассказывала Сима, — хотя и для слепых, подмосковная. Но всё-таки мне в университете было труднее, чем многим. Сын профессора языкознания, который сидел рядом со мной, с пелёнок знал, кто такой Спенсер, а мы в школе этого не проходили, и моя дорогая мама ничего мне не могла о Спенсере рассказать. В таком же положении было много моих товарищей зрячих. Но Ксения Николаевна очень верно сказала, что Москва подравнивает. Мы ведь не только учились в университете. Мы ещё и становились культурными оттого, что жили в Москве. Мы жили очень жадной, богатой жизнью. Даже я.

Настасья Ивановна, услышав всё это, вероятно, впервые, снова всхлинула.

— Ну что ты, мама, как не стыдно?

Сима подошла к матери и поцеловала её. Вернувшись на своё место у стола, она продолжала быстро и взволнованно:

— И нам не делали никаких скидок. Скидки — это унижительно. Если советская власть дала рабочим и крестьянам, даже если они незрячие и инвалиды, возможность учиться и получать высшее образование, надо этим пользоваться по-настоящему. И нечего умиляться на себя и на других: «мужичка, а в ниверситете». Не смей говорить — «ниверситете!» — вдруг крикнула Сима, словно продолжая какой-то

давнишний спор. И мягко добавила: — У меня ведь мама все учёные слова правильно произносит.

— А что тут особенного? — по привычке скрестив руки на груди, спросила Настасья Ивановна и уже прямо вмешалась в разговор. — А что наш (она никогда иначе не выражалась) институт должен быть не хуже московского, так об этом и спора быть не может. А зачем мы парня (имелся в виду Серёжа) с места сняли и сюда привезли?

И только тогда Дробяско вмешался решительно.

— А знаете, товарищи, очень верную мысль высказали Серафима Тимофеевна и Ксения Николаевна. Дело ещё и в общей атмосфере: город не должен быть провинциальным. Это и для города, разумеется, важно и для самого института. У нас всё должно со временем стать, как в Москве, конечно, по возможности и постепенно. Лекции, концерты, читательские конференции, кинофестивали... А кто, товарищи, должен быть застрельщиком этого дела? Вы — профессора, доценты, преподаватели! И студентов надо широко привлекать. А то, товарищи, что же получается? — Он с комическим жестом развёл руки. — Ксения Николаевна, которую в Москве и в республиканских центрах слушали тысячи и десятки тысяч человек (он знал и это!), в Новоболотове читает только для ста пятидесяти трёх студентов? И то её просят читать по-медленнее и поскучнее.

Это было не в бровь, а в глаз, и Васильева опустила голову.

А Дробяско продолжал:

— Один из самых блестящих молодых математиков Ленинграда Медведь ничего не видит в Новоболотове, кроме своего института и своей институтской парторганизации. А в городе и районе десятки, если не сотни школьных преподавателей, которых надо бы подучить и переподготовить. У нас здесь спичечная фабрика, техникумы, специальные школы, воинская часть, театр, самодеятельность, олимпиады... Есть где развернуться! Если студент будет вести литературный кружок в колхозе и читать лекции в цехах, ему тогда будет неловко ходатайствовать о диктовке! А как вы, товарищи, полагаете?

Константин Иванович слушал и думал. Как же это так получается, что не он, всего себя отдавший институту и несколько лет просидевший и даже поседевший (чувство юмора ему не изменяло) на культурно-просветительной работе, не он, а секретарь райкома додумался до таких простых и очевидных вещей. И помогли ему додуматься слепая Сима, малограмотная её мать и приехавшая сюда на гастроли Ксения Николаевна. У секретаря ведь и уборка, и хлебосдача, и строительство новых школ, и пуск электростанции... «А он понял, в чём ключ к нашим затруднениям, скорее, чем я и такой умный наш парторг — Медведь».

Но Константин Иванович был тоже умён и поэтому догадался, что, может быть, так именно оно и должно было быть. Они ушли с головой в институт и в институтские дела и как-то слабее стали видеть всё остальное. А тот руководил маленьким, но сложным миром района и поэтому не мог не смотреть широко.

Ирина Владимировна, о чём-то шёпотом разговаривавшая с мужем Васильевой, здесь вставила первую реплику.

— А ведь навыка самостоятельной работы мысли у них всё равно нет. Вы их хотите — наших студентов — поднять на восьмой-десятый этаж культуры, а многие из них ещё до второго не дошли.

— И что же вы предлагаете? — спросила Неонила Александровна, решив, что обрела неожиданную союзницу в Алексеевой, которую она, в сущности, даже презирала немножко.

Она ошиблась. Алексеева была не против лекторня и широкого

размаха культурно-просветительной работы. Она хотела только всему придать более фундаментальный характер. Прочитать курс лекций о культуре умственного труда и организовать специальные семинары по технике научной работы — вот что она предлагала.

Ей и предложили всем этим заняться, потому что Медведь, знавший её ещё по Ленинграду, сказал, что она была лучшей ученицей Фомина, пионера специального курса техники научной работы.

— Я предлагаю, — сказала тогда Сима, — создать, как в Московском университете, студенческое научное общество, и, пока я свободна, поручить мне, не руководство им, конечно, но его организацию.

Обед был кончен, и разговор был кончен. Ещё и не начинало смеркаться в этот погожий сентябрьский день.

— А в парке городском кто-нибудь из вас был? — спросил Дробяско.

Собираясь в парк, хватились Серёжи Пустовалова — он, оказывается, незаметно убежал. Серёжа был всего-навсего студентом первого курса и чувствовал себя неловко среди начальства и преподавателей.

Шли сначала по улице, потом глухой пустынной набережной с кое-где вырубленными в земле ступеньками, ведущими к реке.

Купались ребята, перекликаясь грубыми мальчишескими голосами. Компания дошла уже до парка, а всё ещё слышалось: «Васька, чего ты там? Иди сюда! Здесь глыбже!».

В парк направлялись парни со спичечной фабрики, в свежих сорочках и разглаженных галстуках, под руку с девушками в шелковых платьях, с перманентом.

Шли военные. Шли штатские.

Квартала за три до парка уже слышалось гудение духового оркестра, афиши обещали кино на открытом воздухе, концерт в раковине и танцы по три рубля за вход.

Но стоило только взять за один-единственный рубль входной билет в парк, как перед вами открывалась сначала аллея серебристых тополей, а потом аллея раскидистых каштанов, упирившаяся в волейбольную площадку.

Ксения подумала с сожалением, что вот уже два воскресения пробыла она в Новоболотове, а и не знала, что в городе есть такой парк.

Дробяско вёл их за собой. Как ботаник показывает свой гербарий, а минералог свои коллекции, так раскидывал он перед своими спутниками богатства новоболотовского парка. И делал он это не только потому, что парк был в его районе; отношение Дробяско к парку было гораздо более непосредственным. Он был одним из тех комсомольцев, которые в 1925 году прибывали над калиткой монастырского сада вывеску — «Новоболотовский городской парк имени Ленинского комсомола».

Поэтому с таким смешанным чувством гордости и тихого сожаления об ушедшей молодости водил он по парку людей, не посадивших здесь ни одного кустика, ни одного цветка.

Он вспоминал, как некогда они, комсомольские активисты города и ближних деревень, ходили по домам уговаривать родителей пускать своих сыновей и дочек в безбожный, как те выражались, сад.

Он вспоминал, как, уже секретарём райкома, года за три до войны, он помог новому поколению комсомольцев украсить и совершенствовать парк. Тогда были построены летний театр и раковина, павильон для библиотеки и другой павильон для буфета.

Окупанты не сожгли деревьев, но, оставляя город, взорвали с глупой жестокостью лёгкие зданьца, затоптали клумбы. Третьему поко-

лению комсомольцев Дробяско помогал восстанавливать парк. Не только восстановили, построили ещё вот этот летний кинотеатр и детский городок. Константин Иванович, знавший биографию Дробяско, понимающе спросил:

— Вспоминаешь, Сергей Сергеевич?

— Вспоминаю.

Не зная истории парка, не представляя себе ничего из того, что всплывало в памяти Дробяско, — ни субботника, на котором он, горластый, здоровенный деревенский парень, распорядился посадкой кустов жасмина, ни другого субботника, где в фойе только что построенного театра его сын, погибший четырьмя годами позже, развешивал свеженькие лозунги, -- все шли в каком-то приподнятом и взволнованном состоянии.

Сима жадно вдыхала воздух, напоённый запахами цветов и хвои. Она шла всё быстрее и быстрее, то и дело спрашивая мать:

— Мама, а какая это аллея? А тополя здесь высокие? Пирамидальные? Серебристые? А какие цветы на этой клумбе?

Ксения, знавшая уже Симу, не удивлялась. Если, не видя, Сима не представляла бы себе цветов и деревьев, если бы мир не был бы для неё, как и для нас, окрашен в разные цвета, как могла бы она понять Толстого и Пушкина, Чехова и Тургенева или полюбить шолоховскую степь?..

Дробяско завёл их на какую-то пустынную лужайку, отгороженную от мира, от Новоболотова и даже от парка густой зарослью кустарника.

Секретарь райкома запел. Он был белорус по отцу и запел свою белорусскую песню. У него был сильный и приятный бас. Все подтянули.

Потом Медведь завёл:

Эй, баргузин, пошевеливай вал!

Медведь был с Байкала. А это была песня о ссыльных, таких, как его отец.

Все поддержали:

Молодцу плыть недалечко..

Пели громко и с увлечением. А лужайка-то на самом деле не была отгорожена от мира. Люди, проходившие мимо — влюблённые и просто гуляющие, молодые и старые, местные и приезжие, — слушали.

— Хорошо поют! -- одобрил старичок в старинной фуражке с большим козырьком.

Прощаясь, Дробяско заметил директору так, чтобы слышали только Мария Петровна и Ксения:

— У тебя, Костя, кажется, с заместителем по учебной части неладно.

— Да, уж!.. — Константин Иванович пожал плечами. Заместителем ему, действительно, удружили.

Совсем тихо Дробяско сказал:

— Проси Ксению Николаевну переехать в Новоболотов. Думаю, неплохой будет заместитель!

И посмотрел Ксении прямо в глаза. Она смутилась и отвела свой взгляд.

— С Москвой трудно расстаться, знаю. Административной работы не любите? Тоже знаю. Но подумайте оба. И вы, и директор.

Они были у его дома. Он попрощался с остальными и вошёл в калитку.

— Это что-то вроде заговора получается! --- сказала ещё не опомнившаяся от неожиданного предложения Ксения Николаевна.

— Заговора? Вы так полагаете?

— Да, я так полагаю. Вчера приходили студенты.

— Студенты? Зачем?

— Сборная делегация литераторов педагогического и учительского просит меня совсем переехать в Новоболотов и перейти в наш, в ваш... институт, на постоянную работу...

— Да! В самом деле? — Удивление директора показалось Ксении несколько наигранным. — Но я же вас не неволю. Условие — отпустить вас в Москву, как только вы ускоренным темпом прочтёте свой маленький курс — свято выполняю.

— Но почему же и Дробяско, и студенты?!

— Не знаю, не знаю, — как-то странно улыбаясь, сказал Константин Иванович. — Институт — наш, а вы — московская.

Глава десятая

Учителя и педагоги

Петя Шебунин бежал, не замечая дороги. Остановился он только у длинного двухэтажного недавно выкрашенного здания.

«Как лошадь сама прибегает в конюшню, так и я в общежитие», — подумал Петя, чувствующий себя уже писателем, которому позволены смелые сравнения.

Он ушёл с самого утра и не знал, что в общежитии готовилось большое событие. Должен был праздноваться первый в этом учебном году, первый в этом институте день рождения. А только тот, кто сам никогда не был советским студентом или не имел детей — студентов, не знает, что такое в вузовском обиходе день рождения.

Объединяют иногда несколько соседствующих по времени дней рождения, чтобы было и дешевле и веселее. А главное — стараются приурочить празднование ко дню выдачи стипендии.

Иногда даже делают так: получают очередную стипендию и начнут спрашивать, кто на этой неделе родился.

— Ну, что тебе стоит — двумя днями раньше отпразднуем!

В общежитии Новоболотовского института оказалось, как иногда бывает на первом курсе, несколько человек, где-то когда-то уже учившихся и по каким-то причинам недоучившихся. Не очень много запомнив из того, что говорилось на лекциях и содержалось в учебниках, такие «вечные студенты» зато великолепно, до тонкостей, разбираются во всех неписаных законах вузовского обихода.

Вчера было двадцатое число. Выдержавшие вступительные экзамены на пять и на четыре и медалисты получили стипендию за сентябрь. Ещё у кассы лысоватый, близорукий парень, который почему-то представлялся при знакомстве не Александр, а Алик, сказал:

— Ну, ребята, у кого день рождения был только что или на днях будет, — признавайтесь!

— У меня, — отозвалась Валя Козина, — во вторник. А почему вы спрашиваете?

— Стипендию получила? Хорошо. Как фамилия? Козина Валентина? Педагог? Литератор? Закрепили. — Он продолжал выкликать: — Ещё у кого в недалёком будущем или прошедшем день рождения? Литераторы, историки, физико-математики, признавайтесь!

Нашлось ещё два человека, чьё рождение приходилось на ближайшие дни, и начались приготовления.

Общежитие помещалось в бывшей казарме. Поэтому недостатка в больших комнатах, даже залах, не было.

В самом большом зале, где жили девушки с исторического, составлялись сейчас столы и сколачивались козлы для скамеек.

Энергичный Алик подошёл к крайней, по-девичьи аккуратно застеленной кровати и крутым жестом завернул сразу покрывало, подзор и потянул простыню.

Владелица кровати и её подруги следили за ним с недоумением и беспокойством.

— Скатерти ведь нужны! — объяснил Алик. — Мы же не богема какая-нибудь!

— Полсжи обратно! — приказала Анна Павловна и принесла от коменданта четыре свеженькие, пахнущие ещё утюгом простыни.

Как раз в ту минуту, когда ловкие руки Анны Павловны расстилали на столах простыни, вошёл Петя Шебунин.

— Подарки принёс? — закричали девушки и Алик.

— Какие подарки? Кому?

— Рожденникам! Кому, главное? — возмутился Алик и торжественно перечислил: — Вале Козиной с педагогического литературного, Саше Иванову с педагогического исторического, Лёне Гурьянову с педагогического физмата.

Пете было неловко, что он, ещё вчера слышавший про объединённый день рождения, забыл о подарках, как забыл и про свой пай в вечеринке. Чтобы замять неприятный разговор, он сказал:

— Одного не пойму, почему только педагоги? Учителя в сентябре, что ли, не рождаются? Узость, замыкание в своём кругу!

Петя, поглощённый совсем другими мыслями, в уме повторявший каждое слово Ксении Николаевны, сказал это, не думая, чтобы перебросить мяч разговора. Но невольно затронул болезненное место.

— А я вам что говорила? — спросила, покраснев до воротничка, Анна Павловна. — Видите, люди замечают! Аристократия какая!

«Педагоги», то есть студенты педагогического института, чувствовали себя, действительно, в некотором роде аристократами по отношению к «учителям», студентам учительского института.

Требования при приёме были формально одинаковыми — та же десятилетка. Но, конечно, экзаминаторы подходили по-разному: один кончит — будет в техникуме преподавать, в педагогическом училище, в десятом, выпускном, классе полной средней школы. Другой не пойдёт дальше седьмого класса. Значит, полагали державшие себя аристократами студенты-педагоги, те, кто лучше, попадают в педагогический; те, кто похуже, — в учительский.

В этом была, конечно, доля правды. И дело было даже не столько в экзаменационных требованиях, сколько в самих студентах, рассчитывающих свои силы и свой учебный пыл.

Но гордецы-педагоги (к их числу принадлежал Алик, учившийся ещё до войны в киевском политехническом и в минском экономическом) забывали, что среди учителей были такие как Фёдоров, знавшие, наверно, больше многих педагогов и во всяком случае обещавшие больше... Или как Воронин, самый выдающийся «литератор».

Анна Павловна, сумевшая поступить в педагогический, потому что сестра согласилась взять к себе её детей на четыре года, знала, что Воронин много образованнее и способнее, и не могла относиться к нему и другим учителям свысока.

Староста своего курса, она не могла отказаться от участия в этой первой вечеринке и не могла в то же время давить на ребят, чтобы они против своего желания пригласили учителей. Но раз Петя Шебунин поднял этот вопрос, она его поддержала.

Петя же понял, что, обмолвившись, попал в самую точку.

— И Серёжу Воронина не позвали? — спросил он.

— Серёжу-то пригласили, он секретарь комсомольского комитета. И Фёдорова позвали, член партбюро и профкома. А обыкновенных ребят не пригласили, — с издёвкой в голосе ответила Анна Павловна.

— Знаете что, ребята, — сказала Валя Козина. — Не всех, конечно, но человек двадцать самых симпатичных учителей надо позвать!

Её послушали.

Вечеринка была в самом разгаре, когда в коридор общежития вошёл сбежавший от «взрослого» разговора и ищущий развлечений, соответствующих его возрасту и положению, Серёжа Пустовалов.

Он пошёл на девичьи голоса, на оглушительные басы двух аккордеонов, на топот пляшущих ног, на деревенское пронзительное пение.

В комнате, откуда вынесли и кровати, и тумбочки, и монументальный гардероб, поместилось человек около ста. Окна были открыты настежь, и всё-таки было жарко.

Было пьяно — не от вина, вина купили мало: не по карману; и не от деревенского пива, оказавшегося у кого-то в бочонке, прихваченном из дому, а от молодого веселья, когда без причины смешно, и не хочешь, а пляшется, и не думаешь, а поётся...

Серёжа обрадовался, что попал к своим — товарищам. И в то же время он удивился: о них — то есть о нас — какой разговор идёт, а они и не подозревают, что такие проблемы существуют!

Он и не заметил, как на нём оказалась чья-то юбка, на голове — беленький платочек, и он уже отплясывал «бульбу» с Петей Шебуниным. Но Серёжа всё-таки не забывал обеденного разговора. И не только не забывал, но и ждал удобной минуты, чтобы рассказать о нём ребятам.

Главной хозяйкой на праздновании выбрали Анну Павловну как старшую. Помогали ей, чтобы было равенство, четыре девушки и четыре парня. Четверо — с педагогического и четверо — с учительского. По факультетам и отделениям такого строгого распределения не было.

Угощение было больше деревенское: не успели ещё доесть привезённое из дому,

За столом Серёжа наконец-то улучил удобную минуту, чтобы привлечь общее внимание, и неожиданно поднял вверх руку, как на школьном уроке:

— А где я был, ребята!

Спросили почти нехотя, из вежливости:

— Ну, где?

Серёжа, которому нужно было только, чтобы начали слушать, ответил:

— У Ксении Николаевны, с сестрой и мамой. А кто там ещё был!

Здесь спросили уже не так лениво — жизнь преподавателей всегда интересовала и будет интересоваться учеников, даже если ученики бородаты и у них самих есть дети.

— А кто?

И Серёжа принялся перечислять гостей Ксении Николаевны.

— Сушков!

Это воодушевило не только литераторов, но и историков, у которых Василий Николаевич тоже читал фольклор и древнюю литературу.

— Васильева! — произнёс Сережа. — С мужем!

И к нему повернулась добрая половина присутствующих.

— Директор, с женой! — почти выкрикнул Серёжа. — Медведь.

Это произвело большое впечатление.

И тогда, чтобы не вызвать разочарования, он скороговоркой про-
бормотал:

— Алексеева.

А под конец совсем ошеломил ребят:

— Дробяско, первый секретарь райкома.

Взрослая и умная Анна Павловна, желая остановить поток Серёжи-
ных сообщений, сказала:

— Ну, был там и хорошо, а теперь у нас погости.

Ей казалось неловким узнавать через студента, о чём говорили пре-
подаватели и начальство, собравшись в гостях, в воскресный день.

— Не в этом дело! — возразил Серёжа. — Они говорили о нас, о том,
что для нас самое главное. И не знаю, — он покраснел, — по-моему,
ничего плохого не будет, если я вам расскажу.

— Смотри! — сказал Фёдоров.

И Анна Павловна повтори́ла:

— Смотри!

— Пожалуйста, — сказал, кусая губу, Серёжа. — Могу и не расска-
зывать.

— Рассказывай, тёзка! — заступился за него Воронин, который был
моложе Анны Павловны и Фёдорова, а потому лучше понимал Серёжу.

И Серёжа приступил к рассказу.

— Они говорили, как сделать так, чтобы у нас в институте и в Ново-
болотове всё стало, как в Москве.

— Ещё чего! — грубо расхохотался Ваня Фомин.

Серёжа нахохлился, но всё-таки продолжал:

— Они не очень хвалили наших студентов. Не всех, конечно. Но,
право же, есть у нас такие, которые знают мало: позабыли или в пло-
хой школе учились... И главное, они говорили, есть такие, которые боль-
ше знать не хотят, вроде Вани Фомина. — Серёже хотелось поддеть
Ваню, и он вплёл в свой рассказ его имя. — А ученикам их... — продол-
жал он с жаром.

— Каким ученикам?

— Будущим! До чего же вы непонятливые! — огрызнулся Серёжа. —
Словом, говорили, чтобы новоболотовскому диплому цена была не мень-
шая, чем московскому.

— Во-первых, никогда этого не будет, а во-вторых, ни к чему это!
Что это мы так уж много знать должны для сельской школы? — со
свойственной ей решительностью заявила Нюра Киселёва.

— Ну вот, приехали! — развёл руками Серёжа. — Вот о том-то и
говорили, что не все мы пока понимаем... А ещё, — перебил он сам
себя, — секретарь райкома сказал...

Как это ни удивительно — в жизни так случается часто, — в эту
минуту в комнату вошёл секретарь райкома Сергей Сергеевич Дробяско.

— Можно, ребята? — спросил он. — Зашёл на огонёк! Так гуляете,
что даже у меня дома слышно!

Он был местный. Многие знали его в лицо. Кое-кто и лично. Некото-
рые даже с военных лет, когда он был и секретарём подпольного рай-
кома партии этого же новоболотовского партизанского района и коман-
диром партизанского отряда.

— Так что же говорил секретарь райкома? — с деланной строгостью
спросил Дробяско.

Серёжа покраснел.

— Не красней, не красней, парень! Правильно сделал, что пришёл
к ребятам и рассказал о сегодняшнем нашем разговоре.

Дробяско просидел у студентов долго, до самого позднего вечера.
Уже часть ребят, любивших поспать, — завтра к девяти на лекцию, —

разошлась по своим комнатам, а он всё сидел. У девчат-хозяек стали слипаться глаза, Дробяско хотел было проститься и уйти. Но Воронин увёл его к себе в маленькую комнату, где он жил вдвоём с Ваней Фоминым. Набилось столько народу, что Валя Козина предложила повесить гамак, а то сидеть негде.

Дробяско говорил почти один. Но он не поучал и не произносил никаких речей. Он просто рассказывал разные истории из своей жизни, как это делают люди, встретившиеся в вагоне или в доме отдыха.

— Вы бы меня видели, как я в поезде ехал в Москву, на рабфак! Отец дал мне рубль серебром, а мать — мешочек с сухарями. И знаете, как я в дороге спал? — Видимо, представив себе самого себя, каким он был двадцать с лишним лет назад, секретарь райкома расхохотался. — Под голову положил и сухари, и рубль серебром, и новые смазные сапоги. От моей головы, наверно, с неделю дёгтем несло... Стеснительный я был до невозможности. И потом, когда в университете учился. Пригласят меня к себе ребята москвичи, из тех, кто жил дома. Особенно один часто и охотно приглашал. Они жили хорошо: у него отец — крупный инженер. Какая это для меня всегда му́ка была! Учился я, без ложной скромности говоря, хорошо. Читал много. В театре не раз побывал. Но посадят меня в этом доме за стол... Помню, раз у них гости собрались. Мать, конечно, и товарища сына пригласила к ужину. Сажу я на кончике стула и всё в пол смотрю. И вдруг мне какая-то нарядная дама говорит: «Молодой человек, передайте мне, пожалуйста, провансаль!» Хоть под землю проваливаться! Что за провансаль такой? А вы знаете, ребята?

— Соус, — очень спокойно ответил Воронин. — Подаётся к рыбе, салат им заправляют.

— Вот видите, вы знаете, а я не знал, — со вздохом успокоения сказал Дробяско, намеренно не замечая, что не все смогли бы ответить на этот вопрос.

— Или такой случай был, — начал он другую историю, усевшись поудобнее на самодельной кушетке и разжигая трубку. — Даже не в университете, а в аспирантуре. Написал я, как сейчас помню, доклад по историческому материализму. В аспирантуре ведь доклады пишутся, печатаются в нескольких экземплярах на машинке и раздаются для предварительного ознакомления. Так вот, для иллюстрации мысли понадобилось мне сослаться на автобиографическую трилогию Толстого. И знаете, как я всех этой ссылкой насмешил! Написал так — всё русскими буквами: «Толстой в главе «Комеильфаут» говорит то-то и то-то»... Только появился мой доклад в библиотеке, как товарищи мои подходят ко мне один за другим и спрашивают: «Что это ты написал? В трилогии такой главы нет!» — «Как это нет, — говорю, — когда есть!» — «Пари!»

— И кто же выиграл? — не выдержали новоболотовские студенты, вспоминая «Детство, отрочество и юность», есть ли там такая глава, с непонятным названием.

— Я что-то такой главы не помню! — сказала любившая и хорошо знавшая Толстого Анна Павловна.

— Так это же «Ком иль фо»! — воскликнула сосредоточенно думавшая Валя Козина.

— Ну конечно! — улыбнулся Дробяско. — А мне тогда так ещё недоставало общей культуры, что я, не зная французского языка, не умел и читать по-французски и не знал этого общеупотребительного в дворянском, разумеется, обиходе выражения. Но ведь, собственно говоря, хорошее воспитание — вещь полезная и отнюдь не во всех проявлениях классовая!

— А по мне — все эти подавания платков и правила насчёт того, когда пользоваться ножом, а когда вилкой — чепуха! — наступал Ваня Фомин, который любил резать правду матку и не трусил перед авторитетами.

Дробяско улыбнулся.

— Так ведь, голубчик, всё, что ты говоришь, уже было, ещё и не то было! Вы вот все разве только из литературы знаете, какая борьба велась вокруг проблемы галстука.

— Какого галстука? — переспросила Валя Козина.

— Можно ли носить галстук — об этом в двадцатые и даже тридцатые годы устраивались горячие диспуты. И были такие, что считали это некомсомольским поступком. Мне было трудно в университете, выпускали тогда быстро — за три года. Но интеллигентам было труднее, хотя — по другой причине...

— Каким интеллигентам? — заинтересовался Фёдоров.

— Работникам умственного труда и детям интеллигенции. Преимущественное право при поступлении в вуз предоставлялось рабочим, крестьянской бедноте и их детям. А сыну врача, например, или сыну учителя было поступить трудно...

— Почему? — возмущённо спросили дочь врача-ларинголога Валя Козина и учительница Анна Павловна.

— Потому что надо было выправить многовековую несправедливость. Надо было создать рабоче-крестьянскую интеллигенцию. Разве вы этого не знаете?

Они знали вообще, тесретически.

— А теперь вообще нет деления на старую и новую интеллигенцию. И на крестьянство и рабочий класс, с одной стороны, и интеллигенцию, с другой — тоже скоро совсем не будет деления.

Это были обыкновенные правильные слова, много раз встречавшиеся каждому из студентов в газетах. Но сейчас в устах Дробяско — интеллигента из крестьян — они прозвучали по-новому.

— Верно, — задумчиво сказала Анна Павловна. — Вот, например, Белоусов старый интеллигент?

— Да, конечно. Ему шестьдесят, и он был приват-доцентом ещё до революции.

— А Константин Иванович?

— Ясно, тоже старый интеллигент! — Это ответил уже не Дробяско, а за него Ваня Фомин, не очень одобрявший директора института.

— Не может он быть старым интеллигентом! — возразила ему Анна Павловна, слышавшая на партийном собрании, как директор рассказывал свою биографию. — По годам хотя бы даже не может, ему в революцию всего четырнадцать лет было.

— Он сын машиниста, Константин Иванович. — сказал Дробяско, чтобы разрешить спор. — И тоже не по бархатной дорожке шёл к культуре, а если он сейчас симфоническую музыку слушает и любит хорошо одеться, так это, — Сергей Сергеевич повысил голос, — так это безусловно правильно! Мы же хозяева, и для нас всё лучшее на земле, и коммунизм — это изобилие всех благ и материальных и духовных.

И опять всем известная истина стала очень близкой и очень конкретной, как будто бы именно здесь, в этой маленькой комнате сосредоточились сейчас все духовные блага.

А Воронин, повернувшись к Ване Фомину, с которым он всегда спорил, но без которого не мог обойтись, назидательно произнёс:

— Ты вот только то понимаешь, что в колхозе должен быть хороший урожай и на трудовые должны много выдавать, а изобилия духовных благ тебе не нужно!

— Опять я!

— Опять ты!

А Дробяско уже говорил о другом. Он листал книги на личной полке Серёжи Воронина. И, кончив листать, спросил:

— А читаете вы, ребята, как — в одиночку?

— Что это значит — в одиночку? Что не устраиваем диспутов, читательских конференций? Мы ещё не успели. Три недели только занимаемся,— ответил Воронин.

— А какое бы нам произведение выбрать для читательской конференции? Как вы посоветуете, Сергей Сергеевич? — спросила Анна Павловна, которая была человеком дела.

— А вы как думаете?

— Я думаю, лучше всего — на студенческую тему. Это для нас самое интересное и самое новое, непривычное...

Ребята поддержали её.

— О студентах! Правильно!

— А есть такие книги? — буркнул Ваня Фомин, боясь попасть впросак.

— Конечно, есть. Одна даже Сталинскую премию получила — «Трое в серых шинелях» Добровольского. А ещё «Университет» Коновалова. Почитайте, подумайте!

И так же незаметно, как появился в студенческом общежитии, секретарь райкома исчез, оставив в комнате пряный запах трубочного табака.

— Спать, ребята! Спокойной ночи! — первая прервала молчание Анна Павловна.

— Дерзких снов и смелых дел! — сказал Петя Шебунин.

• Недаром он был писателем.

Глава одиннадцатая

Как в Москве

Секретарша Люся сидела у телефона.

— Квартира профессора Белоусова? Профессора нет дома? Говорит секретарь директора института. Константин Иванович просил профессора зайти к нему. У Павла Павловича нет сегодня лекций? Всё равно! Директор просил как можно скорее.

— Исторический деканат? Передайте, пожалуйста, товарищу Лебедеву, что Константин Иванович просил зайти к нему. Он будет до двух.

— Биологический корпус?

— Общежитие?

Перед Люсей лежал небольшой список. Против одних фамилий она ставила плюс, если заставала требуемое лицо и получала согласие прийти к директору. Против других фамилий она ставила вопросительный знак. Кто его знает, придёт ли профессор доктор Белоусов?

Заведующего кафедрой марксизма-ленинизма доцента Громова она разыскала так: звонит в деканат — нет; звонит домой — нет; звонит в райком — нет. В парткабинете тоже нет. Тогда телефонистка сообщила: «Он пошёл купаться на Бережок (полуостров на реке). Как пойдёт обратно, скажу, чтобы позвонил вам».

...Первым пришёл Лебедев.

— Вы меня вызывали, Константин Иванович?

— Приглашал. Здравствуйте! Пожалуйста, садитесь.

Лебедев присел на кончик стула и вопросительно посмотрел своими голубыми близорукими глазами на Константина Ивановича.

— Вот зачем я вас пригласил, Григорий Павлович. Вы знаете, у нас,

у ряда товарищей, словом, возникла мысль, что нужно не просто стараться хорошо работать, но продумать целостный план всего необходимого, для того чтобы наш институт постепенно стал таким же, как столичные вузы. И вы должны принять в этом активное участие.

— Да-а? — удивлённо протянул Лебедев. Он никогда не работал в столичном вузе и никогда не заботился о том, чтобы работать хорошо, а только о существе того дела, которым был занят. Сегодня — о путешествиях Васко де Гама и Магеллана, завтра — об открытии Америки. Через месяц о Лютере и Кальвине. Он даже никогда не старался найти какую-то специальную увлекательную форму работы. Но он сам был так увлечён своим предметом, что это увлечение не могло не передаваться его слушателям.

Он действительно знал сплетни, имевшие хождение при дворе Изабеллы и Фердинанда, и все подробности о Марате и Дантоне лучше, чем тонкости взаимоотношений на той кафедре истории, где он прослужил восемь лет. Поэтому предложение Константина Ивановича поделиться с товарищами своим педагогическим опытом и комплименты, щедро отпущенные ему директором, что он, мол, читает блестяще, соединяя содержательность с увлекательностью и точнейшим учётом данной аудитории, что он несколько не уступает столичным преподавателям — всё это застало Лебедева совершенно врасплох.

Как он мог учить кого-нибудь педагогическому искусству? Он, который за всю свою жизнь не прочёл ни одного методического пособия и в то же время никогда не сталкивался со сколько-нибудь серьёзными трудностями, которые надо было бы преодолевать.

Почему-то студенты никогда не получали по его предмету двоек, и вообще ему не приходилось приохочивать их к всеобщей истории. Наоборот, они всегда его радовали тем, что быстро становились энтузиастами его дисциплины, и брали у него книги, и приходили к нему домой, и с удовольствием записывались в научное общество исторического факультета. Пожалуй, даже он виноват в том, что иногда в тематике общества получался чрезмерный крен в сторону всеобщей истории... Вот об этом, может быть, стоило рассказать товарищам. Но учить других? Нет, уж от этого он просит его уволить — это было бы беззащитной самонадеянностью...

Константин Иванович слушал Лебедева довольно терпеливо, но потом встал и сказал весьма решительно:

— Придётся учить. Мы назначим ваш доклад для всего профессорско-преподавательского состава через неделю, в этот же день, в два часа. Просто расскажете о том, как вы преподаёте. Кстати, скажите, пожалуйста, вы получаете записки от студентов?

— Записки? Да, конечно... — Лебедев опустил руку в карман. Улов был довольно велик: семь или даже восемь записок.

— Можно посмотреть? — спросил Константин Иванович.

Записки были разные — со сложными вопросами и с вопросами довольно элементарными. Но все по существу курса.

— Простите, ещё один вопрос. Вы никогда им не диктуете? То есть на тех лекциях, которые я слышал, конечно, вы не диктовали...

— Диктую? Я не совсем понимаю ваш вопрос?

— Тогда мне и так всё ясно. Не отвечайте.

Лебедев встал, чтобы уйти.

— Подождите одну минуточку! — остановил его Константин Иванович. — Я хочу вам сделать небольшой подарок. — И вынул из левого ящика стола галстук, синий с тёмнокрасными разводами.

Щёки Лебедева стали краснее разводов на галстуке. Наклонив голову, он оглядел самого себя. Мятая рубашка из полосатого, дешёвенького

зефира была расстѣгнута у ворота, в дырочке болталась запонка. Ни воротничка, ни галстука!

Лебедев скомкал галстук и никак не мог засунуть его в карман, всё попадал мимо.

Константин Иванович забрал у него галстук, аккуратно расправил, взял из стопки лист белой бумаги, завернул и сам положил в карман Лебедевского пиджака.

— Провинция, — сказал Лебедев застенчиво, — опускаешься...

— Костюм хороший у вас есть? — спросил Константин Иванович.

Лебедев не успел ответить, как в дверь постучали.

— Войдите, — не глядя, отозвался Константин Иванович и предложил: — Садитесь.

Вероятно, он знал, кто войдет.

В дверях показался человек лет пятидесяти, сверкающий белизной седых волос и черными жгучими глазами. Это был недавно избранный председатель месткома Наяджиев. Вопреки своему темпераментному облику, он тихонечко уселся в углу.

— Вы знакомы? — спросил у Лебедева Константин Иванович.

Но Лебедев не умел переключаться. Его спросили о костюме, он и думал о костюме.

— Костюм? — он оглядел себя ещё раз, на этот раз всего.

Константин Иванович смотрел вопросительно. Наяджиев старательно раскуривал трубку.

— Есть ещё какой-то. Но, наверно, тоже нехороший, — сказал Лебедев, растерянно улыбаясь.

Он перевёлся сюда из Владимира, где, вероятно, директор не дарил ему галстуков. Он был холост, некому было попенять ему, что он так небрежно одет.

— Деньги у вас есть? — спросил Константин Иванович, и председатель месткома, сидевший в уголке и дымивший трубкой, тоже повторил:

— Да, деньги. Деньги у вас есть?

Константин Иванович стал за спиной Лебедева и положил руку ему на плечо. Это означало, что не надо торопиться с ответом и что разговор дружеский.

— Деньги? — переспросил Лебедев и вытащил из карманов какие-то трѣшки, рублѣвки, серебро, медь...

— Маловато, — сказал Константин Иванович.

— Не густо, — подтвердил своим гортанным баском Наяджиев.

— А зарплата? — неожиданно громко воскликнул Лебедев. — Вчера звонили из бухгалтерии, чтобы я пришёл за зарплатой. И дома у меня есть, наверно, деньги. Я ведь привёз с собой что-то много.

— Вы в этом уверены? — спросил Константин Иванович. — А то можно выписать аванс в счёт зарплаты, с погашением в рассрочку.

— Или, — подхватил Наяджиев, — из месткомовских средств.

— Есть у меня деньги, Константин Иванович, право же есть. — Лебедев уверял своих собеседников, точно вопрос о приобретении для него костюма был уже окончательно решён.

Но вопрос был действительно решён.

— Я договорился, — сказал Константин Иванович, — с офицерским ателье, оно лучшее в городе, что в двухнедельный срок они сошьют сколько потребуется мужских и женских костюмов. Они получили хороший бостон и трико. С их прикладом. Давайте я сейчас позвоню, соединю вас, и вы договоритесь, когда зайдёте выбрать материю, фасон, снять мерку.

Константин Иванович снял телефонную трубку.

— Агелъе? Сейчас с вами будет говорить преподаватель института товарищ Лебедев. Договоритесь, пожалуйста, с Григорием Павловичем, когда он зайдёт к вам оформить заказ на костюм. Да, вы правы, он очень занят, пусть назначит время сам. Костюм? Костюм должен быть превосходным, соответственно заказчику. Передаю трубку.

И когда озадаченный Лебедев что-то залепетал в трубку, Константин Иванович сначала подбадривающе шепнул ему: «Энергичнее, энергичнее!», а затем, видя бесплодность своих усилий, просто вырвал трубку из его рук и сказал:

— Григорий Павлович к вам заедет сегодня же, часа в три, — и, повернувшись к Лебедеву, спросил его так, чтобы в трубку было слышно: — Заседаний нет у вас сегодня, Григорий Павлович, или чего-нибудь после лекций? Вот и прекрасно! — И опять в телефон: — Или сделаем так: я сам заеду с Григорием Павловичем, чтобы он не должен был вас искать.

И, повесив трубку, Константин Иванович заключил:

— Григорий Павлович, дорогой, вы пообедайте и ждите меня в общежитии, я на машине заеду за вами.

Профессор-доктор, как полусхута называли Белоусова на факультете и в учебной части, ходил уже в директорской приёмной вокруг Люсиного стола.

— Собственно говоря, я желал бы знать, зачем я так срочно потребовался директору? — И вся его фигурка с заложенными за спину руками выражала негодование. — День — вакантный от занятий, можно посвятить его научным трудам.

Труды эти, между нами говоря, сегодня состояли в том, что профессор самолично отправился на базар и закупил продуктов до следующего вакантного от институтских занятий дня. Это всегда доставляло ему удовольствие.

Люся была озорной девчонкой, о чём нетрудно было догадаться по её вздёрнутому носу, и хотя директор строжайше приказал ей пригласить к нему Белоусова со всевозможными предосторожностями, именно пригласить, а не вызвать, — она ничего этого, как мы знаем, не выполнила.

— Не знаю, Пал Палыч, — лукаво улыбаясь, отвечала Люся. Надо сказать, что она никогда не отнимала второй трубки от уха, когда директор разговаривал о чём-нибудь интересном, а при личной беседе по всякому поводу входила в кабинет. Вряд ли Люся не знала, зачем Константин Иванович вызвал профессора-доктора.

Впрочем, директор, провожая Лебедева, сам вышел в приёмную.

— Павел Павлович, — сказал он, улыбаясь самым любезным образом. — Жду вас. Большое спасибо, что, оторвавшись от своих трудов, зашли ко мне. Прощу! — И, распахнув дверь, он пропустил вперёд маленького сердитого старичка.

Наяджиив встал ему навстречу и тоже почтительно поздоровался...

Через двадцать минут профессор Белоусов стремительно вышел из кабинета и пробежал через приёмную в коридор. По тому, как он размахивал руками, снимал и снова надевал очки, Люся поняла, что он раздражён. Но профессор так ничего и не сказал, пробурчав только уже за дверью что-то вроде «до свидания».

Когда Белоусов скрылся из виду, Люся срочно придумала предлог и вошла в кабинет.

Директор стаял у окна спиной к Наяджииву, видимо, чтобы скрыть смущение, и говорил ему:

— Ничего не вышло. Видите, не хочет. И в научном обществе рабс-

тать не будет. И популярных лекций о языке не прочтёт. Да ещё и обиделся насмерть из-за костюма...

— Не огорчайтесь, Константин Иванович! Бывают и неудачи.

В приёмной уже ожидали Громов с мокрыми волосами, с непросохшим воротом рубашки и сухой, поджарый физик Скачков.

Глава двенадцатая

Война птиц

Медведь вставал рано. Уроженец тайги, он не мог пропустить пробуждения природы. Где бы он ни жил — в Москве, Ленинграде, в Вене, в доме, в избе, в землянке, в окопе, — он просыпался с восходом солнца. И если приходилось поздно ложиться, он или недосыпал или старался доспать днём.

В Новоболотове человек ближе к природе, чем в больших городах. В скучном дворе ленинградского дома, где жил Медведь, природу представляли только чахлое дерево и кусочек серого неба. В Новоболотове, просыпаясь, он слышал крик петуха, разногласицу вольных птиц. Окно его комнаты выходило на овраг, и, казалось, в воздухе висели сквозная берёза, красные сосны, старый, даже на расстоянии яркозелёный дуб.

Сегодня для Медведя границу между ночью и утром установил не только восход солнца, но и большая распря в саду, рядом с домом. Воробьи — известные драчуны и скандалисты — выгоняли синиц и скворцов, этих верных помощников садоводов. Синица — старая знакомая Медведя, которой он всегда припасал лакомства: зёрна, а то и кусочек мяса, — подлетела к его окну и жалобно заговорила на своём птичьем языке. Медведь понимал его, как понимал он и язык собак и лошадей. Она, честная труженица, жаловалась на воробьиное ленивое и бессовестное племя. И гнёзд-то себе не вьют, а всё на чужие зарятся. В июне стрижей и ласточек выгнали. И пищу у порядочных птиц отнимают. И вам же, людям, вред приносят!

Вот что означало её «тю-и-тю, тю-и-тю».

Медведь высунулся из окна и замахнулся на воробьёв. Его окликнул робкий женский голос.

— Лев Ильич! Вы не спите?

Кто бы это мог быть? Единственная женщина, которой обрадовался бы Медведь, не придёт к нему поутру.

Не узнав ещё окликавшую и даже не разглядев её из-за солнечного луча, бившего прямо в окно, Медведь крикнул:

— Кто меня спрашивает? Проходите. Дверь не запирается.

На пороге остановилась немолодая, степенная женщина, с прямым пробором в чёрных волосах. У Медведя была хорошая зрительная память. Он видел эту женщину едва ли больше двух раз, но узнал сразу.

— Настасья Андреевна! — воскликнул он с оттенком удивления. Но не сказал обижającego людей, которым мы нужны. «слушаю» или «чем могу служить?». А только пододвинул ей стул.

Настасья Андреевна, домработница и домоуправительница профессора Белоусова, пришла к Медведю потому, что, как она понимала, с её хозяином произошло что-то неладное. Даже она, далёкая от общественной жизни по самой своей должности, знала, что с бедой люди идут к секретарю парторганизации.

Неладное выразилось в том, что вчера, вернувшись из института, старик разнервничался и велел укладывать его вещи, да не так, чтобы на коротенькую командировку в Москву, а навсегда. И ей самой велел укладываться.

Медведь ничего не понимал. Он понял только, что старик чем-то огорчён, что он — Медведь — должен успокоить Белоусова и во всяком случае разобраться в том, что произошло с профессором.

Настасья Андреевна попросила Медведя ничего не рассказывать Павлу Павловичу, а то старик не посмотрит, что она на него всю молодость убила, возьмёт да и выгонит!

И перед Медведем как бы приоткрылась завеса чужой жизни. Была, наверно, молодая здоровая деревенская девушка. А привела её судьба к учёному, одинокому человеку, и всё лучшее, что было в ней — молодость, здоровье, силу первого нерастраченного чувства, — отдала она сухому, нелюдимому профессору, который подарка этого не только не принял, но скорее всего и не заметил.

— Не беспокойтесь, Настасья Андреевна, не скажу. Просто зайду к нему от себя. А вы сами по себе домой вернётесь.

Медведь отправился к Белоусову.

Очень уж хорошо было это утро затянувшегося бабьего лета. И как ни хотел Медведь сосредоточиться на мыслях о профессоре-докторе, а всё задирает голову кверху, и то посмотрит на пену движущихся облаков, то последит взглядом за полётом птиц. Почти всю дорогу его провожала одна скворчиха. Он едва не задел головой её гнезда, и ей надо было увести этого великана подальше, чтобы не разорил её дома.

Профессора он нашёл в спальней. Только краешек профессорской спины торчал из-за большого чемодана.

— Настасья Андреевна куда-то запропастилась, — растерянно произнёс старик, словно Медведь должен был знать об его отъезде. — А у меня всё что-то не так получается.

Медведь легонько отстранил профессора и, ни слова не говоря, навёл порядок в чемодане.

— Запирать? — спросил он с таким видом, словно упаковка профессорского чемодана была для него делом повседневным и не требующим обсуждения. И уже только когда чемодан был заперт, а постель затянута в портплед и ремни, Медведь очень спокойно спросил: — Да, кстати, Пал Палыч, куда же это вы собрались?

— Я? Куда собрался?? А я думал — вы знаете. Я только что звонил товарищу директору... Он ещё спал, но жена — кажется, это жена — обещала ему передать.

— Нет, откуда мне знать?

— Действительно вы не знаете, зачем меня приглашал директор?

— Конечно, не знаю. — На этот раз Медведь говорил правду.

Профессор открыл дверь в коридор и крикнул своим дискантом:

— Настасья Андреевна, опять вы на моём столе убирали? Где словарь?

Обычной своей бесшумной походкой вошла Настасья Андреевна, словно она никуда не уходила, и подала хозяину книгу.

— Сами, небось, в переднюю вынесли да забыли на подзеркальнике, а с людей спрашиваете!

— Чем же вас огорчил, профессор, вчера директор и почему вы собрались уезжать? — спросил Медведь, действительно не понимавший, что могло произойти, и винивший себя в том, что до сих пор мало интересовался чудаковатым стариком.

У дверей позвонили. Это пришёл Константин Иванович, которому, очевидно, Мария Петровна обрисовала серьёзность положения. Увидев опередившего его Медведя, Константин Иванович даже крикнул.

Константин Иванович сразу догадался, что произошло, увидев уложенный чемодан, расстроенного старика...

«Винovat, — хотел было сказать Константин Иванович, — поступил бестактно».

Но, если бы он это сказал, получилось бы ещё хуже. Он стоял молча. «Благодетель какой выискался... позаботился о человеке, называется! Шляпа ты, Константин Иванович, и больше никто, и звать тебя никак иначе!» Так ругалась бабушка директора, когда очень сердилась на внука.

Молча понося себя этими выражениями и ещё многими другими, Константин Иванович не находил слов, которые следовало бы сказать профессору.

Слова нашёл Медведь, самые простые:

— Об отъезде вашем, Павел Павлович, не может быть и речи. Мы очень гордимся вами. Это — честь для института иметь такого заведующего кафедрой, как вы.

Теперь и Константин Иванович смог добавить:

— Мы вас ни за что не отпустим. Мы вас любим и ценим. И я лично... Даром я что ли хлопотал столько о вашем переводе к нам? А если я, профессор, виноват перед вами, простите меня великодушно!

Оба они не жалели для огорчённого старика ни заботы, ни ласки. И Белоусов отходил с каждым их словом.

— Ладно, — сказал он, надув губы, как ребёнок. — Настасья Андреевна, распакуй чемодан, попробую остаться...

От пережитых волнений старик ослабел, стало плохо с сердцем. Оставив его с Медведем, Константин Иванович позвонил в клинику Марии Петровне, чтобы та зашла применить свою «медицинскую терапию» сверх той душевной, которую применили они.

— Приду, — ответила Мария Петровна, — через полчаса, а пока уходите. Пусть он спокойно полежит один!

Медведь и Константин Иванович ушли, оставив профессора под неусыпным наблюдением Настасьи Андреевны.

Директор и парторг шли молча и молча же попрощались, дойдя до домика Медведя. Ещё не было девяти часов, в институт игги рано.

Не заходя домой, Медведь прошёл в сад. Воробьи окончательно изгнали синиц и скворцов. Его знакомая синица одна летала вокруг. Она подлетела к Медведю и снова пожаловалась на обидчиков.

— Видишь, как получилось, — объяснил синице Медведь, — тут человека одного, хотя и хорошие люди, обидели. Тоже чуть на бобах не остался из-за сущей чепухи. То-то...

Синица понимающе прошептала и улетела. А Медведь следил за её полётом, пока она не скрылась за высоким тополем.

«Вот и единственная моя подружка улетела», — подумал Медведь и сказал вслух: —

— Да и вообще они скоро улетят в жаркие страны. А нам здесь одним зимовать...

Мысль его перешла на ту, которая тоже не хотела зимовать с ним в Новоболотове и вот-вот улетит. — не в жаркие страны, а в Москву.

Глава тринадцатая

Большой разговор

В этот же день, только значительно позже, после того, как у Белоусова побывала Мария Петровна и он принял все прописанные ею лекарства, его, задремавшего в кресле, оглушил требовательный телефонный звонок.

— Кто там ещё? Настасья Андреевна, подойдите и спросите поточнее.
 — Из института, Пал Палыч, срочно!
 — Из института? Кажется, недавно директор и парторг от меня ушли.

— Это не директор, Пал Палыч, это кто-то из студентов скорее. Старик взял трубку.

-- Профессор! — Студенты знали, что Белоусов любит, когда его называют именно так. — Простите, пожалуйста, что я вас беспокою, да ещё и дома.

— Кто говорит? — решительно перебил Белоусов, убедившись, что это не директор и не парторг.

— Говорит Воронин, секретарь институтского комитета комсомола. Профессор, вы получили наше приглашение на сегодняшнее открытое комсомольское собрание?

— Получил. Но, — профессор искал, чем бы отговориться, — из комсомольского возраста я вышел давно.

— Профессор, то, с каким воодушевлением вы читаете свои лекции (это была довольно грубая лесть), заставляет забывать об этом.

Старик заколебался.

— Ну, если я могу быть вам полезен...

-- Не только полезны, абсолютно необходимы! В пять сорок пять машина будет у вашего дома. Спасибо!

Профессор, который был любопытен, так и не узнал, зачем он понадобился на комсомольском собрании. И хотя бы поэтому — не пойти на собрание он уже не мог.

Больше того, он удивил Настасью Андреевну неожиданным требованием достать из сундука его парадный чёрный костюм.

Войдя через полчаса за какой-то надобностью в спальню, Настасья Андреевна увидела, что её хозяин, которому в эти часы полагалось заниматься у себя в кабинете, стоял на коленях у комода и рылся в нижнем ящике.

— Что вам, Пал Палыч, почему не спросите? — укоризненно произнесла Настасья Андреевна.

Старик смутился.

— Да вот галстук под цвет не найду!

На комоде уже лежали щегольская сорочка и шёлксовые носки. В коробочке с бархатным дном блестели запонки.

-- Костюм достали, голубушка? — Профессор был непривычно обходителен. — Я скоро вернусь. К моему приходу отутюжите?

И, пройдя столовую и прихожую и даже не заглянув в свой кабинет, вышел на улицу.

Настасья Андреевна осторожно выглянула в окно. Профессор пересёк мостовую и вошёл в парикмахерскую на другой стороне улицы.

Как ни были все заинтересованы только что начавшимся докладом Фёдорова (ему было поручено доложить о ходе учебных занятий), по залу прошёл гулкий шёпот, когда в дверь вошёл хотя и бочком, но в то же время с чувством собственного достоинства профессор-доктор Белоусов.

Подстриженный, безукоризненно побритый, с игриво загибающимися усами, в чёрном костюме, в элегантных полуботинках — это был действительно профессор-доктор!

Президиум встал, его приветствуя. Те, кто сидел у дверей, проводили его в первый ряд.

Он опоздал. Разбирался уже второй вопрос. Первый — о культурно-просветительной работе в институте и городе (докладчиком был Воронин) — прошёл быстро и гладко.

Фёдоров был студентом, но он был и опытным педагогом. Поэтому он сделал не доклад вообще, а доклад, рассчитанный именно на эту аудиторию. Фёдоров не мог знать всех сидевших в зале. Но он знал многих. Ваня Фомин, например, был в его представлении не только Ваней Фоминым, но и представителем целой категории (правда, не столь уж большой) других Фоминых, лично Фёдорову не знакомых. Петя Шебунин, любивший литературу, но бывший не в ладах с правилами письменной и устной речи, тоже не был одинок. Фёдоров превосходно понимал, что если на их отделении списывают из учебников литературы и русского языка, то математики списывают формулы, решения задач или, как это там ещё у них называется, из своих, неведомых ему, источников.

Институт работал один месяц. Ещё далеко было до зимней сессии. Но после неё будет поздно бить тревогу. Уже сейчас — и на практических занятиях, и по тому, как записывались лекции, и по тому, какие книги брали в библиотеке, и по разговорам в общежитии — видно было, что за опасности подстерегали на экзаменах.

Всё это Фёдоров высказал в своём докладе.

— К тому же, — прибавил он, — многое показали вступительные экзамены. Некоторых из нас приняли в кредит. Поверили, что мы на протяжении года восполним недостаточность своей подготовки.

— А тебя? — закричал с места Ваня Фомин.

— И меня.

Тут Серёжа Воронин, председательствовавший на собрании, встал с своего места и с каким-то маленьким ящиком подошёл к самому краю эстрады. Серёжа поставил ящик на пол и поднял руку, чтобы на секунду остановить Фёдорова. Обращаясь к залу, Воронин объявил:

— Вопросы в письменном виде опускайте в этот ящик!

Сушков, улыбаясь, сказал Ксении на ухо:

— Слышал, наверно, что так делают на сессиях Академии наук. Ну что ж, очень хорошо...

В ящике сразу появилось несколько вопросов в письменном виде. Фёдоров продолжал:

— Но по вексям-то надо платить! А что у нас получается? Вот... — Фёдоров вынул из своего старенького, очень аккуратного портфеля целую пачку бумажек различного вида и формата. — Я собрал эти студенческие записки у пяти преподавателей различных факультетов и отделений. Выборочным, так сказать, методом. А сейчас прочту вслух некоторые из них. Читаю: «Ничего из того, что вы говорите, не понимаю. Тригонометрию забыла, а вы на неё ссылаетесь!».

В зале поднялся лёгкий шум.

— Читаю вторую, — сказал, не обращая внимания на шум, Фёдоров: — «Что за фараон? Кого так звали?» Третью читаю: «На каком языке написано «Слово о полку Игореве»? Почему его переводят на русский язык?». В четвёртой записке спрашивается: «Кто открыл южный полюс?». Вот ещё штук двадцать записок от математиков, историков, литераторов, географов. Они удивительно однообразны. — И, выдержав паузу, он прочёл некоторые записки из этой пачки: — «Говорите медленнее! Не успеваем записывать». «Диктуйте, чтобы мы успевали записать!».

Шум в зале превратился в настоящий гул. Записки с мест уже не клались в ящик, а прямо летели с мест, шлёпаясь на край эстрады. Валя Козина, технический секретарь комитета, едва успевала их подбирать и передавать в президиум.

Но Фёдоров продолжал с подчёркнутой невозмутимостью:

— Я узнал фамилии авторов некоторых из этих записок и попросил в библиотеке их формуляры. Я, товарищи, грешным делом, думал так: кто забыл тригонометрию — взял школьный учебник и занимается. Я думал: спросивший о «Слове о полку Игореве» достал исследования о гениальном памятнике или самый перевод его — Заболоцкого или Югова или чей-нибудь ещё — и подлинник, чтобы сравнить. Неужели, думал я, его удовлетворил поневоле короткий ответ преподавателя? Но нет. Вот их формуляры. Один блистает почти полной пустотой: «Граф Монте-Кристо» — единственное название, его украшающее. Это формуляр студента-историка, спросившего о фараоне. В формуляре забывшего Амундсена записаны, правда, некоторые учебники, но и у этого будущего географа в формуляре не значится ни одной книги о путешествиях или открытиях... Читают у нас вообще мало. Около половины студентов за месяц прочли только по две книги. — Он помолчал. — Но зато много списывают.

И тут доклад, и так заставлявший многих ёрзать на стульях, стал слушаться с таким вниманием, которое достигается только тогда, когда докладчику удаётся задеть аудиторию за самое живое.

В портфеле Фёдорова оказались и учебники, и тетради для практических занятий. Он открывал тетрадь и учебник, сличал. Три раза он проделал такую операцию и три раза получалось почти полное совпадение.

Отдавая должное ловкости одного из списывавших, Фёдоров сказал: — Вы понимаете, что делают, — берут учебники для педагогических училищ, рассчитывая, что педагог, преподающий только в вузах, может его и не знать. Или списывают, черти, упражнения по русскому языку из учебников для нерусских школ.

— Фамилии! Фамилии! — закричали с мест, совершенно уже пренебрегая ящичком.

— Фамилии? — степенно повторил Фёдоров. — Надо ли их называть? Не все такого рода упражнения, очевидно, выявлены. Надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы установить, из какого учебника скатано то или иное задание!

Шутка Фёдорова не встретила одобрения — в таком наэлектризованном состоянии был зал.

Начались прения. Фомин, первым взгромоздясь на трибуну, зычным голосом закричал:

— Академию какую-то хотите здесь развести, товарищ Фёдоров, так это нам ни к чему! А насчёт списывания, никогда не поверю, чтобы сознательные советские студенты...

На трибуне сменялись ораторы с разных факультетов и отделений. Одни поднимали вопросы действительно принципиальные. Нашли в себе смелость выступить и открыто признать свои ошибки авторы двух записок — насчёт полюса и насчёт диктовки. Другие высказывали какие-то пустячные обиды.

Но видно было, что доклад не оставил ни одного человека равнодушным.

— Прошу слова! — раздался вдруг высокий, даже пронзительный голос. Все посмотрели на первый ряд. Профессор-доктор встал во весь свой небольшой рост, адвокатским жестом протянул левую руку вперёд и повторил: — Прошу слова! Как самый старший член нынешнего собрания надеюсь получить преимущество.

Разумеется, ему было предоставлено слово вне очереди.

Он начал несколько неожиданно.

— Вы знаете, товарищи, — спросил он на самых высоких нотах, —

какие побуждения продиктовали моё решение променять Минский университет на Новоболотовский институт и переехать из столицы союзной республики в районный центр?

Вопрос прозвучал риторически. Профессор-доктор был родом из Новоболотова, у него здесь был собственный дом. И, кроме того, он был стариком, а старикам ведь свойственно стремиться дожить свой век на родине.

На самом деле всё обстояло не так просто.

Профессор продолжал:

— Побуждения мои были таковы. У меня создались невыносимые условия, товарищи! — И голос его задрожал.

Профессор замаялся. Видимо, он хотел объяснить собранию, почему ему было так плохо, но потом, взглядевшись в аудиторию, увидев, может быть, детскую мордочку Вали Козиной, а может быть, сердитую физиономию Вани Фомина, переменял своё намерение.

— Словом, я принял предложение ваше, товарищ директор, и переехал в Новоболотов, когда у меня уже, собственно, другого выхода не было. Жизнь свою я полагал конченной. Поэтому я, признаться, и читал вам свой курс без вдохновения. Да, да, не смейтесь, товарищи, и история русского языка требует вдохновения.

На мгновение перед слушателями встал привычный образ сердитого, нелюдимого старика. Но только на одно мгновение...

— Я, товарищи, признаться, когда приехал сюда и приступил к чтению лекций на первом курсе, в возможность серьёзной педагогической и тем более научной работы в бывшем уездном городе, где мой отец служил в земской управе, не верил. Практические занятия я, как вы знаете, сам не вёл, поручал ассистентам. Со студентами, следовательно, соприкасался мало. Записки, получаемые мною на лекциях, подтверждали моё предположение. Вот, наконец, я и подошёл к тому, что надо было сразу сказать... Сегодняшнее собрание показало мне, что я не прав. Бывшего уездного города Новоболотова больше не существует.

Совершенно неожиданно для всех профессор предложил даже переименовать Новоболотов в честь института.

И, точно ему это было поручено правительством, он тут же, немедленно стал собирать предложения.

— Вузовск! Институтск! Учительск! — кричали с мест.

Профессор внимательно прислушивался, приложив левую сухую ручку к уху.

— Как, как вы сказали? Первосентябрьск? Почему — Первосентябрьск? Чьё это предложение?

— Я предложил, — ответил Серёжа со своего председательского места и встал во весь свой немалый рост за столом, крытым красным кумачом. — Первое сентября — это день, когда во всей стране начинаются занятия. День ученика и учителя.

— Подумаю, — сказал профессор-доктор, словно он был уже хозяином города.

И это было так хорошо, такая это была прекрасная перемена в человеке, что Серёжа Воронин не удержался и захлопал. Все поняли, что профессор-доктор будет теперь настоящим учителем и девчушкам и мальчишкам, пришедшим из десятилеток, как Валя Козина, Нюра Киселёва, Шура Матвеева, и взрослым, опытным людям, тоже севшим на студенческую скамью, как Анна Павловна и Фёдоров.

И, поняв это, все встали и долго аплодировали старому профессору. А он, маленький, но державшийся на трибуне очень прямо и от этого казавшийся выше, растроганный и добрый, махал руками. Не надо, мол,

так, не конфузьте старика! А потом спохватился и поднял руку вверх, показывая тем самым, что он не всё ещё сказал.

Аплодисменты стихли.

— Я не договорил, товарищи, не кончил своей бессвязной речи. Я хотел... — Он сказал то, что теперь все уже знали: — Отныне всей душой я с вами, и все мои силы...

Но старик как бы застеснялся, испугался, что может показаться сентиментальным, приободрился и грозно заключил:

— Но русский язык, великий язык Пушкина и Ленина, и историю его — я вас заставлю знать как следует! Это же стыдно, товарищи. Выступаете на студенческом комсомольском собрании по вопросу о... — профессор махнул рукой, все знали, по какому вопросу, — ...и говорите «хочете», и бог знает, как вы ещё говорите.

Его прервали новые аплодисменты и возгласы:

— Правильно! Спасибо! Обязательно! Не будем больше!

Так профессор-доктор сошёл с трибуны.

Затем выступили в прениях Медведь, очень кстати и как-то по-новому сказавший о речи Ленина на третьем съезде комсомола, два преподавателя-математика и ещё пять студентов.

Резолюцию собрание вынесло деловую. Ясно было, что списывать из учебников и требовать от лектора диктовки будет уже не просто.

Самое большое впечатление у всех осталось от доклада студента Фёдорова, требовавшего от своих товарищей и от своих преподавателей, чтобы новый институт в Новоболотове они сделали настоящим советским вузом. И от речи старого профессора, который поверил, что институт будет таким, и обещал со своей стороны всё для этого сделать.

Закрывая собрание, Сергей Воронин сказал:

— Надеюсь, товарищи, что сегодняшней большой разговор будет началом большой работы и больших перемен.

Так оно и было. Уже ближайшее объединённое заседание кафедр литературы и языка прошло очень бурно.

На заседании был поставлен тот же вопрос о качестве учебных занятий. Пригласили директора и парторга. Пригласили студенческий актив. И опять Фёдоров попросил слова одним из первых и сказал:

— Качество учёбы, мы все понимаем, зависит не только от учащихся, но и от учащихся. И, поскольку здесь не комсомольское собрание, а заседание кафедры, я думаю, что, хотя по субординации это, может быть, не очень положено, мы, студенты, можем и должны поговорить о преподавателях. Мы должны, — продолжал Фёдоров, — сказать спасибо администрации института и особенно лично Константину Ивановичу за то, что профессорско-преподавательский состав у нас на славу. Но некоторые преподаватели всё же не на должной высоте. И не потому, что они не могут, таких, думаю, у нас нет или почти нет, а потому, что ошибаются.

Ксенин даже захотелось в эту минуту уйти с заседания. Сушков как-то криво улыбнулся и пожал плечами.

Но речь шла не о них. Фёдоров продолжал:

— Я не буду говорить обо всех. Этого, впрочем, я не смог бы сделать, даже если бы очень захотел. Скажу о некоторых, о которых могу судить, пусть слабо. Думаю, что как типичны студенческие провинности, так, очевидно, повторяются и заблуждения преподавателей. Позволю себе сказать и о преподавателях других кафедр. Начну с начальства. Константин Иванович читает марксизм-ленинизм. Он много знает, но, видимо, у него нет педагогического опыта. Поэтому получается как-то разброшено, недостаточно систематизированно. Вот если сравнить с

Лебедёвым, например, который читает так, что у него одно из другого вытекает, и словно ты сам посидел в этой самой Бастилии...

Смешок, пробежавший по ряду, где сидели его товарищи, показал Фёдорову, что он неудачно выразился. Но он не был обидчив и сам весело расхохотался. Затем он подчёркнуто серьёзно продолжил:

— Так что, я полагаю, всем преподавателям надо продумывать и методику своей работы.

— Это тебе не школа! — крикнул кто-то из студентов с места.

— Всё равно! — отрезал Фёдоров. — Но не только так нарушается правильная методика преподавания. Коснусь другого начальства — нашего уважаемого декана Неонилы Александровны Васильевой. Она записок не получает.

— И замечательно! — крикнули Нюра Киселёва и Ваня Фомин вместе.

— Потому что читает понятно и медленно, — чётко сформулировал Фомин.

— Нет, — возразил Фёдоров, — это не так называется. Это по-другому называется — школярски упрощённо! Преподаватель диктует, студенты пишут. А что получается? Конспект учебника.

Белоусову пришлось четыре раза энергично потрясти колокольчиком, пока Фёдоров сопоставлял записи в тетради Нюры Киселёвой с соответствующей главой учебника по введению в языковедение.

— Разрешите мне вести заседание, — сказал Белоусов и стукнул кулачком по столу. — Вы приглашены, но!..

Тогда водворилась тишина.

— Но, кроме методики, есть ещё и методология, — продолжал Фёдоров. И это прозвучало значительно всего, что он говорил до сих пор. — Со стороны методологии и методики тоже меня смущают блестящие лекции... — Он сделал небольшую паузу, достаточную для того, чтобы сердца некоторых преподавателей, и Ксении в том числе, забились сильнее. — ...Ирины Владимировны Алексеевой. Она получает много записок, хотя, пожалуй, не больше, чем другие. Но беда в том, что эти записки часто выражают вполне законное недоумение. Например, в одной записке спрашивается: «Кто такой Гильом Аполлинэр и какое отношение он имеет к древне-греческой литературе?». Я не слышал её объяснения, у нас она не читает, но я справился в «Литературной энциклопедии» и узнал, что это французский декадент, то есть там он охарактеризован точнее, но смысл, в общем, такой. На другой лекции Ирина Владимировна рассказывала подробно об увлечениях античной поэзией символистов Вячеслава Иванова и Иннокентия Анненского, а о переводах Пушкина из античных авторов — ни слова. Я не хочу обвинять её ни в каких смертных грехах, но уверен, что между настоящей образованностью и ненужными изысками, рафинированностью — так это называется? — большая дистанция. И мы бы хотели, чтобы эта дистанция соблюдалась.

Объявили перерыв. Из всех задётых Фёдоровым, названных им и не названных, кажется, один Константин Иванович был совершенно спокоен.

Особенно взволновалась Алексеева.

— Ноги моей на таких собраниях больше не будет!

Константин Иванович её успокаивал, усадив удобнее в кресло в глубине профессорской. Володя Ермолаев поднимался со своего места, битье садился, снова поднимался, садился, поднимался... Но решился подойти к Алексеевой, только когда она, взяв из рук Константина Ивановича стакан воды и выпив его торопливыми глотками, пошла к выходу.

ду. Губы её дрожали, лицо посерело, она сразу стала немолодой и несчастной, и ещё резче, чем всегда, было несоответствие между нею и голубоглазым мальчиком, заботливо взявшим её портфель.

Глава четырнадцатая

Гостиница

Сегодня первый раз в Новоболотове в будни Ксении не надо с утра идти в институт. Это очень хорошо, потому что после вчерашнего заседания двух кафедр хочется хоть немножко побыть одной. Отвлечься от институтских дел и спокойно их обдумать.

Не всегда, однако, обстоятельства складываются так, как нам бы этого хотелось. Именно так получилось и в это утро. Ксения пошла умываться в кухню за дежуркой. Но, не доходя ещё до дежурки, она услышала стук во входную дверь.

Гостиница не запиралась даже на ночь. Кто это стучался?

Ксения подошла к двери и распахнула её. Вошёл очень бойкий, очень подвижной человек неопределённого возраста, но зато весьма определённой профессии — театральный или концертный администратор.

— Один номер «люкс» для народного, — сказал он, проходя в дежурку и не называя себя, а только приподняв свою зелёную шляпу. — Два номера первого класса для заслуженных и два — обычных, для обыкновенных артистов.

Старушка Нина Константиновна очень любила искусство. Она видела уже десятки таких администраторов и была уверена, что скорее всего нет у него ни народных, ни заслуженных, так же как у неё не было ни номеров «люкс», ни номеров первого класса, а единственное зеркало в гостинице отдали Ксении Николаевне. Но вообще в Новоболотове народные артисты давно уже не были дивом, и все они оставались в гостинице.

— Таких номеров не будет, но один отдельный номер и кровати мужские и женские я вам предоставляю, — сказала Нина Константиновна. Ей не терпелось поскорее расспросить, кто приехал и с каким репертуаром.

Зелёная шляпа не врала. Действительно, приезжал народный артист, притом с очень необычной, своеобразной судьбой. Армянин, родившийся в Константинополе, он большую часть своей жизни не имел родины. Играл по-французски и по-итальянски, гастролировал в столицах Европы, в Смирне, в Марокко. Играл чаще всего свою коронную роль — Отелло, но играл и тургеневского нахлебника, и Освальда в «Привидениях». Как только началась репатриация армян в Советскую Армению, он переехал в СССР.

Играл он сначала на французском в русских и армянских спектаклях, изрядно позабыв уже свой родной язык. Потом ему надоело объясняться с Дездемоной и леди Макбет на разных языках, да и вообще трудно и скучно стало жить без языка. Он вспомнил свой родной армянский и с большим трудом, несмотря на способности к языкам, выучился русскому. Он включил в свой репертуар, кроме Кузовкина, ещё несколько ролей русского классического репертуара.

В России он бывал и раньше. Но жадность свою к познанию мира, носившую его по морям и материкам, он всё ещё никак не мог удовлетворить, а в СССР всё его поражало и повергало в восторг.

В последние годы Багдасян постарел, отяжелел, и тем более хотелось ему видеть новые города — большие и маленькие — и побеждать их жителей своим талантом трагика.

Теперь народный артист собирался потрясать своим даром невиданных ещё его новоболотовцев. Районному центру и району предстояло увидеть три из числа лучших трагедий мира с участием знаменитого артиста — прославленного исполнителя ролей Арбенина, Отелло, Макбета.

Администратор рисковал и шёл, как выражаются в театральном кругу, «на кассу». То есть у него не было договора, обеспечивавшего гастрольной труппе определённую сумму за каждый спектакль. Билеты должны были просто продаваться в кассе.

Людей, читавших не только Лермонтова, но и Шекспира, в городе, конечно, было много. Но Багдасяна в Новоболотове знали вряд ли более десяти человек.

Увидев в дежурке Ксению и легко угадав в ней москвичку, администратор почтительно поклонился и сказал:

— Вы, конечно, слышали о Багдасяне. Надеюсь вас увидеть на первом представлении.

— Не только слышала о нём, но и слышала и видела его самого много раз, правда, довольно давно. Но как это вы решили везти его сюда после Москвы, Ленинграда, Лондона и Парижа?

— Это, собственно, не моя идея! — не поняв шутки, серьёзно объяснил администратор. — В обкоме партии, когда нас с Наркисом Акимовичем принял секретарь по пропаганде, там же был товарищ Дробяско. Он пригласил нас сюда, обещав всяческое содействие. Поэтому я и рискнул привезти сюда Наркиса Акимовича и всю труппу без гарантии, на кассу. «Лучшая гарантия вам, — сказал нам тогда секретарь обкома, — тяга народа к большой культуре».

Ксения подумала, насколько к месту сейчас этот приезд большого артиста с репертуаром высокой классики. Но надо, чтобы его трудное и большое искусство было понято. И Ксения принялась крутить ручку телефона.

День начинался в Новоболотове рано, и редакция сразу ответила. Ксения попросила к телефону ответственного секретаря.

— Говорит доцент Доброво. К нам в Новоболотов приезжает народный артист Багдасян. Не слышали? Вот и плохо! Надо написать о нём, чтобы люди знали, на что покупают билеты. Просите меня? Хорошо — напишу. — Повернувшись к зелёной шляпе, она спросила, когда начинаются гастроли, и продолжала: — Сдам завтра. Шестьдесят строк даёте? Мало. Знаю, что газета маленькая, и всё равно мало. Знаю, что международное положение, и всё равно мало. Сто и ни одной строчкой меньше!

Разговор с «Красным знаменем» был окончен. Ксения справилась у администратора, был ли он в райкоме, в райисполкоме.

— Нет, — сказала зелёная шляпа, — я прямо с поезда. Боялся, что в гостинице мест не будет. Звонил с вокзала к Дробяско. Он в районе, будет завтра, но распоряжения оставил.

Ксения вошла в азарт и снова взялась за ручку висевшего на стене, похожего на скворешню, деревянного ящика — такие уж в Новоболотове телефоны.

— Лев Ильич? Да, я. Почему звоню? К нам на гастроли приезжает Багдасян. Знаете? Ну ещё бы. Знаете Багдасяна или знаете, что приезжает? Что, звонили из райкома, а вы были на фабрике? Ну, это не важно. Словом, я думаю, дело нашей чести организовать студенческие культпоходы на все спектакли, чтобы все наши ребята — и педагоги, и учителя, и филологи, и биологи, и вообще все посмотрели весь репертуар. Деньги? Дорогие билеты?

Здесь вмешалась зелёная шляпа.

— Для студенческих культпоходов сделаем скидку. Как же иначе?.. Ксения продолжала:

— Словом, осилим билеты. Попро́сите Константина Ивановича кредитовать под стипендию? Вот и правильно.

Зелёная шляпа уже кланялась и убегала в райисполком, чтобы договориться о культпоходе фабрик и колхозов и о помещении.

Несколькими минутами раньше в дежурку вошли две пожилые колхозницы, остановившиеся в гостинице. Они застали конец разговора Ксении с Медведем.

— Билеты? — спросила та из них, что была постарше, в тёмном платке и чёрном костюме. — Куда билеты? На народного артиста? Нам два в самом лучшем ряду. И чтобы до нашего колхозу приехал. Мы дом культуры только что отстроили..

Было уже около десяти. В дежурку, один за другим, вошли ещё два человека. Один, видно, только что с постели, с примятой щекой, без воротничка, в нижней рубашке, с полотенцем на плече. Второй — явно из города, с пухлым портфелем, с покрасневшими на утреннем холоде щеками, значительно моложе первого.

— А! — сказали оба. — Земляку!

Затем тот, что пришёл из города, произнёс уже недружелюбно:

— Опять спать приехал! Я с шести часов мотаюсь..

— И мотайся! Всё равно город на пыхтелке удержишь! А новую станцию никак непустишь!

— Ты бы пустил скорее!

— Может, и пустил бы!

— Ты пустишь! В целой области ни у кого такой тихой жизни нет, как у тебя. В район выехал — опять прохладжаешься.

— А тебе завидно? — добродушно спросил тот, на кого напал приходивший из города, и пошёл умываться.

— Кто это? — спросила Ксения нападавшего, которого она немножко знала. За время её пребывания в Новоболотове уже он приезжал второй раз. Это был тот инженер облкомхоза, который всё никак не мог пустить новую электростанцию.

— Кто это? — переспросил инженер. — Да первый бездельник в облисполкоме. И держат же таких!

— Но всё-таки, кто же это такой?

— Кто такой? Петров. Зампредоблсполкома.

— Зампред! А вы его так!

— Да по какой части? По делам церкви и религии.

— Ах вот оно что! — Ксения с трудом сдерживала смех. Она была очень смешлива.

— Ну, конечно, вот он лодыря-то и гоняет и в области, на месте у себя, и когда в район выедет. Хоть один человек у нас, вы думаете, так работает, чтобы от десяти и до четырёх? Ни одного такого на весь Дом Советов не найдёте!

— И вы думаете — так уж это хорошо? — спросила Ксения, которую стал забавлять гнев инженера.

— Что хорошо? По-чиновничьи работать, от сих и до сих? Я думаю — плохо.

— Да нет же! С утра до ночи торчать на службе, вы думаете, хорошо?

— Конечно, хорошо! — сказал инженер, однако, не очень убеждённо.

— Не думаю, — возразила Ксения, интенсивность работы которой никогда не измерялась количеством часов, проведённых ею в учреждениях. — А от него чего вы хотите, сверхурочной работы?

И она так весело расхохоталась, что инженер тоже рассмеялся.

До сих пор Ксения жила в гостинице, как и не жила. Она знала, что рядом живёт этот инженер из облкомхоза, а когда он уезжает, живут другие. Встречала в коридоре председателей колхозов, областное начальство, мельком здоровалась, обменивалась фразами насчёт того, готов ли самовар и какая погода нынче...

Иногда в коридоре ночевало очень много людей: комнаты не вмещали футбольной команды или участников совещания механиков.

Тогда Ксения осторожно обходила эти кровати со спящими людьми и сразу же забывала о них, как забывала обо всём, что видела в гостинице.

Сегодня она впервые подумала, что гостиница районного центра очень интересное место — зеркало всей жизни района, а в некотором роде и области.

И в первый раз она спросила Нину Константиновну:

— А кто ещё живёт теперь в гостинице?

Старушка с готовностью сообщила:

— В четвёртом — экспедиция Академии наук, делают — как это называется? — геологические изыскания, ищут руду. В шестом — уполномоченный из Львова, ребят набирает в ремесленные училища. Ещё толстый из торговдела, вы его видели. Вчера два сельских учителя приехали на совещание историков в Роно. И председатель ртищевского сельсовета. В третьем — три ревизора из области. Четвёртый ревизор, девушка, — в восьмом, женском. С ней два врача из облздравотдела и одна, молоденькая, из сельской больницы.

Перечень показался Ксении очень интересным.

«А я ничего этого не знала», — подумала она, чуть не столкнувшись с каким-то высоколобым, с орлиным носом человеком, которому явно было много лет, но которого трудно было назвать стариком.

— Познакомьтесь, — сказала Нина Константиновна. — Главный ревизор области, Пётр Петрович Горлов, председатель комиссии, которая сейчас работает у нас. — И подмигнула: тот, мол, самый, о котором я вам только что говорила, живёт в третьем номере с двумя другими ревизорами.

— Вы из института, — не спросил, а утвердительно сказал Горлов. — Доберусь я до вас. — И его орлиный нос как бы приготовился клонуть. — Константина Ивановича я давно знаю, а что это за заместитель по хозяйственной части у него?

И не стесняясь того, что он видит Ксению в первый раз в жизни и что в комнате есть ещё люди, Горлов стал расспрашивать её о той стороне институтских дел, которая никогда её не занимала и не могла занимать.

— А ковёр на лестницу за сколько купили? Клуб на сколько процентов готов? Стипендии когда выдавали? А почему не восемнадцатого?

В тот же вечер Ксения познакомилась с Петром Петровичем поближе. Обследовав очередное учреждение и вернувшись вечером в гостиницу, он неожиданно постучал к ней в номер и предложил с ним и его ревизорами погулять в парке. Он оказался человеком большой и слабой биографии — старым большевиком, работавшим с Кировым в Астрахани, со Свердловым в Москве. И всё-таки, о чём бы ни говорил он — а он любил поговорить, — Ксения испытывала некоторую неловкость, и ей казалось, сейчас он спросит, правильно ли она, доцент Доброво, устроила свою жизнь.

Вдоволь погуляли, покатались на лодке. Напоследок, как выразилась девушка-ревизор Лия... Осень наступает!

Вернулись уже затемно. Лиля вошла с Ксенией в её номер.

— Вы знаете, Ксения Николаевна, — сказала она, сокрушённо оставившись на пороге, — старик-то меня завтра на базар посылает, а вечером — в кино.

— Что же в этом худого? — удивилась Ксения её скорбной интонации. — Купите что-нибудь, а вечером картину посмотрите!

— Если бы так! А то всё по-другому. На базаре старик не велит ничего покупать, разве в колхозных ларьках, и посылает меня проверять — правильно ли взимают рыночный сбор. И в кино, это другие картины смотрят, а мы, несчастные ревизоры, проверяем, не проходят ли по кснтрамаркам, и, опять-таки, уплачен ли налог финотделу.

— Так почему же он вас, бедненькую, посылает? — спросила Ксения, усаживая Лилю. — Ведь у него ещё два помощника есть?!

У Лили были очень толстые щёки, которых она даже стеснялась; мечтая похудеть, детские губы, тёмные веснушки, всегда смеющиеся серые, глубокие глаза. Что за ревизор?

Так Ксения и сказала:

— Какой же вы ревизор?! Вы же девчущечка! Вам бы в пятнашки!

— Он тоже так говорит, старик... Потому и посылает. Никто, говорит, не подумает, что ты ревизор, и никто тебя стесняться не станет. Вот ты и визнаешь так, как тому, у кого и вид ревизорский, никогда не узнать. И секретарь обкома ВЛКСМ говорил, что это мой комсомольский долг. И о финансовой дисциплине говорил, о режиме экономии.

— Так почему же вы недовольны, Лилечка?

— А потому, что очень много изнанки всякой видишь!

Ксения поняла, как это тяжело в девятнадцать лет. Ей самой было уже за тридцать, но она старалась видеть всех и всё с лица и очень не любила не только, чтобы ею были недовольны, но и быть недовольной чем-нибудь.

А Лиле очень хотелось излить душу милой, ласковой женщине. Она забралась на диван с ногами. Нина Константиновна принесла чай и накрыла на стол. И вот сидели они — две женщины, постарше и поопытнее, и слушали её, молоденькую, жившую ещё с папой и с мамой всё под одной и той же яблонькой, но сумевшую рассказать им о жизни такое, чего они не знали и не могли знать.

— Вот как вы думаете, — спрашивала Лилия, прихлёбывая из блюдца горячий чай, — как мы узнаём, что завмаг проворовался?

— Когда в кассе недостатки или в кладовой, — солидно ответила Нина Константиновна.

— Вот и нет! — Лилия даже подпрыгнула на стуле. — Когда лишки в кладовой или в кассе! Если недостача — это он мог себя обчитать, передать товаром или деньгами. А если у него лишки, — значит он обсчитывал, обмеривал, обвешивал, и потом не свёл концов с концами, не всё ворованное успел припрятать.

И так забавно звучали в её устах эти профессиональные ревизорские слова!

В дверь постучали. Это был Пётр Петрович.

— Вы здесь, Нина Константиновна? Я вас разыскиваю.

— Чайку? — спросила Ксения. — Садитесь с нами!

— Спасибо! — Он не сел. — Не чайку, а дело. Непорядок у вас в гостинице, Нина Константиновна, беспорядок.

— Какой ещё беспорядок? — возмутилась Нина Константиновна, которая была чрезвычайно чувствительна к репутации гостиницы.

— Финансовый беспорядок! — Пётр Петрович продолжал стоять; сбвиняя уже одной своей несгибающейся высокой фигурой неумолимого судьи.

Нина Константиновна, напротив, села. Финансовые дела были не её печалью. Ей — только получать по семи, по четырнадцати, по двадцать одному рублю.

— Мы уже две недели у вас квартируем, уважаемая Нина Константиновна, а платили только за десять дней, — объяснил, наконец, Пётр Петрович, в чём, собственно, состояло финансовое неблагополучие гостиницы.

— Так что же, я вас или Лилечку не знаю?

— Финансовая дисциплина не терпит личных знакомств. А вдруг мы завтра умрём или откажемся платить?!

Неумолимый старик заставил Нину Константиновну и Лилю встать из-за стола и сходить с ним в дежурку. Когда была произведена соответствующая операция и Нина Константиновна получила с него и его товарищей по двадцать восемь рублей, старушка и Лиля вернулись к Ксении. Горлов к чайному столу в этот вечер больше не приглашался.

— Колоритный старик, — сказала Ксения, налив Лиле и Нине Константиновне по новой чашке чаю. — Характерный! Писатель иной ничего бы не пожалел за такого старика.

— Не характерный, а характерный, — сердито возразила Нина Константиновна, прощаящая педантизм только себе.

Но ей всё равно не удалось посидеть с Лялей и Ксенией, потому что скоро уходил московский поезд, а через час минский, и постояльцы гостиницы вызывали её каждые пять минут — кому расчёт, кому паспорт.

— Ну и должность! — сказала Нина Константиновна, в седьмой или восьмой раз возвращаясь к своему чаю. Но, вероятно, она не променяла бы свою беспокойную должность даже на пожизненную путёвку в санаторий.

«Почему же я думала, что в Новоболотове скучно и здесь можно только работать?» — спросила себя Ксения вечером, оставшись, наконец, одна.

И,образив вдруг что-то, недодуманное ею раньше, она вышла в дежурку и позвонила по телефону Медведю. Вряд ли он спал в одиннадцать часов.

— Да, я! — сказала она, снова услышав в трубку его спокойный голос. — Знаете, что я думаю... Надо, чтобы Алексева прочитала перед спектаклем Багдасяна лекцию о Шекспире, публичную — для студентов и города. Вы согласны? А о «Маскараде» — Сима. Почему же я? Девятнадцатый век — это её курс! Что делаю? Ничего! Разговариваю с вами по телефону. Думаете, лучше обсудить лично и вообще есть о чём поговорить? (У неё была привычка повторять слова собеседника). Заходите! По-московски не поздно! По-ленинградски — тем более. Приходите, приходите! — ещё раз повторила Ксения и пожелала Нине Константиновне спокойной ночи.

Глава пятнадцатая

Институтские дела

Ксения не успела дойти до своего номера. Её вернула Нина Константиновна. Ксению спрашивали два молодых человека: Петя Шебунин, которого Нина Константиновна знала, он приходил много раз со своей повестью, и второй, высокий, на протезе.

— Простите, Ксения Николаевна, — сказал Петя Шебунин, проходя вместе со своим спутником в номер Ксении, — что привёл его к вам. Заваруха у него большая с невестой.

Ксению всегда радовало, когда к ней обращались с просьбой. Значит полагали, что от неё можно ждать хорошего. Сейчас же ей было особенно приятно, потому что советы, данные ею Пете, видимо, убедили его в том, что она способна разобраться не только во взаимоотношениях литературных героев.

Вася Семёнов поступил в педагогический, а Нюра Киселёва в учительский, хотя ему было труднее: она и моложе, и перерыв в занятиях у неё гораздо меньше. Нюра, как мы знаем, заняла позицию сторонников диктовки. В ней был мужичкий, как очень резко выразился Петя, практицизм. Она пошла учиться прежде всего потому, что не хотела работать в поле. Чистая работа учительницы понравилась ей ещё в седьмом классе. Она решила кончить десятилетку и пойти в институт. В оккупацию у неё погибли отец и мать. Поэтому она была дочкой колхоза, и колхоз почитал частью для себя выучить Нюру хоть на доктора наук.

Всё это подробно и обстоятельно рассказывал Ксению Петя. Вася же от смущения уткнулся носом в книгу, которую едва ли не держал вверх ногами.

Ксения внимательно слушала, глядя на Васю, на лице которого отражались все перепады Петинского рассказа.

...Они учились не только в разных институтах, но и на разных факультетах, и Нюра старалась как можно реже говорить с Васей на академические темы. У неё был постоянный верный союзник — Ваня Фомин. Он, вероятно, и был влюблён в неё, но Вася, как заверил Петя, нисколько не ревновал.

А с Васей Нюра могла говорить целыми часами и даже целыми днями об их будущей жизни, вспоминая про партизанский отряд, где они познакомились, рассказывать о своём детстве, спрашивать про Васино... Да мало ли о чём могут говорить жених с невестой?! Гулять, наконец! Целоваться! (При упоминании о поцелуях Вася густо покраснел).

Комсомольское собрание взбудоражило и разделило студентов. Вася слышал Нюрины реплики. Он выступил, энергично поддерживая Фёдорова. Нюра ушла с собрания не с ним, а с Ваней Фоминим.

За все эти дни Вася ни разу не встретился с ней в общегититии. Сегодня они столкнулись на крыльце. Вася не сдержался, высказал своё отношение к её поведению на собрании. Слово за слово, Нюра пригрозила вернуть ему кольцо.

— Ксения Николаевна, что он должен делать, как поступить? — спросил Петя Шебунин.

Ксения улыбнулась. Её умиляла и трогала молодая доверчивость ребят, но смущало вместе с тем, что она должна принять на себя решение судьбы двух людей, которых едва знала.

— Что мне делать, Ксения Николаевна, — подойдя к Ксению и глядя в упор ей в глаза, заговорил и Вася. — Она меня без ноги полюбила. За что человека любишь и за что можешь его разлюбить?.. Я часто об этом думаю. Вот почему я из всех наших комсомолок полюбил Нюру? Ведь были у нас в отряде, да и в их селе, где я остался после войны, и красивее, и умнее, и добрее. И науку больше уважают. А я без неё дня не могу. Ведь мечтал я об университете и о научной работе потом. А пошёл сюда в педагогический потому, что она ни за что не хотела уезжать из своего района... Но сейчас, когда так вопрос стал!.. Ей только диплом нужен, бумажка, а знаний — самый чуток, чтобы вот на столечко, на вершок больше ученика... И не пойму даже, как это выходит, а у меня любовь уменьшается. Вот были мы с Петей в партизанах, мальцами ещё были. А желания у нас были большие. И жизни мне не хочется маленькой! И маленькой любви!

Он был большой, рослый парень, бесстрашно воевавший, видевший смерть и бесчеловечные поступки оккупантов. Ему, наверно, уже лет двадцать пять, и он задумывался над большими вопросами человеческой жизни. При всём том, столько было в Васе детского, душевного, что Ксения не могла просто отделаться от его вопроса, ответить что-нибудь и как-нибудь.

Она должна принять на себя его заботу, его мучительный вопрос, который звучал наивно только потому, что наивно формулировалась самая причина размолвки.

Как бывает всегда, когда обращаются к тебе за решением сложной психологической задачи, Ксения вспомнила и задумалась о своём.

С человеком, полюбившим её и любимым ею, Ксения разошлась решительно и безоговорочно, потому что однажды, застав у неё старого товарища, он не просто приревновал, что было бы хоть и глупо, но, так сказать, нормально... Он прямо сказал, что к одиноким красивым женщинам просто так не ходят, и в дружбу разных полов он не верит, поэтому, когда они поженятся, он надеется, этих суффражистских штучек больше не будет!

Ксения ответила ему, что хотя у него в кармане партийный билет, но мировоззрение — каменного века!

Она плакала, расставаясь с ним навсегда. Ей было уже трудно расставаться с ним даже на сутки.

Но ничего нельзя было изменить! Ксения знала — он не может стать другим. Сама же она не любила и раздельного обучения. Разговор о побуждениях, по которым к ней приходили её товарищи, был точно чадра, которую на неё хотели надеть.

— А восьмого марта что вы говорите? — спрашивала она людей, у которых были одни правила для общих собраний, а другие для личной жизни.

Поэтому вопрос, который поставили перед ней сейчас Петя и Вася, — как быть с любовью, если она вступает в столкновение со взглядами, с мировоззрением, — был для неё и очень личным, и очень важным вопросом.

Но если человеку, ею отвергнутому, было за сорок, то Нюре Киселёвой, с её сугубо практическим и потребительским отношением к институту, было двадцать. И это, собственно, самое главное, решила Ксения, подумав минут пять, прошедших в полном молчании.

— Что я думаю? Что я скажу вам, ребята? Вася прав, безусловно, и в том, что придаёт такое значение Нюриной позиции, и в том, что связывает этот словно бы сторонний вопрос с их любовью. Если бы я была на его месте, я переживала бы то же самое.

Ребята переглянулись. Их несколько удивило и восхитило в то же время, что Ксения Николаевна, казавшаяся им, несмотря на красоту, всё-таки, если не старой, то совсем уже взрослой, могла себя поставить на Васино место.

— Но, — продолжала Ксения, заметив их удивление и огорчившись, — Вася не имеет права не только оставить Нюру, но и разлюбить её. Брак — это очень серьёзное дело. В браке нельзя быть терпимым к слабостям и, главное, к заблуждениям друг друга. Но в браке ещё больше, чем в других человеческих отношениях, нельзя быть равнодушным. Нельзя отказаться от любимой девушки, потому что она заблуждается, так же как нельзя примириться с этим. Надо научить Нюру думать и поступать по-другому, по-правильному.

Вася сначала смущался и даже сердился на Петю за то, что тот привёл его к Ксении. Но раз уж придя, он нашёл в себе мужество всё-

таки спросить её о самом для него трудном и самом главном. И теперь он смотрел на Ксению и на Петю благодарными глазами.

Разговор, в сущности, уже кончался, когда в комнату вошёл Медведь и удивлённый остановился, не ожидая застать у Ксении в двенадцатом часу ночи двух студентов...

Вася не смутился. Застенчивый до болезненности, как и его дружок Петя, он был решителен в главные моменты своей жизни. И он первым пошёл навстречу парторгу:

— Я к Ксении Николаевне пришёл с большими сомнениями. Петя вот посоветовал...

Медведь ничего не спросил, он только посмотрел на всех троих вопросительно и улыбнулся своей широкой улыбкой, открывавшей сразу все его белые крепкие зубы. И то, как Вася, а за ним Петя пожали Ксении руку, прощаясь, послужило для него ответом.

Медведь и Ксения остались вдвоём.

Они поговорили об Алексеевой, которая со вчерашнего дня плакала, что бы ей ни сказали. Спрашивали, который час, — плакала, потому что вопрос напоминал ей о бесплодно прошедшей жизни. Спрашивали, не хочет ли она погулять или посмотреть картину, — плакала, потому что это значило — её жалеют, считают больной, истеричкой, не принимают всерьёз.

Они говорили о разном, о лекциях перед гастролями Багдасяна, о других институтских делах.

И о чём бы они ни говорили — обоим поражало и радовало, как легко они понимают друг друга и что они понимают вообще всё одинаково.

И тут Медведь задал Ксении вопрос, несколько неожиданный в той обстановке и в том душевном расположении, в котором она находилась.

— Ксения Николаевна, почему вы не в партии? — спросил он, подвинув кресло поближе и склонившись над ней, иначе он с высоты своего роста не увидел бы выражения её лица: свет всё тускнел и тускнел, собираясь скоро погаснуть.

Он был секретарём партийной организации. И не только это. Сын политкаторжанина, старого большевика, он был коммунистом с мальчишеских лет. Как могла Ксения объяснить ему, почему она, человек, в котором не было и тени привязанности к старому миру, до сих пор не вступила в партию?..

— Я боюсь, что вы перестанете меня уважать, так несерьёзны эти принципы! — ответила Ксения, положив свою руку на сильную руку Медведя.

— Это невозможно! — сказал Медведь, пожатием руки подчёркивая всю невероятность её предположения.

И Ксения убедилась, что он поймёт её жизнь, как бы отлична она ни была от его жизни.

— У меня ведь не такая прямая дорога, как у вас. Отец мой, врач, был очень беспартийным человеком. В семье у нас, как я потом поняла, эта беспартийность даже возводилась, когда я была маленькой, в культ. Помню, в начале революции собрались у нас во дворе дети и стали выяснять, чей отец в какой партии. Кто говорит — кадет, кто — трудовик. Девочка из подвального этажа одна сказала, что её папа — большевик. А я, шестилетняя, как сейчас помню, очень гордо заявила, что мой папа — в самой лучшей партии — беспартийных... Много раз мне хотелось подать заявление. Но каждый раз удерживало то, что нельзя назвать иначе, как ложным стыдом. Я думала, как буду собирать рекомендации? Вдруг мне кто-нибудь откажет? Что я сделала, чтобы

быть в партии большевиков?! В сорок седьмом я как будто бы хорошо работала на выборах, и секретарь нашей институтской партийной организации, как вы сейчас, спросил, почему я не в партии, и предложил свою рекомендацию. И вообще тогда оказалось, что многие согласны рекомендовать меня.

— Почему же вы всё-таки не подали? — спросил Медведь.

— Потому что ложный стыд, то, что называется интеллигентщиной, меня не покинул... Мне казалось, что кто-нибудь непременно спросит, почему я раньше не вступила в партию...

— А что вы думаете! — сказал Медведь, и непонятно было, шутит он или говорит серьёзно. — И очень даже могло быть!

Резко переменив тему, он заговорил о том, что навсегда запоминает первые разговоры с людьми, которые потом напрочно входят в его жизнь.

— И я тоже! — перебила его Ксения. — Со студентом, который был моей первой несчастливой любовью, мы говорили о звёздах. А с покойным мужем первый разговор у нас был такой. Он — профессор истории... Лет на пятнадцать старше меня. А я — студентка первого курса. Очень мне, видно, хотелось себя перед ним в этот первый разговор не уронить. Мы гуляли по арбатским переулкам. Я стала что-то говорить ему про ампириную архитектуру, про дворянские особняки, сыпать именами Росси, Кваренги, Казакова. Он слушал, слушал, а потом сказал: «Деточка, а мне хочется съездить в Магнитогорск». И очень хорошо говорил не о старине, а о том, чем жила тогда страна. Я же, девчонка, которую недаром на курсе называли интеллигенткой, не умела ещё тогда жить этим...

Ксении стало очень неловко, что о первых разговорах, о памяти сердца начал Медведь, а она его перебила, не дав рассказать о чём-то своём.

— Простите, пожалуйста! — сказала она. — Я вас перебила. Расскажите, что вы хотели!

Медведь не стал ничего рассказывать.

— А наш с вами первый разговор — о том, почему вы не в партии, — сказал он.

Ксения смутилась. Начало настоящей любви, даже если это не первая и не вторая любовь, всегда робко.

Она ничего не ответила Медведю. От растерянности, чтобы занять чем-нибудь руки, чтобы отвести глаза от большого человека с детской улыбкой, Ксения занялась радиоприёмником, который привезла с собой из Москвы. Медведь тоже сел у приёмника. Электростанция еле работала, накал был такой слабый, что, только приложив ухо к самой стенке приёмника, можно было расслышать сильный и густой голос Поля Робсона. Ксенина щека лежала на боковой стенке. Медведь протягивал руку, чтобы отрегулировать звук, а когда Поль Робсон кончил, — чтобы поискать другую станцию. И каждый раз ладонь его касалась Ксениной щеки. Они странствовали по эфиру, и уже ни он, ни она не знали, на что отзывается сердце — на тенор итальянского певца из миланской «Ла-Скала», на русские песни Обуховой, на почти понятные слова из Болгарии, или на это, такое нежное, едва осязаемое прикосновение мужской руки к щеке женщины. «Вот так бы сидеть всегда, ни о чём не говоря и не меняя эту тихую, робкую близость на близость иную, которая может быть, тоже между нами будет», — думала Ксения, не отнимая щеки от гладкой полированной стенки.

И всё-таки она встала и переменяла позу. Это было как наваждение! — Поздно! — сказал Медведь. — Я пойду, дорогая.

Вот и кончились на сегодняшний вечер институтские дела Ксении — и публичные лекции, и характер Алексеевой, и раздор между студентом Васей Семёновым и его невестой Нюрой Киселёвой... Институтские дела! Они действительно складывались не только из лекций и подготовки к ним преподавателей, из студенческих занятий в кабинетах и читальном зале, из заседаний кафедр и комсомольских собраний, из публичных лекций и заводских кружков.

Институт — это были ещё и люди, много людей, совсем молодых и не первой уже молодости, но тоже ещё не отживших, не отлюбивших своего. Значит, в институтских аудиториях и коридорах, на асфальтовой дорожке, в залах общежития не могла не поселиться и любовь. Институт открылся только месяц с небольшим тому назад. Биография у человека началась раньше, могли быть и привязанности доинститутские.

В тот самый вечер, когда Медведь и Ксения в гостиничном номере слушали радио, Серёжа Воронин и Валя Козина сидели в красном уголке студенческого общежития и тоже слушали радио. Была одна песня, которую Серёжа — комсорг, мужчина, военный моряк — не мог слушать без слёз: «Мы простимся с тобой у порога и, быть может, навсегда...».

Его провожала в боевой рейс из ленинградского порта девушка, оставшаяся на берегу. Она пела эту песню. Он выжил, хотя корабль напоролся на мину. Её убило снарядом, дома, за чашкой чаю.

Валя Козина заплакала.

— Жалко, Валечка, жалко тебе девушку, которую ты никогда не видела? Какая ты хорошая, Валя.

Вале стало стыдно, она покраснела. Она вовсе не была хорошей. Она жалела девушку, но больше — себя. Ей хотелось быть первой любовью Серёжи. Он такой красивый и молодой. И потом она-то никого не любила, если не считать Жени Грибова из параллельного класса, с которым ей даже и поговорить наедине не удалось ни разу, так подтрунивали над ними ребята.

— Валя, — вдруг сказал Серёжа, — можно, я тебя поцелую? — Глаза его сначала вспыхнули, а потом затуманились.

— Серёжа, а ты помнишь в дневнике Зои Космодемьянской из Чернышевского: «Умри, но не давай поцелуя без любви!».

— Я люблю тебя, Валя! Потому и вспомнил с тобой...

— Ты не понял меня, Серёжа, — сказала Валя и зажмурилась, чтобы подумать. — Я себя спрашиваю, люблю ли я тебя?

— Любишь?

Сердце его так билось под суконным кителем, что Валя на расстоянии слышала этот стук.

— Люблю! — ответила она и снова зажмурилась. Потом открыла глаза и, не дав ему опомниться, не дав ему поцеловать себя, подошла к нему сама, поднялась на цыпочки и дотронулась своими свежими детскими губами до его крепких, упругих мужских губ...

— Не будем никому говорить, — сказала Валя. — Это только твоё и моё. Хорошо?

— Только пока. Ведь навсегда так не может остаться.

(Окончание следует)



ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

*

КРАСНЫЕ ВОРОТА

Автомашины,
Мнась к Воротам Красным,
Чуть замедляют бег для разворота,
Полны воспоминанием неясным,
Что тут стояли Красные Ворота.

Троллейбус,
Пререкаясь с проводами,
Идёт путём как будто вовсе новым,
И, как раскаты грома над садами,
Несётся дальний рокот по Садовым.

И вот тогда
С обрыва тротуара
При разноцветном знаке светофора
Возвышенность всего земного шара
Внезапно открывается для взора.

И светлая
Высотная громада
Всплывает над возвышенностью этой
Воздушным камнем белого фасада,
Как над чертою горизонта где-то.

Земного шара
Выпуклость тугая
Вздыхается в упругости гудрона.
Машины, это место отгибая,
Из полумрака смотрят удивлённо.

А город
Щурит искристые очи,
Не удивляясь и прекрасно зная,
Что с Красной Площади ещё гораздо чётче
Она
Видна —
Возвышенность земная!

НИКОЛАЙ ПЕРЕВАЛОВ

★

„ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА“

Старый холмик.
Камень незаметный,
и под ним, как надпись говорит,
политкаторжанин неизвестный —
«человек без паспорта» —
зарыт.

Ничего — ни имени, ни званья.
Кто придёт сюда, разыщет путь,
погрузить в молчании у камня
и добром скитальца помянуть?

Низкий холм венками не украшен,
и на камне правды не прочесть...
Может, дед мой, без вести пропавший,
похоронен именно вот здесь.

Через ссылки, царские остроги
шёл к великой цели человек.
Может, здесь упал на полдороге,
у истоков светлых русских рек...
Неужель, как серый камень строгий,
он и сам забыт теперь навек?

Шелестят плакучие берёзы,
встав над ним на долгие года.
А кругом сибирские колхозы,
а в колхозах — летняя страда.

Степи, степи — рокот постоянный,
море хлеба, радость голосов...
Совершивший подвиг безымянный,
если смог бы ты проснуться вновь!

В кандалах натруженные руки
протянул бы, видя, как вдали
все тобой изведенные муки
долгожданным счастьем проросли.

И узнал бы, как хорошим словом
вспоминает Родина тебя.

Не напрасно у костра ночного
иногда, волнуясь и скорбя,
старый дед поведаёт былинку,
и затянет голос молодой
про кандаальный путь до Сахалина,
что пролёг кровавой полосой.

Слышишь — этот юноша вихрастый
за тебя, лежащего во мгле,
получил «серпастый, молоткастый»,
самый верный паспорт на земле.



ЛЮДМИЛА МОЛЧАНОВА

★

ДЕТСТВО ЛЕНЫ

Повесть

Моё рождение

Случилось это в один из августовских душных дней. От стоявшей в ту пору жары в полутёмной низкой ткацкой нечем было дышать. Скупой солнечный свет, проникая сквозь запылённые стёкла окон, освещал согнутых у станков работниц. С первого взгляда было трудно отличить молодых от старых. Лица всех одинаково желты, озабочены и утомлены. От неумолкаемого шума станков звенело в ушах, от обильной хлопковой пыли пересыхало во рту. К концу десятичасовой смены ныла поясница и зеленело в глазах.

Вдруг в дальнем углу раздался жалобный надтреснутый крик. Он рос, ширился, заглушая привычный шум трансмиссий и стук погонялок. Ткачихи подняли головы. Высокая старуха решительно потянула на себя рукоятку станка и первой поспешила на крик. Через несколько минут в ткацкой наступила тишина. Станки были выключены. У крайнего станка, в углу, неловко привалившись к стене, билась на каменном полу молодая ткачиха. Её рот был широко раскрыт, глаза округлились. Возле неё суетилась бабка Бойчиха, та высокая, сгорбленная старуха, которая первой остановила станок. Она положила под голову молодой ткачихи снятую с себя вязаную кофту и ласково уговаривала:

— Ничего, милая... Ничего... Потерпи... Не ты первая. Да позовите вы Мартына-то, — кричала она сгрудившимся работницам. — Чего рты поразинули? Да бегите же скорее кто-нибудь!

Но Мартын бежал сам. Огромный, чёрный, с дикими от ужаса глазами, он, тяжело дыша, остановился около женщин. В угол Мартын заглянуть не решился.

— У, лошак здоровый! Ишь, испугался. Иди, принимай, — засмеялась одна из ткачих. — Бабы, да пропустите же его.

Женщины расступились. Бабушка Бойчиха поднялась с пола. Она держала в руках что-то живое, копошашееся, завёрнутое в фартук. Мартын вздрогнул, отступил.

— Да бери же, — проговорила бабка Бойчиха.

Но Мартын не слышал её. Он не отрывал испуганного взгляда от мелового, неподвижного лица своей жены.

— Да бери же своё богатство, — повторила старуха. — Чего перепугался. Ткачиху принесла твоя Анна. Нашла место, не дождалась конца смены.

Мартын неуклюже топтался, вытирал со лба капельки пота, потом осторожно, боясь раздавить, взял ребёнка перемазанными в клейстере ладонями. Он всё ещё непонимающе смотрел на насмешливо ласковые лица работниц.

Высокий, широкоплечий, он сейчас выглядел смешным и беспомощным.

— Ткачиха...

В голосе Мартына не было той радости, которой обычно встречается в наше время появление нового человека на свет.

Короткое слово «ткачиха» заставило его ниже опустить голову и тяжело вздохнуть.

...Так я родилась.

«Молотилка»

Если бы не многоэтажные здания ткацкой и красильной фабрик и длинные красные казармы, Глуховку можно было бы принять за деревню. Едва кончалась главная улица с лавками, домами и небольшой церквушкой, как шоссе снова обрывалось, просёлочная дорога сменяла бульжник. Начинались пашни, глухой лес, болота.

Жили мы на самой окраине Глуховки — у леса, в месте со странным названием «Молотилка». Каждый из деревянных барачков, огороженных низким забором, также имел своё название: Кирилловский, Владимирский, Часовенка и Отходницкий. Мы жили в Кирилловском бараке. В нём двадцать каморок. Маленькие, низкие, с обязательными полатами в каждой, они больше напоминали курятники, чем комнаты. Не проходило воскресного дня, чтобы где-нибудь не слышалось пьяных голосов, ругани, плача. Не успевало затихнуть в одной из комнат, как в другой начиналась драка, и мы со всех ног бросались смотреть интересное зрелище.

Плач и ругань по обыкновению затихали при появлении кособокого, одноглазого зрителя Зота Фёдоровича. Едва его шуплая фигура появлялась в конце длинного коридора, мы испуганно, точно мыши, разбегались по своим каморкам. Женщины вытирали слёзы и вступались за внезапно притихших мужей. Кривой зритель с хитрым и узким, словно лисьей морда, лицом был страшнее тяжёлых кулаков разбушевавшихся мужей. В поздние вечера матери пугали им ребятишек, а у взрослых при одном упоминании имени зрителя мрачнели лица. Если Зот Фёдорович заставлял в бараке беспорядок, то это грозило большой неприятностью. За крупную драку он переселял во Власовскую четырёхэтажную казарму, где в каждой комнате жило по несколько семей. Чтобы не потерять, хотя и тесную, но отдельную каморку, зрителю давали взятки. Но и в тихие дни Зот Фёдорович, переходя из одной комнаты в другую, искал к чему бы придраться.

Ещё с порога он ощупывал жадным взглядом каждую вещь. Мать обычно начинала торопливо рыться в комоды и, вынув только что сплетённый моток кружев или носки, молча совала зрителю.

— Сколько ночей сидела, спину гнула, а ради чего, спрашивается, — сердито говорил отец после его ухода. — Приучила пса к поданкам.

Мать боязливо махала рукой.

— Молчи! Может, больше не придёт.

— Дождись! Надолго ли собаке блин — только раз глотнуть.

Нахлобучив на растрёпанные кудри старый выгоревший картуз, отец уходил из дому. Возвращался он не скоро, с возбуждённым красным лицом. Мать молчала, бросая на него укоризненные взгляды. Отец вздыхал, бурчал что-то неразборчивое и укладывался спать. Я ни разу не видела, чтобы он тронул мать, даже будучи в нетрезвом виде.

Моя мать

Мать моя была набожна и суеверна. Высокая, ещё не старая, но высохшая и молчаливая, одетая во всё чёрное, она походила на монашку. Лишь белый головной платок да бесчисленные хлопковые ниточки, приставшие к одежде, выдавали в ней ткачиху. Оставшись круглой сиротой, она с восьми лет работала на фабрике. Мне рассказывали, что, будучи девушкой, она хорошо пела, но я никогда не видела её поющей или смеющейся. В редкие светлые дни на её тонких губах мелькала улыбка, но, словно чего-то испугавшись, моментально пряталась.

Мать умела подписывать своё имя и читать по складам. Единственная её книга — потрёпанный до невозможности псалтырь. Его она знала наизусть. Мать была скупа не только на слова, но и на ласку. Наказывала она меня редко, но очень больно, словно вымещала на мне все свои неприятности. Хотя у отца был горячий характер, но и он как-то затихал в присутствии молчаливой матери. Нередко сильно обиженная я пыталась найти защиту у отца и всегда терпела неудачу. Отец не заступался за меня, а добавлял ещё подзатыльников.

— Не смей на мать жаловаться, — говорил он, хмуря брови.

На другой день отец приносил мне сахарного петуха или цветную картонную шпульку.

— На вот, играй, на мать не обижайся. Она и так обижена.

Отец прижимал мою голову к себе и, как бы стыдясь чего-то, робко гладил широкой ладонью по моим спутанным чёрным кудрям.

Обиду матери я знала.

Несколько лет назад на окраине Глуховки, неподалёку от последних барачков посёлка, остановился на отдых цыганский табор.

Вечером на поляну потянулись фабричные. Девушки и парни со смехом протягивали руку цыганкам, желая узнать свою судьбу.

Молодому цыгану Марко, сыну вожака табора, приглянулась светловолосая ткачиха Анна. Цыганские законы суровы... К концу недели, когда фабричные пришли, как обычно, к месту стоянки табора, они не нашли там ни одной палатки. Только избитый, полуживой Марко неподвижно лежал на земле. Его подобрала. Через месяц ещё совсем больной Марко стоял в холодной пустой церкви. Хозяин фабрики, прежде чем принять Марко на работу, приказал окрестить его. Так появился на фабрике новый ткач — Мартын Емельянов. Год спустя в той же самой церкви он обвенчался с Анной.

Прошло уже много времени с тех пор, как мать вышла замуж за цыгана, а ей всё ещё не могли простить этот грех. На фабрике за вспышки и промахи отца ей нередко приходилось выслушивать от мастеров нарекания, насмешки. Даже в церкви, на исповеди ей напоминали о великом грехе.

Часто мать стояла на коленях в углу перед иконами и долго, долго молилась. Если по её щекам текли слёзы, я знала, что её опять обидели.

Едва сходил с полей снег и подсыхали дороги, мать с тревогой начинала посматривать в окно, мимо которого громыхали цыганские повозки. В эти дни меня запирали на замок и не разрешали выходить на улицу. Мать молчала и вздрагивала от каждого шороха и стука. Отец ходил, виновато опустив голову, и старался говорить шёпотом. Потом, когда выяснялось, что табор чужой, меня выпускали к ребятам. Мать смотрела на повеселевшего отца не так уж сурово и спокойнее спала по ночам.

Страх, что меня украдут сородичи отца, каждый год неотступно преследовал мать, а мне отравлял весенние дни, такие звенящие и светлые.

Весной

К девяти годам я вытянулась в неуклюжую, тонкую, как жердинка, девочку. Узкое смуглое лицо, беспокойные, как у отца, чёрные глаза, взъерошенные кудри делали меня похожей на горбоносую птицу, пугливую и любопытную.

Весна тревожила не только мать, её приход волновал и меня. Едва только близкий лес оживал от звона птичьих голосов, я начинала беспокойно спать по ночам и, сама не зная о чём, скучать. Меня тянуло в лес, особенно по утрам.

На рассвете, едва открыв глаза, я начинаю прислушиваться. Из коридора доносится голос матери. Она просит у соседки сито. С утренней свежестью в открытое окно доносится душистый лесной запах. Каморка залита солнцем. Оно везде: на полу, на стенах, на комод. Моментально накидываю платье, слезаю с полатей и подбегаю к окошку. Если не удрать сейчас, весь день придётся сидеть дома, мать не пустит. Она сегодня работает в вечерней смене. Придвинув табурет, я взбираюсь на подоконник и прыгаю вниз в прохладную траву. Ушибленный о наличник локоть горит, рукав разорван, но это меня не беспокоит, я мчусь со всех ног к лесу. Ветер треплет подол ситцевого платья, босые ноги холодит роса. Я не замечаю ни острых камней, ни луж, ни канав. Лишь бы скорее добежать до леса. У первой сосны я останавливаюсь. Обняв желтоватый смолистый ствол, прижимаюсь к нему щекой. Теперь уж никто меня не вернёт, и можно бродить по лесу сколько угодно. О предстоящей порке я не думаю.

Узкая лесная дорожка изрезана тропинками. Одна из них ведёт к любимой полянке.

Над головой слышится осторожный шорох, к моим ногам падает еловая шишка. В воздухе мелькает веером рыжий хвост, и белка уже на соседнем дереве. Где-то рядом, словно деревянным молоточком, постукивает дятел. Лапчатые ветви ёлок обвешаны красноватыми смолистыми шишками, похожими на зажжённые свечки.

А вот и заветная поляна. Здесь, как и в прошлую весну, всё цветёт, живёт и радуется глаз. На солнечном пригорке вся в белом замерла черёмуха. На неподвижных ветках искрятся и переливаются ещё не просохшие розоватые капельки росы. Пахнет фиалками. Робкие, они прячутся в траве, в кустах, под валежником. Их можно отыскать только по нежному, чуть слышному аромату.

Присаживаюсь на кражистый широкий пенёк, кое-где покрытый голушоватым мхом. Некоторое время сижу молча, потом начинаю напевать:

А завтра с ранними лучами
они уйдут толпою вдаль,
и песнь лихая за шатрами
тогда в нас вызовет печаль.

Эту песню частенько мурлычет отец, когда матери нет дома. И я люблю её. Вообще я люблю петь. Мать даже мечтает устроить меня в церковный хор и заставляет петь молитвы. Но когда поёшь в каморке, кажется, что песне тесно, а здесь, на поляне, слова летят, точно птицы, лёгкие, быстрые, вольные.

Потом, устав от песен, я забираюсь на старую сучковатую берёзу. За порванное платье и исцарапанные ноги мне часто попадает от матери. Каждый раз после наказания я обещаю вести себя как следует, но стоит попасть в лес, как обещания вылетают из головы.

С высокого дерева далеко-далеко видно вокруг. Вправо я не смотрю, там лес плотной стеной отгораживает нашу Молотилку. Слева, где по утрам разгорается алая полоска и из неё, точно умытое, появляется солнце, — ширь, простор. Отец говорит, есть такие места, где совсем не бывает зимы. Осенью туда торопятся птицы. Там круглый год цветут цветы и много-много солнца, а вместо нашей узкой Клязьмы — огромные, без берегов, реки. Вода в них солёная и по ночам светится огоньками. « Попрошу папку, чтобы мы туда поехали, когда табор деда прикочует сюда». От этой мысли я вздрагиваю, но тут же вспоминаю мать. Разве она бросит свою работу?

Чем дальше всматриваюсь в таинственный далёкий простор, тем сильнее хочется проникнуть в него...

Домой возвращаюсь под вечер, голодная, усталая. В руках охапка душистых веток черёмухи и поникших фиалок. Мать любит цветы. Угасающие лучи золотят стёкла неприкрытого окна. Край белой занавески колышется, приподнимается. Это мать ждёт меня.

Мои друзья

С малых лет я невольно делю свой день на половинки. Первая — это матери, вторая — отца. Половина матери скучная. Если с утра мать дома, то всегда, как бы рано я ни открыла глаза, вижу её занятой. Либо она сидит согнувшись у стола перед подушкой и постукивает коклюшками, плетя бесконечные кружева, либо же стоит в углу перед иконами.

Молится моя мать удивительно. Она может часами не отрывать глаз от икон и что-то шептать вполголоса. В такие минуты её худощавое лицо кажется чужим, страдальческим, словно она выполняет тяжёлую работу. Окончив молиться, мать со вздохом поднимается с пола и, не торопясь, берётся за штопку или стирку. В эти часы я не смею выйти в коридор и также принимаюсь за работу: чищу картофель к обеду, мою посуду, прибираю каморку. Но едва только раздаётся гудок и мать уходит на фабрику, я с нетерпением посматриваю на дверь, дожидаясь отца. С его появлением в нашей комнате становится свежее, уютнее, и начинается вторая половина дня — отцовская.

У каждого из нас в детстве есть лучшие друзья, о которых в памяти надолго сохраняются светлые воспоминания.

У меня их двое: Петька Ершов из восьмой каморки и Кланька Смирнова — из пятнадцатой. Едва успевает уйти на смену мать и явиться отец, как открывается дверь. Первым заглядывает Петька.

— Ушла? — спрашивает он шёпотом.

Петька худ и высок, рукава ситцевой рубахи едва закрывают его локти. Вихрастая голова с широким лицом и светлыми глазами кажется непомерно большой. Петька приходит не один. Перегибаясь от тяжести, он держит на руках толстощёкую двухлетнюю Груньку, которую всюду таскает за собой. Усадив сестрёнку на пол, он придвигает к ней цветные картонные шпульки. Как бы часто ни заходил к нам Петька, отец всегда встречает его одним и тем же вопросом:

— Опять подрался?

Петька молчит, склонив набок вихрастую голову.

— Кто тебя так разукрасил?

Лицо моего приятеля вмиг вспыхивает до оттопыренных ушей. У Петьки страшная способность моментально краснеть.

— Я сам наподдал — пускай не лезут!

Петька отворачивается в сторону, чтобы отец не видел его вспухшего носа.

— За что же тебя угостили? — добродушно допытывается отец.

— Это Гришка с Володькой, они хотели мне влечь, а я их первый...

— Ого, двое на одного, значит,— отец весело подмигивает, а потом, спохватившись, спрашивает:— Постой! Так они тебя ведь ещё не трогали?

— Не... Они только, навернсе, хотели. Сговаривались о чём-то.

У Петьки удивительный характер. Он страшно недоверчив. Ему всегда кажется, что его хотят обидеть, поэтому он спешит начать драку первым. На его лице, руках никогда не заживают царапины и синяки.

Кланька входит в каморку боязливо, бочком. Она худенькая и белёлая. При дневном свете её маленькое лицо кажется прозрачным. На нём можно рассмотреть каждую жилку. Сквозь порванное серенькое платьишко легко сосчитать рёбра и позвонки. Кланькино лицо покрыто ссадинами от отцовских побоев, а с ушей не сходят золотушные болячки.

У Кланьки больная мать, отец — пьяница и буян. Двух младших братишек, таких же молчаливых и робких, как и сама Кланька, редко увидишь в коридоре. Они копошатся в каморке, а если тепло — на улице, под окнами. Тишка и Гришатка такие безответные и тихие, что невольно вызывают жалость у ребят. Их не трогают даже самые отъявленные забияки.

С Кланькой я подружилась недавно. Случилось это зимой. Мать послала меня в лавочку за хлебом. Прежде чем дать мне деньги, мать долго перебирала в руках медяки.

— Возьми фунт серого, да смотри, корку дорогой не обламывай,— предупредила она.— Возвращайся быстрее.

Зажав в ладони монету и помня наказ матери не глазеть по сторонам, я торопливо выбежала за ворота.

Зимний день был тёплым и ласковым. Розоватое солнце сияло над заснеженными верхушками деревьев, над белым безлюдным Власовским полем. У опушки леса — берёзы. Крапчатые стволыки будто тонкие руки тянутся навстречу к солнцу. Как я ни спешила домой с хлебом, всё же солнце успело спуститься к самой земле, и все бараки были залиты красноватыми отблесками лучей. Около своего окна я остановилась и испуганно попятилась. Снежный сугроб, словно живой, неожиданно закачался перед моими глазами и поплыл на меня.

— Испугалась! Только не маши руками. Это мамыны гуси.

Худенькая девочка в валенках на босу ногу, придерживая на плечах цветную дерюжку, сбежала с крыльца.

— Васька! Васька! Тег! Тег! На место!

Большая птица сложила крылья и, переваливаясь с боку на бок, послушно заковыляла к незнакомой девочке. Остальные гуси откатились от моих ног и также потянулись к ней.

— Это они маму ждут. И в гусятник не хотят итти. Не знаю, что с ними делать.

Девочка погладила переднего гуся по широкой спине и с любопытством посмотрела на меня.

— Ты здесь живёшь? А мы только что переехали к вам из Слободки. Тебя как зовут? Меня — Кланькой. Будем водиться. Ладно?..

Кланька, присев на корточки, обняла длинную шею самого большого гуся.

— Замёрзли, бедненькие. Лапки отморозили. Ну что вы, глупые. Мамка всё равно не выйдет к вам. Она лежит.

Гуси послушно пригибали головы и тихо-тихо о чём-то говорили.

— Давай я тебе помогу загнать,— сказала я.

Кланька отрицательно покачала головой.

— Не, не пойдут.

— А если их хлебом заманить?

Отщипнув кусочек корки, я поманила одну из птиц.

— Идёт! Идёт! — Кланька радостно рассмеялась. — Вот хорошо-то.

Через несколько минут мы с Кланькой бежали к загону, где тесными рядами были построены сарайчики. Гуси, подбирая на ходу хлебные крошки, спешили за нами.

Когда мы их загнали, солнце уже совсем спряталось, а от фунта хлеба осталась малюсенькая горбушка.

В тот раз мне от матери здорово попало, но зато Кланька стала моей подругой.

Войдя в каморку, Кланька сразу же устраивается в уголке возле моих кукол, и те начинают разговаривать, драться, плакать.

— Ра-ш-ш-ш-шибу! — кричит грязная, лохматая кукла, прозванная дядей Семёном — по имени отца Кланьки.

— А ты не плачь. Не плачь... Нишкни, детка,— уговаривает Кланька другую, маленькую, с волосами из пакли и облупленным носом. Больше всех достаётся Машке. Кланька дёргает её за сборчатую цветную юбку, тычет пальцем в нарисованные чернилами глаза.

— У... бесстыдница... И бога не боишься. Так бы вот и выцарапала бельма твои бесстыжие!

Кукла мотается у неё в руках, падает на пол. Несчастливая Машка изображает толстую тётку Анфису, которая, по словам Кланьки, ждёт не дождётся, когда умрёт её мать, тётя Поля, чтобы перейти к ним жить.

Петька, насупленный, примолкший, следит за Кланькиными руками.

— А ты ей наподдай. Как она придёт к вам, так ты ей и наподдай. Я вон ни за что не пущу Молчуна.

Петька сжимает кулаки и хмурится ещё больше. У него тоже несчастье. Мать собирается выходить замуж. Петька не может смириться с тем, что вместо умершего отца у него будет отчим — рыжий дядя Никифор, рабочий с красильной фабрики, прозванный за неразговорчивость Молчуном. Петька уже заранее возненавидел своего будущего отчима, и достаточно произнести его имя, как он начинает кипятился.

Кланька сидит неподвижно.

— Сегодня опять мамку побил. Говорит: в гроб вгоню. Гусей хочет перерезать. И мне досталось,— жалуется она.

— А кто ему даст гусей-то трогать? Пусть только попробует,— угрожающе надвигается Петька.

Судьба Кланькиной матери вызывает участие всех соседей. Года два тому назад за какую-то детскую шалость мастер избил Кланькиного старшего брата Колю. Случилось это на глазах у тётки Поли. После побоев Коля вскоре умер, а у тётки Поли начались припадки. Особенно она страдает по ночам. Часто в бараке раздаются страшные крики больной и испуганный плач младших братьев Кланьки.

К своим гусям Кланькина мать сильно привязана, а они даже в морозные зимние дни не отходят от окна. И не было ещё случая, чтобы кто-нибудь из нас обидел их или, проходя мимо, не покрошил кусочка хлеба, припрятанного за обедом.

— Пусть только попробует, мы всех ребят соберём,— горячится Петька, раздувая ноздри припухшего носа.

Уходят друзья, когда Грунька трёт кулачками глазёнки и клонит голову. Кланька рассаживает кукол в ряд и со вздохом поднимается. Мне становится её жаль.

— Знаешь, что? Возьми себе, какую хочешь. Мне всё равно столько не нужно.

Кланька несмело смотрит на меня, на отца, на Петьку. Грустное лицо её светлеет. Она вновь садится на корточки и берёт самую маленькую куклу.

— Спасибо,— тихо говорит Кланька.

Прижимая к груди подарок, она выходит вслед за Петькой. Отец качает головой и долго-долго сидит задумавшись.

Первый урок жизни

Ещё живя в таборе, отец неведомо как научился грамоте. Читает он помногу, всё, что попадёт под руку. К девяти годам он и меня за букварь усадил, мечтая определить в школу. Каждый раз, придя с работы и наскоро победавав, отец отодвигает мамкин псалтырь далеко в сторону (он почему-то его недолюбливал) и раскрывает передо мной букварь. Иногда наше учение прерывается, и тогда я, очарованная, слушаю рассказы отца о вольной цыганской жизни.

Как-то раз он прочёл мне сказку «Кот в сапогах». С тех пор я часто вижу героев этой сказки во сне. И странно: вместо умного, хитрого, ловкого кота, мне всегда снится отец. Огромный и сильный, с весёлым блеском чёрных глаз, в неизменной сатиновой рубашке, он стоит на крутом пригорке за казармой и зовёт меня. На отцовских ногах вместо неуклюжих валенок — чудесные с широкими сверкающими голенищами сапоги.

— Иди ко мне, Ленка,— говорит отец.— Я поведу тебя далеко, далеко — к солнцу.

Сердитый ветер срывает с его головы фуражку, путает кудри, дует мне в лицо. Отец берёт меня за руку, и мы идём. Перед нами вырастают горы, текут реки, встают непроходимые чащи. Какие-то безобразные чудовища, чёрные и скользкие, стараются схватить нас длинными лапами. Но мне не страшно: рядом отец в своих волшебных сапогах.

Я даже придумала игру, за которую мне здорово досталось от матери.

Однажды утром она взяла меня с собой на базар. Выйдя за ворота, я взглянула на нескончаемое поле зеленеющей ржи, подступавшей к самым окнам, и спросила, как маркиз из сказки:

— Чьё это поле?

— Хозяина,— машинально отозвалась мать.

Мне стало смешно. Мать не догадывалась, что я хочу с ней поиграть. Она была озабочена и как всегда молчалива. Мне захотелось её развеселить, и я, указав на лес, опять спросила голосом маркиза:

— А это чей лес?

— Тоже его.

— А чьи эти большие дома?

Мать подозрительно посмотрела на меня и нехотя обронила:

— И дома его.

Мне почему-то стало обидно до слёз. Сосновый бэр вперемежку с белоствольными берёзками, густые рощи, наполненные птичьим гомоном, луга, покрытые сочной мягкой травой и цветами, большие дома — всё это принадлежало одному хозяину. И ещё какому: бородатому, в длинном чёрном кафтане, «гусляку», как его называет мой отец.

— А почему его, а не наши? — чуть не плача спросила я.

Тонкие, точно ласточкины крылья, брови матери взлетели вверх, сна нахмурилась и пребольно дёрнула меня за руку.

— На всё воля божия. Всё от бога дано.

— Значит, твой бог вредный! — крикнула я.

В ответ я получила крепкий щелчок в лоб. Мать вернулась домой, выпорола меня и заперла на замок.

Не знаю, от чего я больше редела на этот раз: от боли или от обиды, которая бьёт сильнее, чем узкий отцовский ремень. Досыта наплакавшись, я подставила табурет к окну и долго смотрела на синеватый лес, на беспокойные волны жита, на плывущие по небу облачка, лёгкие и быстрые.

— Всё равно,— решила я.— Придёт время, и мы с Петькой всё, всё отберём у хозяина. Нашим станет этот лес, поле, нашим будет синее небо, даже солнце — и оно будет принадлежать нам.

Не приняли

Скупой рассвет проникает в окно. В открытую форточку тянет утренней свежестью. Мать сидит перед утыканной булавками подушкой и худыми тонкими пальцами быстро перебирает коклюшки. Язычок пламени колеблется под закопчённым стеклом маленькой лампы. Он то вытягивается, то приседает и вот-вот готов исчезнуть. От его игры на стене прыгает горбатая тень. В комнате тихо. Мерно отстукивает маятник ходиков. Мать поминутно посматривает на стрелки. Изредка она сухо покашливает, и тогда на её щеках аспыхивают розовые пятна. С улицы врывается громкий звук гудка. Мать вскакивает. Тень, резко взметнувшись, повторяет каждое её движение. Мне с полатей видно, как мать, накинув лёгкий платок на плечи, нерешительно поглядывает вверх. Ей жалко меня будить. Наконец, решившись, она вполголоса окликает:

— Ленка, Ленушка, вставай. Я ухожу. Вот тут поешьте да воды не забудь натаскать. Отец-то сегодня пойдёт в школу, за тебя просить, — добавляет она.

Сон моментально слетает с меня. Охватывает беспокойство. А вдруг не примут? Вдруг скажут, что цыган не берут?

В школу у нас ходили немногие, да и то в большинстве случаев мальчики. Считалось, что девочкам можно и без грамоты работать на станке или в шпульной.

Я спускаюсь с полатей и начинаю прибираться. Сегодня стараюсь больше, чем всегда. Хочется сделать приятное отцу.

За окном уже утро. По небу, промытому до синевы вчерашним дождём, плывут клочки туч. Когда они касаются солнца, на золотистую ниву ложатся тёмные пятна.

Гуси тёти Поли уже давно теснятся под окном. Самый большой из них, Васька, вытягивает шею, стараясь заглянуть в Кланькину каморку. Это ему не удаётся, и он недовольно кричит, бьёт крыльями о полинялый наличник.

Уборку я закончила, а отца всё нет и нет.

Никогда ещё я с таким нетерпением не ждала его и не считала минут. Уже остыла приготовленная матерью драчёна, и рой мух вьётся над жареной картошкой. Мне совсем не хочется есть.

Вбегаёт Кланька.

— Пошли, Ленка. Ну что ты сидишь. Там ребята в прятки играют. Когда придёт твой тятка — увидим.

Отец пришёл неожиданно в самый разгар игры. Я как раз водила, а ребята прятались.

— Ленка, вон твой тятка идёт! Смотри — с Молчуном Петькиным, — крикнула Кланька. — Давай я за тебя довожу, а ты ступай.

Отец шёл с опущенной головой, тяжело и как бы нехотя передвигая ноги. Рядом с ним размашисто и упруго шагал дядя Никифор. Он о чём-то тихо говорил отцу, рассекая воздух измазанной в краске ладонью. Из-под сдвинутой на затылок фуражки выбивались буйные пряди огненных волос. Дядя Никифор был такой же широкоплечий и сильный, как и мой отец. Но он нёс своё тело удивительно легко. Завидев меня, он замолчал и насупился. Так все трое, не разговаривая, мы вошли в комнату. К моему огорчению, отец не заметил наведённой мною чистоты и не похвалил меня.

Дядя Никифор засиделся у нас долго. Всё время он в чём-то убеждал отца. О школе они не произнесли ни слова. А когда дядя Никифор собрался уходить, то внимательно посмотрел на меня и почему-то помрачнел. После его ухода отец долго мерил шагами каморку и ерошил кудри.

— Папка, приняли меня в школу? — со страхом и в то же время с затаённой надеждой спросила я.

Отец ничего не ответил. Он лишь притянул меня к себе и вздохнул.

— Хочешь сказку расскажу? — неожиданно сказал он.

— Папка! Я пойду учиться?

Отец опустил на стул и словно маленькую поднял меня к себе на колени.

— Не горюй, Ленка, всё равно будешь учиться.

Сразу померк солнечный свет за окном. Я поняла, что меня не приняли в школу.

Дня через два отец пошёл к хозяину фабрики. Тот, выслушав его, сказал:

— Зачем тебе понадобилось девку учить? Ни к чему... Посылай работать, места в шпульной много. Всё, глядишь, заработает что-нибудь.

Отец бушевал несколько дней. Впервые я видела, как у нас со стола летели на пол тарелки и чашки.

— Врёшь! Врёшь! — вёкрикивал отец в пьяном гнев. — Цыган тоже человек. Также жить хочет.

В один из таких приступов буйства к нам зашёл дядя Никифор. Он долго и молча наблюдал за взъерошенным отцом, чуть прищурив умные серые глаза.

— Ну, Мартын, навоевался? Кого победил? Один семерых убил? — насмешливо спросил он, поглаживая заросший золотистой щетинкой подбородок.

Отец сразу как-то осел и притих. С недоумением смотрел он на порванную рубашку, хрустящие черепки под ногами, бледную мать, прижимавшую меня к себе.

— Уйду я. Не могу больше. Сколько лет держался. Добили...

— Добили, говоришь. Ну ничего, мы тебя полечим, — загадочно произнёс дядя Никифор. — А ты что притихла, Ленка? Смотри веселее. Всё равно наша возьмёт.

Мать, перекрестившись, принялась собирать с пола осколки посуды.

— Ты вот что. Анна Фёдоровна. Мы тут немного кое с кем поразмыслили и решили... — Дядя Никифор замолчал и посмотрел на мать. — Придётся тебе к Дуне Чёрной сходить. Не оставлять же девочку без школы. По добру не берут, попробуем пойти в обход. Бё

кривой-то дьявол вхож к начальнице школы в дом. Иногда и хитрость нужна, а бить посуду, рвать на себе последнюю рубашу да размахивать кулаками — это всякий может. Только какой толк...

Отец, опустив голову, что-то неразборчиво проворчал.

С Дуней Чёрной мать когда-то дружила. Они вместе жили в одной каморке. В ткацкой станки их стояли рядом. После замужества матери Дуня перешла в другую казарму. В моей памяти сохранились лишь её ласковые руки, чёрные толстые косы и тёплый грудной голос.

На фабрике Дуня Чёрная проработала недолго. Однажды весной её сменщица заболела и не вышла на работу. Дуне пришлось стоять вторую смену. Мастером ткацкой в ту пору был старик, прозванный Мучителем. Плешивый, с редкой бородёнкой на безбровом лице, он часто приставал к женщинам и даже девочкам. Ткачихи не раз просили управляющего убрать его из цеха.

В ночь, когда работала Дуня, как раз дежурил Мучитель. Старик несколько раз подошёл к ней, заглядывая в лицо моргающими глазами, поглаживая по спине. Дуня сердито отмахивалась. Наконец ей так надоели приставания старика, что она толкнула его. Мучитель поскользнулся и ударился головой о станок.

Наутро Дуню прогнали с работы, а Мучитель ещё долго ходил с перевязанной головой.

Дуню выселили из казармы. Не разрешили ей жить и у нас. Загнанная и голодная, она около года билась как могла, ходила стирать, мыть полы. Но за одной бедой пришла другая. В деревне у матери за недомыслие описали избёнку. Надо было выручать. И Дуня сдалась на уговоры кривого Зота Фёдоровича... Он обещал её снова устроить на работу, если она согласится пожить у него в Слободке.

С тех пор Дуня перестала бывать у нас. Когда кто-нибудь из соседей заговаривал о Дуне, мать молчала и хмурилась. На уговоры дяди Никифора и отца она долго не соглашалась и уступила только после моих слёз.

Дуня Чёрная

На другой день, едва на востоке посветлело небо, мы с матерью вышли из барака. Ещё с вечера мать приготовила для подарка большой моток кружев.

Утро росное и тихое. Мы идём по обочине дороги. Там, где я ступаю, в густой траве остаётся тёмная цепочка следов. Чтобы попасть в Слободку к Дуне Чёрной, нужно пройти через всю Глуховку на другой конец села.

Сегодня воскресенье, на улице пока безлюдно. Перед церковью мать остаётся и долго крестится. Сворачиваем в проулок и идём мимо ткацкой. По случаю праздника широкие фабричные ворота наглухо закрыты.

— Мамка, пойдём лесом, — прошу я и, чувствуя слабое колебание материнской руки, тяну её к сосновому бору.

В лесу мать замедляет шаг и идёт торжественно, неспеша. На ней сегодня шерстяное, кубового цвета платье. Светлые волосы гладко зачёсаны, и кажется, что тяжёлый узел зашпиленных кос оттягивает голову назад. Хотя мать недовольно поджимает губы, выражение её лица праздничное. В лесу ей приходится бывать редко.

На мне вместо будничного короткого платьишка — новое, длинное, с густыми оборками. Когда сквозь деревья на меня падает солнечный свет, цветы на платье вдруг оживают, загораются. Кудри мои туго забраны за уши и связаны красной ленточкой.

Узкая тропка круто сворачивает вправо. Высокие сосны расступаются, начинается берёзовая роща. Капли росы, точно слёзы, падают с пламенеющих гроздьев калины. Молоденькие осинки, гибкие и кудрявые, будто перешёптываются между собой. Где-то совсем близко, нарушая тишину, причитает кукушка.

— Бездомная, пораскидала детей и плачется, — осуждающе произносит мать.

Берёзовые заросли обрываются у оврага. Утреннее солнце заливает пёстрый луг. За ним, поблёскивая, дремлет Клязьма, точно пригревшаяся на припёке змея. Издали кажется, что речка свернулась в кольцо.

— Ишь, благодать божья! — шепчет мать, подбирая подол праздничного платья, чтобы не вымочить о росу.

Вот и Слободка. Дунин домик в самом конце, он прижался к лесу. Окна ещё прикрыты голубыми ставнями. На каждом из них вырезаны отверстия в форме сердечек. В палисаднике густая зелень. Ей мало места, и она, топорщась, сквозь деревянную решётку лезет на улицу.

Мы поднимаемся на высокое крыльцо.

— Спит, поди, ещё, барыня, — ворчит мать и осторожно, подобрав подол, присаживается на чисто вымытую ступеньку. Стучать она не решается. В сенях под чьими-то тяжёлыми шагами скрипят половицы, громыкает засов, и дверь открывается.

Тучная, похожая на пуховую перину, женщина, недовольно щуря маленькие глазки, появляется на пороге.

— Чего нужно?

Она проводит кончиком фартука по изрытому оспой лицу и сладко зевает. Это тётка Аксинья, соседка Дуни Чёрной.

— Не к тебе, — неохотно роняет мать.

Тётка Аксинья, сердито косясь на мать, отпихивает босой ногой мои цветы, разложенные на ступеньке. Я испуганно отскакиваю и чуть не падаю с крыльца.

— Экая ты пугливая да на ноги слабая, — говсрит она и неожиданно добродушно улыбается.

Через несколько минут тётка Аксинья уже доверительно что-то нащёптывает на ухо матери. Изредка она поглядывает в мою сторону и смеётся, прикрывая рот ладонью. Потом, забыв обо мне, начинает говорить громче:

— Вечор кривой-то весь пол на коленях выползал. Всё уговаривал. «Семью, — говорит, — брошу и на тебе женюсь». А она, ну просто кремень, как пнёт его ногой.

Плечи тётки Аксиньи трясутся от смеха, на макушке качается собранный кукишем пучок жидких волос.

— И чего вечор было-то! Чего было! Дунька рассердилась страсть как: «Я, — говорит, — тебя аспида, пожалела, думала, что у тебя совесть есть, а ты, гриб трухлявый, вздумал по каморкам шнырять, вынюхивать да наушничать хозяйину».

Тётка Аксинья замолкает, оглядывается и говорит тише:

— Вишь, он ей проговорился, что следит за мужиками. Ну вот она и не хочет его больше принимать. Говорит, с голоду умру, а позорить себя не буду, и так людям в глазыньки глядеть стыдно.

Тётка Аксинья вздыхает. Мать молчит, брезгливо морщится.

— И то жалко на неё смотреть. Все дни сидит у окна да на фабрику посматривает. Скучает страсть как по работе. Всё меня спрашивает, что ткём, да кто на каком станке работает.

Поднявшись со ступеньки, тётка Акси́нья приставляет козырьком руку к глазам и смотрит на солнце.

— Пойду — может, встала. Всю ведь ноченьку не спала.

В светлой горнице, куда мы с матерью входим, беспорядок. Плюшевые дорожки цвета луговых трав сбиты. Стол сдвинут в угол, а мягкое креслице с выгнутой спинкой стоит посреди комнаты. Кажется, что хозяйка собираются уезжать или только что въехали. Мать, поджав губы, разглядывает тюлевые шторы на окнах, спущенные до самого пола, резной, с зеркальными дверками буфет, яркий ковер на стене.

— Забралась сорока в хоромы, — сердито ворчит она.

В это время дверь, ведущая в спальню, открывается и появляется сама хозяйка. Я чуть не вскрикиваю от удивления. В простеньком, расшитом цветными нитками халате, по которому почти до колен спадают толстые чёрные косы, Ду́ня кажется такой красивой, что я не могу представить себе рядом с ней кривобокого Зота Фёдоровича. «Наговорила, наверно», — думаю я, вспоминая разговор тётки Акси́ньи на крыльце.

— Это... это ты, Анна? — Ду́ня несмело протягивает матери руку. — А это кто такая лупоглазая? Да это же Алёнушка! Как выросла — и не узнать. Ишь брови-то чёрные да срослые, счастливая будет.

Мать молчит. С плохо скрытой неприязнью она оглядывает свою бывшую подругу.

— Садись, Анна.

Неуклюже потоптавшись, мать присаживается на край креслица.

— Спасибо, что пришла наведать.

— Я по нужде пришла. Из-за неё, — обрывает мать, кивая на меня.

Смуглые щёки Дуни мигом заливаются ярким румянцем, а густые брови сходятся почти вплотную. Не глядя на неё, мать сердито цедит слова, словно она пришла не по нужде, а с выговором.

— Что ж, — говорит Ду́ня после недолгого раздумья, — трудно мне сейчас, но постараюсь помочь твоему горю, Анна. — Она оборачивается ко мне и, ласково улыбаясь, добавляет: — Пойдёшь, Алёнушка, в школу, не кручинься.

Мать поднимается и, сухо поблагодарив, торопится к двери.

— Что же это я, — вдруг спохватывается Ду́ня.

Рывком открыв дверцу буфета, она достаёт зеленоватую, круглую сахарницу, полную прозрачных леденцов.

— На-ка, на-ка, Алёнушка. Погрызи, а мы пока с матерью потолкуем. Ишь, какая вымахала, вся в отца, чернявая да кудрявая. А характер-то, видно, твой, Анна, — молчаливая. Поди, и молиться приучила?

— Это уж не твоё дело.

Мать снова поджимает губы.

— Не сердчай, Анна. Так я. Рада-радешенька, что зашли. Время-то, время как летит, ведь, кажется, недавно мы с тобой бегали в табор гадать. Помнишь?

Лицо матери на миг светлеет. В уголках рта появляется что-то тёплое, похожее на улыбку.

— Вот ты меня осуждаешь, да не ты одна...

Ду́ня прячет зардевшееся лицо в ладони.

Мать отводит в сторону глаза, старается не смотреть на Ду́ню.

— Ты думаешь, мне сладко? Да я вся измучилась. На людей стыдно глядеть. По работе скучаю. Так бы и отстояла смену. Скажи, Анна, если на фабрику меня примут... — Ду́ня хочет о чём-то спросить, но не решается. Побледневшая, она ловит глазами угрюмый взгляд матери.

— Приходи, милости просим, — сухо говорит мать. — Никто тебе слова не скажет. Гони его, грех ведь на душу берёшь великий.

— Ты всё о грехе. Эх, Анна... Да знаешь, кто его выдумал, грех-то этот? Они выдумали, чтобы нас страшать. Вот ведь говорят же, что и ты согрешила. Мужа себе выбрала из цыган, а чем он хуже других? Да я бы такого, знаешь, как любила. А ты, наверное, его измытарила, запилила. Да разве ты виновата? — Дуня махнула рукой. — Небось, на исповеди тебе десять лет одно и то же долбят.

Мать сразу ёжится, становится как будто ниже ростом.

— Так-то, Анна, угадала ведь. А ты говоришь — грех. Тут делё не в грехе, а в душе.

— А ты не бреди болячку. Послушаешь тебя, и вправду подумаешь, что тебе тяжело, — едко колет мать.

— А ты, ты как думаешь? — вскидывается Дуня. — Думаешь, у меня глаз нет, души нет. Думаешь, в тряпки разрядилась, так мне и хорошо? Да разве душу-то можно выбросить? Мне, может, тошнее всех. — Дуня примолкает. Некоторое время она сидит не шевелясь, глядя прямо перед собой каким-то страшным неподвижным взглядом. — От хорошей-то жизни на такое дело не кидаются. Сама знаешь, как получилось. Начала с нитки, дошла до клубка, — вздохнула Дуня.

— Сама виновата, — прерывает её мать, — не захотела нашей помощи. Ведь не бросали тебя.

— Не бросили, спасибо, — говорит Дуня потеплевшим голосом. — Только вот руки-то, куда их денешь. Работы просят.

Дуня высказывает матери все свои обиды, словно та виновница их. Мать вначале помалкивает, потом, к моему удивлению, тоже начинает говорить. Она часто сыплет словами, точно боясь, что ей не дадут закончить.

На прощанье Дуня завёртывает в бумагу гостинцы и отдаёт мне.

— Вот она, Алёнушка, жизнь-то какая никудышная и сердитая.

Всю обратную дорогу мать молчит. Временами она чему-то грустно улыбается, вытирая глаза кончиком платка.

В руке у неё моток кружев.

В школе

Дуня Чёрная сдержала своё слово. Через день отец принёс из школы бережно сложенную бумажку.

— Вот и пачпорт нашей Ленке.

Мать, двумя пальцами взяв записку, подошла к окну, долго-долго шевелила губами, а потом, завернув в тряпицу, убрала её в соломенную корзиночку, стоявшую на комод.

А ещё через несколько дней, растопырив промытые до красноты руки, похожие на гусиные лапы, боясь задеть наглаженные складки на платье, я стояла перед зеркалом. Из мутного поцарапанного стекла на меня тарасила круглые глаза смуглая, с чёрными косами, девчонка, нескладная, но бесконечно счастливая.

Мать поправляет выбившуюся прядку моих волос, одёргивает чёрный сатиновый фартук и тихо приговаривает:

— Смотри не балуйся. Учись как следует.

Голос у неё сегодня тёплый, ласковый, а всегда грустные глаза светятся тревожной радостью.

— Платье береги, будешь садиться, подол подгибай, а то складки помнёшь. Да смотри, боже тебя сохрани, по лестнице не катайся, девчечек не задирай.

Мать вновь и вновь осматривает меня со всех сторон. И, наконец, удовлетворённая осмотром, отпускает.

Платье — моя гордость. Оно перешито из шерстяного материнского и от долгого хранения в сундуке приятно пахнет нафталином. Кружевной воротничок и нарукавнички, сплетённые матерью совсем недавно, делают платье нарядным. Но самое главное — это сумка, а в ней книги.

Входит Петька. Он тоже идёт в этом году учиться. Его вихры старательно смочены водой и приглажены. Длинные руки чуть не до локтей вылезают из рукавов старой куртки. На лице ни одной царапины, ни одного синяка. Тётя Марья не выпускала его всю неделю на улицу. Петька нетерпеливо переминается у порога, бросая на меня сердитые взгляды.

Наконец я собралась, и мы выбегаем из коридора.

— Ты иди вперёд, а я догоню, — бурчит смущённо Петька. Он боится, что его будут дразнить ребята, и поэтому, отстав от меня, идёт сзади с независимым видом. За воротами нас догоняет Кланька.

— Провожу вас немножко, — говорит она, сдвигая светлые, точно ржаные колоски, брови.

Кланька не может идти в школу, ей надо нянчиться с младшими. Тёте Поле делается всё хуже и хуже.

— Ты, Кланька, не плачь, мы с Петькой тебя учить будем, — утешаю я.

Петька отворачивается в сторону, чтобы не видеть Кланькиных глаз.

Я говорю Кланьке: «Не плачь!», хотя она и не плачет. Она редко ревет в голос, по-ребячьи. «Если мне плакать, то слёз каждый день будет набираться по ведру», — говорит она.

Порыв ветра срывает с головы Кланьки цветную дерюжку. Отвернувшись, она слишком долго ловит её руками, затем низко спускает на лоб.

На углу Кланька отстаёт и провожает нас взглядом, худенькая и одинокая, зябко кутаясь в свою неизменную рогонку.

Осенний дождь уныло кропит серую землю. На голом щетинистом поле темнеют мокрые ржаные суслоны. Угрюмо чернеет лес.

Петька всю дорогу молчит. Он опустил голову и, не разбирая, шагает по лужам. В школьной раздевальне мы расходимся. Его класс в нижнем этаже. Я поднимаюсь вверх.

Сколько ночей я не спала, мечтаю о школе! Сколько поклонов отбила мать перед иконами и пролила горьких слёз! Сколько унижений перенёс мой отец! И вот я в классе...

Звонка ещё не было, с парт несётся говор и смех. При моём появлении становится тише, меня разглядывают. Делается сразу холодно, будто я снова попала под дождь, на улицу. Некоторое время длится молчание. В окно доносится церковный звон. Его заглушает громкий вой фабричного гудка.

Я растерянно топчусь у порога, перекладывая из одной руки в другую сумку с книгами. Ко мне подходит высокая рыжеватая девочка.

— Ты чья? — спрашивает она. — Как тебя зовут?

Я теряюсь ещё больше.

— Смотрите, девочки, она говорить не умеет!

— Ленкой Емельяновой, — чуть заикаясь, отвечаю я и добавляю: — Мне мамка платье сама шила. И кружева сама плела.

— Ниночка! Ты слышишь? — обращается рыжеватая к беленькой курчавой девочке, похожей на сахарного барашка. — Посмотри, какие нарукавнички! А платье-то! Платье-то как сшито!

— Подумаешь! — капризно морщась, отвечает та. — У нас в лавке ещё лучше есть.

Мне делается обидно. Я готова расплакаться от досады.

— Иди, садись к нам, — зовёт меня кто-то с задней парты. — Не слушай их. У тебя платье вовсе не плохое. И как не стыдно вам, девочки.

Я с благодарностью вскидываю глаза на невысокую круглолицую девочку с толстой, светлой косой, перекинутой на грудь, и осматриваюсь смелее. Девочки, сидящие за первыми партами, все нарядные и приглаженные, в шерстяных фартуках, у некоторых волосы завиты и распущены по плечам, они тихо перешёптываются между собой. Позади, сгрудившись табунком, сидят девочки из казарм. Среди них есть и знакомые мне. Я останавливаюсь возле своей заступницы. Рядом с ней место свободно. Робко положив книги и боясь задеть её, я усаживаюсь на край скамейки.

В коридоре дребезжит, захлёбываясь, колокольчик. За дверью раздаются шаги.

Первый день

— Встаньте!

На пороге высокая, затянута в чёрное платье Серафима Львовна — самая главная наша начальница. Рядом с ней молоденькая, похожая на тростинку, учительница. Заведующую школой я видела не раз и успела уже невзлюбить. Мне кажется, что она проглотила палку, и та мешает ей поворачивать голову. Подойдя к столу, Серафима Львовна подносит к глазам очки. Очень странные очки у нашей начальницы. Они в жёлтой блестящей оправе и висят на чёрном шнурке.

— Садитесь, — говорит Серафима Львовна, и очки падают ей на грудь. — Можно начинать урок, Татьяна Афанасьевна.

Кажется, наша учительница боится начальницу не меньше, чем мы. Она никак не может раскрыть классный журнал, её пальцы дрожат, а миловидное лицо покрывается густым румянцем. Наконец, справившись с волнением, Татьяна Афанасьевна оглядывает нас и приветливо спрашивает:

— Кто из вас, дети, скажет, какой сегодня день?

От её ласкового голоса страх постепенно исчезает. За партами начинается возня, слышится шёпот, и руки тянутся вверх. Учительница заглядывает в журнал и вызывает одну из девочек, очень похожую на Кланьку.

— Куприкова Нюра, скажи!

Нагнув голову с тонкими косицами, Нюрка вскакивает и, заикаясь, отвечает:

— С-с-егодня первое с-с-ентября.

Рыжеватая девочка громко фыркает в кулак. Нюрка смолкает и, краснея, тербит край чёрного передника. Она вот-вот расплачется.

— А какой год? — спрашивает Татьяна Афанасьевна.

— Я... я... н-не знаю, к-какой год, — говорит Нюрка. Она смахивает что-то со щеки и садится.

— Кочнова Лиза. Скажи, какой год?

Чутьочку порозовев от волнения, поднимается моя соседка.

— Сейчас у нас тысяча девятьсотый год.

У Лизы звонкий голос, круглое лицо. Когда она улыбается, на щеках появляются весёлые ямочки. Лиза мне нравится, и я про себя решаю, что буду с ней дружить.

— А теперь, дети, раскройте буквари и поднимите руки, кто из вас знает буквы, — говорит Татьяна Афанасьевна.

Над передними партами сразу вырастает лес рук. Рыжая даже перегнулась вперёд от нетерпения. В нашем ряду девочки сидят не шелохнувшись, положив руки на книги. Лишь одна Лиза смело ставит локоть на парту. Глядя на неё, я робко вытягиваю руку. Заведующая снова поднимает к глазам очки и почему-то сердито смотрит на меня. Под её колючим взглядом я неожиданно для всех, а особенно для себя, встаю.

— Как твоя фамилия? — спрашивает Татьяна Афанасьевна.

— Емельянова Ленка. Я читать умею. Меня тятка выучил.

Серафима Львовна морщится, прикладывая руку к щеке, словно у неё сразу заболели зубы.

— Во-первых, не тятка, — поправляет она. — Нужно говорить всегда папа, а во-вторых, воспитанные девочки встают лишь тогда, когда старшие обращаются к ним.

Заведующая поворачивается к Татьяне Афанасьевне и что-то шепчет. Учительница бросает на меня быстрый взгляд и заставляет назвать несколько букв.

Прослушав наши ответы, Серафима Львовна выходит. В классе сразу становится уютнее и теплее. За моей спиной громко вздыхает Нюрка.

Татьяна Афанасьевна пишет на доске две буквы, велит нам запомнить их и отпускает по домам.

У перил

С тихим шелестом осыпаются подрезанные осекием холодом последние листья с деревьев. По утрам седая от инея трава хрустит под ногами. Огромные лужи покрыты хрупким радужным ледком.

Уже два месяца, как я учусь. Мы прошли всю азбуку и считаем до пятидесяти. Ученье даётся мне легко. С девочками я лажу, хотя рыжеголовая Сима иногда и посмеивается над моим большим ростом. На Симе я не обижаюсь, она и над остальными смеётся. У неё дружба только с кудрявой Ниночкой — водой не разольёшь. Обе они живут в Слободке за Клязьмой и часто приезжают в школу на лошади. Отец Симы — управляющий фабрикой, а Ниночкин — торгует в самом большом магазине на главной улице. Мать каждый день, провозжая меня в школу, твердит одно и то же, чтобы я не ссорилась с Симой, отходила в сторонку, а самое главное — слушалась батюшку и учительницу.

Наказы матери излишни. Татьяна Афанасьевна у нас хотя и строгая, но мы её слушаемся и без наказаний. А батюшки я совсем не боюсь. Он ласковый и добрый. Он больше всех любит меня и Ниночку, потому что мы с ней хорошо поём псалмы.

Сегодня, как и всегда, я бегу в школу раньше всех. Утро ясное и тихое. Солнце покрыто морозной лёгкой дымкой. На небе узоры, какие бывают на стёклах в зимние дни.

В раздевальне ворчит старенькая сгорбленная тётя Маша. Она не любит, чтобы ученики приходили в школу не вс-время.

— И что вы, как мухи, летите! Мёдом, что ли, вас туг кормят, — говорит она, принимая моё пальтишко.

В коридоре уже шумно. Вверху у лестницы девочки о чём-то громко спорят. Слышится Ниночкин смех. Сима горячо убеждает Нюрку:

— Боишься? Так и скажи, что испугалась! Эх ты, бояка.

Нюрка трясёт косицами, заикается больше обычного.

— С-с-сама п-п-по-опробуй. Хи-ии-трая ты.

Ниночка прикрыла ладошками лицо. Её кудряшки прыгают от смеха. Лиза рассерженно смотрит на Симу и тянет Нюрку за рукав к классу.

— Не выдумывай. Расшибёшься, — говорит она. — Зачем ты, Сима, её подбиваешь?

Завидя меня, Сима отворачивается от Нюрки и говорит:

— А вот Ленка сейчас скатится с перил. Правда ведь, Ленка? А то воц Нюрка боится.

На лестничных перилах нам строго-настрога запрещают кататься. они ветхие, качаются.

— Не выдумывай, Сима. Лена, не слушай её, — останавливает меня Лиза.

— Испугалась? Я так и знала. Эх ты, трусиха!

— Я? Я боюсь? И ни чуточки. Я по деревьям, знаешь, как умею лазить, а это что... Хочешь, попробуем вместе.

— Она сама боится, а других подговаривает, — говорит кто-то.

— Боюсь? Я боюсь?.. Ниночка, держи книги!

Сима ложится животом на перила и моментально скатывается. Следом за ней качусь я, за мной — Нюрка.

— Что, испугалась? — спрашиваю я, благополучно слетев вниз.

Нюрка с Симой почему-то молчат. Я поворачиваю голову и в ужасе замираю. У перил — Серафима Львовна.

— Емельянова, — говорит она, не повышая голоса. — Сегодня останешься без обеда и ты тоже, — она кивает головой в Нюркину сторону... Завтра пусть придут ваши матери.

На Симу заведующая не смотрит. Будто её нет здесь.

По лестнице быстро-быстро сбегает Лиза Кочнова. Она останавливается перед начальницей и, задыхаясь, произносит:

— Это... Это не они виноваты. Их Сима подговорила. Простите их, они больше не будут.

Серафима Львовна высоко вскидывает брови и подносит к глазам свои странные очки. Некоторое время она разглядывает Лизу, потом поворачивается к нам и ещё раз напоминает:

— Емельянова и Куприкова без обеда. А ты, Кочнова, после уроков зайди в учительскую, — неожиданно добавляет она.

На уроках мы сидим тише, чем всегда. Лиза, насупившись, сердито сдвигает брови. Нюрка едва слышно всхлипывает, ей сегодня достанется дома так же, как и мне. А я думаю, почему наказали нас, а Симу нет.

За окном на голой ветке берёзы покачивается почерневший от заморозков единственный листочек. Холодное солнце уже не в силах вернуть его к жизни.

Вечером

Мать вызвали в школу. Скоро она должна вернуться. В ожидании порки я смиренно сижу у окна и посматриваю на улицу. За окном догорает зимний день. На вершинах высоких сосен снег кажется алым. Мать входит в каморку угрюмая, чужая. Она неспеша стаскивает с головы шаль и сбрасывает на кровать жакетку. Потом, сняв со стены ремень, подходит ко мне. Зная характер матери, я даже не пробую защищаться. Моё молчание раздражает её ещё больше.

— Да ты что! Каменная, что ли? — плача, говорит она и, наконец, бессильно опускает руку. Хотя мне и больно, но я не кричу. Мне жаль мать.

Усталая, с розовыми пятнами на впалых щеках, с измученными

большими глазами, в длинном платье, мать через несколько минут уже гладит мои растрёпанные кудри и прижимает мою голову к своей груди.

— О господи, господи! Накажи их за это, — шепчет она. — А ты не плачь. На меня не обижайся. Тебя ведь мать побила. Меня вот все били. Я уже в твои годы на фабрике работала.

Под тихий шелест материнского голоса я засыпаю на её кровати. Вечером меня будит отец. Он присаживается на край постели и виновато спрашивает:

— Болит?

— Не очень, — отвечаю я, боясь его огорчить.

— Здорово она тебя?

Я стараюсь улыбнуться. Отец натягивает на мои плечи сползшее одеяло и, не глядя на меня, говорит:

— Кругом обида. Ничего, кости у нас с тобой, Ленка, крепкие, рабочиe. Придёт и наше время.

Отец осторожно гладит меня по плечу.

— Я вот сейчас к тебе Петьку пришлю, да и Кланька уже два раза заглядывала.

Отец тяжело поднимается и, помешкав, добавляет:

— Ты побудь с ними, а я тут в одно место дойду, — говорит он, отводя глаза в сторону.

Последние дни отец часто отлучается из дому. Матери это не нравится, и она ворчит на него. Как-то в воскресенье под вечер к нам пришёл дядя Никифор. Увидев его, отец быстро стал одеваться. Он старательно мыл лицо, потом достал из комода праздничную розовую рубашку. Неловкие пальцы отца никак не могли застегнуть пуговицы на вороте.

— Куда это ты опять вырядился? — спросила мать. — Мало я из-за тебя горя терплю. Сам знаешь, какое сейчас время. Сгонят с фабрики, и клади тогда зубы на полку.

Отец промолчал, продолжая торопливо собираться.

— Отдай шапку-то. Куда спрятала?

— Не отдам! И ты, Никифор, с пути его не сбивай. Сам ходи, куда хочешь, а моего не тронь. Не товарищ он тебе.

— Анна, перестань, не твоё дело, — сказал строго отец и нахмурился.

— Чего перестань? — вскинулась мать. — Что опять задумали! В прошлом году целую неделю ходили без работы. А потом что? Пошумели, да так всё и осталось. Ещё хуже стало. Чуть чего — и с фабрики долой.

Дядя Никифор, взъерошив рыжие волосы, прошёлся по комнате.

— Нет, Анна Фёдоровна. Так было, но теперь так не будет. За год научились кое-чему.

— Научились... — буркнула мать. — Ты что? И в самом деле уходишь? Сказала, не пушу.

Но отец ушёл. Вернулся он поздним вечером и долго что-то карябал карандашом в синей ученической тетради.

Несмотря на ругань матери, он продолжает уходить. А мать каждый раз, вернувшись со смены, спрашивает у меня, что делал без неё отец. Я молчу. Мне жалко папку, знаю, опять будет ругать его.

Как только мои друзья появляются в каморке, отец забирает свою тетрадь и уходит.

Кланька достаёт из моей сумки букварь, и мы с Петькой принимаемся объяснять буквы. Она понимает плохо. Петька сердится, кричит:

— Ну как ты не понимаешь? Ведь здесь нарисован конь и буквами прописано, а ты читаешь дом.

Кланька мигает редкими ресницами.

— А он толстый и на дом похож, — хитрит она.

Мы не выдерживаем и смеёмся. Кланька очень упорна. Часто через тонкую стенку я слышу, как она зубрит буквы и слова. Но на утро опять всё забывает.

— Доктор говорит, что сахару нужно больше есть, тогда и память будет, — жалуется она спокойно каким-то безразличным голосом. — Смешной доктор, ровно не знает, что тятка проливает почти всю получку.

Кланька замолкает и прислушивается.

За стеной что-то упало, кто-то тихо вскрикнул. Кланька, отбросив букварь, бежит к двери. Я также соскакиваю с постели и бегу вслед за ней.

Тётя Поля бьётся на полу. Исхудалая, с широко раскрытыми глазами и закушенной губой, она выкрикивает непонятные слова. Над ней, покачиваясь на нетвёрдых ногах, стоит растрёпанный дядя Семён, отец Кланьки. Лицо у него бледное, с большими багровыми мешками под глазами. Он только что пришёл. Одна его нога в сапоге, на другой болтается портянка.

— Ах, чтоб тебе! Назола Подохла бы уж ты, что ли!

Кланька с криком отталкивает отца и прижимается к матери.

— Не дам мамку! Не дам мамку бить! Уйди!

— Убили! Убили! Коленька, Коля. О-о-о, душно... Васька, Васька, Улетим, улетим! — кричит тётя Поля надрывно и тонко. В своих диких выкриках она путает имя умершего сына с именами гусей.

С полатей заглядывают вниз Кланькины братишки. Белоголовые и тихие, они жмутся друг к другу. По щекам меньшего катятся крупные слёзы.

Угомонившись, дядя Семён пытается перетащить больную на постель, но ноги его не держат, портянка разматывается, и он, запнувшись, падает.

Кланька дует матери в лицо, разжимает пальцами её стиснутые зубы, старается напоить. Железная кружка прыгает в Кланькиных руках, вода льётся тёте Поле на грудь.

Я, не менее испуганная, помогаю подруге. Наконец больная, всхлипнув, затихает. Мы перетаскиваем её на постель. Кланька заботливо укрывает ноги матери лоскутным одеялом. В ушах всё ещё звенят страшные выкрики. Дядя Семён пробует стащить с ноги второй сапог. Он так и засыпает с ним в руке.

Бабушка Бойчиха

На другой день Лиза Кочнова, увидев на моей щеке царапину, спросила:

— Тебя побили дома, Ленка?

Чтобы не расплакаться, я молча отвернулась.

— А меня и бить некому. — Лиза громко вздохнула. — Нет у меня никого, кроме бабушки. Пусть бы лучше били, только бы не умирали, — тихо добавила она.

В этот день на уроках Лиза сидела притихшая, а когда мы с ней вышли из школы, она остановила меня и сказала:

— Пойдём ко мне, Ленка, побегаем, поиграем.

— Нужно мамку спросить, а то опять попадёт.

Из школы я всегда спешила домой. Мать не разрешала нигде задерживаться и строго следила, чтобы я приходила во-время.

— А ты скажи, что у Бойчихи была, она тебя и не тронет. Мою бабушку все знают.

От изумления я раскрыла рот. Бабушку Бойчиху в Глуховке знали все, от мала до велика. Это была высокая, с суровыми глазами старуха. Ходила она всегда с толстой суковатой палкой. Если случалось у кого-нибудь несчастье или просто неприятность, шли к Бойчихе за советом и утешением. Бабушку Бойчиху все побаивались, её уважали. На фабрике, зная крутой нрав старухи, никто из мастеров не решался трогать ребятишек в её присутствии. Зот Фёдорович старался не попадаться ей на глаза. И даже хозяин при встрече с ней слегка наклонял голову. Когда мать выходила замуж и её все отговаривали, бабушка Бойчиха, наоборот, одобрила выбор. Бойчиха и меня принимала при рождении.

Говорили, что она самая старая в Глуховке. Сколько ей лет, точно никто не мог сказать. Все её помнили уже седой, с палкой в руке.

Бойчиха и до сих пор продолжала работать в ткацкой.

Лиза не была родной её внучкой. Мать Лизы умерла от чахотки вскоре после смерти отца. Бойчиха взяла к себе сиротку.

— Ты что так на меня смотришь? — рассмеялась Лиза. — Не знала, что ли, что Бойчиха — моя бабушка?

Больше не раздумывая, попадёт мне от матери или нет, я пошла к подруге в гости.

Лиза жила в Слободке. Почерневший домишко стоял на пригорке немного в стороне от остальных и, прижмурясь от солнца, смотрел на высокие фабричные корпуса.

— Наш дом самый старый, — с гордостью сказала Лиза. — Хотели ломать его, да бабуся не дала. «Не поеду, — говорит, — во Власовский. Не дам ломать. В нём дед мой жил и мать моя родилась. Я, — говорит, — сяду к окошку и смотрю, как фабрика дышит. Вот умру, тогда и ломайте». Моя бабушка умная, её все слушаются.

Лиза взглянула на дом и вдруг, схватив меня за руку, потащила за собой.

— Пойдём скорее. Видишь, бабуся стоит неодетая. Вот беда с ней! Сколько раз ей говорила, чтоб не выходила в одном платье. Опять простудится.

Бойчиха, опираясь на палку, стояла на крыльце. На ней было тёмное платье со множеством сборок, из-под цветного платка выбивались белые, точно хлопок, волосы. Старушка вглядывалась куда-то поверх наших голов, к чему-то прислушивалась. Увидев Лизу, она по-смешному заторопилась обратно в дом.

— Не буду, не буду. На минутку вышла. Да что мне поделается? Приеѣзжая я. И к жаре и к холоду, и к горю и к голоду.

Войдя вслед за бабушкой в комнату, Лиза заслонила меня собой.

— Угадай, бабуся, — звонко сказала она, лукаво посматривая. — Кого я к нам привела! Ну, угадай. А вот не угадаешь! Я... я... подругу свою привела.

— Покажи, покажи, что за пичуга к нам залетела. Дай-ка посмотрю, чья ты есть?

Я несмело вышла из-за спины Лизы и остановилась перед бабушкой. Бойчиха пытливо взглянула на меня и засмеялась добрым смешком. Глубокие морщины весело разбежались по её лицу.

— А! Это моя детушка. Мартына дочь. Милости просим к нам, голубка. А ты не смотри, не смотри так на меня. Я ведь всех знаю, все мои детушки. Проходи, раздевайся!

Пока бабушка Бойчиха гремела на кухне, Лиза провела меня в бо-

ковую крохотную комнатку. В уголке, точно петух на одной ноге, прижавшись к стене, стоял круглый столик. На одной из табуреток лежала вышитая цветными нитками подушечка.

— Это я вышивала, — сказала Лиза. — Бабуся научила.

Лиза подошла к небольшому, окованному светлой жестью сундучку, покрытому тканевой рогожкой, и приоткрыла крышку.

— Смотри, какие красивые платья!

Я заглянула в укладку. В ней аккуратно сложенные лежали платья, мотки цветной пряжи, тонкое веретено и недовязанный чулок, надетый на спицы.

— Всё бабушкино добро, — улыбнулась Лиза.

В это время, постукивая палкой, в комнату вошла бабушка.

— Идите-ка, покушайте драчёнки, голубки мои. Небось, проголодались.

Увидев раскрытый сундук, бабушка рассердилась:

— Не люблю баловства, — сказала она сухо.

Лиза, покраснев, подбежала к ней.

— Мы только посмотрим, бабуся, мы не помнём, — сказала она, обнимая бабушку. — Я только Лене хотела показать твоё платье в горошек.

Глаза бабушки Бойчихи сразу потеплели и стали добрыми. Она молча придвинула к сундучку табурет, села и, с улыбкой поглядывая на нас, осторожно вытащила платье.

— Этот сатин ткали в тот год, когда я замуж выходила. Сама и ткала, у меня на станке заправлен был. Горох-то уже после в красилке навели.

Бабушка Бойчиха погладила сухой ладонью лощёный верх платья.

— Подарок мне сделали бабы. Всего раз и надела. Пришла от венца, вижу на столе лежит отрез. Сложились все вместе ткачихи по грошику и купили мне подарочек. «Ты, — говорят, — ткала, тебе и первой носить». А вот эта кофточка...

Бабушка внезапно замолкла, вытащив голубую, похожую на паутинку блузку с белыми пуговками. Седые брови, насупившись, скрыли тёплый блеск глаз. Минуту тому назад ещё весёлое, живое лицо вдруг как бы окаменело.

— Вуалькой зовётся. Ишь, голубая, с полосками.

Бабушка провела рукой по лицу, как будто что-то смахивая, и отложила кофточку в сторону.

— Не люблю я её. И красивая она, а как посмотрю — сердце переворачивается! Из-за неё Луше, моей сменщице, руку искалечило.

— Бабуся, Расскажи ещё раз, — попросила Лиза.

— Не хочется и вспоминать. Давно это было. Один раз мастер вызвал Лушу и сказал: «Смотри, новый сорт тебе заправили, дорогой. Испортишь — век не отработаешь». А она была мастерица. Руки у неё золотые. Ну, начала ткать. Все подходили полюбоваться на паутинку невиданную... У Луши-то семь человек детей было. Уставала она, видно, с ними. Ну, и случилась беда. Задремала она, бедная. Не шутка — двенадцать часиков отстоять. В это время станок возьми да и задури. Прибежал мастер, раскричался. Луша испугалась, хотела что-то поправить, да и попала рукой в шестерню. Ну, и оборвало пальцы. А какая ткачиха без рук?

Бабушка вздохнула, сложила кофточку и спрятала её под самый низ, на дно сундучка. Покопалась и осторожно, словно драгоценность, достала старый сработанный челнок.

— Вот, мои родные, видите початок в челноке. Он ровно ребёночек

спелёнутый в зыбке спит. Моя мать челноком этим ткала. Ушла с фабрики и его с собой забрала. Вот и храню.

Бабушка привычным движением пальцев надавила в челноке пружинку, белый плотный початок упал ей на колени.

— Эта пряжа утком зовётся. — Бабушка взяла лоскуток из укладки, поднесла его к свету. — А вот эта нитка, что вдоль материи тянется, — основой. Долгий путь она, голубушка, проделает, пока к нам в ткацкую попадёт. Сперва хлопок-то очистят, разобьют по волоконцу, причешут, ровно косы невесты перед венцом, а потом уж пропустят в прядильный цех. Сколько рук её переберут, сколько глаз пересмотрят. И уже после стольких мучений пряжа попадёт в шлихтовальню. Вот оно, детушки, каково рубашки-то достаются, — вздохнув, сказала бабушка и вдруг заулыбалась. — После шлихтовальни основа уже попадает к нам на станки. Ну, наша работа хоть и трудная, зато весёлая. Твоя мать — Анна Фёдоровна — большая мастерица. Она самую красивую сарпинку умеет ткать. Посмотришь — и глаз не отведёшь. Глазжу намедни, а она гладит готовое-то полотно рукой, а сама что-то шепчет, даже смех на неё берёт.

Бабушка Бойчиха бережно уложила челнок обратно в сундук и приоткрыла. Потом она указала на лиловый в цветах лоскуток.

— Цветы-то эти наводят в красильной. Там в любой цвет красят материю. У нашего-то народа руки золотые. Он всё может делать. Хоть куда поставь рабочего человека. Всё осилит. Вот если бы...

Бабушка, не договорив, вздохнула.

Долго я пробыла в этот день в гостях у Лизы. Возвращаясь домой, я невольно остановилась у ткацкой. Мне ни разу не приходилось бывать там. Высокий забор плотной стеной отгораживал от улицы фабричные корпуса. Каждую субботу я, стоя за проходной, дожидаясь отца с получкой, только видела, как выходили оттуда люди усталые и сумрачные. Прежде чем выпустить, их обыскивал сердитый сторож.

Сейчас впервые мне почудилось, что фабрика действительно живая, что она дышит. Даже пыльные, скупо освещённые окна в этот миг показались мне глазами, приветливо смотревшими в зимние сумерки.

Мать, узнав, что я была у Бойчихи, не рассердилась.

— К ней можно. Ходи. Бойчиха для нас, что мать родная. Из беды вызволит и совет добрый даст.

Поздно вечером, лёжа на полатах, я перебирала в уме слышанное мною от бабушки Бойчихи. И как ни странно, работа матери и отца теперь не представлялась мне такой ужасной, как прежде.

Давно уже спала мать. В каморку заглядывал тонкий серпик молодого месяца, а перед моими глазами сидела бабушка Бойчиха и гладила, точно ребёнка, старый челнок.

Закон божий

Я бегу в школу вместе с Лизой. Лёгкий мороз приятно пощипывает щёки. Под ногами скрипит снег.

У школьных ворот стоит Петька. Прижавшись к забору, он кого-то ждёт.

В материнских ботинках и короткой серой куртке Петька напоминает замёрзшего воробья. Он ёжится, переступает с одной ноги на другую. Сапожник отбил у его ботинок каблуки, и теперь их носы смешно смотрят вверх.

— Петька! — окрикнуваю я.

Петька не слышит. Наверно, с ним случилось что-нибудь неладное.

— Ты чего здесь мёрзнешь? Почему в школу не идёшь? — дёргаю я его за рукав.

Петька вздрагивает, потом, покосившись на Лизин пуховый платок, тянет меня в сторону.

— Знаешь, что... — Петька мнётся и хмурит брови. — Он пришёл...

— Кто он?

Петькино лицо багровеет, он громко сопит и обидчиво передразнивает.

— Кто, кто! Не знаешь, что ли. Молчун к нам перебрался.

— Молчун? — Я растерянно смотрю на Петьку и едва слышно спрашиваю. — Дерётся?

— Не... Не тронул. Груньку всё таскает на руках, — в голосе Петьки прорывается ревнивая нотка. — Я ему вчера хотел поддать, а мать мне леща влепила.

— А он что?

— Он... Он как глянет на мать своими глазами, да и говорит: «Если хочешь, чтобы мир в семье был, не тронь мальчика. Я сам с ним сговорюсь». — Петька усмежается. — Рубаху мне свою отдал. Да ещё ножик подарил. Думает — задобрит.

Петька разжимает ладонь и показывает складной ножик со стеченым лезвием.

— Может, он, Молчун, хороший? — в раздумье говорю я. — Если бы плохой был, так сразу бы наколотил.

— Знаю я! Подлизывается спервоначалу, а потом как зачнёт лупить. Я сказал вчера, что всё равно поддам ему, а сам сбегу.

— Ты что, спятил? Он ещё не тронул тебя, а ты уж задираешься.

— Тронуть-то, правда, не тронул. Только глазами зыркнул да в затылке почесал своей лапищей, как я ему всё высказал.

— Если бить будет, ты к нам беги. Отец тебя на работу определит. Сейчас, знаешь, как ребята на фабрике нужны!

Петька веселеет и, оглянувшись на Лизу, тихо спрашивает:

— Это кто с тобой?

Я, торопясь, рассказываю, а он украдкой рассматривает потёртое Лизино пальто, подшитые чёрные валенки и старый пуховый платок.

— Вон что!

Недоверчивый огонёк в его глазах исчезает, и он оборачивается к Лизе.

— Видал я твою бабу, — громко говорит он. — Её все знают. Она умная.

От скупой Петькиной похвалы Лиза краснеет, на щеках появляются ямочки.

Петька провожает нас до раздевальни.

Звонок уже был, в пустынном коридоре слышатся торопливые шажки батюшки. Мы спешим по местам.

Закон божий я люблю. В широкой чёрной рясе отец Андрей похож на кругленькую копилочку, что стоит на нашем комод. Лицо батюшки розовое, всё в подушечках и складках.

Мне нравится его тихий голос, шуршание люстриновой рясы. Когда батюшка кладёт свою мягкую ладонь мне на голову и заглядывает в лицо, я почему-то робею. Кажется, он видит меня всю насквозь и знает обо мне всё-всё: и хорошее, и плохое.

Переступив порог, батюшка, не спеша, крестится, достаёт из кармана гребешок и расчёсывает свою пышную, мягкую бороду. Потом, поправив на груди большой жёлтый крест, произносит:

— Помолимся, дети мои.

После молитвы мы садимся и раскрываем книги.

— Сима тянёт вверх руку.
 — Батюшка, можно спросить?
 — Спроси, спроси... В спросе нет ничего грешного.
 За моей спиной недовольно шепчет Нюрка.
 — О-о-пять не... не выучила, рыжая.
 — Правда, что бог сильный и наказывает грешников? Папа вчера говорил...
 — Папа твой — умный человек.
 — А правда, он тех грешников накажет, про которых вы говорили с папой?

В классе становится тихо-тихо. Батюшка пристально смотрит на Симу и молчит. Затем, словно чего-то испугавшись, он торопливо отвечает:

— Всё, всё от воли божьей. Бог накажет грешников, а невинных простит. Все его чада любимые.

— А папочка говорит, что он скоро их всех...

Но батюшка не даёт Симе закончить, он сердито тычет в неё пухлым пальцем.

— Прочти «Отче наш».

Сима морщится и склоняет рыжую голову над книжкой.

— Иже еси. Есть хлеб насущный...

— Постой! Постой! — останавливает её батюшка. — Опять не выучила, — он недовольно качает головой и ставит Симе двойку.

— Кокорева, повтори!

Ниночка густо краснеет, трясёт кудряшками. Она читает бойко, скороговоркой. После неё батюшка спрашивает Нюрку.

Я уже не слушаю. Грешники, про которых говорила Сима, не дают мне покоя. Очень досадно, что батюшка не рассказал нам о них, как отцу Симы. «Наверно, это Зот Фёдорович и Серафима Львовна», — думаю я, и вдруг слышу Лизин шёпот:

— Лена, читай! Тебя спрашивают.

В этот раз я путаюсь и перевираю слова. Батюшка огорчён, но всё же выводит мне тройку.

Наконец молитвы прочтены. Отец Андрей приказывает закрыть учебники, приглашает седые височки.

— А теперь споём.

Я всегда с нетерпением жду этой минуты.

— Запевай, Емельянова, — говорит мне батюшка.

Забыв обо всём, я начинаю:

— Верую во единого бога...

Остальные девочки мне подтягивают.

— Ангельский голос, — хвалит отец Андрей. — Дар божий у тебя. Буду с самим говорить, как придет.

Каждый год из нашей школы отбирают для церковного хора несколько учеников с хорошими голосами. Обычно для отбора приезжает сам хозяин фабрики. Петь в церкви — мечта многих девочек. Певчим платят, а самое главное, они во время крестного хода идут впереди всех. Сейчас я не думаю об этом, мне просто хочется петь, чтобы все слушали меня.

Горе Кланьки

Когда видишь хороший сон, то ужасно не хочется просыпаться. Так было со мной и в этот раз. Мне снилось, что у нас собрались гости и мать испекла большущий круглый пирог с изюмом.

— Дели, Ленка, всем поровну, — сказал отец.

Я режу пирог на куски. Себе оставляю вкусную горбушку. И вдруг входит Серафима Львовна и говорит:

— Ты сегодня без обеда, Емельянова.

Она тянется ко мне и хочет отобрать мою долю. Я стараюсь увернуться от прикосновения её холодной руки, прячу свой кусочек, но что-то тёплое капает мне на щёку. Я открываю глаза. Передо мной, скорчившись и став от этого ещё меньше, сидит Кланька. Она стонет. Мокрые короткие ресницы дрожат.

— Мамка, мамка померла!

Кланька падает на подушку и прячет лицо. Впервые я вижу, как она, не таясь, плачет — горько-горько. Я испуганно вскакиваю и заглядываю вниз с полатей. Где мать? В комнате никого нет. Едва-едва мигает на столе лампочка. Стёкла окон при тусклом свете блестят узорчатым рисунком. Я прижимаюсь к Кланьке и готова разреветься вместе с ней.

— Пойдём к нам, — всхлипывая, шепчет Кланька и вытирает лицо рукавом своей ветхой кофтёнки.

Тётя Поля лежит на столе. Она почему-то выросла и помолодела. Всегда озабоченная и согнутая, теперь она будто отдыхает. Язычки пламени на восковых свечах колеблются, на худом лице тёти Поли играют тени. И кажется, она улыбается, наблюдая из-под неплотно прикрытых век суету и внимание к себе.

У стола моя мать. Ровным глухим голосом она читает псалтырь. Лицо матери строгое и какое-то отсутствующее.

В комнате толпятся соседи, пахнет ладаном и ещё чем-то чужим и незнакомым.

Тётка Анфиса чувствует себя здесь уже хозяйкой. Под её грузным телом жалобно поскрипывают рассохшиеся половицы, а когда она проходит мимо покойницы, пламя свечей робко пригибается.

С полатей свешиваются две светловолосые головы братьев Кланьки. Большими испуганными глазами они, не отрываясь, смотрят на отца. Дядя Семён сидит на скамейке в ногах у покойницы и, обхватив руками голову, раскачивается из стороны в сторону. Через разорванный ворот рубахи наружу выскочил медный крест на замуссленном гайтане.

Взглянув на дядю Семёна, я почему-то вспомнила, как однажды к нам на Молотилку привели лохматого худого медведя. Бурая шерсть свисала с его боков клочьями. Шея была натёрта узловатой верёвкой, за которую беспрестанно дёргал косолапый поводырь. От слабости медведь всё время валился на бок, прикрывая лапами голову от побоев.

Кланька жмётся к моему боку. Она шатается и дрожит. Её страх передаётся мне.

— Уведи ты её, сердешную, куда-нибудь, — говорит мне одна из соседок. — Эх, жизнь наша, что утёк гнилой.

В дверях мы сталкиваемся с Петькой. Видно, он только что проснулся. На его скуластом лице ещё бродят сонные тени. Петька, вытянув шею, обходит вокруг стола и возвращается к нам.

— И вправду померла. Как же это получается? — Он, растопырив руки, смотрит на нас, ожидая ответа.

Я увожу Кланьку к нам в каморку. Но здесь та же пугающая тишина, и Кланькины всхлипывания звучат ещё громче и горестнее.

— Не плачь, Кланька. Ну не плачь. Знаешь, что? Пойдём к бабке Бойчихе, — неожиданно говорю я.

Почему мне вспомнилась в этот момент Лизина бабушка, сказать трудно. Мне подумалось вдруг, что только она может нам помочь.

На улице ещё сумеречно и безлюдно. Сквозь утреннюю муть едва проступают тёмными пятнами дома и деревья. Сегодня воскресенье. Мо-

нотонно и уныло звонит церковный колокол. Мы с Кланькой бежим в Слободку.

Лиза встречает нас вопрошающим встревоженным взглядом.

— У неё мамка умерла, — говорю я.

Лиза прислоняется плечом к дверному косяку. Из горницы, стуча палкой, выходит бабушка Бойчиха, престоволосая, держа в руках повойник. Она только что проснулась и сладко позёвывает.

— Кого это ты привела к нам, пичуга ранняя?

Она, прищурившись, всматривается в лицо Кланьки и хмурит седые брови.

— Да никак это Полюшкина дочь. Знаю, знаю тебя и отца твоего бесшабашного знаю, и мать-мученицу. Чтой-то ты головушку повесила, или горе какое приключилось?

— У неё мамка... мамка... померла...

Бабушка Бойчиха берёт Кланьку за плечи и, ковыляя в комнату, громко говорит:

— Чем же я утешу тебя, голубка обездоленная? Чем помогу тебе? Велико твоё горе! Сядь со мной, желанная.

Кланька послушно принимает к бабушке.

— А вы что стоите, ровно птицы крылья опустили. Садитесь рядком.

Голос у бабушки Бойчихи громкий. Так говорят все ткачихи.

— Обмерла, голубка. А ты поплачь, поплачь. Сразу все беды со слезьми утёкут.

Бабушка гладит Кланьку по вздрагивающим плечам. Кланька не выдерживает и громко плачет.

— Вот-вот. Так его, горе, скинь с плеч долой. Радость придёт к вам. Вырастете; подниметесь, красивые да пригожие...

Лиза тихонько берёт из рук бабушки повойник и, встав на колени, бережно заправляет её пушистые седые волосы.

— Придёт солнышко и к твоим окошечкам, Кланя. Будеешь ты рукодельницей. Руки у тебя будут золотые.

Бабушка Бойчиха бросает мимолётный взгляд в окно, за которым на высоком заснеженном берегу Клязьмы темнеет фабричный корпус.

— Пойдёшь ты в ткацкую. Будеешь ткачихой. Соткёшь ты такую материю, какую ещё не рабатывал никто. Голубую, в цветах алых. Аленький цветочек приметливый. Он в глаза бросается. Будут носить люди платья да тебя похвалять.

Кланька всхлипывает тише, приподнимает заплаканное лицо.

— И будут твоим платьям удивляться цветы в поле. Солнце не захочет прятаться, птицы будут слетаться, чтобы подивиться, когда девушкаки разоденутся. Волк пробежит — и тот остановится: шубка-то у него серая, незавидная. Вот какую радость ты людям принеёшь. Пройдёт горе, как тучка летняя, выглянет солнышко.

Бабушка Бойчиха замолкает. Несколько минут она сидит неподвижно.

— А если Анфиса тебя обижать будет, беги ко мне.

Сдвинув брови, она сердито стучит палкой по полу.

— Не бойся её. Я тогда сама с ней разговор иметь буду. В обиду тебя не дам, голубка.

Кланька вытирает глаза и улыбается. Робко, несмело.

Бабушка Бойчиха отпускает нас только к вечеру. Бледное зимнее солнце уже прячется за лес. Деревья, пушистые от инея, не шелохнут. Примолкшая Кланька идёт рядом со мной. Она о чём-то задумалась, наверное, о том красивом платье, о котором рассказывала нам бабушка Бойчиха.

Проходя мимо загона, слышим беспокойный крик гусей. О них забыли сегодня. Кланька приоткрывает дверь сарайчика, Васька, взмахнув крыльями, с гоготом бросается к её ногам. Кланька, вздыхая, гладит Ваську и спешит уйти.

У барака мы приостанавливаемся. Кланька нерешительно смотрит на меня. Она боится итти домсй.

— Идём к нам, — зову я и беру её за руку.

У нас дома гости. Петькин отчим и ещё несколько незнакомых мужчин. Они сидят у кровати и о чём-то озабоченно разговаривают. Перед ними на одеяле лежит стопка смятых рублей, кучка серебра и тоненький голубой листик, чуть прикрытый краем картуза. У окна, поближе к свету, сидит мать. На столе смутно белеет подушка. Наколотые булавки щетинятся блестящим ежом. Мать, низко склоняясь, быстро перебирает коклюшки. Увидя меня, она что-то хочет сказать, но внезапно закашливается. Одна из коклюшек выпадает из её руки на пол. Я бросаюсь к матери.

— Что ты, Ленка? — мать прижимает меня к груди. Там у неё что-то шипит, как в наших ходиках.

— Мамка, не надо, не умирай!

— О господи, и взбрѣдет же в голову!

Мать часто крестится и сердито отстраняет меня. Мужчины примолкают. Отец зажигает лампёшку и ставит её на свободный стул рядом с собой. Петькин отчим накидывает дверной крючок. Нас с Кланькой мать загоняет на полати.

Немного погодя, мы с любопытством заглядываем вниз и прислушиваемся к разговору. До нас доносятся непонятные обрывки фраз, пронзносимые приглушёнными голосами.

— Вот я вам сейчас прочитаю...

Дядя Никифор берёт голубоватый тонкий лист, пододвигается поближе к огоньку лампы... Его рыжие волосы блестят на свету.

Мать откладывает в сторону коклюшки. Она встревожена и озабочена.

Я толкаю Кланьку, но она, свернувшись клубочком, уже спит.

Чтение неожиданно прерывается. В дверь стучат.

— Анна, открой, — тихо говорит отец и переносит лампу на стол. Дядя Никифор поспешно засовывает листок за голенище.

— Наверное, мой Петька. Проходу не даёт, так и ходит за мной, — говорит он с ласковой усмешкой.

Но в каморку входит не Петька, а бабушка Бойчиха и вместе с ней Дуня Чёрная.

— Можно, что ли, к вам?

Бабушка оглядывает всех суровым пытливым взглядом. Мать срысывается с места и подставляет ей единственный среди табуретск стул.

— А что же Дуняшку-то не приглашаешь? — спрашивает бабушка, развязывая клетчатый полушалок. — Ты разлевайся, касатка, к своим, чай, пришла, — обращается она к Дуне, которая остановилась на пороге. — Что уставились? Не ждали, поди? Кто у вас тут на похороны-то собирает? Да ты меня, Анна, не усаживай, вон подругу приветь.

Дуня раздевается. Мать смотрит на неё, и в её глазах появляются удивление и едва приметная радость.

На Дуне простая белая кофта. Чёрные волосы прикрыты неподрубленной косынкой, а в руках большй свёрток. Она застенчиво осматривается, улыбается.

— Да ты садись, садись, — суетится мать.

— Подожди, Анна, меня усаживать. Где Алёнушка? Я вот ей кое-что принесла.

Я мигом скатываюсь с полатей. Дуня прижимается к моей щеке холодными губами и суёт в руки пакет.

— На, соколёнок, полакомься да с подругой поделись.

— Где она? — заботливо спрашивает бабушка Бойчиха.

— У нас. Спит, — тихо отвечает мать, указывая рукой вверх.

Бабушка Бойчиха садится на табурет, стул она придвигает Дуне.

— Так-то, мои детушки дорогие, ещё одно гнездо осиротело. Чтой-то ты, Кузьма, исхудал больно? А ты что, Мартын, такой лохматый да пасмурный?

Мужчины смущённо молчат, отец, улыбаясь, приглаживает кудри.

— Что это вы гуртом собрались? Места другого не нашли, что ли? Эх вы, неразумные. А если кто чужой случаем толкнётся. Ты, Мартын, большой, а на дитё похож. Небось, кривой-то возле окон нюхает.

Дуня вынимает из-под обшлага носовой платок и, развязав узелок зубами, вытаскивает смятую красненькую бумажку.

— Вот примите от меня. Может, мои деньги не подойдут? — робко спрашивает она и нерешительно протягивает деньги.

Дядя Никифор принимает красненькую и кладёт её в общую кучку поверх смятых рублей.

— Спасибо, Евдокия Ивановна.

Мать не спускает потеплевшего взгляда с Дуни, она уже не поджимает губ.

— Выгнала я эту косую нечисть, — сердито произносит Дуня. — Вчера уж на фабрику ходила с бабушкой. Покуражились, не хотели брать, говорят — нет работы. Спасибо бабушке. Анна, к тебе в сменщицы иду. Возьмёшь?

— А то как же? — вмешивается бабушка Бойчиха. — Пусть попробует не взять. Вишь, грех какой выдумала.

Мать смущённо краснеет и, к моему удивлению, подходит к Дуне и обнимает её.

— Так-то вот лучше. А ты чего, касатка, глазеешь? — спрашивает меня бабушка. — Залетай-ка, пичуга, к себе на верхотурку да грызи леденцы.

Я послушно забираюсь наверх. В пакете много конфет и пряников. Я делю их на две равные доли. Из пряников остаётся лишним розовый петух с огромным гребнем. Не задумываясь, я сую его в руку спящей Кланьке. А сама откусываю у пряничной рыбки голову и засыпаю.

Мои дни

По вечерам, в свободную минуту мать вяжет носки и варежки из фабричного «угара»¹. Часто-часто мелькают светлые спицы в быстрых материнских пальцах, я невольно слежу за нитью. Хочется, чтобы она была вся ровная и яркая, но в угаре больше всего ниток серого, грязного цвета. Лишь изредка появится голубая или красная ниточка, и, глядишь, мать уже связывает её со следующей — тёмной.

Такими же короткими обрывками проходят и мои дни. Если какой-нибудь из них приносит с собой радость, то она мимолётна, следующий выдаётся скучным и пасмурным.

Несколько дней назад меня и Ниночку после уроков повели в школьный зал. Приехал хозяин отбирать лучшие голоса для церковного хора. Когда мы вошли, в зале уже собрались ученики из других классов. Ба-

¹ Угар — фабричные отходы пряжи.

тёшка, круглый и довольный, перекатывался колом от Серафимы Львовны к креслу, в котором, утонув, сидел хозяин. Высокий и худой Фёдор Ардуванович, у которого учился Петька, что-то шептал хозяину на ухо, снимая с его чёрного длинного кафтана пушинки хлопка. Ближе к ребятам стояла Татьяна Афанасьевна и чуточку улыбалась, наблюдая за суетнёй.

Сначала слушали мальчиков. Хозяин, кажется, был недоволен и хмурился. Отец Андрей укоризненно качал головой, когда кто-либо фальшивил.

Наконец, очередь дошла до девочек. Батюшка взял меня за руку и погладил по голове.

— Не бойся, отроковица.

Не знаю почему, но я сильно перепугалась. Петь мне уже не хотелось и я, сделав шаг вперёд, остановилась.

— Подойди, подойди ближе! — заволновался Фёдор Ардуванович.

— Емельянова, подойди, — сказала Татьяна Афанасьевна и, слегка отстранив учителя, подвела меня к хозяину, который посматривал на всех тёмными, глубоко спрятанными глазами.

— Это та?

Хозяин повернул голову с длинными, как у батюшки, волосами в сторону Серафимы Львовны. Заведующая почтительно наклонила голову.

— Ангельский голос. Довольны останетесь, — сказал отец Андрей.

Хозяин, поковыряв в зубах перышком, подобрал полу длинного кафтана и, устроившись поудобнее в кресле, приказал:

— Спой «Верую».

Кажется, я спела хорошо. Батюшка блаженно улыбался, а Татьяна Афанасьевна одобрительно кивнула, когда я посмотрела на неё. Хозяин также остался доволен. Он поглаживал седоватую длинную бороду.

— А своих песен не знаешь? — неожиданно спросил он.

Хотя я и знала, кроме молитв, много других песен, которыми научил меня отец, но петь при чужих я постеснялась.

— Не знаю... Батюшка говорит, их грешно петь, — схитрила я.

Меня заставили спеть ещё несколько молитв, похвалили мой голос и спустили домой.

На улице меня ожидала Лиза.

— Ну как, Лена?

— Знаешь, так страшно было, даже ноги и сейчас дрожат.

Лиза провожала меня до Молотилки. Она была рада и смеялась вместе со мной.

Когда я влетела в каморку, мать довязывала носки. Моё шумное появление испугало её. Клубок соскользнул на пол, а красная ниточка обёрвалась у самой спицы. Путая от волнения слова, я начала рассказывать ей.

Не дав раздеться, мать потащила меня в угол.

— Молись!

Я опустилась на колени рядом с ней.

— Услышь, господи, нас грешных! Не забудь сирот своих, — громко шептала мать, не отрывая глаз от икон. И столько веры и надежды вкладывала она в свои слова, что казалось — бог обязательно услышит и поможет мне.

Этот день, как яркая ниточка, был коротким. На другое утро я с удивлением увидела мать в постели. Это было настолько необычным, что я протёрла глаза.

— Доктора не смейте звать. Так встану. Сегодня отлежусь, а зав-

тра — на работу. Нюкогда разлёживаться. Волка ноги кормят, ткачиху — руки, — говорила мать суевившемуся возле неё отцу.

Я не пошла в школу, а просидела день около матери. К вечеру ей стало хуже, и доктора всё же пришлось позвать.

— Воспаление лёгких, — коротко заявил седой в белом халате доктор, выписывая рецепт.

— Она не умрёт? — спросила я шёпотом у отца.

— Что ты болтаешь? — ответил он, вскидывая на меня встревоженные глаза.

Вечером прибежала ко мне Лиза и обрадованно сообщила, что меня и Нюночку приняли в церковный хор. Я ничего не сказала в ответ. Тревога за мать заслонила эту радость.

Голубой листок

В открытую форточку донюсятся крики прилетевших грачей. Мать на фабрике. Она проболела около месяца и сегодня впервые вышла на работу. Я тороплюсь в школу, собираю раскиданные по столу книги. Неожиданно под руку попадает синяя отцовская тетрадь. Я опасливо сдвигаю глаза на постель. Отец спит. Солнечный луч лёг на его лицо, и кажется, что отец улыбается. Накануне он долго что-то писал и, наверное, забыл тетрадь. Обычно он прячет её в сундучок.

Я перелистываю странички. Трудно разобрать, что написал отец. Из тетради выпадает голубой листик, сложенный вчетверо. Точно такой же читал дядя Никифор вечером у нас в каморке, а потом спрятал в свой валежок.

Прочсть я успеваю только два слова: «Пролетарии всех...» — дальше мешает Петька.

Сегодня он весь светится. На нём новое чёрное полупальто с прорезными карманами и большущими пуговицами. Заметив мой удивленный взгляд, Петька торопливо выскальзывает за дверь. Я его догоняю уже далеко за воротами. Старая ушанка с одним надорванным ухом лихо сдвинута у него на затылок.

— Отец купил, — тихо произносит Петька и, приподняв ногу, показывает мне подошву рабочего ботинка. Он подвернул штанины и старательно обходит места, где сыро.

— А Груньке платье справил. Велит учиться, чтобы человеком быть.

Петька примолкает. В его глазах плещется радость.

— Бабушка Войчиха велит отцом его звать, — оправдываясь, добавляет он.

— Что же не звать, ежели хрюшый, — говорю я.

— Нет... Знаешь, Ленка, как он обрадовался, когда я его тяткой назвал. Как схватит меня, да подбросит, да как засмеётся. Ух, и сильный он и смеяться как умеет. Теперь только пусть кто его Молчуном задразнит — так наподдам!

Петька начинает рассказывать мне про дядю Никифора. Он волнуется, размахивает руками. Я слушаю и тоже радуюсь.

Над нами с криком проносится стая галок, солнце неожиданно прячется за тучу. В воздухе начинают кружиться мокрые ленивые снежинки. Петька, ускоряя шаги, недовольно ворчит:

— И чего валит, когда уже весна наступает...

Он говорит ещё что-то, но я не слышу его за ревом фабричного гудка.

В раздевальне Петька нарочно задерживается, чтобы похвалиться обновками, а я бегу в класс.

Сегодня моё дежурство, и нужно приготовить всё к уроку. В классе уже шумно. Сима, как всегда, о чём-то рассказывает, а краснощёкая кудрявая Ниночка громко смеётся. Нюрка, заткнув уши пальцами, нараспев и заикаясь зубрит молитву.

Лиза встречает меня радостной улыбкой.

— Я тебе помогу. — Она расставляет чернильницы, а я вытираю доску, готовлю мелок и, достав из сумки учебник «Ветхого завета», кладу на стол батюшке.

— Вот увидите, увидите, я сегодня его спрошу, — говорит раскрасневшаяся Сима. Она с задорным видом поглядывает на нас.

— Ой-ой! Он тебе опять двойку поставит. Как в прошлый раз.

Ниночка прижимается грудью к парте и захлёбывается неудержимым смехом. Она взвизгивает, топает ногами, кудряшки её прыгают. За дверью звенит колокольчик, девочки затихают, рассаживаются по местам.

Батюшка входит в класс своим обычным неторопливым шагом. После молитвы он садится за стол и раскрывает классный журнал.

— На чём мы остановились, дети мои? — спрашивает он, перелистывая странички моего учебника, и вдруг замолкает. Может быть, он забыл, что задавал нам на дом? Я поднимаю руку, хочу напомнить. За партами слышится лёгкая возня, шуршат листочки книг.

— Это твоя книжка? — спрашивает батюшка, испытующе глядя на меня. Я испуганно молчу. Сима поднимает руку и хочет что-то спросить.

— Батюшка, можно?

Но отец Андрей будто не слышит. Он, очевидно, заболел. У него такое странное лицо — встревоженное и в то же время недоброе.

Наступает тишина.

— Может быть, ты чернилами залила страничку? — шёпотом спрашивает меня Лиза. Я отрицательно качаю головой. Все мои книги в порядке, чистые и обёрнуты в белую бумагу.

Батюшка закрывает мой учебник, поднимается с места и начинает ходить перед партами. Сегодня он не хочет спрашивать заданного на дом урока, а будет рассказывать о грехах. Лицо его опять доброе, только руки почему-то дрожат. Я успокаиваюсь, значит я ничем не рассердила его. Оказывается, грехов очень много. И чтобы их не делать, нужно помнить о них всегда-всегда — каждую минуту. А если согрешишь, то на исповеди не утаивать, и тогда бог простит. Батюшка так хорошо говорит, что мне не терпится покаяться ему во всех своих прегрешениях.

Как будто батюшка угадал, о чём я думаю. Он проходит между партами к нам. Вначале батюшка спрашивает Лизу, молится ли она перед тем, как садиться за стол кушать и после обеда.

— Молюсь, — отвечает Лиза.

— Молись! Молись! Бог любит усердие. Какой грех ты сотворила вчера? — обращается батюшка к Нюрке. — Припомни!

Нюрка морщит лоб и наконец вспоминает.

— С-с-сахару к-к-кусочек м-ма-аленький у мамки из с-сахарницы с-стащила.

Лицо батюшки грустнеет.

— Бог простит тебя. Больше так не делай.

— Не... не буду, — едва сдерживая слёзы, говорит Нюрка.

— А ты, отроковица?

Батюшка гладит мои кудри. Рукав его рясы такой широкий, что в него можно просунуть голову.

— Почитаешь ли ты отца и мать свою?

— Люблю, — шепчу я и замираю.

— Кого же больше?

— Папку и мамку, обоих.

— Люби, люби. Родителей грешно не любить. Отец твой хороший.

— Его все любят.

— Кто же ещё любит твоего папу?

— Все, все. И дядя Никифор, и дяденька Коля. И бабушка Бойчиха любит. А папка в школе учится, не в нашей, а в другой. Он с дядей Никифором учится. Они все учатся. А мамке не нравится.

Батюшка задаёт мне ещё несколько вопросов, крестит и отходит. Я любящим взглядом слежу за каждым его движением и после урока даже забываю взять у него свой «Ветхий завет». В перемену я озорничаю больше чем всегда. Я рада, что батюшка похвалил моего отца.

Прозвенел колокольчик. Сейчас должна прийти Татьяна Афанасьевна. Проходит пять минут, десять — её нет. Наконец является она. Наша учительница сегодня чем-то взволнована.

Она то и дело вытирает платочком лоб и почти не слушает наших ответов. Она не замечает, что пушистая прядка волос спустилась ей на лоб и мешает смотреть. Если в коридоре слышатся шаги, она вздрагивает и оборачивается к двери.

И вот кончились уроки.

— Емельянова, останься, — говорит Татьяна Афанасьевна.

— Я тебя за воротами буду ждать, — шепчет мне Лиза, неохотно выходя из класса.

Я подхожу к столу и останавливаюсь перед учительницей.

— Лена, что ты приносила сегодня в класс? — тихо спрашивает она.

— Ничего не приносила, — удивлённо отвечаю я.

Но Татьяна Афанасьевна переспрашивает ещё раз:

— Вспомни! Может, что-нибудь у отца по ошибке захватила?

Бмиг в памяти проносится спящий отец, голубой выпавший из тетради листик, Петька, который помешал мне прочитать до конца, и последний момент: я прячу листок в какую-то книгу.

С криком я кидаюсь к парте, начинаю перетряхивать сумку, перелистывать каждую тетрадку, каждую страничку в букваре и задачнике. Голубого листочка нет. Значит, я сунула его в «Закон божий».

— Не ищи, Лена, он у батюшки, — говорит Татьяна Афанасьевна.

Я опускаюсь на скамейку.

— Что же мне теперь будет? Что мне будет? Меня теперь отец ругать будет, а мамка опять побьёт.

Учительница пробует утешать:

— Не нужно плакать. Ты сегодня же скажи папе, что листок у батюшки, а маме подожди говорить.

— А он, батюшка, отдаст мне его?

— Отдаст, — неуверенно отвечает Татьяна Афанасьевна.

Я собираю книги и понуро выхожу из класса. Лиза дожидается меня на улице. Солнце уже не светит. Небо низкое, тяжёлое. На огромной старой липе притихли грачи. Увидя моё заплаканное лицо, Лиза начинает расспрашивать, и я рассказываю ей всё.

— А ты не говори пока папке. Батюшка принесёт, отдаст тебе. Он ведь тебя вон как любит, в хор устроил. Знаешь, Лена, пойдём к нам. Бабушка на смене, будем у нас уроки делать.

Скоро я забываю про злосчастный листочек, и мы уже весело болтаем о своих школьных делах.

Домой прихожу под вечер. Отца нет: он куда-то вышел. Быстро поужинав, я залезаю на полати.

— Что так рано? — спрашивает с тревогой мать. — Или нездоровится?

— Голова болит, — отвечаю я и затихаю. С полатей видно покрытое белой пеленой поле; недалёкое кладбище с серыми крестами и молчаливый тёмный лес.

Поиски

Проснулась я от тихой возни в комнате. Осторожно приподняв голову, я заглядываю вниз. Отец в пальто и шапке. Он роется в моей сумке с книгами. Мать, стоя у комода, выдвигает ящик за ящиком, что-то ищет. Затаив дыхание, я слежу за их поисками.

— Нету здесь, да откуда ей быть, — тихо говорит мать, отходя от комода. — Может, оставил где?

Отец в раздумье сдвигает на затылок шапку, смотрит в окно, шевелит губами.

— Нет, не должно быть. Нигде не оставлял. Хорошо помню, в тетрадке была.

— И сколько раз я тебе твердила, сколько раз просила, чтобы ты не ввязывался в этокое дело. Вот упрячут тебя, куда Макар телят не гонял. А оттуда нескоро возвращаются.

— Перестань! Ищи лучше.

Мать, тихо охая, опускается на стул. Она уже больше не ругает отца.

— Ленка утром проснётся, допроси её, а мне пора, — угрюмо бросает отец и уходит.

Мне становится жарко.

— Господи, спаси и сохрани от напасти! — шепчет мать. Она долго бродит из угла в угол, перекладывая каждую вещь по несколько раз. Подойдя к отцовскому сундучку, мать вынимает какой-то бумажный свёрток и, спрятав под кофту, куда-то уходит. От наступившей тишины мне делается страшно. За окном по-зимнему шумит вьюга.

Утром, едва забрезжил рассвет, мать снова принялась за поиски. Улучив момент, когда она вышла из каморки, я в один миг скатилась с полатей и, едва накинув пальто, выскользнула за дверь.

На улице попрежнему метёт. Школа ещё закрыта, и я перехожу через дорогу к церкви. Здесь, прижавшись к церковной ограде, я долго стою в надежде увидеть отца Андрея и попросить, чтобы он вернул голубой листок.

По дороге дымчатым клубком перекатывается снежная пыль. Я прикрываю лицо варежкой. Ко мне подбегает рыжая собачонка и тычется в ноги. От снега её густая шерсть кажется седой. Собака тихо скулит, поджимает то одну, то другую лапку. Я присаживаюсь на корточки и стряхиваю снег с её дрожащей спины. Она взвизгивает, подпрыгивает и тёплым язычком касается моего носа.

— Ты чего здесь делаешь, Ленка? — неожиданно раздаётся позади удивлённый возглас. Передо мной Петька. Воротник его пальто поднят.

— Батюшку жду, — обрадованно говорю я.

— Батюшку? А чего ж ты его здесь ждёшь?

— Как чего? — удивляюсь я. — Ведь он здесь живёт, в церкви, вот и жду. Мне он нужен.

Петька вдруг раздражается обидным хохотом.

— Ну и дурёха! Ну и сказала! Да у него вон какой в городе дом — в два этажа с садом. Будет он тебе здесь мёрзнуть. Сейчас мыши — и те попрятались.

Я верю и не верю Петьке.

— Нечего мёрзнуть, пошли, — гозорит Петька и решительно тащит меня к школе.

Я молча, едва передвигая ноги, плетусь за ним.

Татьяна Афанасьевна сегодня опять грустная и бледная. Урок тянется скучно и долго. Незадолго до звонка в коридоре слышатся чьи-то быстрые шаги и затихают возле нашего класса.

«Наверное, батюшка листик принёс», — с облегчением думаю я и приподнимаюсь с места. Кто-то робко дёргает дверь за ручку. Татьяна Афанасьевна вздрагивает, выходит в коридор. Я настороженно прислушиваюсь. За неплотно прикрытой дверью слышится шёпот учительницы и как будто Кланькин голос. «Зачем она здесь?» — удивлённо думаю я.

Татьяна Афанасьевна возвращается нескоро. Когда она входит в класс, я испуганно смотрю на неё. Кажется, она сейчас упадёт. Лицо — словно тетрадный белый лист, и губы дрожат.

— Емельянова, ступай домой, — чуть слышно говорит она, держась за спинку стула. Я торопливо собираю книги, выхожу из класса. Ноги мои подгибаются и не слушаются, точно чужие.

В коридоре Кланька.

В последнее время мы редко видимся с ней. С тех пор, как она поступила в ткацкую, она стала совсем другой. Железной шпилькой начала закалывать на затылке свои белёсые косички. При разговоре с нами то и дело поджимает губы, качает головой по-взрослому и беспрестанно обирает с платья белые хлопковые ниточки. Иногда она заходит ко мне, присаживается к моим куклам, но, взяв одну из них, со вздохом кладёт обратно.

Я с удивлением гляжу на Кланьку. Её кацавейка расстёгнута, лёгкий платочек едва прикрывает голову.

— Пойдём домой! — тяжело дыша, произносит она.

— Зачем?

Светлые короткие ресницы подруги вздрагивают. Худенькое серьёзное лицо становится простым и детским — Кланькиным.

— Идём, беда у вас.

Больше Кланька ничего не говорит.

На улице попрежнему вьюжно и холодно.

— Бежим через поле — тут ближе! — кричит Кланька мне на ухо.

Проваливаясь в сугробы, падая и поднимаясь, мы бежим к баракам. Холодный ветер пронизывает насквозь, в валенки набивается снег. Острые ледяные иголки секут и колют лицо. Вокруг всё стонет, мегёт, сердится...

Кланька тащит меня за собой, в руке у неё платок, сорванный с головы ветром; шпилька выпала из волос, и я вижу, как по её спине мечутся тонкие светлые косички.

Так мы бежим целую вечность...

Открытие

С минуту я неподвижно стою среди комнаты, не понимая, что случилось. Всё вокруг раскидано и развалено. На полу громоздятся ящики комода, табуретки повалены набок. Возле опрокинутой соломенной корзинки валяются пуговицы, шпильки, бумажки. Пустое ведро попадает мне под ноги и гремит, откатываясь в угол. На кровати под ворохом как попало набросанной одежды тихо стонет мать. Глаза её закрыты, губы сведены судорогой.

— Мамка, мамочка!

Я трясу её худые плечи. Мать молчит. Вокруг стоят соседки. Одна из них, причитая, опрыскивает мать водой.

В комнату входит бабушка Бойчиха. Окинув взглядом разрушенное наше гнездо, она решительно отстраняет женщин от матери.

— Что это вы всю её водой облили?

Бойчиха приподнимает голову матери, откидывает с её лба волосы и расстёгивает ворот кофты.

— Не реви, Алёнушка, перестань. Приберись лучше. А вы бы шли по своим делам, детушки, — говорит она соседкам. — Накинь крик, Алёнушка, да фортку открой. Пусть ветерком пообдует.

Через несколько минут мать присткрывает глаза.

— Бабушка! Что же это? Бабушка! — повторяет она, как ребёнок.

— Уймись, Анна, слышишь, что говорю. Не одного твоего взяли. Молчуна забрали, и Якова из шлихтовального, и Фёдора из прядильной. В ткацкой всё вверх дном перевернули.

— Да за что? Что они сделали? Что же теперь будет? Ведь и меня теперь сгонят, не дадут работать, — упавшим голосом произносит мать.

— Кто это сгонит? Кто посмеет? — вскидывается бабушка, грозно сдвигая седые брови. — Пусть-ка попробуют. Ты думаешь, твоего взяли и на этом дело кончилось? Нет, остались ещё люди. Зёрнышки глубоко в землю брошены.

Мать умолкает. Потом неожиданно срывается с места и падает на колени перед иконами.

— Да что ты смотришь, господи! Или... Или и взаправду ты не слышишь? О-о!.. — Мать громко вскрикивает, взмахивает руками, точно птица крыльями. — Всю жизнь, всю жизнь в тебя верила, господи, а ты, а ты...

В её голосе столько муки, отчаяния, что кажется сейчас, именно только сейчас и должно что-то произойти. Не может же бог не услышать такой просьбы и не увидеть такого горя.

Бойчиха поднимает мать с полу.

— Довольно, Анна, всё равно не поможет, сколько ни пресси. Наше горе — не его горе.

Уложив мать в постель, она шелчет:

— Ты ещё на исповедь сходи да поползай на коленях перед попом. Говорят, что это его рук дело. У кого-то из ребятшек листовку нашёл в книжке и донёс...

Что-то острее, словно вязальная спица, проходит через моё сердце. Е один миг вспыхивает в памяти голубой листик, забытый в учебнике, непонятное поведение батюшки на уроке и слова матери: «Смотри, степ, а то упрячут, откуда не возвращаются».

— Папка! Что я сделала! — вскрикиваю я и больше ничего не помню...

Без отца

Мы уже не живём на Молотилке. Вскоре после ареста отца пришёл смотритель и переселил нас во Власовскую казарму. Теперь, вместо комнаты, мы с матерью занимаем угол, где стоит кровать и одна табуретка. В нашем же углу живёт дедка Стёпа — румяный в учебнике, балагур. Днём он делает гробы, а по ночам, закутавшись в рваный полушубок, сидит у дверей казармы — сторожит, чтобы не входили посторонние.

За занавеской, занимая всю другую половину комнаты, проживает тётка Груша с ребёнком. Совсем недавно она ушла из ткацкой и теперь не работает. Тётка Груша принимает в заклад вещи. Она ни чем

не брезгает — берёт всё. Мужчины тайком от семьи тащат ей одежду, ботинки, детские платья, платки и даже игрушки. Соседки её ненавидят. Не проходит дня, чтобы какая-нибудь из них не заходила к нам и не ругалась:

— Отдай, окаянная, ведь последнее платьишко ирод вытащил из сундука. И что у тебя сердца, что ли, нет? В ткацкой ты путём не робила, все от тебя плакали, и здесь ты нам житья не даёшь.

Но ни просьбы, ни угрозы не помогают. Тётка Груша никого не боится. К ней часто заходит Зот Фёдорович, и они подолгу шепчутся за занавеской.

По утрам тётка Груша уносит куда-то большой узел тряпья. Возвращается вечером, и тогда мы слышим, как за пологом звенят медяки, подсчитывается выручка за проданное. Тётка Груша собирается открыть лавочку и копит деньги. Я её боюсь. Она высокая, костлявая. Большие зубы выступают вперёд, голос, как у мужчины, грубый, требовательный. Она моя хозяйка. С тех пор, как мы переехали сюда, я перестала ходить в школу.

Когда заходит ко мне Лиза и рассказывает о классных новостях, мне снова хочется быть в школе. Но едва я вспоминаю, что там отец Андрей... «Нет, уж лучше с Полькой буду нянчиться», — решаю я, вздрагивая всем телом.

Польке скоро два года, но она ещё не ходит. Из-под короткой, вечно мокрой рубашки огромным барабаном выпирает живот. Похожая на арбуз голова с редкими волосёнками качается на тонкой, длинной шее. Я таскаю её весь день. К вечеру болит спина и ноют руки.

Сейчас Полька заснула. Опустив на стол голову, дремлю и я.

На постели стонет мать. Она совсем разболелась. Этой ночью у неё пошла горлом кровь. За занавеской, точно заведённая, ругается тётка Груша. Дедка Стёпа только что пришёл с ночного дежурства.

— Да потише ты, божья душа, — говорит он. — Девчонку разбудишь, да и больная только что задремала.

— Больная! — ворчит тётка Груша, появляясь на нашей половине. — А мне какая корысть от этого? Одна зараза от них. Чего доброго, слохнет, крутись тогда с её отродьем-то!

Она, ругаясь, увязывает в рваную скатерть платья, тарелки, платки. Старое детское одеяльце никак не укладывается в узел, и хозяйка, злобно ворча, запикивает его коленом. Наконец она уходит. В комнате становится тихо. Дедка Стёпа муром смотрит на дверь и отплёвывается.

— Ушла, сразу просторнее стало! Вот для кого бы я с радостью домовинку сготовил и гвоздей не пожалел бы. Хуже фабричного угара. Из того хоть варежки да носки бабы вяжут...

Дедка Стёпа садится рядом со мной, гладит по голове. От него пахнет свежими сосновыми стружками и клеем.

— Эх ты, горемычная.

Он, кряхтя, встаёт, подходит к постели матери.

— Ну, как тебе, Анна, не полегче?

При виде заострившегося носа матери и красных пятен на подушке дедка Стёпа озадаченно ерошит седые, все в колечках волосы.

— Да... Вон они дела-то какие несуразные.

Мать смотрит на него большими измученными глазами.

— Умру, сироту не оставьте за ради бога, — шепчет она.

— Что ты! Что ты! Да разве можно такое говорить? Ты об этом и не смей думать. Вот пройдёт лёд — тебе и полегчает. Погоди, я тебя полечу. Принесу деготьку соснового, да потомлю сго в печи, да попьёшь —

и пройдёт всё. Дёготь-то он, брат, большую силу имеет. Все болезни как рукой снимает.

Пересохшие губы матери складываются в улыбку, в глазах робко вспыхивает надежда.

Но полечить дедке Стёпе мою мать не пришлось. Вечером приходит Дуня Чёрная и тихо, чтобы не слышала мать, говорит:

— Плохи дела, Алёнушка, придётся мать в больницу везти.

Дуня никогда ничего не скрывает и говорит всё, как есть, хорошее и плохое. Не утаивает она и на этот раз от меня, что надежда на выздоровление матери маленькая.

— Ты уж большая, Алёнушка, скоро десять лет будет. Должна всё знать.

Дуня прижимает мою голову к своей груди и долго-долго о чём-то размышляет.

Утром мать увозят на лошади в больницу.

— Ну, Алёнушка, собирайся, — говорит Дуня.

— Куда ты её тянешь? — набрасывается тётка Груша. — Сама скитаешься по чужим углам и девку сбиваешь с пути.

— Со мной будет жить. Нечего ей здесь делать...

— Как это, нечего! Как это, нечего! Мало я им передавала? Пусть отработает спервозначала.

Полька проснулась и с плачем тянет ко мне тонкие, словно плетешки, руки.

Я смотрю на опустевшую постель. На подушке, примятой материнской головой, лежит оброненная гребёнка. Чувство одиночества и горя вмиг охватывает меня. Кажется, если я уйду отсюда, то больше не увижу мать.

И я остаюсь.

В больнице

Мать лежит в больнице. Временами ей становится лучше, и тогда я вместе с ребятами радуюсь солнцу и теплу.

Стоят хорошие весенние дни. Уже закурчавились тополя, а Власовское поле покрылось молодой густой травкой. Со страхом и трепетом я дожидаясь ледохода. Возвращаясь из больницы, каждый раз сворачиваю к горбатуму деревянному мосту, где сердито притаилась потемневшая Клязьма. Наконец, в воскресенье на рассвете ветер занёс в открытую форточку глухой рёв.

— Тронулась голубушка, — сообщает дедка Стёпа, входя в комнату и сбрасывая в угол полушубок. — Опять прибавит мне матушка-весна работки.

Я быстро начинаю одеваться.

— Куда-то ты спозаранок собралась? — с криком накидывается на меня хозяйка.

— Что ты, Груша, грех ведь! К матери спешит дитё, — застывает за меня дедка Стёпа.

В коридоре я встречаю тётю Аксинью. Она останавливает меня.

— погоди, Ленка! Пойдём вместе.

После того, как Дуня Чёрная ушла от смотрителя, тётка Аксинья тоже ушла из Слободки и перебралась во Власовскую казарму. Она часто заходит к нам и ругается с моей хозяйкой, когда та пробует меня обижать.

— Смотри, Зубатиха, отвечать за девку будешь! — грозит она.

У тётки Аксиньи добрая душа, и я привязалась к ней, как привязываются маленькие дети к некрасивой, но ласковой няньке.

Хотя ещё совсем рано, в больницу всё же нас впускают. В холодной большой палате сонно и полутемно. Из-под тонких серых одеял изредка раздаются слабые стоны. Пахнет карболкой и лекарствами.

Мать лежит у окна. Ей сегодня лучше. Притянув к себе, она долго и странно смотрит на меня, гладит щёки и ласково, ласково шепчет. Тётка Аксинья, отвернувшись в сторону, вытирает глаза подолом передника.

— Лёд пошёл сегодня, теперь мне легче станет, — слабым голосом говорит мать и кротко улыбается. — Сбегай-ка, Ленушка, до дому, принеси коклюшки. Руки истосковались по работе. Кружева поплету, продам и ботинки тебе справлю, а то оборвалась вся ты у меня, горемычная.

Мать оборачивается к тётке Аксинье.

— Как там у нас? Что слышно-то?

— И... милушка!

Тётка Аксинья прикрывает ладонью рот и, склоняясь над матерью, шепчет:

— У Пахомыча-то всё, всё перерыли. Уж где не искали, каждую бумажку пересмотрели. Ничего не нашли. Лизуха-то успела всё прибрать заранее. А Зот-то... — тётка Аксинья смотрит на меня. — Беги, Ленка, куда тебя мать послала. Я дождусь тебя.

И она выпроваживает меня из палаты.

Весеннее утро уже разгорелось, заблестало, заискрилось. На Клязьме густо идёт лёд. Толстые льдины, громоздясь, напирают одна на другую. На берегу толпа.

— Ленка, иди сюда, — неожиданно слышу тонкий голосок Кланьки. Она по-взрослому хмурит брови, всматриваясь в идущий лёд.

— Вчера страсть устала как. Адамыч ругается. Говорит, плохо отбираем. А разве мы виноваты, что утёк гнилой... Вон и Петька. Петька! Петька! Иди к нам.

Петька неторопливо подходит. После ареста отчима он так же, как и я, бросил учиться и поступил работать на красильную фабрику. Его руки и старая, знакомая мне куртка в краске. Я с завистью смотрю на своих друзей. Работать на фабрике куда лучше, чем таскать Польшку.

— Мамка поправляется. За нитками послала, скоро домой придёт, — тороплюсь я поделиться своей радостью.

Поглазев немного на ледоход, спешим домой. Проходя мимо Власовского поля, мы приостанавливаемся. Ребята уже играют в лапту.

— Стукнем разок? — предлагает Петька.

Через несколько минут, забыв все свои горести, мы с увлечением бегаем за мячом. Про наказ матери я вспоминаю, лишь когда полуденное солнце начинает припекать голову.

Захватив нитки и гремящие в узелке коклюшки, я бегу обратно в больницу.

На низком приступке крыльца больничного барака сидит тётка Аксинья. Опустив голову, она что-то упорно разглядывает под ногами. К моему удивлению, тётка Аксинья не ворчит и не ругает меня, а берёт за руку и ведёт в палату.

Мать уснула. Какая она стала бледная и прозрачная. Руки с тонкими пальцами почему-то сложены на груди. Рядом с кроватью сидит Дуня Чёрная.

— Попрощайся с матерью, — говорит она.

— Мамка! Я принесла тебе коклюшки. Мамка! Что же ты?

Мать не слышит, молчит. Тогда я вскрикиваю и тычусь в её сложенные холодные руки, они не разгибаются.

Мать хоронили в воскресный день. Огромная, точно высеченная из чёрного камня, лошадь медленно поднимала похские на тарелки копыта, увозя мою мать на кладбище.

Рядом с телегой — бабушка Бойчиха. Она старается идти прямо, не гнуться, выбрасывает далеко вперёд палку. Возчик принаравливает ход лошади к её шагу.

Я плетусь за гробом, ноги мои путаются, в ушах непрерывный звон. Поодаль молча бредёт Дуня Чёрная. Изредка громко всхлипывает тётка Акси́нья. Около меня идут Петька и Лиза.

На крышке гроба лежит шапка отца, в неё бросают медяки.

Петька шепчет мне на ухо:

— Ты, как дойдём до кладбища, сразу бери шапку, а то поп схватит.

Первую горсть земли бросает Бойчиха. Дробно стучат сырые комья о крышку гроба.

— Отстояла свои сменки, касатка, — произносит бабушка Бойчиха, утирая слёзы. — Теперь отдохнёт...

— На, держи! — хмуро говорит Петька и суёт мне в руки шапку с медяками. Я отталкиваю её от себя.

— Бери, что ли, — сердится он, ещё больше хмурясь.

— Возьми, Алёнушка. Это теперь твоё, — ласково шепчет Дуня.

Одна

Со дня смерти матери проходят лето, зима и снова наступает лето. Если бы не пожелтевшие мотки кружев, не книги, завязанные в узелок, и не кованный отцовский сундучок, в котором хранятся дорожные мне вещи, можно было бы подумать, что у меня никогда не было ни матери, ни отца, что я всю жизнь живу у тётки Груши, таскаю тяжёлую Польку, получаю тумачи. Когда я стираю пелёнки или готовлю обед из картошки и капусты, мои глаза закрываются сами собой, и всё валится из рук.

Сегодня тётка Груша подняла меня в четыре утра.

— Ты что же, не выдрыхлась, что ли, дармоедка? Беги, принеси воды, пока Полька спит.

Тётка Груша стаскивает меня с постели и больно щиплет.

В коридоре тихо. Тускло копят трёхлинейки. Они так редко висят друг от друга, что кажутся маленькими светлыми точками. Впереди неосвещённые, крутые, местами без перил лесницы. По ним нужно ходить очень осторожно, иначе можно разбиться. Чтобы прогнать страх и сон, я нарочно гремлю вёдрами. У двери на улице сторбившись сидит дедка Стёпа. Старик клюёт носом и испуганно вздрагивает от громкого стука тяжёлой двери.

— Эк тебя носит, горемычная. И чего она тебя гоняет с самой ночи? — ворчит он, не то жалеючи, не то сердито.

Мы с ним встречаемся каждое утро здесь; и каждый раз я его пугаю, а он неизменно ворчит. Дедка Стёпа встаёт, сбрасывает с себя худой полушубок и, бурча что-то неразборчивое, отбирает у меня вёдра.

— Дай-кошь, я схожу. Разомнусь малость, а ты покарауль тут да смотри не пушай никого. Чуешь? Чтобы чужой кто не зашёл. Ружьё-то не тронь, а то стрелит.

Я усаживаюсь на нагретое стариком место и моментально засыпаю.

До колодца далеко, и дедушка возвращается несгорно.

— Полные, дедушка, налил? — беспокоюсь я.

— Полные, с верхом. Я уж порядки-то знаю. А ты ружьём-то не баловала?

Дед подозрительно смотрит на меня и поспешно подхватывает берданку.

— Провозился тут с тобой. Ну, иди, иди, сирота.

На третий этаж с полными ведрами взобраться нелегко. Я оставляю одно ведро у лестницы, а другое переносу на несколько ступенек, потом спускаюсь за оставленным. И так до самого верха.

— Где тебя носило до такой поры? — шипит хозяйка.

Она впивается взглядом в подол моего платья. Если он замочен, меня ожидают подзатыльники.

— Не наготовишься на дармоедку одёжи!

Хотя моё платье перешито из маминого, но тётка Груша почему-то считает его своим.

— Чего глаза вылупила? Беги за чаем.

Схватив большой медный чайник, я, словно угорелая, мчусь на кухню. У большого десятиведёрного куба с кипятком уже очередь, крик и ругань. Несколько старух суетятся возле печей. Вкусно пахнет жареной картошкой. При виде румяной драчёны у меня текут слюнки.

— Ленка, подожди! — останавливает меня Райка из соседней каморки. — Ты знаешь, сегодня будет затмение.

Я забываю про чайник. Струйка горячей воды брызнула на ногу, но я лишь морщусь от боли. Мне не привыкать.

— Солнце спрячется. Тятка сказал, оно опять будет. А вон бабка Настя говорит, что это конец света наступает. Так, говорит, в святом писании сказано. Срок подошёл.

Только сейчас я замечаю собравшихся на широкой лавке старух. Все они в белых платках, в новых кофтах. Они шепчутся, вздыхают и часто крестятся. Около самой старой, согнутой в дугу бабки Насти стоит дедка Стёпа. Она ему что-то говорит, а он, распахнув полшубок, добродушно балагурит и посмеивается. Я подхожу ближе.

— Ишь, чего повыдумали — светопреставление... Первый раз, что ли, это случается? Ну, велика беда, спрячется. Может, у солнышка-то глаза устали на вас смотреть. И ему, поди, отдых требуется.

Дедка Стёпа задорно подмигивает старухам, а те, отплёвываясь, сулят ему всякие беды.

Тётка Груша встречает меня грозным окриком и замахивается кулаком.

— Сегодня все помрём! — ошарашиваю я её, увернувшись от тумача. — Затмение будет. Бабка Настя говорит, по святому писанию сегодня конец света придёт. Ох, что творится на кухне! Что творится!..

Тётка Груша раскрывает рот и опускает руку.

— Сегодня все умрём! — не унимаюсь я.

Хозяйка убегает на базар, так и не дав мне подзатыльника.

Я хватаю на руки Польшку и, забыв о строгом наказе не болтаться без дела, бегу на кухню. Все старухи уж сгрудились перед окном. Райка даёт мне закопчённое стёклышко, и мы проталкиваемся вперёд.

В осколок солнце кажется совсем-совсем бледным, тусклым и желтоватым пятном. Мне становится страшно. Чья-то коровёнка мирно расхаживает по Власовскому полю. Она, конечно, не знает, какая беда грозит ей через несколько минут.

— Начинается! Начинается! Вон, вон ползёт, — кричит кто-то.

— Пронеси, господи!

— Санька! Санька! Да закрыл ли ты каморку-то, а то ещё обворуют, — кричит бабка Настя.

В кухне поднимается гам. Он стихает, когда один край солнца темнеет. Польшка тянется к стёклышку, кричит, выгибаясь у меня на руках.

— Да уйми ты её ради бога! — сердито говорит одна из старух.

В кухне становится всё темнее и темнее. Меня кто-то толкает в бок. Напуганная Польшка вдруг взвизгивает, вывёртывается из моих рук и падает. Её плач слышится где-то под ногами.

— А! А!.. Задавили! Польшку задавили, — завываю я, покрывая истощный рёв Польшки.

В кухне начинает светлеть. Польшка барахтается около пузатой корчаги с помоями

— Изувечила девку, — замечает кто-то рядом.

У Польшки багровые синяки на лице, большие шишки вздулись на голове. Я не знаю, что мне делать, и громко реву.

— Ничего с ней не будет. Не голоси, — успокаивает меня прибежавшая тётка Аксиныя. Она прикладывает пятаки к лицу Польшки. — Убьёт тебя теперь змеюга зубатая! — говорит она вздыхая.

К обеду лицо Польшки вздувается одним большим радужным волдырём. Со страхом я жду прихода хозяйки. Ясно, что на этот раз мне её крепко достанется...

Среди своих

Тяжёлая чернота давит на затылок, лоб и виски. Страшно и больно шевельнуться. Во тьме ползут золотые пауки и тянут тонкую пряжу. И вот уже это не пауки, а Кланька... Она разматывает уток и жалуется: «Гнилой. Ужаси, как устала. Помогите, Ленка»... Протягивает шпудльку, а сама отступает всё дальше и дальше.

Вместо Кланьки откуда-то появляется мать с клубком кружев. «Размотай, Ленка!» И я разматываю. Кружева стелются бесконечной узорчатой дорожкой. Вот они уже устали всю Глуховку, я выхожу на большак, мои руки устали, а мать всё передаёт мне новые и новые мотки.

— Хватит, мамка! Хватит, — кричу я и открываю глаза.

— Очнулась, Алёнушка! А уж я думала, что насмерть забила она тебя.

Надо мной склоняется красивое лицо Дуни Чёрной и рябое, но такое доброе — тётки Аксиныи. Что-то влажное ложится на мои глаза, приятно холодит и успокаивает боль. И вновь наступает темнота. Когда прихожу в себя, в маленькой горнице тихо. На стене, оклеенной яркими обоями, — часы. Мерно качается маятник. В окно заглядывает порывевший клён. Приподняв с подушки голову, я осматриваюсь.

Из угла, с постели, опершись на худой локоть, на меня огромными чёрными глазами смотрит с любопытством какая-то девчонка. Её короткие волосы торчат ёжиком, лоб перевязан белой тряпицей. Она шевелит распухшей верхней губой.

— Ты чья?

Девчонка не отвечает, она лишь передразнивает меня.

— Чего уставилась?

В комнату, постукивая палкой, входит бабушка Бойчиха. Из-под сего повойника вылезли пушистые прядки волос.

— Очнулась, голубка? С кем же ты тут разговариваешь?

— Она чья, бабушка? — шёпотом спрашиваю я.

По сморщенному доброму лицу бабушки Бойчихи разбегаются морщинки. Мне сразу делается весело. Теперь уж я без страха гляжу в зеркало. Провожу ладонью по голове. Вместо длинных кос короткие жёсткие колючки.

— Не кручинься, голубка, и кудри отрастут. Были бы кости целые. Ты теперь у своих. Скоро Лизутка придёт из школы. Эх, Грушка тебя избила, непутёвая башка. Думали, не отходим.

Бабушка Бойчиха поит меня тёплым молоком, потом что-то рассказывает. Под её тихий голос глаза мои вновь закрываются.

Просыпаюсь вечером. Передо мной сидит Лиза.

Я неуверенно протягиваю руку и дотрагиваюсь до её колен. Всё ещё не веря, я тянусь к её толстой светлой косе.

— Тётя Дуня, она проснулась, — кричит Лиза радостным звенящим голоском.

Лампа ярко освещает крохотную комнату. Около стола суетится Петька. Вихры спадают ему на лоб. Рядом с ним Дуня Чёрная. Она оглядывается на нас с Лизой и улыбается как-то по-особенному весело.

— Тётя Дуня, это всё по правде? — спрашиваю я.

Петька подходит к кровати и недоверчиво осматривает меня.

— Ишь ты... Значит, выжила?

Дуня, нарезав тонкими ломтиками хлеб, присаживается рядом со мной.

— Ну вот у нас и праздник.

— Знаешь, Лена, у нас такая радость! Такая радость, — говорит Лиза и неожиданно замолкает под взглядом тёти Дуни.

Петька поспешно что-то прячет в карман и отворачивается. Я вижу, как моментально краснеют его уши. От меня что-то скрывают.

— Знаешь, Лена, ты теперь у нас будешь жить, — сообщает Лиза.

— Это Аксинья притащила тебя к нам, добрая душа, — говорит Дуня Чёрная.

Через несколько минут колченогий стол пододвинут к моей постели. Петька открывает тёмную бутылку. Его лицо всё ещё горит ярким румянцем, а губы складываются в торжествующей улыбке.

— Подождём бабушку и Аксинью, — говорит тётя Дуня.

Долго ждать не приходится: их шаги и голоса уже слышатся в сенях.

— Вот и мы!

Тётка Аксинья сбрасывает с плеч шаль.

— Проснулась? Вот радость-то! Смотри, поправляйся к отцовскому приезду. Весточка пришла.

От неожиданности кружится голова, всё плывёт, и я валяюсь ничком в подушку.

Радость, конечно, меня не убила. Через каких-нибудь полчаса я, склоняясь на плечо бабушки Бойчихи, облегчённо плачу. Дав мне выплакаться, Дуня достаёт из коробочки белый помятый конверт.

Руки мои дрожат, не слушаются. Я не могу прочесть первых слов.

Буквы прыгают, разбегаются. Пишет отец. Это его карябки. А тут ещё мешает Петька. Он суёт мне записку.

— Нет, Ленка, прочти моё сначала. Ты гляди только, что он пишет: «Сын мой Петька». Это, значит, я.

— Да не тормоши ты её, неуёмный! — смеётся бабушка.

Из письма я узнаю, что отец и все остальные живы, скоро вернутся, а пока наказывают потерпеть ещё немного. Когда придут, отец не сообщает, но это сейчас не так важно для всех нас, собравшихся вместе. Важно одно, что все живы и будут с нами.

Конец детства

Прошло три месяца, как я живу у бабушки Бойчихи. За это время я окончательно окрепла. Волосы мои отросли и похожи на чёрную баранью шапку. Каждый день, проводив Лизу в школу, а бабушку Бойчиху на работу, я иду на большак.

Далеко-далеко тянется среди леса укатанная дорога. По ней с утра

до вечера шагают люди, но отца между ними нет. Ночами при малейшем стуке в окно я просыпаюсь и вскакиваю.

Бабушка Бойчиха, качая головой, сурово выговаривает:

— Разве можно так изводиться. Сказано—вернутся, значит, нужно ждать. Всё это потому, что ты не привыкла без работы сидеть. Руки, руки тебе нужно занять. Когда они, милушки, заняты, и голове легче делается.

Лиза тоже старается меня успокоить. Приходя из школы, она раскладывает книги и заставляет меня читать и писать. Часто, решая какую-нибудь задачу или заучивая правило, я вспоминаю Кланьку. Наверное, я сейчас похожа на неё.

— Да учи же, Лена, о чём ты думаешь? Опять напутала, — сердится Лиза. — Ведь бабушка говорит тебе, что папка приедет, она зря не скажет.

Бабушка откладывает в сторону чулок и убеждённо произносит:

— Если не добиваться хорошего, то и незачем жить на свете.

Так проходят дни. Всё чаще и чаще я начинаю посматривать на фабричные окна. Меня тянет туда. Там Петька и Кланька. Мне хочется быть вместе с ними. Однажды я попросила Дуню Чёрную устроить меня на фабрику.

— Ещё успеешь погнуть спину, — сказала она, нахмурясь. — Поправляйся. Отец приедет, его дело — куда он тебя определит. Может, ещё учиться пойдёшь. Не вздумай бабушке сказать. Она обидится. Помни, ты ей не в тягость. Мы все помогаем ей. Не думай, что ты одна осталась.

Я, однако, сказала о своём желании бабушке Бойчихе, не вытерпела.

— Если тянет — иди. Перечить не буду, — неожиданно согласилась она. — От матери к тебе перешло. Руки работы просят. Душа тоскует.

И вот ранним мглистым утром бабушка Бойчиха, взяв меня за руку, повела на фабрику.

Сердитый сторож в свчинной шубе до пят и в огромной, точно грачное гнездо, шапке задержал нас в проходной.

— Куда это?

— А ты не видишь? Убери лапу-то, бирюк.

Сторож поспешно отступил, что-то ворча.

Миновав широкий двор, мы входим в низкий подвал с нависшим, тяжёлым сводом. Сверху падают редкие капельки всды. Потолок покрыт ими точно мелким бисером. Мои ботинки громко отстукивают по цементному скользкому полу.

— Сейчас к мастерице пойдём. Да ты что побледнела-то? Держись за руку, — говорит бабушка Бойчиха и открывает дверь.

Мастер сидит за высокой конторкой. Он быстро-быстро щёлкает костяшками счёт. Пальцы у него длинные, крючковатые.

— Чего скажешь? — спрашивает он, поворачивая в нашу сторону маленькую гладкую, похожую на куриное яйцо, голову. Большие очки в медной оправе придают ему вид совы. Бабушка Бойчиха выталкивает меня вперёд.

— Вот, Адам Иванович, работницу привела.

— Работницу...

Адам Иванович приподнимается и долго осматривает меня.

— Не нужна. Мала, и так скандал из-за них поднимают.

— Сирота. Прими, а я уж отблагодарю тебя.

— Чья она? — спрашивает мастер уже мягче.

— Анны Емельяновой дочь.

— Не нужно, — вдруг отрезает мастер. — Иди к управляющему.

Мастер отворачивается от нас и вновь принимается шёлкать на счётах.

— Не примаешь, так и не надо. Без тебя обойдётся, — ворчит бабушка.

Мы выходим.

— У, сова очкастая, — ругается она за дверью. — Ты не плачь, всё равно добьюсь. Где это видно, чтобы на свою же фабрику да не взяли!

Управляющий ещё не пришёл, и бабушка ведёт меня в ткацкую. Не останавливаясь, мы проходим несколько больших пыльных цехов. Бабушке Бойчихе все кланяются. Мне делается веселее.

Большие снежные горы утка громоздятся на полу. Девочки и мальчики моих лет усердно копошатся, не поднимая голов. К ним то и дело подбегают такие же ребятки с жестяными ящиками. Они укладывают в них пухлые початки и стремительно, словно за ними гонятся, бегут обратно.

Где-то здесь среди них Кланька. А вот и она. Я узнаю её по синей кофте.

— Кланька!

Кланька поднимает голову. Початок выпадает у неё из рук.

— К нам?

Я молча киваю.

— Спервоначала тебя Адамыч «младшей девочкой» поставит, — степенно говорит Кланька, указывая на девочек, собирающих пустые шпули. — А потом уж в старшие переведут, уток разбирать.

Бабушка Бойчиха, улыбаясь, заправляет Кланьке под косынку тонкий хвостик косички, выбившийся наружу.

— Эх ты, старшая моя, — усмехаясь, говорит она. — Ну, работай, работай, мешать тебе не будем.

Мы отходим от Кланьки и идём дальше по каким-то тёмным лестницам, гулким закоулком.

— А вот тут твой отец работал.

В шлихтовальной жарко. На полу стоят вёдра с водой. Я с любопытством смотрю на большие машины. Между валами, точно струны, натянуто множество ниток.

— Чтобы основа-то не рвалась, её, голубушку, пропускают через клейковину, сушат, наматывают на барабаны, а там уж отсылают к нам в ткацкую.

К нам подходит молодой рабочий. Он без рубашки. На лице блестят капельки пота. Он почтительно здоровается с бабушкой.

— Вот дочку Мартына привела, — торжественно произносит Бойчиха.

— Мартына!.. Ну, здравствуй, дочка, — говорит рабочий, участливо глядя меня по голове.

Ладонь у него большая, ласковая, перепачканная в клейстере. Я чувствую, что вот-вот расплачусь. Бабушка уводит меня из цеха.

— Пойдём-ка к себе, голубка.

Длинный ряд станков тянется через весь зал. От шума звенит в ушах. Бабушка Бойчиха протягивает мне кусок ваты и показывает, что нужно заткнуть уши. Я отмахиваюсь. Вот она, оказывается, какая ткацкая! Она и вправду живая и совсем-совсем не страшная. Согнутые работники встречают нас улыбками, а губы их шевелятся, они что-то говорят. Подведя меня к одному из станков, бабушка Бойчиха тычет себя в грудь. Пожилая худенькая её сменщица быстрым движением заправляет в челнок тугий початок утка. Потом она вкладывает челнок в ложбинку слева и тянет на себя рюкотьку.

Громко и доверливо поёт станок. Ремизки, похожие на громадные гребёнки, поднимаются и опускаются по очереди, давая челноку дорогу. А челнок, словно рыбка, скользит между нитями натянутой основы.

Я не могу оторвать глаз от станка. Руки сами тянутся погладить шероховатый верх готового полотна. Сколько угодно я готова стоять здесь.

Один миг бабушка пристально смотрит на меня, потом указывает на тёмный угол.

— Вст на этом месте ты родилась, голубка, запомни!

Я стою, не шевелясь, что-то мешает мне говорить. Долго-долго смотрю на угол, заваленный цветными картонными шпулями, на ветошь, сваленную в кучу.

Этот угол я никогда не забуду.

Бабушка тихо берёт меня за руку.

— Пойдём, голубка.

Управляющий уже пришёл. Ещё с порога я узнаю его, хотя и вижу впервые. Сима очень похожа на своего отца. Жёлтые, злые, как у кошки, глаза, огненные волосы.

— Вот внучку привела, Виктор Карлович. Хочу к станку приучить. — Бабушка опять, как у мастера, выталкивает меня вперёд.

Управитель сердито взглядывает на меня через плечо и нехотя бросает:

— Скажи — приказал взять.

Сердитый сторож, ни слова не говоря, выпускает нас из проходной.

— Ну вот и отыгралась, касатка, в куклы. Большая стала, — говорит бабушка Бойчиха, легонько и ласково похлопывая меня по спине.

Ещё совсем темно. Рядом со мною идёт Петька. Впереди, стараясь не гнуться, бодро шагает бабушка Бойчиха.

Утреннюю тишину разрывают гудки. Первым начинает озорной и голосистый — ткацкий. Ему вторит басовитый и уверенный — красильный. Их вскоре заглушает сердитый — прядялки.

Гудки провожают меня до самых ворот фабрики в мою первую смену.



КРИШАН ЧАНДР
★
МОСТ МАХАЛАШМИ

Рассказ

Кришан Чандр — видный прогрессивный писатель и общественный деятель Индии, генеральный секретарь Всеиндийского Совета Мира.

К. Чандр пишет на языке урду. Он выступает как прозаик, драматург и публицист. Широкую известность получила его повесть о голоде в Бенгалии «Я не могу умереть».

Публикуемый рассказ взят из сборника «Пламя и цветок», изданного в Болбее в 1951 году на английском языке в переводе автора.

Ио ту сторону моста Махалашми¹ находится один из священных храмов богачей, его официальное название — ипподром. Посетители этого храма выигрывают редко; гораздо чаще они теряют целые состояния.

По эту сторону — сточная канава, уносящая из города нечистоты.

«Храм» очищает от грязи чьй-то сердца; сточная канава — от нечистот чьй-то тела.

Слева, на широких железных перилах моста Махалашми, развеваются на ветру шесть сари². Здесь, в этом месте, вы всегда видите на перилах только что выстиранные сари. Они сохнут на солнце. Сари сильно поношены, легко догадаться, что женщины, которым они принадлежат, не могут купить себе лучшую одежду. Каждый день, когда под мостом проходит пригородный поезд, пёстрые тени от этих сари — коричневого, тёмнокоричневого, бурокоричневого, малиново-коричневого, коричневого с синей каймой и красновато-коричневого — на мгновение ложатся на лица усталых пассажиров. Только на мгновение. В следующую секунду поезд минует мост и уходит в направлении Лоуэр Парел.

Хотя сари только что выстираны, они кажутся тусклыми, бесцветными. Быть может, когда сари были новыми, они выглядели иначе. Наверно, тогда они были весёлыми и яркими. Теперь не то. От частой стирки краски их поблелили, почти слиняли. Развешанные на перилах моста, сари кажутся печальными, убогими. Они не веселят глаз. В самом деле, это очень дешёвые сари из хлопчатобумажной ткани. Они выцвели и износились. То здесь, то там большие заплатки, наспех, неровно прихваченные чёрной ниткой. Во многих местах нитки оборваны. Некоторые пятна никогда не удаётся отмыть дочиства. Мокрые после очередной стирки, сари кажутся ещё более безобразными.

Мне известна история каждого сари, потому что я знаю женщин, которые их носят. Женщины эти живут неподалёку, в рабочем бараке

¹ Махалашми — великая богиня. (Примеч. перев.)

² Сари — одежда индийских женщин, подобие длинного шарфа, которым они обёртывают тело. (Примеч. перев.)

№ 8. Как раз за мостом. Я так хорошо знаю их истории, потому что сам живу там. Хотите, я вам расскажу? Как я понимаю, вы ожидаете, когда пройдёт специальный поезд премьер-министра. Но он прибудет сюда ещё не скоро. Тем временем я успею вам кое-что рассказать про эти шесть сари. Неплохая мысль.

Видите это сари — крайнее слева? Крайнее слева, серовато-коричневое сари. Да, рядом с ним тоже серовато-коричневое. Но то, слева, более тёмное. Вы, вероятно, не улавливаете различия в их окраске. Они, действительно, очень схожи. Но, обратите внимание, у того, крайнего слева, серый цвет темнее, а коричневый глубже, чем у сари, которое висит рядом с ним. Это сари принадлежит Шанте Баи, а то, что рядом, — Дживане Баи.

Жизнь Шанты Баи такая же односторонне печальная, как и цвет её сари. Шанта Баи — судомойка, она работает в богатых домах. У неё трое детей. Девочка и два мальчика. Девочка — старшая, ей шесть лет. Младшему мальчику два года. Муж Шанты Баи — рабочий Сассунской хлопчатобумажной фабрики. Он уходит на фабрику очень рано; поэтому Шанта Баи готовит ему завтрак не утром, а накануне вечером. Утром ей надо идти мыть посуду. Она уходит даже раньше, чем её муж, и часто берёт с собой старшую дочку. Девочка тоже должна приучаться к работе. Мытьё посуды — хорошее занятие. Шанта уходит очень рано и возвращается домой после двух пополудни. Тогда она стряпает для своей семьи. В маленькой комнатке Шанты Баи огонь вспыхивает в очаге тогда, когда во всех других очагах огонь уже погас. После двух пополудни и после десяти вечера. Потому что в остальное время Шанта должна обслуживать чужие семьи. Конечно, теперь её старшая дочь, которой минуло шесть лет, тоже помогает ей. Шанта Баи чистит посуду, а дочка моет. Случается, что во время мойки девочка роняет тарелку. Когда я вижу, что щека у девочки покраснела, а глаза припухли, я догадываюсь, что где-то в богатом доме разбито несколько тарелок. В такие дни Шанта Баи не здоровается со мной. Она входит в барак, кляня всё на свете, идёт прямо в свою комнату и начинает разводить огонь в печке. В такие минуты огонь обычно не хочет разгораться, печка дымит. Младший мальчик задыхается от густого дыма и поднимает рёв. Шанта Баи кричит на него и так сильно хлопает по лицу, что на бледных впалых щёчках мальчика остаются следы её пальцев. Чем сильнее плачет ребёнок, тем яростнее ругает его мать. Мальчик постоянно плачет; никогда он не смеётся, не улыбается, пусть хоть печально. Почему мальчонка не улыбнётся хоть краем губ? Он всегда плачет, всегда просит хлеба. Маленький негодяй всегда голоден. Ему едва исполнилось два года, но он никогда не видит молока. Молоко стоит очень дорого. Он питается чёрствыми лепёшками, как и остальные дети его возраста, живущие в нашем бараке.

Наши дети получают материнское молоко только в первые шесть месяцев своей жизни, потому что их матери в большинстве случаев работают вне дома, на фабриках, где нет яслей. Бедные малыши должны питаться чёрствыми лепёшками. Чёрствые лепёшки и холодная вода. Днём ходят голышом. Ночью спят в лохмотьях. Они хотят есть даже во сне. Они голодны, когда просыпаются. Голод владеет их сердцем и их телом. Они растут на чёрством хлебе и сырой воде, и голод растёт вместе с ними.

Дети становятся взрослыми, но в их желудке, в сердце, в мозгу по-прежнему словно стучит молоток: тук, тук, тук! Молоток стучит всегда. Когда они ходят, работают, смеются или спят. Кроме дней полочки. Тогда они идут в кабак, чтобы избавиться от мучительного стука молот-

ка. Они пьют тодди¹, и в течение нескольких часов молоток не стучит в стенки их кровеносных сосудов и в нервные сплетения мозга. Они становятся сонливыми, вялыми, впадают в забытье; во всяком случае, они перестают думать о жестокой действительности. Но тодди можно пить только в день получки. Иногда на следующий день. Не более того. Надо внести квартирную плату. И оплатить счёт в съестной лавке; нужно ведь купить хоть немножко масла, соли, стручкового перца. А как быть с углем и овощами? Где же взять деньги на глоток тодди? На новую рубашку? Чёрт! Вот ещё счета за воду и электричество. А Шанте Баи нужно новое сари. Прежнее совсем износилось.

Сари фабричного производства служит недолго. За него берут пять рупий четыре анна, а через полгода оно уже никуда не годится. Штопкой и заплатами можно продлить срок его носки ещё на месяц. Но ни штопка, ни заплаты не позволят вам проносить сари сверх этого срока. Приходится снова тратить пять рупий четыре анна на другое тёмнокоричневое сари для Шанты. Ей нравятся тёмнокоричневые сари потому, что они немаркие. Шанта — судомойка, уборщица и водонос. Тёмнокоричневый — это её цвет. Весёлые радужнопёстрые сари не для неё. Они — для богачей. Шанта не смеет даже мечтать о них. Она — мать троих детей. Её муж работает на фабрике.

Но было время, когда Шанта всё-таки мечтала о ярких, радужных красках. И ей, в её родной дхаварской деревне, довелось видеть окрашенные в розовый цвет облака любви. Весёлые краски играли на деревенской ярмарке, и густого зелёного цвета были рисовые поля её отца. И было там сливовое дерево с жёлтыми, сверкающими, почти золотыми плодами. Ох, почему все краски поблели и остался только один тёмнокоричневый цвет? Иногда Шанта Баи думает об этих ярких красках в то время, как она моет посуду или стряпает или когда развешивает свою только что выстиранную одежду на железных перилах моста, и с краёв её тёмнокоричневого сари капли воды стекают на перила, как слёзы. Но никому нет дела до её жизни. Перед глазами пассажиров псезда промелькнёт только тёмное, некрасивое, измождённое лицо женщины, развешивающей сари на железных перилах моста Махалашми, и в следующее мгновение поезд пронесётся под мостом и исчезнет в направлении Лоуэр Парел.

Другое сари, то, что висит рядом, принадлежит Дживане Баи. Оно тёмнокоричневое, такое же, как и у Шанты Баи, сшито из такой же материи, куплено за ту же цену. Только оно ещё более поношенное. В двух местах оно было продырявлено. Теперь дыры старательно зашиты. Видите большую синюю заплату посредине? Она выкроена из прежнего сари Дживаны. Старый синий лоскут пришили сюда, чтобы сари можно было носить подольше. Дживана Баи — вдова, и она хорошо понимает, что новые вещи надо беречь, а для того, чтобы они не протёрлись, лучше всего, пока они ещё целые, нашивать заплаты из старья.

Дживана Баи часто пытается уйти от своих горестей, вызывая дорогие её сердцу воспоминания о прошлом. Это так понятно, что вдова хранит добрую память о муже, хотя однажды, не скроем этого, в пьяном виде он зверски избил Дживану и так сильно повредил ей глаз, что она осталась кривой.

Муж Дживаны напился, вероятно потому, что в тот самый день его уволили с фабрики. Старый Дхонду. Он был опытный мастер, но с годами его руки утратили былую ловкость. Он уже не мог угнаться за молодыми рабочими. Состарившись, он страдал от хронического кашля. Во-

¹ Тодди — перебродивший пальмовый сок. (Примеч. перев.)

локотца хлопчатобумажной пряжи проникли в его лёгкие и застряли там, подобно тому, как они налипают на веретено. А когда пришло время муссонов и стало сыро и холодно, старый Дхонду начал задыхаться от астмы. Он кашлял и кашлял, и в конце концов его кашель переходил в ужасное долгое завывание. Хозяин фабрики заметил, что Дхонду уже не работник, и очень скоро, придравшись к какому-то пустяку, уволил его. Уволил без пособия, без пенсии, без вознаграждения. Полгода спустя Дхонду умер.

Дживана олёживала его смерть как верная индусская жена. Что из того, что он бил её и даже повредил глаз? Он был пьян и не понимал, что делает. Если бы его не уволили, разве он стал бы её так бить? Конечно, нет. Во всяком случае, тридцать лет прочной счастливой супружеской жизни нельзя перечеркнуть из-за одной вспышки ярости. Так думала Дживана. Никогда раньше Дхонду не был таким. С ним поступили бессовестно, жестоко, прогнали с фабрики, где он проработал тридцать пять лет, и от этого рассудок его помутился.

Особенно оскорбила Дхонду злобная жадность его хозяина. Он не дал ему и медной монетки. Ни пособия, ни вознаграждения за выслугу лет. Ни пенсий. Тридцать пять лет назад молодой Дхонду пришёл на фабрику. Теперь, когда он оставил свой пропуск в проходной и вышел на улицу, ему показалось, что он оглушён и насквозь промёрз. Он чувствовал себя так, словно все эти тридцать пять лет кто-то отжимал все соки из его тела, всю краску из его кожи, всю кровь из его вен, а потом вышвырнул на свалку. Внезапно Дхонду остановился и удивлённо оглянулся. Он по-новому посмотрел на широкие фабричные ворота, на высокую прямую трубу, возвышающуюся над всеми строениями вокруг. От сознания своей беспомощности Дхонду совершенно растерялся. Он плюнул, уныло потёр руки, а затем вошёл в винную лавку, чтобы утопить своё горе.

Дживана твёрдо знает — она не лишилась бы глаза, если бы у неё были деньги, чтобы лечить его как следует. Она потеряла глаз после бесконечных блужданий по длинным коридорам благотворительных лечебниц, из-за равнодушия высокомерных, бессердечных врачей и медицинских сестёр, которые с холодным безразличием чиновников занимались делами милосердия. В конце концов, Дживана потеряла глаз, и тогда заболел Дхонду. Это была его последняя болезнь. Он уже не поднялся. Шанта видела, как тяжело приходится Дживане, и помогла ей получить работу судомойки в богатых домах. И хотя Дживана была стара и не могла так ловко, как Шанта, чистить посуду, она трудилась изо всех сил. Нарядные, надушенные женщины в богатых домах часто ругали её, их раздражала медлительность Дживаны. Но ей нужно было жить и бороться, и поэтому она выслушивала брань с невозмутимым видом. Это приводило в ярость богатых хозяев.

Наконец Дхонду умер. Теперь Дживана Баи осталась одна. Совсем одна. Это было хорошо. Ей никого не надо было кормить. Много лет тому назад, когда Дживана была молода, она родила дочь. Дочка выросла и убежала с каким-то бродягой. Долгое время Дживана не могла выяснить, куда девалась её дочь. Потом, однажды, кто-то сказал, что видел её дочь в доме с дурной славой на Форас-роуд. На девушке было шёлковое платье. Дживана не поверила. Всю свою жизнь она, как и подобает честной работающей женщине, носила тёмнокоричневое сари из хлопчатобумажной ткани, стоившее пять рупий четыре анна. Она не могла поверить, что дочь её станет носить шёлковые платья. Зачем они понадобились её дочери? Она, Дживана, так бы никогда не поступила. Здесь, в этом бараке, люди живут честно, носят дешёвые

сари, едят чёрствый хлеб, пьют холодную воду и уважают собственную бедность и бедность соседей. Могла ли её дочь пасть ради шёлкового платья? Трудно допустить. Конечно, её дочь могла уйти с неизвестным Дживане человеком, но ведь не платьем она соблазнилась. Бедная девочка. Дживана не забыла, как она сама влюбилась в Дхонду, когда была молодая. Тридцать лет назад она тоже покинула родительский дом ради Дхонду. Её дочь поступила так же. Это Дживана могла понять.

Когда Дхонду умер и уже собирались выносить его тело, чтобы предать сожжению, Дживана увидела цветущую девушку в блестящем шёлковом платье. Девушка упала к её ногам и всхлипывала, как дитя. Тогда Дживана вдруг поняла: всё, что до сих пор в течение всей своей жизни она почитала и уважала, умерло, ушло. Её муж. Её дочь. Её прошлое, настоящее и будущее. Вся её жизнь разбита и оплывана. Всё, чем она дорожила, всё, чем, как ей казалось, она обладала, теперь исчезло. Остались только грязь, бесчестье, одиночество. И Дживана подумала, что город, где работал её муж, где она лишилась глаза, где дочь её потеряла честь, это один гигантский тёмный цех с огромными железными механизмами: жестокие слепые руки вдавливают в них с одного конца здоровые человеческие тела, как сахарный тростник в пресс, а с другого конца выпускают немощных, бездомных, безработных. Внезапно Дживана оттолкнула свою дочь и заплакала так, как никогда не плакала раньше.

Третье сари — не то желтовато-коричневое, не то синевато-коричневое. Я не могу сказать точно, какого оно цвета. Иногда скорее жёлтое, чем коричневое. Иногда скорее синее, чем жёлтое или коричневое. Это сари моей жены Савитри. Я — клерк в фирме Дхану Бхаи. Дхану Бхаи, Форт, Бомбей. Моё жалованье — 65 рупий в месяц. Столько же получают рабочие на Сассунской фабрике. Поэтому я вынужден, подобно им, жить в бараке. Заметьте, я не рабочий, я — клерк. Я получил среднее образование. Умею писать на машинке. Говорю по-английски. Я даже способен понять речь моего премьер-министра. Скоро сюда прибудет его специальный поезд. Нет, он не любитель бегов. Он приедет сюда, чтобы выступить на митинге в Чоупатти. В Чоупатти соберётся по меньшей мере миллион человек, чтобы послушать его речь. Я буду одним из них. Мне нравятся его речи. Моей жене они тоже нравятся. Она хотела пойти вместе со мной. Но у нас восемь человек детей, и может ли мать восьмерых детей вырваться из своего жалкого жилища, чтобы послушать речь министра? Восьми детей, пожалуй, слишком много для одной комнаты в бараке. Едва хватает места, чтобы спать, работать, стирать. Всё такое убогое и жалкое: недельный рацион, месячное жалованье, каждодневная борьба за существование. Месячного жалованья хватает только на полмесяца. Только на первую половину. Вторую половину можно прожить лишь с помощью ростовщиков.

Мои дети не ходят в школу, потому что мне нечем платить за их ученье, одежду и книги. Это мне не по средствам. Когда я женился на Савитри и привёл её в дом, я мечтал о многом. Мы оба тогда мечтали о многом, хорошо, светло. Мы надеялись, например, дать детям образование. Тогда у Савитри была ясная голова. Почему Савитри так переменилась? Теперь у неё всегда недовольный вид. Она бьёт детей по любому поводу и просит меня не вмешиваться, оставить её в покое. Что случилось с нами обоими? Не знаю. Дома меня ругает жена. В конторе меня ругает хозяин. Я тоже всегда отгрызаюсь. Что-то тут неладно.

Иногда я думаю, что моя жена нуждается в новом сари. Иногда я думаю, что моей жене нужно не только новое сари — ей нужен

новый дом, новые люди, новая жизнь. Но к чему об этом думать? Разве наш достойный премьер-министр не сказал, что мужчинам и женщинам нашего поколения и даже нашим детям нечего ожидать в ближайшие годы, кроме тяжкого труда и слёз? Стоит ли тогда говорить о счастье? Савитри сперва прочла заявление нашего премьер-министра спокойно, потом вдруг так рассердилась, что бросила в меня кружкой и рассекла лоб. Можете полюбоваться на этот красный шрам. На дешёвом сари моей Савитри много таких же шрамов. Вы их, понятно, не заметите. А я их вижу.

Вот шрам из-за сине-шафранного сари, лёгкого, как ветер, и тонкого, как кисея; Савитри хотелось его купить, но цена оказалась нам не по карману. Вот шрам из-за красивой игрушки, о которой мечтал младший сынишка; игрушка оказалась слишком дорогой, и мы не смогли её купить. Мой ребёнок плакал, плакал, плакал, и нам казалось, что он умрёт, если не получит игрушки. Вот шрам из-за телеграммы, уведомившей Савитри, что её мать умирает в Джаббалпоре и хочет повидаться с ней перед смертью. Савитри не попрощалась с умирающей матерью, потому что я не смог собрать денег на железнодорожный билет; мать умерла, так и не повидав свою любимую дочь. Вот шрам... Но к чему пересчитывать все эти шрамы, которые зияют, как раны от кинжала, на её жёлто-синевато-коричневом сари. Их не смыть никаким мылом, и когда это сари изорвётся вконец и Савитри купит новое — они будут зиять и на её новом сари, в силу странной закономерности, которую я могу как-то понять, но не могу толково объяснить.

Четвёртое сари — малиновое, но мне почему-то оно тоже кажется коричневым. Все шесть сари разных расцветок, но мрачный, тусклый, безнадежно коричневый цвет словно поглотил все остальные цвета, и они кажутся одинаковыми. Этот всепоглощающий коричневый цвет будто отрицает существование на земле чего бы то ни было, окрашенного в другие цвета. Как будто нет в природе нежных, покрытых утренней росой алых лепестков розы, нет радуги, застенчиво изогнувшейся среди туч, нет мерцающих сквозь золотые сумерки бесчисленных оттенков заката. Со злобной усмешкой этот гнусный коричневый цвет словно провозглашает на весь мир: глядите, молодость Шанты, зрелые годы Савитри, старость Дживаны — я свёл к одной мёртвой формуле жестокого, ужасного существования. Пять рупий четыре анна!

Итак, малиново-коричневое сари, которое вы здесь видите, принадлежит Латарии. Латарии — жене Джабу. Моя жена не водит знакомства с Латарией, потому что она бездетна. Она — самая настоящая ведьма, это ясно, раз у неё нет детей. У Латарии, по словам моей жены, дурной глаз; стоит ей взглянуть на беззащитных детишек, и бедняжки быстро чахнут и умирают, неизвестно от каких причин. Савитри уверена, что нашу младшую дочку и многих других детей в бараке, которые недавно умерли, погубила Латария. Никто не может переубедить Савитри. Латария ей не нравится ещё и потому, что Джабу женился на ней не по правилам. В сущности, он купил её.

Джабу родился в Моралабаде, но уехал оттуда, когда был ребёнком, и поселился в Бомбее. Он говорит на маратхи, а также на гуджерати помимо своего родного языка — хинди¹. В течение долгого времени он жил, чем бог послал, ночевал под открытым небом. Потом он получил работу на фабрике Подар, в цехе джутовых мешков. Смолоду у Джа-

¹ Маратхи, гуджерати, хинди — языки народов, населяющих Индию (Примеч. перев.)

бу была одна мечта: жениться. У него не было дурных привычек — он не курил, не пил тодди. Он хотел жениться. Вот и всё. Когда Джабу скопил около восьмидесяти рупий, он решил поехать в Морадабад и привезти жену из родного города, найти её среди близких ему людей, одной с ним касты. Но у него было только восемьдесят рупий. С такими деньгами можно было доехать до Морадабада, но нельзя было вернуться обратно. Джабу был слишком беден, чтобы жениться на девушке в родном городе. Тогда, после долгих размышлений, он нашёл выход: разыскал человека, который торговал девушками, и купил у него Латарию за сто рупий. Восемьдесят заплатил сразу, а двадцать рупий ему поверили в долг; он выплатил их в течение десяти месяцев.

Джабу был доволен. Выяснилось, что Латария раньше тоже жила в его родном Морадабаде. Она принадлежала к его касте и очень любила петь. Днём, когда Джабу уходил на фабрику, Латария пела в бараке. Когда он возвращался, они вдвоём пели до полуночи. Только у них не было детей. Однажды Джабу купил жене попугая. Это был говорящий попугай. Его прежний хозяин, английский моряк, обучил его крепким словечкам. Латария пела, Джабу пел, а попугай ругался, и людям, живущим в бараке, казалось, будто кто-то установил в их доме громкоговоритель.

Джабу не курил и не пил. Латария курила и любила выпить. Не раз случалось, что Латария напивалась до бесчувствия, и тогда ей здорово доставалось от мужа. Во время таких скандалов попугай всегда брал сторону Латарии. Он ругал Джабу и пронзительно кричал: «Не бей её, сукин сын!». Он кричал так долго и упорно, пока в один прекрасный вечер «сукину сыну» надоели его ругательства и он решил утопить попугая в грязной сточной канаве. Но в дело вмешалась Латария и спасла попугая. Джабу был благочестивый, религиозный, богобоязненный человек. Он сообразил, что если убьёт попугая, то придётся звать браминов и потратить по крайней мере двадцать рупий на чтение молитв о спасении его души. Джабу отказался от мысли утопить попугая.

В первое время Джабу с подозрением относился к Латарии. Старик, да и многие рабочие в бараке не одобряли того, что он купил себе жену, вместо того, чтобы жениться по обряду. Джабу тоже бросал косые взгляды на Латарию. Иногда он бил её, придравшись к любому пустяку. Но мало-помалу Латария завоевала его доверие. Она сказала ему, что ни одной женщине на свете не может нравиться, чтобы её продавали и покупали, словно мешок с пшеницей. Ей хочется иметь свой дом, пусть это будет их жалкая комната в бараке. Ей приятно иметь мужа, даже если он такой жестокий, хвастливый и тщеславный, как Джабу. Она рада была бы иметь ребёнка, даже если бы он был так же худ и безобразен, как дети Савитри. Теперь у Латарии есть муж и дом. В один прекрасный день бог даст ей и ребёнка. А если и не даст, то это не так уж важно. Она будет растить попугая, как собственное дитя.

Однажды, когда Латария кормила попугая и пела ему, послышался сильный шум в коридоре. Она выглянула в двери и увидела, что рабочие несут на плечах раненого Джабу. Латария подбежала к ним и помогла внести мужа в комнату. Рабочие рассказали ей, что Джабу поссорился с управляющим фабрикой. Управляющий обнаружил брак в его работе. Джабу молча выслушал его упрёки. Тогда управляющий выругал его, а потом ударил. Это привело Джабу в такую ярость, что он избил управляющего. Тот позвал на помощь, и его молодчики накинулись на Джабу и проломили ему голову. Но Джабу всё-таки выжил. Латария его выходила. Она стала разносчицей зелени, и заработанные ею деньги шли на еду и лечение мужа.

Теперь Джабу выздоровел. Но его не берут ни на одну текстильную фабрику. Он попал в чёрный список Ассоциации владельцев фабрик. По целым дням он бродит вокруг дома, печальный и неприкаянный, глядит на высокие трубы фабрик Сассуна, Нижних фабрик, Новых китайских фабрик, Старой фабрики, Радж Гир фабрики. Все они для него закрыты. Потому что хозяин имеет право бить рабочего, а рабочий не имеет права дать ему сдачи. Теперь Латария не пьёт. Она и не ругается. Она продаёт овощи и бережёт каждую монетку для дома. Её малиново-коричневое сари совсем износилось, и если Джабу в самые ближайшие дни не найдёт работы, Латарии придётся нашить заплаты из старого тряпья на своё сари и перестать кормить попугая.

Пятое сари — из выцветшей красной материи с синей каймой. Это сари стоило дорого, хотя издали оно теперь кажется таким же убогим, как и остальные. Но я знаю, что оно не такое. Оно шито из дорогой ткани. Кайма у него — блестящая. Цена этого сари восемь рупий двенадцать анна, а не пять рупий четыре анна. Это сари Манджулы. Она — молодая вдова. Это её свадебное сари. Манджула вышла замуж полгода назад. В прошлом месяце её муж погиб во время аварии на фабрике. Манджуле шестнадцать лет. Она очень молода. Очень хороша собой. Но индусская вдова не имеет права снова выйти замуж. Манджула не получила пособия после смерти мужа; ей сказали на фабрике, что он сам виноват в том, что случилось. Его убило сорвавшимся приводным ремнём. Фабрике теперь требуется новый приводной ремень. Он стоит денег. Нового рабочего можно нанять в любое время. Новое оборудование приобрести труднее. Хозяин фабрики, наконец, выполнил требование рабочих и поставил новый приводной ремень. Для того, чтобы сменили старый, негодный, нужно было кому-нибудь умереть на фабрике. Только ценой человеческой крови можно было добиться этого от хозяев.

После смерти мужа Манджула обратилась на фабрику за помощью и ничего не добилась. Она хочет приобрести настоящее вдовье сари — белое хлопчатобумажное. Но у неё нет денег, и поэтому она вынуждена носить изо дня в день свадебное сари с синей блестящей каймой, хотя она вдова и не должна ходить в таком сари.

Её следующее сари не будет стоить восемь рупий двенадцать анна. Только пять рупий четыре анна. Даже если бы её муж был жив, он не мог бы ей купить сари дороже, чем за пять рупий четыре анна. Тут в её жизни ничего бы не изменилось. Только теперь — она это ясно чувствует — ей не следовало бы носить свадебное сари. Оно всё время напоминает ей о муже. О его сильных руках, горячих поцелуях. О его нежных ласках. О его жарком дыхании. Нет, дело не в сари. Это тень умершего мужа неотступно следует за Манджулой. Отравляет скорбью каждое мгновение её юной жизни. Она не может никуда от неё уйти. Она прикована к ней днём и ночью, как цепью.

Шестое, последнее, сари — тёмнокрасного цвета. Ему не следовало бы висеть на перилах моста, потому что женщина, которая его носила, — мертва. И всё-таки я вижу его здесь. Свежевывытое, чистое, оно развевается на ветру, как знамя.

Это сари старой Май. Она жила во дворе барака, у больших ворот; занималась уборкой мусора. Её сын Ситу тоже мусорщик. И жена Ситу, и их сынишка. Все они жили во дворе у больших ворот; тут же валялись грязные метлы и домашняя утварь, как и у всех других мусорщиков, которых считают нечистыми. Для таких, как они, нет места в ба-

раке. Их туда не пускают. Они живут на открытом воздухе, спят на го-лой, жёсткой, холодной земле. Как раз возле ворот и убили старую мать мусорщика. Видите зияющую дыру в красном сари? Сюда попала пу-ля. Это произошло во время забастовки мусорщиков.

Нет, Май не бастовала. Она была слишком стара для этого. Но сын её Ситу участвовал в забастовке, даже руководил ею. Забастовщики требовали повышения заработной платы. Правители города отказались признать это требование законным. Мусорщики не дали себя запугать. Они выстроились в колонну и пошли по улицам, распевая новые рево-люционные песни. Когда процессия подошла к нашему бараку, мусор-щикам объявили, что они нарушают установленный порядок, и потре-бовали, чтобы они разошлись. Они не послушались; тогда по ним дали залп. Это случилось как раз возле нашего барака. Мы были так напу-ганы, что закрыли двери и лежали, сбившись в кучу, в нашей комнате, прислушиваясь к стрельбе на улице. Сквозь шум выстрелов прорыва-лись громкие призывы. Потом кто-то вскрикнул. Потом ещё кто-то. Снова раздался громкий крик. И внезапно всё стихло. Ни звука. Мы осторожно открыли дверь и выглянули на улицу. Процессия рассеялась. Возле ворот лежала мёртвая старая Май. Это её сари. Её сын Ситу, божак забастовки, теперь в тюрьме. Сари носит невестка старой Май. Им следовало бы сжечь сари вместе с телом погибшей. Так все делают всегда. Но эти мусорщики — странные люди. Они говорят, мёртвые умерли, их нет. Гораздо лучше почитать живых, а не мёртвых. Следо-вательно, пусть живые пользуются сари. Жена Ситу говорит, что сари сделано для того, чтобы его носили, а не для того, чтобы его сжигали. Однако время от времени, когда жена Ситу думает о старой матери, она становится печальной и глаза её наполняются слезами. Она ути-рает слёзы подолом этого сари, которое хранит в себе всю мудрость старой женщины, богатый опыт её жизни, проведённой в повседневной борьбе. Жена Ситу смахивает слёзы и снова берётся за метлу, словно никакая сила не может ослепнуть её. Ни пуля, ни тяжёлая бамбуко-вая дубинка, ни тюрьма. Это особенная метла. Да, сэр!

Простите. Подходит специальный поезд нашего премьер-министра. Я ведь был уверен, что поезд здесь остановится, хоть ненадолго, и наш премьер-министр выйдет на платформу и увидит шесть сари, развешан-ных слева — на перилах моста Махалашми. Сари принадлежат самым обыкновенным, простым женщинам нашей страны. Миллионам простых женщин, которые живут в миллионах домиков. В миллионах домиков, где в одном углу — очаг, в другом — кувшин с водой, а на маленьком окошке — зеркало, гребень и ящичек с киноварью. Ребёнок спит на по-лу. От стены к стене протянута тонкая бечёвка, на которой хозяйка развешивает тряпье после каждодневной стирки. Эти сари принадлежат миллионам женщин, чей труд и общий труд членов их семей образует понятие «Индия». Они — матери наших детей. Сёстры наших дорогих братьев. Им посвящены песни нашей любви. Они — высокое знамя на-шей пятитысячелетней цивилизации. Господин премьер-министр! Эти шесть сари принадлежат самым обыкновенным женщинам нашей страны. Они хотят с вами поговорить, обратиться к вам с просьбой. Нет, нет — они многого не требуют! Им не нужны ни большие поместья, ни высокие должности, ни автомобили, ни крупные посты, ни роскошные бунгало. Нет, всего этого им от вас не надо. Они просят совсем о ма-лом, о том, чего недостаёт им в жизни.

Глядите, вот сари Шанты Баи. Ей хочется увидеть радугу, сверкав-шую для неё в детстве. Вот сари Дживаны Баи. Ей нужен свет для её

потухшего глаза и честь для её дочери. Вот сари Савитри. Она плачет, потому что умерли её песни и ей нечем платить за учебу детей. Вот сари Латарии — её муж безработный, и у неё есть зелёный попугай, который голодает уже два дня. Вот свадебное сари молодой вдовы. Она хочет спросить, почему приводной ремень для машины ценится дороже, чем жизнь её мужа. Вот красное сари старой Майи. Она хочет только, чтобы пули переплавили на плуги; тогда кровь человека могла бы зацвести на земле, как золотые колосья пшеницы.

Но специальный поезд не остановился у моста Махалашми, и премьер-министр не увидел шести сари. Поэтому я обращаюсь к тебе, дорогой друг, брат моего брата, сосед моего соседа! Я прошу тебя, оглянись вокруг и посмотри на эти шесть сари, которые висят слева на перилах моста Махалашми. Я прошу тебя также, оглянись и посмотри на те шелковые сари, которые висят с правой стороны того же моста. Их развесили здесь прачки, обслуживающие семейства богачей, которым принадлежат большие фабрики, склады товаров, товарищества с ограниченной ответственностью и неограниченными прибылями. Погляди направо и налево, а потом спроси себя, мой славный брат, какой дорогой ты пойдёшь? Нет, я не прошу тебя быть коммунистом. Я не прошу тебя верить в классовую борьбу. Я хочу услышать от тебя только одно: ты на правой стороне моста Махалашми или на левой?

Перевод с английского Ю. Мирской.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

СЕМЕН ГАРИН

★

МИЛЯНФАН — ДОЛИНА РИСА

1. Мой друг Ясыза.

В молодости Ясызу прозвали «караке» — чернявым. Лицо у него было смуглое, с тёмным румянцем, как у киргизской девушки, только свисающая с макушки косичка выдавала в нём дунганина.

Косичка? Почему косичка?

Ясыза с улыбкой вспоминает, как долго и сам он и даже его сыновья, блюдя старинный обычай, носили косички. Много давних обычаев вывезли китайцы-мусульмане, переселившиеся в XIX веке из провинций Шаньси, Ганьсу на земли Киргизии и Казахстана; не скоро распростились со старичой, прилипчивой, как репейник. Теперь об этом Ясызе и его землякам и вспомнить странно.

— Караке! — кричали ребяташки, увидев Ясызу. — Почему ты такой чёрный?

Как ответить малышам, если самому Ясызе неведомо, почему его лицо темнее, чем у других?

— Солнца не боюсь! — шуткой отвечал Ясыза. — Потому чёрный..

Малыши не знали: верить Ясызе — не верить? Не было в Миланфане большего шутника, балагура, мастера на всякие выдумки. Поверь, он же тебя на смех подымет. А как не поверить: всем известно, какой Ясыза охотник. Целыми днями пропадает в горах, в камышах — и на дудаков, и на фазанов, и даже на диких кабанов охотится. Может быть, солнце в горах другое, думали ребяташки.

Так и прилипла к Ясызе эта кличка — караке. И теперь, когда все величают его «аксакалом», нет-нет, а кто-нибудь да скажет:

— Пошли к караке!

Ясыза ворчит:

— Караке! Не пойму, какого я теперь цвета: морщины, что ли, мешают? И борода светлеет, как холст на солнце..

— А ты хочешь всю жизнь быть молодым? — спрашивает жена. — Наше время прошло..

Ясыза с хитрецей смотрит на жену — женщины любят спорить! Едва сдерживая улыбку, спрашивает меня:

— Говорят, у вас в Москве есть парикмахерские: входит старик, а выходит молодой. Верно?

Жена сердится:

— Поезжай, Ясыза!

— И поеду! — грозит Ясыза. — Верь аллаху.. Мухаме же в Москве, а отцу что — нельзя?

— То — Мухаме! — вздыхает жена — Мухаме.. Когда же он вернётся? Ян-Янзы — во Фрунзе, Мухаме — в Москве. Жена в одном городе, муж — в другом!

— Завела музыку! — хохочет Ясыза. — Подожди, старая, теперь уже скоро Ян-Янзы будет доктором, а Мухаме учёным. Приедут, наполнятся фанза внучатами..

Ясыза считает, загибая пальцы:

— В колхозе живут старшие сыновья — Иваза, Исмаза, Ираза. Так? Под боком

растут младшие — Ламзар, Ахид, Хамад, Хэлимэ... Двух усыновили. Меньшой — третий годик. А будут внучата — пиши тогда на фанзе вывеску: «Детский сад имени Ясызы Сушанло!»

Жена не унимается:

— Сам твердишь: «Без маленьких детей фанза пуста и темна!» Твои слова?

— Мои! — охотно соглашается Ясыза. — Фанза пуста без малышей! В такой фанзе — и жизнь пуста...

Он спохватывается и подливает в мою пиалу чай. Наливает и себе, сосредоточенно отхлёбывает.

Ясыза типичный дунганин, будто сошедший с древнего китайского панно: седая бородка клинышком, редкие свисающие усы, раскосые глаза. Сейчас, когда он сидит, скрестив ноги, перед маленьким столиком и достаёт из пиалы двумя тонкими палочками сахар, — панно словно ожило... А тут ещё старинная дунганская роспись: птицы, драконы, разноцветные веера, цветы. Если бы не радиоприёмник, не электрическая люстра над столиком и книги на полке, — не поймёшь, в каком находишься веке.

Накормив и напоив гостя так, что тот взмолился о пощаде, безуспешно попытавшись подлить «ещё горяченького», Ясыза, кряхтя, спускает ноги с кана на холодный пол.

Выходим во двор. Дунганский двор! Скоро здесь запестреют цветы, такие же, как на рисунках, но живые, в клумбах. На грядках будут вызревать длинные огурцы, баклажаны непомерных размеров, словно смотришь на них сквозь увеличительное стекло, своеобразная дунганская капуста — вокруг маленькой открытой кочерыжки кудрявые салатные листья... Двор чистый, тщательно утрамбованный, старательно распланированный. Возделан каждый кусочек земли. Вдоль всей фанзы протянулась узкая веранда-галерея. К выбеленному потолку веранды ласточки-белобрюшки пристроили гнёзда. Птицы бесстрашно пролетают над головой к своим уютным домикам, навстречу им тянутся жадно раскрытые клювы птенцов.

— Кш-ш! — добродушно шикает Ясыза. — Эх, разбойники! Два раза сбивали антенну...

Прежде чем сесть в машину, которая ждёт нас на улице, Ясыза поочерёдно прощается с обступившими его ребятишками. Достаёт платок, усердно вытирает нос какому-то малышу, выбежавшему из соседнего двора.

Ясыза — колхозный мираб. В хозяйстве, где одного только риса выращивают более ста тысяч пудов, — много забот у распорядителя воды. В колхозе три тысячи гектаров пахотной земли. Протяжённость каналов, подводящих воду к рисовым чекам, — двести километров. Мираб отвечает и за питание полей и за работу гидростанции. Да мало ли у него забот? Милянфан расположен подле гряды Тянь-Шаня, горные реки в этих местах коварны, изменчивы — всегда нужно быть настороже. Ясыза — опытный мираб и отважный сипайщик. Никто лучше не поставит сипаи — преграду на пути реки, избравшей вдруг новое русло.

Весной, когда с гор бегут талые воды и маленькие ручейки становятся бурными водопадами, много дел у Ясызы. «Си-пай» — «три ноги». Огромные брёвна, скреплённые сверху тросами, образуют треножник. Заполненные булыжником вперемежку с ветками и циновками, эти треножники служат волнорезами. Нужно установить волнорез так, чтобы вода, столкнувшись с ним, направилась по указанному курсу. В сухом русле редко ставят сипаи. Людям приходится работать в ледяной воде. Река, взбудораженная весенним паводком, с рёвом мчит по валунам, подбрасывая камни над пенистыми волнами. Поток неистовствует, сбивает смельчаков с ног, опрокидывает сипаи. А люди не сдаются. Они работают днём и ночью. Выходят по очереди на берег, погреются у костра — и снова в воду. Так трудится и Ясыза. За тридцать вёсен ни разу не уходила от него река. Правда, за последнее время в технике этого искусства появилось много нового. И сам Ясыза избобрёл хитрое приспособление — фашину, останавливающую бег реки почти так же легко, как это делает заслон в плотине. И экскаватор появился в колхозе. А всё же главное ещё впереди.

— Скоро перестанем устанавливать сипаи! — убеждённо говорит Ясыза. — Учёные думают, колхозники думают... Конец старине приходит.

Он прочитал в газете статью о новом методе устройства головных магистральных каналов, решил своими глазами увидеть, как это делается. Я вызвался ехать с ним.

Выдался свободный день, и мы выехали с Ясызой из Милиянфана в киргизский колхоз.

Уже восемьдесят лет живут дунгане на землях Киргизии. Киргизы-животноводы учились у дунган земледелию. Дунгане, в свою очередь, многое переняли от киргизов. Когда были созданы колхозы, дружба народов ещё больше укрепилась. Никогда не бывал Ясыза в киргизском колхозе, куда мы сейчас направляемся. А едет будто к старым знакомым.

В Чуйскую долину только-только пришла весна. Давно ли всё было серым: небо, земля, деревья? На рассвете прошелестел первый тёплый дождь, и всё преобразилось: зазеленели луга и пашни, раскрылись почки на ветках, и небо стало таким синим, что вечно белые шатры Тянь-Шаня, касалось, поднялись ещё выше. Серебристой лентой протянулось через всю долину шоссе. Вдоль дороги — сады, сёла. Мелькают сельские улицы, обсаженные деревьями, сахарные заводы, арыки, в которых журчит прозрачная проточная вода.

— Да, бежит время, — говорит мираб. — Давно ли наш Милиянфан считался глушью?.. По всей долине шумели камыши да бегали дикие кабаны.

Чуйская долина перестала быть глушью после того, как сюда проложили железную дорогу. Появились фабрики, заводы. Захолустный Пишпек вырос, стал крупнейшим промышленным и культурным центром — столичным городом Фрунзе. Возникла густая сеть оросительных каналов, зажглись огни колхозных гидростанций. На плодородных землях Чуйской долины колхозники выращивают ныне треть всего урожая зерновых и технических культур республики. Сюда перебирается хлопок из южных районов Киргизии. Растёт на этой земле такая конопля, какую, пожалуй, больше нигде не найдёшь: высота южночуйского сорта достигает шести метров!

Ясыза внезапно вскинулся, велел остановить машину. Что привлекло его внимание? Навстречу шла колонна бульдозеров.

— Такие на Волго-Доне?

— И такие...

— Это хорошо! — одобрил Ясыза. — И у нас новая техника...

Мираба колхоза «Киргизия» мы нашли на реке. Ташбай, пожилой колхозник, сидел со своим молодым помощником Именалы на берегу высохшего русла. Вдали зеленели плодородные земли колхоза. Ясыза заговорил с колхозниками по-киргизски.

— Набедокурила весенняя вода? — спросил он, опускаясь на землю рядом с Ташбаем и указывая на размывтый паводком грунт.

— Наши вёсны капризны, как горные реки! — вздохнул Ташбай. — Когда придут — не знаешь, что принесут — загадка..

— Ничего, научимся управлять и временами года! — уверенно произнёс Именалы.

— Сначала обуздай реку, потом думай о чудесах! — сдержанно заметил Ташбай.

— Почему же? — Ясыза взял под свою защиту Именалы. — Чудеса сами не приходят — чудеса нужно делать.

Мы пошли через размытую пойму, увязая в наносах ила, пробирались по навалам галечника, песка. Ташбай рассказывал, что тут творилось в начале месяца. Вода вырвалась из Аларчинского ущелья, разбросала сипаи, размывла высокий берег — теперь одни корни фруктовых деревьев торчат. Течение было стремительным, сбивало с ног. Колхозники перебирались с берега на берег по тросу. Первым отважился инженер Алышев — заместитель министра водного хозяйства.

— Смелый человек. потому идеи его смелые! — сказал об Алышеве Именалы. — Все радовались, когда Михаилу Яковлевичу присудили Сталинскую премию за новую систему орошения. Вот его работа!

Хрустальный горный поток мчался в долину по булыжному руслу. Канал пёжож

на широкую, идущую под уклон шоссеиную дорогу, проложенную в глубокой выемке. Днище и откосы искусно замощены отшлифованным булыжником. А через каждые три метра эту одежду русла перехватывают для прочности каркасные пояса, сделанные из более крупного камня.

— Тут уже вода безобразничать не сумеет. — Ташбай обернулся к Ясызе. — И у себя так сделать хотите, аксакал?

Ясыза кивнул головой.

— Вот приехал посмотреть... Ваш колхоз первый запеленал реку в каменные одежды.

Ясыза бросил в воду увесистый булыжник.

— Скорость какая!

Течение подхватило брошенный камень, закружило волчком, умчало. Долго был виден булыжник.

— Вода прозрачна, как стёклышко! — залюбовался Именалы. — А что происходит, когда такая сила врывается в земляное русло? Всё поднимает и уносит с собой — ил, землю, камни. Там, в долине, такие пробки — не скоро очистишь. А не очистил во-время — вода пробьёт новое русло, пойдёт, куда хочет, наделает столько бед!..

— Много пропадает воды в земляном русле! — добавил Ташбай. — А по такому мошённому в пять раз больше воды получают поля.

— И быстрее! — подхватил Ясыза.

Старый мираб ликовал. Он по достоинству оценил новое устройство головных магистральных каналов, разработанное инженером Алышевым и его друзьями и впервые применённое в колхозе «Киргизия». Инженеры часто советовались с колхозниками, строили на землях колхоза опытные каналы. Колхозники охотно помогали специалистам, понимая, что новое устройство должно принести государству большую пользу.

— Большие миллионы! — говорит Ясыза.

Старик уже всё прикинул в уме. Сколько каждый колхоз тратит сил на очистку русел от наносов? Сотни людей заняты! И в какую пору? Когда в разгаре полевые рабсты. Расточительство... А теперь с этим будет покончено. Построил капитальное русло — живи спокойно.

— Да, тут большие миллионы! — повторяет старик. Но ему не всё ясно. — А материалы откуда?

— Вода с гор приносит, — напоминает Ташбай. — Умный помощник!.. Булыжник, песок, гравий — всё приносит вода. Бери и мости!

— В крепких руках вода может стать хорошим строителем, — задумчиво произносит Ясыза. — Инженеры давно догадались. Читал я о землесосах..

Ташбай лукаво посмотрел на Ясызу. Переспросил с наивным престодушнем:

— Инженеры догадались? Не только инженеры, дорогой аксакал! У нас скоро свои землесосы заработают..

Ясыза молча смотрел на Ташбая.

— Да, да! — подтёрдил тот. — Только наши землесосы немного не такие, как на Волге...

Ташбай повёл нас на один из привалков — зелёный холм, первую возвышенность перед цепью гор. Внизу раскинулась мёртвая полоса земли, размытая вековыми потоками, ежегодно устремляющимися с гор в долину. Эта мёртвая полоса, окаймляющая долину, лежала перед нами во всём своём безобразии. Земля устлана была плоским белым галечником, словно костями. Галечник тоже принесли сюда паводковые воды. Почвоведы именуют подобные земли «оскелеченными» — до чего меткое определение! А сколько таких полос в Чуйской долине? И не в одной Чуйской. Все долины Средней Азии окаймлены такими полосами. Сколько земли пропадает!

— Где же землесос? — торопил Ясыза.

— Подожди! — Ташбай, добравшись до верхушки холма, присел на корточки,

сорвал весеннюю малахитовую травку и взрыхлил ножом почву. — Видишь, какой чернозём? Золото! А к чему он здесь? Зачем лежит на вершине?..

— Умно! — радовался Ясыза. — Этим чернозёмом нужно закрыть мёртвые земли, те, что внизу. Раз! Это сделает вода. Два! И никакого землесоса не нужно. Три!

— Быстро у тебя получилось: раз, два, три! А кто эту землю отнесёт вниз, кто камни закроет?

Ясыза немного обижен. Что же тут непонятого? Он же сказал — вода!

— Вода! — с увлечением подхватывает Ташбай. — Наш покорный помощник. Пророем каналы, пустим с горы воду... Потоки размочут грунт, ринутся в низину... Не сами ринутся, а мы направим их туда, куда следует. Жидкий грунт закроет мёртвые полосы, осядет ровным слоем... Вода уйдёт. Мало будет — ещё одним слоем накроем. Зарастут белые кости... А там — паши, сей!

Месяцем позже я видел в южных колхозах Киргизии такие полосы, оживлённые природной гидравликой. На оскелеченной некогда земле колосилась пшеница, цвели сады. Но весной, слушая рассказы колхозников, я, признаться, не совсем верил, что эту мечту можно осуществить. Досталось же мне от Ясызы! Он упрямо молчал всю дорогу и только у самого Милианфана сказал:

— Оказывается, не только старики недоверчивы... Приезжайте к нам осе́нь. Многие колхозы возмущаются за это дело — и мостить каналы будут, и полосы оживят. Думаю, и мы не побоимся!

И вот наступила осень.

И снова мы встретились с Ясызой. Перед нами — широкая улица Милианфана. Шумят арыки, выплескивая через край дождевую воду. Шелестят над ними жёлтой листвой тополя. На главной улице их серебристые стволы так высоки, что приходится запрокидывать голову, чтобы рассмотреть кроны. А на прилегающих улицах и переулках тонким частоколом выстроился вдоль арыков молодняк.

— Новые улицы — молодые деревья!

Как раньше строили фанзу? Фасадом служила глухая стена без окон, без дверей. Высокий дувал — плотный глиняный забор с маленькой калиткой и крепкими дубовыми воротами — окружал дом. За дувалом строй тополей. Крепость! Так выглядят все жилища старого востока. Дома-островки. Такими фанзами застроены старые улицы Милианфана. Но как отличаются новые жилища, возникшие за последние годы! Дом словно сбросил с себя глухую паранджу и повернулся к улице лицом. Большие окна делают фанзу зрячей, приветливой. В окнах весёлая зелень, цветы и, конечно, любопытные глазёнки малышей, которых так много под каждой крышей дунганского селения.

— Хома! — приветствуют встречные Ясызу.

— Ни хо! — отвечает мираб.

Весёлой гурьбой идут девушки в цветастых платьях и в ярких шароварах, перехваченных у щиколоток зелёными и чёрными с вышивкой манжетами. Гладко причёсаны, в чёрных косах — красные цветы.

— Как с молотьюбой? — осведомляется Ясыза.

— Завтра к вечеру закончим! — бойко отвечает Сунчеза. — Вывезем шалу — и на танцы..

— На танцы вы всегда поспеете! — добродушно ворчит старик. — Была бы музыка...

Кивнув вслед девушкам, Ясыза говорит:

— «Хома» по-китайски — здоров ли ты? Спросите любую из них, знает ли она, как раньше здоровались бедняки? Не ответит! Мы спрашивали: «Кушал ли ты?». Так отцы наши и мы сами здоровались...

Над Милианфаном вспорхнула дружная песня. Добрая улыбка разгладила морщины на лице Ясызы.

— Поют... А как работают! Да я сам не верил, что женщина может хорошо работать. Бывало, исполнится девочке десять лет — и всё: невеста, затворница. Её

уже в жёны готовят. За порог дувала — не смей, гость придёт — беги на свою половину... Тюрьма! Потому и строили фанзы окнами во двор... Не так, как теперь.

Много новых фанз в Милянфане. Ясыза считал и насчитал пятьдесят шесть домов, построенных за один год.

— А год ещё впереди...

Улица, по которой мы идём, носит имя Ванахунова — милянфановца, Героя Советского Союза. Мансуза Ванахунов — двоюродный брат Ясызы. Жил в колхозе, был рисоводом. А когда началась война — ушёл добровольцем на фронт. Стал артиллеристом. В Милянфане узнали из газет, что Ванахунов — герой; сам он не писал об этом. В своих письмах он всё спрашивал, как живут колхозники, справляются ли женщины с большим хозяйством, хорошо ли работает сельсовет, во главе которого стоит его родной брат Нусваза Ванахунов. Мансуза мечтал о том, как после войны отстроится Милянфан, о новых фанзах в колхозе. Не довелось ему дожить до победы. В честь своего земляка-героя колхозники отстроили лучшую улицу в Милянфане. Много на этой улице замечательного, невиданного раньше в деревне: больница в просторном белом доме, механическая мастерская с токарными станками, радиоузел, книжный магазин.

У нового клуба, белого каменного здания, украшенного китайскими фонариками, нас окликает какой-то паренёк. Паренёк стоит на лестнице и прибывает к эгене красочную афишу.

— Ираза, сын!.. — знакомит нас Ясыза. — Почему так рано занялся афишами?

— Всё приготовлю и поеду в Аннархай. На пастбищах три недели не было кино... Чабаны ругаются. Повезу им сразу четыре картины — пусть смотрят!..

— А как же мы? Праздник близко.

— Вернусь! А если останусь на пастбищах, вызовете из города механика.

Только расстанемся с киномехаником Иразой, и снова встреча с другим сыном мираба — Ивазой. Этот старше, держится солидно: положение обязывает. Иваза возглавляет «колхозную академию» — агролабораторию.

Он учился во Фрунзе. Предлагали Ивазе работать в районе, но молодой агроном попросился в свой колхоз. Там много дел! Давно пора серьёзно заняться рисом, создать новые сорта шалы. Шала — неочищенное рисовое зерно. Колхозная лаборатория перебрала много сортов шалы, пока не остановилась на лучших. И всё же недовольны колхозные селекционеры — невысоки, на их взгляд, урожаи. Ясыза не помнит, чтобы когда-либо снимали с каждого гектара столько шалы. А им, «академикам», всё мало! Иваза Сушанло несколько лет выращивает на опытных делянках и на больших участках «опытную шалу». Посылает в город землю для исследования, сам возится с пробами. Колдует над своими приборами.. Советуется с полеводами-практиками и спорит с ними так, что Ясызе совместно за сына: мальчишка стариков учит! А старики — ничего, довольны: «Был бы хороший урожай! Кто кого учит — молодой старика или старик молодого, — это неважно!». Долго выращивал Иваза два сорта: арпа-шалу и дунган-шалу. Дунган-шала хорошая культура. Ей не страшны сорняки, урожай она даёт самые высокие, зерно вкусное, белое. Всё хорошо, да только земля в Милянфане оказалась недостаточно жирной для дунган-шалы. Впрочем, и земля изменилась за последние годы. Травопольный севооборот улучшил структуру почвы, поднял плодородие. И всё же недоволен молодой Сушанло.

Иваза шагает по своей лаборатории, заставленной приборами, снопами риса, образцами почвы, и мечтает вслух.

— Сто тысяч пудов собирает колхоз. А можно ещё больше? Конечно! Мы создадим плодovitый сорт. Но в сорте ли дело? Всё нужно перестроить...

Иваза подходит к отцу:

— Не быть тебе мирабом!

— Это почему? — хмурится старик.

— Переведём рис на сухие поля... Вот и конец твоей профессии!

Ясыза отвечает шуткой:

— Скорее бы!.. А то нехватает воды. И так чуть было не засушил пшеницу

и ячмень. Много воды — мираба вини, мало — с него спрашивай! Сын родной, и тот недоволен. Учёному что? Одна забота — требуй!

— Несправедливо, отец! Не то говоришь...

— Ага, обидно! — смеётся Ясыза. — Любит шутить, а над ним упаси аллах! Ты вот что, сынок, подумай-ка лучше о весне... Для казах-шалы, пожалуй, сроки сева нужно сократить. А то, кажется мне, растянуты они. А?

Идём обратно. Ясыза спрашивает:

— Мухаме тоже такой? Обидчивый?

Со старшим сыном Ясызы я познакомился в Москве. Несколько раз встречался с ним, навестил перед поездкой в Милянфан. Теперь Ясыза, давно не видевший сына, всё расспрашивает меня о нём. Как он там? Верно ли, что улица Горького, на которой живёт Мухаме в доме учёных, ведёт к Кремлю? Сколько ещё осталось парню учиться?

И снова я рассказываю Ясызе о Москве, об улице Горького, о своей последней встрече с Мухаме и с его гостями — студентами из Пекина и Шанхая, подружившимися с молодым учёным-дунганином.

— Скажите, пожалуйста, — удивляется старик, узнав, что гости из Китая не только хорошо понимали Мухаме, но даже похвалили его за хороший китайский язык. — А я-то думал, что теперь китайцы нас не поймут. За восемьдесят лет изменился язык...

Ясыза очень доволен. Он задумчиво произносит:

— Значит, Мухаме — учёный... Напишет, может быть, историю дунган. О нашей жизни напишет...

2. Вечер в фанзе.

Дома Ясызу ждёт приятная новость: приехали гости из города. Да какие гости! Поэт Ясыр Шиваза и учёный Хасан Юсуров — историк, собиратель фольклора. Старик обрадовался, заторопился в фанзу.

Вечерет. Лениво накрапывает тёплый дождь. Длинные тени тополей исполособоили просторный двор. Под открытым небом жарко пылает печь, в огромном, наглухо вмазанном в очаг казане — семья у Ясызы большая! — кипит вода. За фанзой фруктовый сад. Жёлтые и красные листья, освещённые заревом заката, пахотжи на раскалённую медь. А дальше, за садом, шумит мутный арык. Пахнет горьковатым дымком, мокрыми листьями. Тихо, спокойно. Не хочется уходить со двора... Но хозяин торопит.

— Где же вы? Ясыр приехал!

Гости расположились на кане — широкой лежанке, занимающей добрую половину комнаты. Под каном зигзагами проходит дымоход, обогревая его. Устлан кан толстой кошмой, коврами. Опрятными пачками до самого потолка возвышаются одеяла, подушки, домотканые цветастые паласы. У стен и в нишах кованные расписные сундуки. Принесёт хозяин маленький столик, и кан превращается в столёвю; уберёт столик, постелит одеяла, взобьёт подушки — и спальня готова. Вот и всё убранство старой фанзы. В любой фанзе есть кан, но не каждая обставлена по старинке. Хорошая мебель — кровати, шкафы, высокие столы и стулья — теперь всюду Молодёжь не спит на кане, да и старики только зимой, в холодную погоду, «разогревают кости». А детишкам зимой хорошо — не прстудятся на холодном полу...

Сегодня в фанзе Ясызы тесно. Собралась вся семья, приходят соседи. И каждый вновь вошедший упрекает горожан:

— Давно не приезжали! Забыли наш Милянфан!

— Работы много! — оправдываются гости.

— В бумагах угонули! — подшучивает Ясыза. — А вы бы почаще с живыми людьми встречались. Полезно писателю, и учёному нужно, верь аллаху!..

Дунганский поэт Ясыр Шиваза живёт во Фрунзе. Он ведёт большую работу в Союзе советских писателей Киргизии в качестве ответственного секретаря правления. Хасан Юсуров работает в Киргизском филиале Академии наук, в Институте

истории, литературы и языка. Несколько лет тому назад Юсуров защитил кандидатскую диссертацию, а сейчас пишет докторскую. Обе работы учёного посвящены советским дунганам: истории их переселения из Китая, годам колхозного строительства. Много погрудился Юсуров: он изучал документы в исторических архивах Фрунзе, Ташкента, Алма-Аты, Москвы; ездил по дунганским колхозам Киргизии и Казахстана; собирал легенды, предания; записывал мудрые народные сказки. Юсуров изучал литературу о дунганах — и советскую и китайскую. Так был создан первый большой труд, повествующий о судьбе представителей этого народа.

Хозяин фанзы занят, усердно потчует гостей дунганскими яствами.

— В городе нет такой пищи! — приговаривает Ясыза. — Смотри, какой худой Юсуров... Почаще бы к нам приезжал! Отдохнул бы от своих бумаг...

— Ешё так мало сделано! А ты отдыхать приглашаешь! — отвечает Юсуров на добродушные шутки колхозника.

Я вспоминаю свои встречи с Юсуровым. Учёный рассказывал о десятилетней работе над первой своей диссертацией. Он называл имена дунган, работающих во Фрунзе, Алма-Ате, Ташкенте, в Москве и в Ленинграде, хотя признался, что теперь начинает сбиваться со счёта: «Не так давно можно было назвать каждого образованного дунганина... Насчитывались они единицами. А теперь — много их, всех не перечислишь!».

В нашей стране, главным образом в Киргизии и в Казахстане, живёт около тридцати тысяч дунган.

Дунгане... Откуда взялось это слово? Что оно обозначает? Может быть, оно составлено из: «дун» — «восток» и «ган» — Ганьсу, провинция, коренное население которой — дунгане? Много миллионов дунган живёт и в Шаньси, и в Синьцзяне, и в других провинциях, говорят они на одном из языков северо-западного Китая, пользуясь так же, как и сами китайцы, многочисленными диалектами. Почему же тогда происхождение этого слова связано с названием одной из провинций — Ганьсу? Учёные и до сих пор не уверены, что это именно так. История дунган мало изучена. По своей внешности, по культуре, быту и языку дунгане почти не отличаются от китайцев. Правда, они — мусульмане, исповедуют ислам. Некогда из Восточного Туркестана Чингис-хан привёл в Китай тысячи мусульман и, покидая страну, оставил их. Воинск Чингис-хана китайцы называли «турганами» — «оставшимися». Не отсюда ли происходит слово «дунгане»? Сами дунгане, как и китайцы, называют себя «чжунгуй-жин» и «чжун-ян-жин» — жители срединного государства. Может быть, созвучие этих слов образовало слово «дунгане»? Ответить на эти вопросы предстоит советским и китайским учёным.

Что же произошло в Китае? Почему тысячи людей, оставив родные города и сёла, ушли в Россию?

«Вражда на религиозной основе привела к открытой вооружённой борьбе», — утверждали буржуазные учёные. Так ли это? Исторические материалы убеждают в ином. Ужасающий социальный гнёт, массовое обнищание народа, голод и повальные болезни, кровавые расправы, учиняемые карательными экспедициями, — это и только это подняло волну народного гнева. В 1862 году восстание дунган вспыхнуло в северо-западных провинциях внутреннего Китая и распространилось по всему Синьцзяну. Не против китайцев восстали дунгане — они подняли меч против Цинской монархии. Не с китайцами воевали, а с общими врагами народов, населявших эту великую страну, — с феодалами и их заморскими покровителями. Советские учёные называют дунганское восстание вторым валом тайпинской революции. Крестьянское восстание тайпинов против маньчжурской династии было жестоко подавлено с помощью англо-французских войск. Народ не сдался. После тайпинов взялись за оружие дунгане.

Одна тяжкая доля спланивала дунган и китайцев, тибетцев и тангутов, мяо и несун и многие другие народы и племена, населяющие Китай. Одни песни, одни легенды и пословицы у этих народов. Хуанхэ, такая же «прозорливая река», как и Янцзы-Цзян, поглощала тысячи и тысячи жизней: дунгане, как и китайцы-бедняки,

бросали в воду новорождённых девочек. Чем их кормить? Лишний рот! И у дунган и у китайцев есть одна и та же песня: «Я хочу жить, отец, разреши мне жить!» — молит девочка Шанфай, обречённая на гибель в жёлтых водах Хуанхэ. «Мне нечем тебя кормить!» — отвечает отец и бросает дочь в реку. И у дунган и у китайцев была одна и та же поговорка: «Редька, надрезанная с двух концов, быстро высыхает. Купец скупает у крестьянина за бесценок его продукты — режет редьку с одного конца. Продаёт тому же крестьянину товары по высокой цене — режет с другого».

На один могив пели и китайцы и дунгане гневную песню, созданную во времена опиумной войны: «Англия — она Китаю вредит тем, что опиум в Китай привозит!». В дунганских и китайских сказках действует общий враг простых людей е-гуй; он волк — оборотень, жестокий людоед...

— Нет, беспочвенна и лжива версия о «чисто религиозном» характере дунганского восстания, — говорит Хасан Юсуров.

Долго продолжалась вооружённая борьба. Были у дунган свои армии, полководцы. И самым великим из них был Биянху — «белый тигр», прозванный так за бесстрашие. Называли его ещё Даху — «большим тигром». Даху стоял во главе повстанческих армий. Его вонны громили отборные полки Цинской династии. Против войск Даху было брошено 180 батальонов, миллионы лан серебром расходовало правительство на карательные экспедиции. Но не сдавались города и крепости, взятые повстанческими армиями. Восстание народа против феодалов было широким и продолжительным, одно время в Синьцзяне и в Кашгарии существовали дунганские и дунгано-уйгурские государства. И всё же Цинская монархия при поддержке иностранных войск вновь одержала победу. Отряды Даху были обречены на поголовное истребление. Карательные экспедиции уничтожали мирное население, сжигали города и сёла. Спасаясь от палачей, дунгане ушли в горы. Измученные люди пробирались через перевалы Тянь-Шаня, гибли в ледниках и вечных снегах, умирали от голода и болезней. Снежные бураны уносили сотни жизней. Особенно много погибло детей. И всё же тысячи дунган пришли в Семиреченскую область.

Русские, киргизы, казахи и другие народы, населяющие берега Иссык-Куля, Чуйскую и Ферганскую долины, сердечно встретили пришельцев. Первым человеком, оказавшим медицинскую помощь дунганам, был военный фельдшер Василий Михайлович Фрунзе — отец великого пролетарского полководца. Фрунзе организовал сбор денег, открыл походные госпитали и питательные пункты, снарядил спасательные экспедиции в Небесные горы. Имя Фрунзе-отца с такой же любовью произносят дунгане, как и славное имя его сына-полководца, под водительством которого спустя много лет сражался за власть Советов дунганский кавалерийский полк.

— Наш колхоз носит имя Фрунзе! — сказал мне при первой встрече Ясыза. — В честь благородного отца и в честь его славного сына.

И тогда же старик спел дунганскую песню о Фрунзе.

...Пришёл в Семиречье вместе с дунганями и прославленный вождь Даху. Он поселился в Пишпеке, жил в Токмаке, в других городах и сёлах. Дунгане не разрешали ему долго оставаться на одном месте — народ оберегал своего вождя. Цинское правительство вело переговоры с Россией, обещая уплатить крупную сумму за выдачу народного героя. Оно наводняло берега Иссык-Куля своими шпионами. Китайские чиновники не могли спать спокойно, пока «белый тигр» был на свободе. И не только китайские чиновники...

В те дни один русский чиновник писал из Китая: «Погибнет Даху — маньчжурское правительство значительно успокоится и вскинет голову, а представитель Великобритании в Пекине ещё более покроет себя лаврами... Я уверен, что в Лондоне будут хлопотать о выдаче китайцам Даху, за обладание которым решено цзянцзюнем Цзинем издержать 200 тысяч лан».

Дунгане много лет прятали своего вождя. И когда Даху умер, народ увидел, что не зря охранял своего замечательного сына. На другое утро после похорон могила была разрыта. Рядом с открытым гробом валялось искусно сделанное чучело..

Дунгане знали, что даже за мёртвой головой народного героя будут охотиться лазутчики из Китая, и устроили фиктивные похороны. Где же в действительности похоронен Даху, до сих пор неизвестно.

— Так и не нашли учёные могилу Биянху? — спрашивает Ясыза у Юсуро́за.

— Теперь уж вряд ли найдёшь! Старики с собой унесли эту тайну... А жаль! Русские, дунгане и киргизы поставили бы памятник отважному человеку.

Старик удаляется на кухню. Там сейчас должно начаться «самое главное» — приготовление дунганской лапши. В Милянфане нет лучшего мастера, чем Ясыза. Засучив рукава, повязав себя полотенцем, наподобие фартука, он преображается. Куда девалась медлительность, степенность? Ловко изгибаясь, то откидываясь назад, то наклоняясь вперёд, Ясыза быстро разводит в стороны руками, вытягивает из куска теста бесконечно длинную лапшину. Даже старшие сыновья, много раз пытавшиеся перенять у Ясызы это искусство, так и не научились делать дунганскую лапшу. На всех свадьбах и торжествах священнодействует сам мираб. В прошлом году, когда колхоз посетила делегация венгерских крестьян, — трёхцветный флажок и поныне украшает стол председателя, — Ясыза изготовил такую длинную ленту, что её «можно было протянуть от Милянфана до Будапешта», как он сам утверждает, пряча в усы лукавую усмешку... Опустив лапшу в кипящий котёл, Ясыза благосклонно разрешает жене и сыну Исмазе приготовить всё остальное. А сам спешит к гостям.

— Почитал бы стихи, Ясыр! — обращается он к поэту. — Поэму почитай...

Ещё весной, когда мы впервые приехали в Милянфан, Ясыр Шиваза рассказал колхозникам о своём замысле. Он задумал стихотворение, письмо-поэму, адресованное далёкому китайскому другу. В этом письме поэт решил рассказать, как живут советские дунгане — в Чуйской долине и на Иссык-Куле, в Ферганской долине и в Казахстане.

Поэт отнекивается. Нет, поэму он лучше завтра почитает в клубе — для всех. Все колхозники любят стихи, песни.

— А сейчас я прочту китайские стихи...

— Эми Сяо? — спрашивает Ясыза, зная про давнишнюю дружбу двух поэтов — дунганского и китайского, которые писали друг другу письма в стихах.

— На этот раз не Эми Сяо... Слушайте! Это песня о Великом походе революционной армии.

Поэт читает по-китайски, потом по-русски:

Облака пролетают, как снег, холодны,
Гуси к югу летят — в милый, отческий край.
Если мы не дойдём до Великой Стены —
Значит, мы недостаточно любим Китай.
И по пальцам считаем мы тысячи ли,
Дует западный ветер в полётна знамён.
И несём мы верёвки, шагая в пыли,
Чтобы ими был связан Зелёный Дракон.

— Чьи же это стихи? — спрашивает Исмаза после минутного молчания.

— Хороши? Мао Цзе-дун написал их во время войны...

Звучат другие стихи — китайских, русских поэтов.

Ясыза усердно потчует гостей. Наконец, он затихает. Берёт на руки приёмную дочурку и нежно гладит её чёрную головку. Недавно эта девочка осталась круглой сиротой. Ясыза взял Хэлимэ в дочери: «Пусть растёт. В фанзе темно без малышей». Смотрю на них, и мне почему-то представляется иллюстрация к старинной китайской песне о девочке Шанфей, которая молит родного отца не бросать её в жёлтые воды Хуанхэ...

Девочка доверчиво прижалась к Ясызе, а он, поглаживая её плечи, приговаривает:

— Бао ты мой, верблюжонок!

— Почему верблюжонок?

— У верблюжонок очень красивые глаза...

- Спой с мамой песню, — просит Хэлимэ.
- Куда нам петь! Мы старые..
- А вчера пели! Вчера были молодыми?..
- То было вчера!
- Тогда расскажи сказочку.
- Вот же дядя Хасан! Он у нас мастер рассказывать..
- Взрослые и детишки просят Юсурова рассказать им сказку.

СКАЗКА О ВОЛКЕ-ДЖИНЕ И О ХРАБРЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКАХ, РАССКАЗАННАЯ ХАСАНОМ ЮСУРОВЫМ

— Было это давно... Трудно сказать, когда, А, может быть, и недавно — кто знает? Жил в одном селе старый дунганин. Нигде он дальше городских стен не бывал. А повидать свет ему очень хотелось. И решил старик пойти туда, где хорошо людям живётся. Счастья решил поискать.. Узнал дунганин-старик, что далеко-далеко от его города есть одно китайское селение. Живут там хорошо, земли у крестьян много, да только происходит в селе что-то непонятное.. А что происходит, никто не знает. Старик был любознательным и храбрым человеком, и решил он отправиться в это далёкое село. Он нашёл спутника, молодого парня, и пошли они вдвоём.

В том селении, куда направились наши путешественники, давно уже появился страшный джин. Он похищал людей и съедал их. Появлялся джин в селе каждый месяц, в один и тот же день, и всякий раз уносил очередную жертву. И вот, спасая от похищения мужчин — работников в семьях, селяне решили приносить чудовищу в жертву девушек. Несчастных отводили в старый заброшенный храм и привязывали там к столу. А чтобы задобрить злого джина, на стол клали зарезанного барана, купленного сообша, всякие закуски и питьё.. Утром селяне приходили в храм. Дезушки уже не было, на полу валялись обглоданные кости. Так продолжалось много лет..

Джин-людоед держал в страхе жителей села. прозил им всякими бедами: град побьёт всходы, тайфун сметёт созревший хлеб, смерть унесёт из каждой семьи работника, река затопит село.. Людям пришлось смириться с несчастьем: разве под силу им победить джина? Люди были так напуганы, что хранили тайну своей покорности чудовищу.

Много дней и ночей шли путешественники, и добрались они до села на исходе первой луны. Было поздно, в фанзах погасли огни, и пришельцы решили заночевать в старом храме. А в эту ночь как раз должен был явиться джин за очередной жертвой. Путники вошли в храм и увидели привязанную к столу девушку. Несчастливая рассказала им обо всём.. «Скоре наступит е-цзинь-ли — полночь. Придёт джин, и тогда вам не сдобровать. Пусть лучше погибну я одна, а вы спасайтесь!» Но пришельцы не послушались и не оставили добрую девушку в беде. Старик развёл костёр, выломал из решётки в окне храма железные прутья, раскалил их в огне и каждый заострил наподобие пика. Из стен выломали путники много камней — и такое оружие пригодится! Девушку спрятали, а сами погасили огонь и стали ждать джина..

Наступила полночь. Вдали, на дороге, ведущей к храму, показался огонёк. Это мерцал факел. Вскоре стала видна тёмная человеческая фигура. Кто-то приближался к храму. Старик и его спутник притаились у входа. Они увидели безобразное чудовище. Это был джин. Шёл он смело — чего же ему бояться, когда все жители села так запуганы? А жертва — беззащитна, с ней он быстро расправится.. Как только джин вошёл в храм, старик ударил его пикой в живот. Чудовище взревело от боли, выронило факел. А молодой путешественник ударил джина копьём по голове. Джин испугался, побежал из храма. Вдогонку ему летели камни..

Поутру жители села отправились в храм оплакивать жертву. А девушка жива-невредима. Тут все узнали, в чём дело, и решили найти раненого джина, добить его. По следам крови люди отправились на поиски, вооружившись чем попало, — ружьями.

копьями, вилами. След привёл их к горе. А там оказалась большая пещера. Самые смелые вошли в пещеру и увидели огромного волка. Он был мёртв. А вокруг него лежало много человеческих костей... Живот волка оказался проколотым, голова пробитой. Все поняли, что это и есть тот самый джин, который причинил людям так много горя...

Крестьяне разрубили волка-джина на части. Желудок его был полон колец, браслетов и всяких других украшений. По этим украшениям можно было судить, сколько людей сожрало это ненасытное чудовище.

Крестьяне обрадовались. Стали спрашивать путешественников, кто они, куда путь держат. Старик рассказал, что он дунганин, что есть у него сын — плотник и что живут они далеко отсюда, в городе. Селяне дали старику восемь му земли, построили для него дом, а когда к нему приехал из города сын — выдали за парня спасённую девушку.

С той поры в село стали часто приезжать дунгане — родственники старика. И население вскоре стало смешанным: дунгане и китайцы. Люди породнились и жили всегда дружно...

Тихо в фанзе. Маленькая Хэлимэ давно уснула, положив голову на плечо Ясызы. Ребятишки притаились в углу кана. Исмаза подошёл к приёмнику и стал настраивать его.

Молчание нарушил Ясыза:

— Много ещё волков-джинов бегают по чужим землям... Ну-ка, Исмаза, найди известия... Что там в Корее?

Исмаза поймал позывные Москвы.

— Послушаем — и спать! — предложил Ясыза. — Гости устали, детям рано в школу. Да и мне чуть свет на реку...

3. Встречи в долине.

Какой светлый уголок! Даже чёрные привалки Ала-тау не омрачают его жизнерадостной красоты. Посмотрите на Милянфан с любого пригорка, и навсегда он очарует вас.

Всюду, куда ни глянь, — сады, заливные луга, бахчи и нивы. А в самой низине, где в молодости Ясызы шумели камыши и дымилось болото, — золотистые прямоугольники, ромбы и треугольники рисовых чеков (делянок). «Геометрия!» — Ясыза с деланной небрежностью произносит это учёное слово, услышанное, очевидно, от сыновей-школьников.

Геометрия рисовых полей сложна. Нужно правильно расчертить участок точными границами чеков, возвести аккуратные земляные валки, задерживающие воду. Непрост и лабиринт, по которому проходит вода в каждый уголок рисового поля. Выручает высокое мастерство рисоводов и стабкого мираба, их многолетний опыт. Недаром местность называется по-китайски Милянфаном — Долиной риса. Поля Милянфана спланированы с геометрической точностью. Всё лето, до самой жатвы, чеки заполнены водой. Иначе не подняться крепким стеблям, не выбросить им пышных метёлок, богатых зерном. Рис — водолюбивая культура. Уже задолго до сева колхозники готовят зерну уютную колыбель — чеки, заполненные водой. Кони, впряжённые в специальные качалки, взбаламучивают воду, и вместе с мутью зерно оседает на дно.

Всегда хороша долина. И в дни сева, когда спокойным голубым морем простирается колхозное поле; и во время созревания, когда ветер играет зелёными султанами; и в жаркую пору уборки, когда поле расцветивается красочными пятнами: отправляясь на жагву дунганки надевают самые яркие одежды.

Ясыза может бесконечно рассказывать о Милянфане. С таким увлечением говорит о родной тайге охотник-сибиряк, для которого ничего на свете нет лучше лесной тишины; так влюблён в безграничные просторы житель степей, кочующий с колхозными стадами от горизонта до горизонта; с такой любовью относится к морю рыбак;

так горец находит очарование в хаотическом нагромождении скал и в полумраке диких ущелий...

Да и как не любить Ясызе Милянфан? Это его родина. Здесь он вырос. Сюда он приходил из города батрачить на рисоводов — богатеев, безраздельно владевших единственным в то время оросительным каналом и островками пахотной земли, отвоёванной у болот такими же обездоленными людьми, как Ясыза. В долине Ясыза познал единственную радость, доступную в те времена бедняку, — радость общения с природой. Любил он странствовать по болотам и горам с плохоньким ружьишком за плечом, сопровождаемый верным четвероногим другом Ю-янем — Тараканом, прозванным так за чёрную шерсть и тихий нрав. И позже, когда пришла в Милянфан весть о революции, не покинул Ясыза это место, не отправился на поиски плодородной земли — советская власть давала беднякам землю в любом районе: бери, обрабатывай, сей! Ясыза верил, что рисовые островки, принадлежащие кулакам, сольются в сплошное необозримое поле. Он видел в мечтах обновлённый Милянфан — богатый, цветущий.

Не просто было осуществить эти мечты. Кулаки не сдавались. В их руках было всё — вода, кони, мельницы, плуги и борсны. А как обработаешь землю голыми руками? Где выход из нужды? Слово «колхоз» ещё не пришло в Милянфан...

— Эх, не догонишь! — прерывает свой рассказ Ясыза.

Кого он увидел?

— Москвич! — поспенывается старик. — Глаза у горожан рано стареют... Мне вот семьдесят два, а я бью птицу на лету — без промаха! — Сжалившись, Ясыза поясняет: — Председатель проехал. В пятую бригаду, должно быть. К моему Исмазе. Василия Алексеевича всюду узнаю. Привык...

Давно уже дружит Ясыза с Василием Алексеевичем Хаминовым. Четверть века назад это поле привлекало охотников камышовыми зарослями, кишевшими дичью. Стоял хмурый денёк. Как и сейчас, чёрная туча висела над Милянфаном, накрапывал дождь. Устал Ясыза. Весь день он бродил по болоту, а в сумке было пусто. Неудача не огорчала охотника. Он подбадривал себя весёлой песенкой о бедняке, которому ещё лучше, если ноша его легка, подтрунивал над Ю-янем, высунувшим от усталости язык. До жилища было далеко. Вдруг Таракан насторожился. Чуткое ухо охотника тоже уловило шорох. Ясыза направился на звук и через несколько минут перед ним стоял рослый парень. Русский! Удивился Ясыза — в те времена русский человек редко приходил в Милянфан. Охотники познакомились. Решили вместе заночевать в камышах, а на рассвете поискать кабанов.

Звали парня Васей, был он комсомольцем, жил в Канте, небольшом городке неподалёку от Милянфана. От него-то впервые и услышал Ясыза о колхозах, о том, как государство помогает крестьянам, желающим сообща обрабатывать землю. А комсомолец узнал от Ясызы, что большинство дунган живёт плохо, водой и землёй владеют кулаки, а мулла грозит возмездием неба каждому, кто выражает недовольство. Грамотных людей среди дунган нет, один мулла просвещён, да и тот знает только арабскую письменность. А народная мудрость гласит: «Слушать проповедь ахуна — закрывать глаза на дела ахуна».

С тех пор Ясыза часто встречался с Васей. Впервые в фанзу Ясызы вошёл русский человек. Его угостили дунганскими яствами — лапшой, эстро приправленной красным перцем и уксусом; зелёным луком-джуце; варёной редькой, нарезанной тонкими полосками. Это была и-ку-цай — лёгкая закуска. А Ясызе хотелось угостить друга на славу, поставить на стол хе-це-ши — национальное кушанье, состоящее из девяти блюд. Но откуда у бедняка такая роскошь? Ясыза научил Васю пользоваться тонкими бамбуковыми палочками, заменяющими ложку и вилку, и все посмеивались, наблюдая, как лапша «убегает» от гостей... «С нами поживёшь — научишься!» — успокаивал гостя Ясыза, не подозревая тогда, что дружба свяжет их на всю жизнь.

Василий Алексеевич помог дунганам создать колхоз. И дунгане выбрали его председателем. Первым председателем первого дунганского колхоза.

Хорошо вспоминать о неприглядном прошлом, когда вожруг тебя такое изобилие!

Приятно говорить о тощей земле, о болоте, о борьбе за воду, когда вокруг тебя прекрасно возделанные поля, многоводные каналы и отовсюду доносится весёлый стрекот электрических молотилок. Теперь Ясызе весело рассказывать, как всю ночь он ходил по фанзам, собирал деньги на обзаведение хозяйством, а под утро принёс Василию Алексеевичу первую колхозную кассу, завязанную узелком в красный платок. Почему не вспомнить об этом, когда теперь на текущем счету колхоза — миллионы?

Кулаки издевались над колхозниками. «К севу готовитесь? А воду кто даст — комсомолец Васька? Голодранец Болода, который нажил много седых волос, но добра не приобрёл?» Как-то один из богатеёв, издеваясь, сказал Болоде:

— Сверху вниз течёт река — людям её не повернуть. Высоки, очень высоки Небесные горы — не стать им низкими. Не бывать по-твоему, Болода.

Ясно было, о чём толкует кулак: не владеть колхозникам дунганским каналом, не получить им ни воды, ни земли. Болода терпелив» выслушал и ответил кулаку:

— Хитрые слова — ничего не скажешь! Да рассчитаны они на робкого человека. У дунганина страх прошёл. Не пугай. Нужно будет — гору сроем! Нужно будет — реку остановим!

Как ни угрожали кулаки, но сев прошёл успешно. Вот тогда Ясыза и стал колхозным мирабом — отвёл воду из дунганского канала в первый общественный зрык. Помогал ему Болода. Поплатился за это старик. Кулаки подкараулили его, избили до полусмерти, бросили в тот самый канал, которым хотели безраздельно владеть. Течение вынесло колхозника на берег в четырёх километрах от села. Очнувшись, Болода доплёлся до города и, как был, — мокрый, весь в крови — явился к прокурору. Кулаков судили показательным процессом. После этого легче стало дышать в Милянфане...

— Сейчас такое же случается за Тянь-Шанем! — говорит Ясыза. Я читал в журнале «Народный Китай». Сяо Цинь пишет, как народ ведёт борьбу с помещиками... Зло само не уходит, это так.

— Что же потом было с Болодой?

— О! Первым работником стал! В Москву ездил на колхозный съезд. Сталина видел! Помню, как вернулся — колхозники чуть не утомили старика: в каждой фанзе для него был накрыт стол, всем хотелось послушать, о чём говорил товарищ Сталин...

Вдвоём с Ясызой мы едем на поля Милянфана. На этот раз верхом: дороги размякли, не доберёшься на машине.

— Этот везде пройдёт! — уверяет мираб, поглаживая сизую шею коня.

Конь Ясызы знаменит в колхозе своей кличкой. Однажды, проездив верхом целый день, Ясыза сказал: «Устал.. Едва ноги волочу. А он — смотри ты, какой прыткий! Историческая личность!». Так и называют колхозники коня Ясызы. Когда ищут мираба, обычно спрашивают: «Исторической личности нет в стойле? Ну, не дождёшься теперь Ясызу!».

Старик смотрит на небо, качает головой. Небывало дождливая осень затянула уборку и обмолот. Уже давно пора было вывезти с полей шалу и рисовую солому, снять с токов моторы, подсчитать и распределить доходы. Но что ни утро, то огорчение: из-за гряды Аннархая ползли и ползли тучи, куполом нависая над Милянфаном. Часто срывался шумный ливень, ещё чаще уныло моросил мелкий дождичек по нескольку часов подряд. И в дождь люди убирали шалу. Так старательно убрали, что на поле не увидишь ни одного воробья — нечем поживиться пернатым разбойникам. Красноголовый среднеазиатский воробей разборчив: питается отборным зерном.

Сегодня Ясыза поздно выехал из села. Ради гостя. Обычно старик дни и ночи проводит в поле, на реке. Его упрекают в бригадах: «Ну, зачем ты здесь, аксакал? На тёплом кане разве плохо?» Ясыза то сердится, то шутит: чем топить кан — вся солсама в поле! Да и на реке в эти дни неспокойно. Дождевая вода ускорила течение, принесла с гор ил и песок. Наносы проникли в лопасти турбины колхозной гидростанции, генератор чуть дышит... Моторам хватает энергии, а лампочки в селе горят в полнакала. Колхозники ругаются: темно! Зажгли бы керосиновые лампы, да

не в каждой фанзе найдёшь такую диковинку. Мираб сокрушается, вспоминая нашу весеннюю поездку в колхоз «Киргизия», где теперь, по его словам, «люди поплываю-ют на дождь» — вода в замощённом канале чистая, наносы не страшны, гидростан-ция работает круглый год с одинаковым напряжением.

— С той весны и у нас так будет. Всё подготовили... Часть русла хотим бето-нировать. Инженеры советуют — очень уж сильное течение.

Вот и гидростанция. Неподалёку от белого домика, где разместился машинный зал, стоит экскаватор. Вытянув свою жирафью шею, он опускает в реку ковш, шарит им по дну, поднимает. Ковш, выплёскивая лавину воды, выносит на берег песок, ил, камни. Потом снова погружается на дно.

— Не будь экскаватора — пропадай! — говорит Ясыза. — Как жить без электри-чества? Всё остановится.

— А жили как? — спрашивает машинист экскаватора, молодой паренёк в брезен-товом комбинезоне, перепачканном маслом и глиной.

— Когда это было! — произносит Ясыза с таким видом, будто речь идёт о про-шлом веке. — Ещё в сорок третьем году построили станцию.

— Работали всю ночь, — докладывает Ясызе машинист. — Во-он до той вербы прочистили...

Из машинного зала выходит Филипп Ульяновченко — главный электрик. Всего в колхозе двенадцать электриков — монтёров, машинистов, мотористов. Всех их воспи-тал Ульяновченко. Его колхоз послал в город учиться на электротехника. Вернувшись в Милянфан, Филипп, в свою очередь, открыл школу электротехников. Самыми способ-ными оказались Юбуза Хахаза и Илтаза Гурба — молодые колхозные паренки, не-давно окончившие семилетку. Они лучшие помощники главного электрика, отлично знают своё дело.

— За экскаватор спасибо! — благодарит мираба главный электрик. — Только есть замечание, аксакал..

— Замечание? — озадачен старик.

Ульянченко отводит мираба в сторону, начинает деловито доказывать:

— Я прикинул. Тут глубже надо прочистить русло... Тогда мощность турбины увеличится... А вот там...

Ясыза, слушая, одобрительно кивает головой.

— Это ты правильно надумал. Я поговорю с машинистами.

Мираб направляется к экскаватору, а мы с Филиппом входим в машинный зал.

Уютно мурлычет генератор. Чисто, тепло, как и должно быть на хорошей элек-тростанции. На распределительном щите разноцветные глазки показывают, какие участки колхоза сейчас под нагрузкой.

— Мощность не та! — сетует Ульяновченко. — Не подумали мы во-время. Теперь затылки чешем... В колхозе восемнадцать моторов — и всё же мало. Все требуют: дай той! Электрочеребница, водокачка, мельница... Веселее заживём, когда поставим новый генератор. Да разве это надолго? Колхоз укрупнился, новые сёла прибави-лись... Видели на дороге столбы? Вторую станцию ещё не построили, а столбы уже, готово дело, стоят! Вот построим вторую станцию, тогда и заживём!

Электрик с увлечением рассказывает о новой гидростанции, которая скоро будет построена неподалёку отсюда. Строительная площадка уже подготовлена.

— И проект готов! — сообщает электрик. — Ясыза одобрил...

Мираб гут как тут:

— Что одобрил Ясыза?

— Проект электрической станции...

— Даже не видел! — хмурится Ясыза.

— Как же это? Вместе смотрели...

— Память отшибло... Не припоминаю...

Ясыза хитро улыбается. Ульяновченко озадачен.

— Негоден тот проект, — говорит мираб. — Мала станция... Колхоз растёт. Нуж-но такую станцию поставить, чтобы на будущее хватило. Вот почему говорю — не

видел проекта. Понял? А экскаватор ещё раз пройдёт русло. Договорился с мальчиками. Ты смотри, корми их получше — плов пусть сделают, фруктов принеси побольше. На складе много арбузов, дынь... Чего жалеешь?

И снова кони месят вязкую грязь. Едем молча. Любуемся долиной риса, расцвеченной осенними красками. Ещё крепко держится листва на деревьях и кустах, не сбили её дожди. Даже в такую пору хороша долина! Золотое жнивье на полях, зелёный бархат озимых, белые шапки гор...

— Хорошо! — полной грудью вздыхает Ясыза. — В старину говорили, что люди умирают от шан-сыр-бина — болезнь эта от тоски происходит... Не знают у нас такой болезни! А почему? Жить интересно! Копался бы я в своём дворике, ничего не видел, кроме дувала и мечети... От такой жизни постареешь. Одно и то же, как притча мульты. А когда каждый день новый — быстрее кровь течёт...

Кони осторожно спускаются с пригорка — трава мокрая, скользкая. Проезжаем рисовое поле. Сквозь жнивье в чеках проступает дождевая вода.

— Распахать бы поле, сделать один чек, чтобы комбайны могли пройти! — мечтает старик. — Много ещё дел в колхозе...

Дел много. Но и сделано немало. Давно ли большая часть населения Милянфана каждую весну вооружалась лопатами, кетменями? Планировка полей, обвалование чеков отнимали много сил. Выкопать и уложить в аккуратные валки сто пятьдесят тысяч кубических метров земли — шутка ли! Теперь это делают трактор и машина. Колхозные изобретатели — главный среди них кузнец Иван Рыбалкин — создали умное приспособление: само копает землю, само укладывает её в аккуратные валки. Машину не просто было изготовить, восемь раз переделывали, ездили в город на консультацию, а всё же своего добились. Дотошный народ эти механики! Они освободили сотни рук от кетменей и лопат. Машина ускорила подготовку чеков, сократила сроки сева. Вместо того, чтобы каждую весну копать землю, колхозники занялись более полезными делами. Урожай ещё больше поднялся. Часть рисовых полей засевают по новой агротехнике — без воды. Систему орошения улучшили, теперь вода не задерживается, не заболачивает землю в низинах. А травопольный севооборот? Тут выгода не только в том, что колхоз с излишком обеспечен люцерной, что помогает кормами соседям-казахам, живущим по ту сторону Чу. Живительная сила этого севооборота обновила землю!..

— Куда ни глянь — новое! — Ясыза доволен. — А новое заставляет думать по-другому... Заботы другие...

Повернувшись в седле, мираб спрашивает:

— Как называются специалисты по рыбам?

— Ихтиологи.

— Вот-вот! Поговорить бы с ними... У нас много рыбы гибнет.

Весной, когда пускают воду в рисовые чеки, приходит из реки много рыбы. Ей неплохо живётся в рисовых зарослях — тепло, в досталь корма. Но подходит жатва, выпускают воду, и пришельцы оказываются в ловушке. Рыбы на обмелевшем поле так много, что её собирают руками. Тучами кружится воронье над чеками-ловушками. Злое воронье, вредное — лакомится живым рыбьим глазом. И плавают в мелкой воде безглазые сазаны и окуни... Прилетают цапли, собирают кучками погибшую рыбу. Ребятишки заметили, что эта длинноногая лакомка умеет считать: в каждой кучке, собранной цаплей, равное количество рыбы.

В старое время Ясыза не обратил бы внимания на гибель рыбы — не до того было. А теперь не может он спокойно на это смотреть.

— Добро народное! К чему рыбу губить?

Забота о народном добре принесла Ясызе славу прижимистого хозяина. До сих пор в колхозе помнят спор, возникший между мирабом и колхозными мельниками. Крупорущка, на которой производится обработка шалы, требует много энергии. Не просто обработать зерно — снять с него тончайшую и твёрдую оболочку, отшлифовать добела. Много раз нужно пропустить зерно через жернова. А гидростанция, как известно, не может снабдить энергией всё хозяйство. Вот и задумались мельники. Что делать? И решили они попросить у мираба воду для отводного канала. Ясыза

узнал, что мельники придумали гидроколесо новой системы. Что это за система? Сколько воды берёт? Изобретение сперва пришлось Ясызе по душе. В городе выдали колхозным умельцам авторское свидетельство. И всё же... Ясыза забраковал колесо. Почему? Много расходует воды! Всем колхозом угваривали мираба — не помогло. Заупрямился Ясыза: «Пусть сделают такое, чтоб воды вдвое меньше расходовать. Люди они умные. Пусть ещё немного пошевелят мозгами!». Мельники придумали другое колесо: воды уходит всего пятьдесят литров в секунду, а жёрнов **делает** семьсот оборотов в минуту.

— Вот это хорошо! — одобрил Ясыза.

Гидроколесо заказали в городе, на заводе, по чертежам колхозных изобретателей. Приехали в Милянфан инженеры познакомиться с создателями уникального сооружения. Ясыза с гордостью представил гостям двух братьев Коробовых — **Ивана** Владимировича и Кузьму Владимировича:

— Вот они, наши молодцы!

А молодцам вдвоём сто сорок лет. Одян — ровесник Ясызы, второй чуть младше — шестьдесят восемь ему исполнилось. Братья-мельники давно живут в колхозе, дружат с дунганями, говорят по-дунгански, хотя и окают по-волжски и носят рыжие бороды лопатами.

...Вот и стан. Увидев издали, что конусы рисового зерна не покрыты брезентом, Ясыза пришпорил коня и поспешил на рысях вперёд.

Удивительные земледельцы дунгане. Они не только с ювелирной точностью сооружают чеки, возделывают огороды. Посмотрите, как выглядит ток Паркет! Огромный утрамбованный круг на холме будто покрыт асфальтом. Дождь не в силах размыть эту окаменевшую землю, отполированную до зеркального блеска. Право, хочется снять сапоги, как перед входом в дом, где чистоплотная хозяйка только что вымыла полы. Оставляем коней у холма, тщательно вытираем соломой сапоги и только потом всгупаем в это святилище.

На току тихо. Молотьба закончилась. Гуабаны — волокуши, собирающие солому, — стоят в стороне. Ровными скирдами лежит до-шо — рисовая солома, которую в здешних местах употребляют как топливо.

Бригада отдыхает. Бригадир Эрсма Шэмэзы — человек средних лет, худощавый, подвижной, сохранивший выправку щеголеватого кавалериста, — встречает Ясызу шуткой:

— С опозданием приехал, караке! А к чаю всё-таки поспел...

— Вижу, с опозданием! — в тон отвечает мираб. — Чтобы раньше приехать? Не осталась бы шала открытой...

Ясыза выразительно ловит лалонью капли дождя. Но девушки уже бегут, обгоняя друг дружку, хватают цыновки и брезент, закрывают бунты шалы — неочищенного рисового зерна. Когда все холмики накрыты, Ясыза благосклонно соглашается:

— Чай пить могу в любое время!

Бригада Эрсы Шэмэзы разместилась за двумя длинными столами, ножки которых врыты в земляной пол. Здесь много молодых женщин-девушек. Перед каждой колхозницей лежит узелок с двумя-тремя пиалами, домашними хлебами — **гос-куп** — и, конечно, дунганскими приправами и зеленью. Как бы вкусно ни готовил бригадный повар, колхозница обязательно принесёт из дому всякую острую снедь. У самовара хлопочет Мемеза — красивая стройная девушка, дочь бригадира.

— Отдохнула бы! — зовёт Сунчеца, которую мы вчера встретили в селе. — Хлопочет и хлопочет...

Ясыза ласково смотрит на девушку.

— Она у нас не может сидеть без дела. Сколько убрала?

— Шесть гектаров! — отвечает за подругу Сунчеца. — Двенадцать норм

— Ого! — брови Ясызы поднялись. — Завидная невеста! Когда же свадьба?

А, Мемеза? Скажи!

Лицо Мемезы становится пунцовым. Она молчит.

— Много будет свадеб! — уклончиво отвечает за Мемезу отец. — Гулять тебе, Ясыза, добрый месяц...

— Когда будет радио на стане? — оправившись от смущения, спрашивает Мемеза.

Ясыза смеётся:

— Я про свадьбу, а она про радио! Вот Василий Алексеевич, у него и спрашивай.

К стану идёт председатель колхоза. Это высокий, широкоплечий, немного грузный человек. На нём брезентовый плащ поверх ватника. Ступает он гяжело. Лицо обветренное, усталое.

— Блеет сильно Василий Алексеевич, — вполголоса говорит Ясыза. — Наша молодость была не та, что у них... — кивает мираб в сторону девушек. — Вот зима придёт, подлечим, подправим нашего председателя.

— Хома! — приветствует колхозников Василий Алексеевич. — К чаю поспел! А галушки? Будут?

— Галушки варятся! — раздаётся звонкий голос из-за камышовой перегородки, отделяющей столовую от кухни. — Пейте чай!

Председатель устало опускается на скамейку, и тотчас к нему протягиваются несколько рук с пиалами, наполненными ароматным чаем.

— Могу выпить только одну! — отмахивается председатель.

— Тогда возьмите у Мемезы! — решают девушки.

Ясыза считает своим долгом объяснить, в чём тут дело.

— У нас не принято отказываться от угощения — это большая обида человеку. Вот девушки и придумали: угощает тот, кто лучше работает. А Мемеза, если каждый день будут приходить гости, так и не напьётся чаю...

— Мы спасём Мемезу! — отвечает на шутку Ясызы бойкая Сунчеза. — Обгоним её...

Ясызе по душе ответ девушки: любит он острое словцо, весёлую шутку.

— Молодец невеста! Хоть бригадиром ставь...

— Девушки у нас неплохо работают, — сдержанно хвалит Василий Алексеевич. — Пожалуй, прав Ясыза. Что, если дочь поставить бригадиром, а отца помощником? Как там насчёт мужского самолюбия, Шэмэзы? Будешь подчиняться дочери?

— Во время войны все бригады возглавляли женщины. И ничего — работали! — отвечает Эрсма Шэмэзы.

— Дипломат! — усмехается председатель. — Хорошо они работали! Даже очень хорошо... А теперь полюбуйте — до-цо не можем во-время привезти в село.

— Не до соломы сейчас! — оправдывается бригадир. — Шалу нужно вывезти...

— Всё нужно! И зерно и солома. Вдовы ждут топлива, старики. Погода всё хуже и хуже — смотри, морозы ударят.

Эрсма не оправдывается. Он знает, что если уж Василий Алексеевич заговорил о вдовах, о стариках, — никакие доводы не помогут. В колхозе установился невыблемый обычай: первые авансы на трудодни, первые возы с топливом — нетрудоспособным, вдовам, многодетным. На общем собрании было решено выдавать пенсию престарелым людям — рис, хлеб, овощи, фрукты, молоко, одежду.

— У нас всего двенадцать таких стариков. Всем они обеспечены: лежи себе на кане, песни пой... — говорит Василий Алексеевич. — Так нет же! Дело подходит к уборке — надевают холщёвые штаны, белые рубахи, шляпы из до-цо — и на поле! Работают, от других не отстают. Их домой посылают, а они своё: глаза видят, ноги ходят — будем работать. Хороший народ!

Василий Алексеевич преображается, когда речь идёт о дунганах. Так говорят о самых близких людях. И дунгане отвечают своему председателю такой же любовью. Четверть века живут они вместе. Правда, не все двадцать пять лет руководил Василий Алексеевич колхозом — уходил на войну, был одно время на другой работе в городе.

До сих пор в Милянфане вспоминают, как колхоз «выручал» своего председателя...

А случилось вот что. Василия Алексеевича перевели на работу в республиканское министерство сельского хозяйства. Скрепя сердце, согласились колхозники отпустить своего председателя. Избрали другого. Потом опомнились и решили вернуть

В колхоз Василия Алексеевича. Написали во Фрунзе заявление: «Просим отпустить нашего председателя». А как отпустить? Василий Алексеевич хорошо работает и на новом месте... Колхозники берегли дом, в котором жил председатель: «Вернётся, тоска заставит!». Шло время, Василий Алексеевич навещал колхоз, но совсем не возвращался. В то время ещё жив был Болода, старик неграмотный, но большой мастер сочинять письма. Позвал он как-то соседского паренька и продиктовал ему письмо в Москву, в Кремль. Это письмо сохранилось в памяти тех, кто его читал:

«Живу я в Милянфане, в колхозе имени Фрунзе Кантского района, Фрунзенской области, — диктовал Болода. — Много лет был у нас председателем Василий Алексеевич Хаминов. Партия поручила ему, русскому человеку, вывести дунган на прямую дорогу, научить их по-новому жить. В Милянфане нет дома, где Василий Алексеевич и его жена Галина Андреевна не были на свадьбе, на крестинах. Плохо человеку — они утешают, хорошо — вместе с ним радуются. Породнились мы с ними. Василий Алексеевич помог нам, пусть ещё поможет. Товарищ Сталин сказал, что партия посылает из города в колхозы самых лучших людей, — я, Болода Санваза, сам эти слова слышал. Товарищ Сталин выступал, а я в четвёртом ряду сидел, каждое слово запомнил. Почему же взяли в город нашего председателя? Просим вернуть Василия Алексеевича, весь колхоз просит...»

В Милянфане говорят, что это письмо читал в Кремле большой человек, которому оно было адресовано, и написал на нём такую резолюцию: «По-моему, нужно удовлетворить просьбу дунган». Может быть, и по-другому написал, только вскоре приехал в Милянфан председатель райисполкома, а вместе с ним Василий Алексеевич. Назначили общее собрание. Клуб не вместил всех колхозников. Даже старухи с внучатами явились. Собрание прошло быстро. Председатель райисполкома сказал:

— Просьбу вашу читали в Кремле, и вот привёз я вашего Василия Алексеевича. Можете, если желаете, вновь избрать его председателем...

Что тут было! Ясыза до того расчувствовался, что даже пообещал на радостях:

— Умрёшь — похороним тебя на дунганском кладбище, живи тысячу лет!

До сих пор веселит председателя эта щедрость: утешил, нечего сказать! Впрочем, сказано это было от всей души, в знак особого расчленения... Да мало ли трогательных знаков внимания оказывают милянфановцы своему председателю?

Только один раз обиделись дунгане на своего руководителя. Узнав, что Василий Алексеевич стал прихварывать, колхозники рассудили так: «Трудно человеку ездить верхом по полям, купим ему за счёт колхоза «победу». Решили на общем собрании купить машину и в протокол записали. Василий Алексеевич сказал спасибо, поехал в город и вернулся в «москвиче», купленном за свой счёт. На колхозные деньги вместо «победы» распорядился он купить новые приёмники для клуба и полевых станций...

И вот сейчас, когда Ясыза рассказал Василию Алексеевичу, как хитро ответила Мемеза на вопрос о свадьбе, председатель взял сторону девушки:

— Свадьба от нас не уйдёт! А то, что до сих пор мы не купили приёмники — это плохо! Сын твой, Ясыза, виноват. Я же поручил Ираде...

Подруги набрались храбрости:

— Бригаде нужен аккордеон! — сказала одна.

— И библиотечка! — выпалила другая.

— И телевизор! — добавила третья.

— Что? — переспросил Василий Алексеевич.

— Теле-ви-зор! — раздельно повторила девушка.

— Да ты что? Ты знаешь, что это такое?

— Почему же не знать? — обиделась та. — Это такой аппарат... Можно сидеть в фанзе и видеть кино, которое показывают в городе, постановку из театра и даже игру в футбол...

— То, да не то! — рассмеялся председатель. — По телевизору можно видеть на небольшом расстоянии. Километров на семьдесят, кажется. А во Фрунзе ещё нет телецентра. Как только построят, обязательно купим телевизор...

На пути в село Василий Алексеевич вспоминает, как он встретился на охоте с Ясызой, как выглядела тогда долина, о чём в то время мечтали дунгане.

— А теперь им телевизор давай! — тихо смеётся Ясыза

4. Поездка на Иссык-Куль.

Всю ночь колхозники возят обмолоченную шалу. Всю ночь мимо фанзы грэхочут телеги, проезжают грузовики. Яркие лучи выхватывают из темноты то угол потолка, то часть стены, украшенной вырезками из журнала «Огонёк»: на снимках изображены односельчане Ясызы, улицы Милянфана.

Беспокойно спит Ясыза. То и дело встаёт, выходит на крыльцо, прислушивается к стрекоту молотилок — затянулся обмолот, должны были ещё днём закончить! Возвращается в фанзу, включает свет — не увеличился ли накал?

На рассвете старик уезжает на реку. Возвращается в полдень — весёлый, довольный:

— Вода пошла быстрее, турбина лучше работает. А замостим русло — дело ещё веселее пойдёт...

Ясыза смотрит на жену так, будто собирается сообщить ей ошеломляющую новость. Лукаво улыбаясь, говорит:

— Собирай чемоданы, старая! Уезжает Ясыза...

— В Москву? — спокойно откликается жена.

— Поеду с гостем в «Дейшен»... Посмотрю, как там живут дунгане.

— Поезжай, Ясыза! — соглашается жена, улыбаясь. — Отдохни...

— Какая ты у меня добрая стала... Помоложе был, не так легко отпускала, — сообщает мне Ясыза, притворно понижая голос и весело поблёскивая глазами. — А теперь, пожалуйста, — поезжай, Ясыза!

Не просто выбраться мирабу из Милянфана накануне седьмого ноября. Скоро праздник, а с ним наступает «свадебная полоса». В тридцати с лишним фанзах ждали невесты. Ясыза, как никто, знает традиционные дунганские обряды со сватовством, шутивным похищением невесты, выставкой подарков и, наконец, весёлым пиром, продолжающимся нередко добрую неделю. Какая же свадьба без шуток Ясызы? Родители будущих молодожёнов запротестовали: «Не пустим, караке! После праздников — пожалуйста!». Колхозники постарше уговаривали старика: «Лучше поедем на охоту. Собирается с нами Василий Алексеевич. Как же без тебя?». Но Ясыза был непреклонен: «Еду!» — и самые хитрые дипломаты ничего не могли с ним поделаться.

— Поехали! — радовался мираб, когда наша машина, подскочив последний раз на выбоине просёлочной дороги, очутилась на зеркальном шоссе. — Хоть разочек посмотрю, как живут люди вдалеке.

О «разочке» сказано для красного словца: приедняется человек. Кому не известно, что в молодости Ясыза порядком исколесил землю — побывал в Эрзруме, в Польше, сражался под Перемышлем, громил басмачей в Голодной Степи. Было время, когда он занимался извозом — в Чуйской долине ещё не проложили железную дорогу, и пассажиров тогда возили на лошадях в Алма-Ату и в Ташкент.

— Бывало, уедешь из дому и всё волнуешься: хватит ли семье хлеба до моего возвращения? — вспоминает Ясыза. — Должно быть и сейчас по привычке волнуюсь: не умрут ли мои с голоду? Одного только риса получили пять тонн... Если три раза в день кушать плов да ещё гостей звать — года на два хватит!...

Ясыза доволен своей шуткой. И вообще у него отличное настроение: канал очистил, турбины пошли хорошо, к праздникам сделаны необходимые покупки (подарки спрятаны, Ясыза будет сам вручать их, когда вернётся домой). Машина стремительно бежит по гладкому шоссе. Домики в сёлах белые, опрятные, точно на Украине, и каждый к празднику выбелен, обедён синими и голубыми полосками. Осень. Вчерашний снег — не по времени ранний! — стаял, обнажил землю, густо устланную влажными листьями. Сверкают росинки на изумрудных всходах озимых. Сытным ароматом хлеба и плодов напоён воздух. Всюду, куда ни глянь, изобилие. Навстречу идут бесконечные

вереницы грузовиков — с зерном, овощами, фруктами, с мукой, хлопком, подсолнечником, кукурузой... Вокруг сахарных заводов высятся горы свёклы.

— Читал я, — говорит Ясыза, — что в Чуйской долине собирают самые высокие урожаи сахарной свёклы. Первое место в стране занимаем! А давно ли начали сеять? Лет двадцать назад у нас свёклы не знали... Теперь вот везут хлопок! Говорили — на севере живём, это не Ферганская долина, где хлопок чувствует себя, как дома. Выходит, и здесь он не в гостях! Будет то же, что и со свёклой. И в Миллянфане появятся хлопковые поля...

Заразительно смеётся старик, вспоминая, как жена, не выдержав, назвала его на прощанье непоседой.

— Завистливым назвала! «Всё, говорит, надо тебе знать, Ясыза: как хлопок убирают, как лекарственный мак растят». Напугал старуху, пригрозил ей: вместо джуче посею на нашем огороде мак и даже для капусты места не оставлю, верь аллаху!

Дорога становится круче. Вот уже Боомское ущелье — стало темнее, будто сумерки опустились на землю. Навстречу нам, под уклон, с шумом катит зелёные воды река Чу. Чем выше взбирается машина, тем выше и горы — они словно вырастают на глазах, врезаясь в облака. Угрюмое нагромождение камней. Щебнистые осыпи на склонах, скопление валунов. Но и в этом первобытном хаосе строители навели порядок: на огромной высоте виден карниз, по краю которого бежит, словно игрушечный, поезд. Ясыза высунул голову из машины: «Вон куда забрался!». Это часть новой железной дороги Кант — Рыбачье; поезда идут из Чуйской долины в высокогорные районы Киргизии.

В ущелье становится ещё темнее — тучи ворвались в теснину. Дует сильный ветер. Вернее — два ветра: здесь часто встречаются воздушные потоки, рождённые в горах и в долине. Машина будто попала в исполинскую аэродинамическую трубу — вот-вот колёса оторвутся от дороги, и повиснет она в воздухе. Ветры неистовствуют в единоборстве: кто прорвётся вперёд?

— Заупрямились, как два козла на узком мостике! — ворчит Ясыза.

В такую пору, находясь в Боомском ущелье, забываешь, что где-то синее небо и светит солнце...

А солнце — вот оно, за поворотом! Ещё виток, и машина вырвалась из каменных теснин, бежит навстречу синеве Иссык-Куля. Ослепительное солнце. Другой мир!

С чем сравнить Иссык-Куль? Говорят, нет на свете чудесней озера, чем это. Много выдавший на своём веку замечательный русский географ-путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский был потрясён, очутившись на берегу Иссык-Куля.

«Трудно себе вообразить что-нибудь грандиознее ландшафта, представляющегося путешественнику с Кунгея через озеро на Небесный хребет, — писал географ. — Тёмносиняя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым цветом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера, но обширность водёма, который занимает поверхность, в пять раз превосходящую площадь Женевского озера, казалась мне с западной части Кунгея почти беспредельной на востоке, и ни с чем не сравнимое величие последнего плана ландшафта придаёт ему такую грандиозность, которой Женевское озеро не имеет. Вместо непосредственно поднимающихся за вдвое менее широким Женевским озером предгорий Савойских Альп, совершенно закрывающих величественную группу Монблана, за широким Иссык-Кулем простирается обозримая по крайней мере на триста вёрст своей длины непрерывная снеговая цепь Небесного хребта. Резкие очертания предгорий, тёмные расселины пересекающих передовую цепь поперечных долин — всё это смягчается лёгкой и прозрачной дымкой носящегося над озером тумана, но тем яснее, тем определительнее, во всех мельчайших подробностях своих очертаний, тем блестящее представляются на тёмноглубом фоне цветистого безоблачного средне-азиатского континентального неба облитые солнечным светом седые головы тянь-шанских исполинов».

Едем вдоль озера. Дорога после Рыбачьего идёт по самому берегу Иссык-Куля, в нескольких метрах от воды. Вдоль дороги — тополя, валуны, скалы, древние мавзолеи, искусно сложенные из камня и отвердевшей глины. Это — старые могилы богатых кочевников-киргизов.

— Скажите, пожалуйста! — восклицает Ясыза. — Для живых — войлочные юрты, а для покойников строили каменные дворцы.

По озеру перекачиваются большие волны, и на волнах раскачиваются теплоходы, буксиры, рыбацьи шхуны. Здесь часто бушуют ветры.

Мираб напевает. Это — дунганская песня о Ленине. Плавно льётся красивая мелодия.

Ночью над тёмной землёй вдруг заря занялась и горит.
«Что за проблеск волшебный такой?» — поднимаюсь, народ говорит.
Ветры бушуют, дожди поливают, но всё разгорается свет.
Ленин смелее и ярче солнца! Для Ленина ночи нет!

Теперь наша машина поднимается вверх, уходит всё дальше и дальше от воды. Ясыз поёт. Он несколько раз повторяет приём, возвращается к началу, песня кажется бесконечной. Наш попутчик, инструктор райкома партии, которому мы предоставили свободное место в машине, спрашивает Ясызу:

— Чья это песня?

— Народная, — уверенно отвечает мираб.

— Она стала народной... Но кто её написал?

— Народ написал!

— В «Дейшене» вы познакомитесь с автором. Эту песню написал колхозник Алиев.

— Да ну? — удивлён Ясыза. — Какой это Алиев? Животновод?

— Он самый...

— Разве он поэт?

— «Гот, кто поселился на Иссык-Куле, становится поэтом!», — отвечает партработник киргизской поговоркой.

...Машина останавливается, мы выходим. Бронзовый орёл застыл в полёте над гранитной скалой. Крылья раскинуты, орёл несёт в клюве оливковую ветвь. По русскому обычаю Ясыза снимает шапку, прежде чем войти в ограду. Осень, клумбы почернели. Но букетами свежих цветов покрыта могила.

Пржевальский был в провинции Ганьсу во время дунганского восстания. Его ощущение было всецело на стороне восставших. С гневом писал этот передовой русский человек о том, как расправлялись с мирным населением карателей, вооружённые английскими винтовками.

Могила Пржевальского — высоко над озером. Внизу под горой портовая разноголосица — скрипят краны, гудят буксиры, командуют люди.

Пржевальск — город-парк. Прямые улицы-аллеи обсажены высокими тополями. Кажется, что уходят деревья бесконечными линиями к снежным вершинам. Проезжаем через город без остановки. А за городом снова тополя конвоируют нас до самого Ирдыка. Если смотреть от перевалов Тянь-Шаня, то это первое селение дунган на русской земле.

Теперь здесь колхоз «Дейшен». Селение старинное — напоминают об этом огромные деревья, высокие дувалы вокруг фанз.

— Старина! — Ясыза критически осматривает фанзы. — Маловато новых построек...

В Ирдыке не много новых строений. Старые дома прочны, полутораметровые стены жаль ломать, поэтому колхозники ограничиваются перделкой внутренних помещений.

Вот и фанза колхозника Алиева, песню которого пел Ясыза. Алиева нет дома. Нас встречает его сын Фарбу — директор местной школы. Алиев-старик уехал с женой погостить к старшему сыну — врачу.

— Они часто ездят туда — ввучат поняичить. Рядом тут, всего сорок километров! Поехали на «москвиче».

Алиев, как и многие другие колхозники в «Дейшене», недавно обзавёлся легкой машиной.

— Первое время, — рассказывает Фарбу, — мать боялась ездить с ним: «Куда тебе, старый? Убьёшь!». А теперь сама просит отвезти её к внучатам...

Фанза Алиевых построена лет шестьдесят тому назад. Это настоящая крепость:

стены широкие, окна маленькие, как бойницы, высокий потолок держится на могучих стволах тянь-шанской ели. Потолок не связан со стенами — так строили в Китае на случай землетрясения.

Фанза делится на две половины: в одной — европейская мебель, современные картины, книжные шкафы, а в старой — каны со множеством цветастых ковров, подушек, одеял и кованных сундуков. Двор разделён высоким дувалом на несколько частей: маленький гараж, сад, огород и загон для скота. Мне непонятно, почему во двор Алиевых забрела колхозная отара — я насчитал более семидесяти овец.

— Это наши, собственные! — говорит Фарбу. — Ни трудовни получили...

— Значит, хватит продуктов до возвращения отца? — вспомнил Ясыза свою шутку по поводу пяти тонн риса.

Фарбу Алиев выглядит совсем юношей, хотя ему уже больше тридцати лет. Он отлично говорит по-русски — восемь лет прожил в Ленинграде, там учился в школе для детей народов Востока, а позже окончил среднеазиатский государственный университет. Фарбу предложили остаться в аспирантуре, но молодой учитель химии вернулся в свой колхоз. Не пришлось ему тогда учить ребят: началась война. Алиев сражался на Волховском фронте, был тяжело ранен, пролежал в госпитале больше года. Рана в лёгком вызвала туберкулёзный процесс: «Думал, останусь инвалидом, но у нас, на Иссык-Куле, знаете, какой воздух? А санатории какие!». Вернулся Фарбу из здравницы окрепшим, работоспособным. Назначили его директором школы в Ирдык-ке. В школе семнадцать учителей — дунгане, русские, уйгуры. Школа большая, просторная — после войны построили ещё один корпус, теперь приступают к постройке третьего. Вокруг школы большой сад, цветники.

— Приезжайте отдохнуть, у нас лучше, чем в Ялте! — приглашает Фарбу.

Фанза заполняется колхозниками. Узнав о приезде гостей, приходят соседи: учителя, врачи, полеводы. Много у Фарбу друзей.

— Знакомьтесь, Лосаза Мада, — представляет Фарбу одного из них. — Мой фронт-овой товарищ, разведчик. В его хозяйстве был автомат, гранаты. А теперь выращивает цзинь-хуа — золотые цветы!

Производство колхоза «Дейшен» смешанное: животноводство, лекарственные маки, сады и, разумеется, пшеница. Главное в хозяйстве — лекарственные маки.

Это — древняя, доисторическая культура. Учёные образно называют её «седой», имея в виду и возраст, и серебристый отлив нежных лепестков. Много десятилетий только одни дунгане занимались разведением мака. Ныне на Иссык-Куле во многих колхозах выращивают это растение. И какие снимают урожаи!

— Я рассказывал в Китае о наших урожаях — не верили крестьяне, — говорит Мада.

Мада побывал на родине своих предков. Воин-освободитель прошёл славный путь: сражался на Кольском полуострове, гнал врага до «края земли» — так называли солдаты угрюмую скалу Муста-Тантури, срывающуюся отвесным трёхсотметровым обрывом в холодное Баренцево море. А позже участвовал в легендарном походе через Большой Хинган. Освобождал китайскую землю.

О многом может рассказать смуглолицый юноша с выправкой гвардейца. Он видел разорённый, обнищавший Китай. Жалкие делянки мака, чахлый хлопок.

— Удивляются, что у нас такие урожаи. Чему тут удивляться? У нас машины, минеральное удобрение. Нашим колхозникам помогают учёные, да и в самих колхозах есть агрономы... А там? Деревянный плуг, допотопная соха!

С болью в сердце смотрел советский воин на людей, одетых в рваную мешковину. Горько стало ему, когда крестьяне бросились врассыпную, услышав человеческий голос из походного радиоприёмника. «Там чёрт!» — кричали испуганные люди.

— Плохо жили в Китае! — вздыхает Мада. — Я им говорю, что придёт время, и у них всё наладится, — не верят: «Сто лет нужно, не меньше!».

— У них теперь один год можно считать за десять, — говорит Ясыза. — Думаешь, отец твой не ходил в мешковине? — обращается он к Фарбу. — Ходил! И не так уж давно... А теперь к сыну-врачу чай пить поехал. Да ещё на своей машине! Думаешь,

мы не искали грамотного человека, когда нужно было написать прошение? А у тебя в школе семнадцать учителей, и ты говоришь: мало! И у них в Китае пойдёт дело! Пойдёт!

Ясыза спрашивает о колхозе. Верно ли, что после войны урожай мака увеличился в восемь раз? Не ослышался ли он?

— Не ослышался, — отвечает Фарбу. — Если подробнее хотите знать, поговорите лучше со специалистами.

— Разве ты живёшь не в «Дейшене»? — прищурился Ясыза.

— Я — учитель, — напоминает Фарбу.

Ясыза неумолим:

— Ну, а если ученики спросят про маки? А ты не знаешь?

— Я знаю. — Фарбу краснеет. — Но Мада знает лучше. Я только сказал — если хотите поподробнее... А дети и без того много знают о выращивании маков. Летом ведь у нас все на полях...

Ясыза критически смотрит на электрическую лампочку, висящую над каном. Лампочка то вспыхнет ярким светом, то потускнеет. Сейчас она горит в четверть накала, видны красные спирали.

— А это уже по моей специальности! — показывает на лампочку мираб. — Пойду с утра на станцию, посмотрю... Капризничает она у вас. Воды, что ли, мало?

Поздно вечером соседи расходятся. Фарбу укладывает нас в большой, предназначенной для гостей комнате. А сам идёт в свой кабинет готовиться к занятиям в школе и к лекции, которая состоится в воскресенье вечером в колхозном клубе.

Ночью поднялся буран. Ветер сорвал с вершин Тянь-Шаня тучи снега, засыпал крыши фанз, улицы, поля. Только склоны гор остались такими же зелёными, как и были. Утром Ясыза глянул в окно, поёжился от холода и похвалил свою жену:

— Предусмотрительная старуха! Шубу положила в машину...

— Шуба не понадобится, — убеждён Фарбу. — Пока завтракаем — всё переменился.

В печи ярко пылает каменный уголь. Ясыза достаёт из ящика кусок угля, рассматривает его.

— Хорошее топливо! Дорогое!

— Почти бесплатное, — сообщает Фарбу. — У нас тут недалеко пласт на поверхность выходит... Посылаем машину, двух-трёх колхозников — и топливом обеспечены.

— Богатство! — восхищён Ясыза. — Сколько ещё добра в наших горах, сколько неизведанных мест...

За воротами сигналил «москвич».

— Отец приехал!

Фарбу выбегает из фанзы, открывает ворота, и во двор вкатывает новенькая машина, забрызганная грязью. Пожилая женщина, закутанная в тёплый платок, выходит из машины. Фарбу помогает матери внести в фанзу покупки — по пути заехали в Пржевальск, накупили подарки к праздникам. Следом входит отец Фарбу — Хэ Тянь-чин Алиев. У старика, как и у многих дунган, два имени — китайское и мусульманское.

Хэ Тянь-чин — добродушный, жизнерадостный человек, бодрый и очень подвижной несмотря на свою полноту. Когда он сидит рядом с Фарбу, не скажешь, что это отец и сын: братья, да и только. Алиев-старший, как он сам говорит, «молод телом и душой» — старается не отставать от сыновей, от их сверстников. Купил машину и первым в семье научился управлять ею, потом уже сам обучил Фарбу; перечитал все книги из библиотеки сына; участвует в колхозных шахматных турнирах; не пропустит ни одной кинокартины. Всем говорит, что давно уже не пишет стихов, а всё же был недавно пойман с поличным: Фарбу нашёл тетрадку, заполненную новыми стихами отца, плавными, мелодичными, как та песня о Ленине, которую пел в машине Ясыза.

Хэ Тянь-чин встречает Ясызу, как родного: они не раз занимали два соседних кресла во Фрунзе на колхозных съездах. Старые знакомые прикладывают руки к сердцу, церемонно раскланиваются, стараясь оказать друг другу как можно больше почестей.

— Как семья, как Милянфан? — спрашивает Хэ Тянь-чин.

— Живёт Милянфан! — неспеша, отвечает Ясыза. — Рис растёт, плов дымится... Живём хорошо, будем жить ещё лучше!

— Это входит и в наши планы, дорогой аксакал! — говорит Хэ Тянь-чин.

Хозяин угощает нас горячими лепёшками, вкусной варёной редькой, приправленной ароматным дунганским уксусом, секрет изготовления которого знают далеко не в каждой семье.

Ясыза хвалит:

— Хороший уксус! Не умеет молодёжь делать такой, хоть и знает химию...

— В мой огород камешек! — смеётся Фарбу и рассказывает отцу о вчерашней беседе.

Алиев-старший поддерживает Ясызу:

— Верно, аксакал! Учитель в колхозной школе должен всё знать... Фарбу долго жил в городе. В Ленинграде маки не сеют. Он много знает такого, чего мы не знаем. Но пусть не забывает и то, что ему известно с детства.

Прав оказался Фарбу: пока мы завтракали, погода разгулялась.

Тучи уплыли за шатры Тянь-Шаня, ветер утих.

Фарбу уезжает в школу. Хэ Тянь-чину нужно быть на ферме. За нами приходит Мада. И, как мы условились вчера, отправляемся в первую очередь на гидростанцию.

Солнце уже согнало снег с крыш. Бегут быстрые ручейки, вливаются в полноводные арыки. Снег сияет, искрится на солнце. Небо — густосинее, словно в июле.

Фанза Алиевых стоит на краю села. Дальше — поле: просторное, холмистое. Оно простирается до самых гор.

— Хороши наши места? — спрашивает Мада и отвечает себе: — Очень хороши, не найти лучше на всей земле... А я ведь поездил, повидал свет...

— А чем хуже Милянфан? — обижен Ясыза.

— Не бывал в Милянфане, — признаётся Мада. — Посмотрели бы вы, какое это поле красивое, когда маки цветут. Снежнобелое. А по краям поля — зелень, цветы яркие-яркие. Каждый холм похож на клумбу: альпийские травы! В глазах рябит от красок...

Да, хороши эти места. Особенно летом, когда бутоны распрямляют свои большие серебристые лепестки, чуть тронутые сизоватой пылью. У нас с представлением о маке связан красный цвет. Но лекарственный мак, который выращивают в дунганском колхозе, белый. И семена его белые, хотя на вкус они такие же, как чёрные семена красного мака. Есть неподалёку от колхоза место — говорят, единственное на земном шаре, — где можно любоваться во время цветения маков причудливой игрой красок. Всеми цветами радуги сияют деланки зонально-опытной станции в Пржевальске. Там цветут маки голубые и розовые, синие и оранжевые, белые с красным глазком и красные с серебристой окантовкой. Тысячу сто сортов — мировую коллекцию — собрали учёные, чтобы помочь колхозам создать самый лучший вид этого растения. Детище советской селекции, тянь-шанский лекарственный мак, созданный на основе многолетних опытов, не имеет равных себе.

— Вот мой участок! — остановился Мада. — До самой речки тянется. Я ещё был писнером, когда впервые начал собирать опий. Многое с тех пор изменилось... Другие кусты! Раньше на кусте созревала одна коробочка. А теперь — больше тридцати.

— Как ветвистая пшеница? — сравнивает Ясыза.

— Пожалуй! — соглашается Мада. — Зайдём в лабораторию или ко мне домой — покажу наши погремушки. И коробочки на новом кусте стали вдвое крупнее...

Лекарственные маки дают очень ценный дорогостоящий продукт. Три тысячи видов лекарств готовят из опия.

— Вам хорошо, — шутит Ясыза. — Весь урожай колхоза можно увезти на одном «москвиче». Это тебе не сто тысяч пудов рису...

— Мал золотник... — отвечает Мада. — А трудов сколько нужно? Теперь легче: опыление производит авиация, культивацию — машины, коробочки убираем комбайнами. А вот опий берём руками! На каждом гектаре до четырёхсот тысяч коробочек. Каждую нужно надрезать, с каждой снять опий. Тут механизация ещё впереди.

В машинном зале гидростанции нас встречает дежурный механик Айша Юсупова. Колхозница одета в опрятный синий комбинезон, ладно облегающий её стройную фигуру. Айша тут полновластная хозяйка.

— Дунганка-электрик? — Ясыза удивлён и обрадован. — Первый раз вижу...

— У нас все электрики — женщины. Я первая окончила курсы в городе. А пока строили станцию, ещё две девушки вернулись из электротехнической школы.

Ясыза просит, чтобы ему показали хозяйство станции. Айша отговаривает старика:

— Гора крутая. Скользко...

— Не боюсь крутой горы! — заупрямился Ясыза. — Это вот у некоторых приезжих, — выразительный кивок в мою сторону, — одышка. Пройдут несколько шагов и станут: «Тяжело, две тысячи метров над уровнем моря!». А я пока что не считаю, сколько над морем, сколько над рекой... Люблю свежий воздух!

Всерьёз решил Ясыза заняться станцией. Оставляем его на попечении Айши. Возвращаемся с Мада в селение.

Мада недавно перестроил свою фанзу. Комнаты просторные, полы крашенные — городская квартира. Только оконца в широкой стене выдают строение старого типа. Дом у Мады и впрямь похож на лабораторию: на стенах, на шкафу пучки мака, коробочки, засушенные цветы. Видно, что любит человек своё дело. Бригадиром Мада стал недавно. Был он рядовым колхозником, работал на ферме, а потом попросился в полеводческую бригаду: решил выращивать хуа-хуа-за — лекарственный мак. Изучал эту культуру в поле, много читал о ней. Обо всём новом в агротехнике — учёные ведь рядом, в Пржевальске! — узнавал первым и тотчас же старался применить на своём участке. Колхозники оценили способности и трудолюбие своего неумолимого товарища — Маду назначили бригадиром.

— Вот они, погремушки! — бригадир достаёт со шкафа высохший куст, усеянный коробочками.

Коробочки крупные, чуть продолговатые. Потрясёшь — гремят в них семена.

На кусте двадцать семь коробочек.

— А на многих кустах больше тридцати. Потрудились наши учёные! С каждым годом мы всё больше собираем опий-сырца.

Коробочки исполосованы глубокими потемневшими шрамами.

— Это самое сложное дело — собирать опий, — говорит Мада. — Большая сноровка нужна!

Опий-сырец содержится в стенках коробочек в виде млечного сока. Чтобы добыть его, нужно после полудня, когда растение согрето солнцем, сделать глубокий надрез. Млечный сок тотчас же выступает, застывая янтарными бусинками. А на другое утро, едва лишь взойдёт солнце, сборщики выходят в поле. Сбор должен быть закончен до десяти часов утра — иначе пропадёт, улетучится этот ценнейший продукт.

— Теперь представьте себе: на каждом гектаре до четырёхсот тысяч таких коробочек! — трясёт «погремушкой» бригадир. — Судите сами, каким ловким должен быть сборщик.

Мада достаёт из шкафа маленький полукруглый ножик с деревянной ручкой и тязкую же лопатку.

— Наши «хирурги» этим инструментом делают отерацию. Думали раньше, что нет ничего хитрого в этом инструменте: такими ножами и лопатками наши прадеды собирали опий, такими, дескать, и внуки будут собирать. А новый, продуктивный сорт мака заставил подумать о другом инструменте...

Колхозник быстрым движением проводит по коробочке ножиком.

— Так делается надрез. Раз — и сок выступил. Бывало раньше два надреза сделал, и коробочка больше не выделяет сока. Сейчас до восьми раз собираем. А сок течёт и течёт... Мы по-новому работаем. На старой коробочке надрезы делали как попало — чаще всего снизу. А что получалось? Все сосуды открывались, сок вытекал, много капель падало на землю. Учёные посоветовали нам по-другому делать: первый надрез на самом верху, второй пониже, потом ещё и ещё ниже... Растение сразу не истекает соком, постепенно накапливает опий...

Увлёкся бригадир, с оживлением рассказывает о тонкостях своего искусства.

— Дедовский инструмент выбросили. Видите — теперь три параллельных лезвия на ноже. Это удобно! Одно движение — три надреза. И лопатка удобная, тонкая: всё соскоблит с коробочки, сотой доли грамма не останется.

Мада бережно укладывает инструмент в коробочку из-под табака. Достает белый лист бумаги, свёрнутый в трубку, и разворачивает его.

— Когда-то в школе я хорошо рисовал... Решил и сейчас попробовать.

На красочном плакате изображены все стадии сбора опия. Чувствуется, что рисовал наблюдательный человек, который сумел подметить характерные движения сборщиков, их сноровку.

— Думаю, пригодится такой плакат в школе. Пусть ребята готовятся!

А где же Ясыза? Нет и нет старика. Не угнаться за ним! То, говорят, видели его в правлении колхоза, то ушёл к Ноншанло — бригадиру садоводов, то ещё куда-то... Нашёлся Ясыза на ферме. Стоит и любуется рослым красавцем-скакуном.

— Тулпар! — приговаривает Ясыза. — Сказочный конь! Нет, далеко до тебя моей «исторической личности»!

— А ты молодеешь, караке! — смеётся Хэ Тянь-чин, заведующий фермой. — Это юноша должен мечтать о скакунах. Не нам с тобой призы выигрывать...

— Что ж, хорошо, когда человек в твои годы юношей себя считает! — отвечает шуткой Ясыза. — Ты растишь таких тулпаров, значит, ты молод душой. Поэт!

Старики стоят рядом, очень довольные друг другом, и любуются конями.

— А у вас в Чуйской долине, говорят, этой весной кормили коней самолёты? Расскажи, аксакал, — просит заведующий фермой. — Слухом земля полнится...

Ясыза вспоминает о недавнем событии, взбудоражившем всю Чуйскую долину.

Небызалая зима стояла в Киргизии и в Казахстане — снежная, суровая. На зимних выпасах, находящихся в глубокой впадине среди гряды Казахского Ала-тау, стадам грозила бескормица: снег глубокий — ни кони, ни овцы не могли добраться до травы. А запасы сена, накопленного на зиму, иссякли. Как доставить корм? Дорог нет, добраться на выпасы невозможно даже на лыжах. Ясыза сокрушался, жаль было коней, принадлежавших соседним колхозам.

И вот пришла помощь. Днём и ночью над Милянфаном летали самолёты — тяжёлые, двухмоторные. Самолёты возили на выпаса сено, овёс, силосные корма. Возвращались с необычными пассажирами — молодняком, ослабевшими конями. По двенадцать лошадей вмещалось в каждый самолёт. Ясыза, возивший на аэродром сено (подарок милянфановцев соседним киргизским и казахским колхозам), заглянул в одну машину и удивился: до чего же заботливый народ эти лётчики! Пол кабины устлан соломой, к поднятым откидным скамейкам привязаны кормушки.

— Плацкартный вагон с буфетом! — шутил Салих Шимов, лётчик-дунганин, обычно совершающий пассажирские рейсы из Фрунзе в Москву, а в те дни ставший, как и его товарищи, «крылатым чабаном».

До тех пор гудели над Милянфаном самолёты, пока не обеспечили весь скот в горах кормами.

— Невиданное дело. В какой ещё стране государственная авиация станет спасать крестьянское добро? — закончил Ясыза свой рассказ.

Возвращаемся другой дорогой: на юге метели, всё занесло снегом. Мы огнём Иссык-Куль с севера.

Ранние зимние сумерки расцвечены праздничными огнями. Огней много. Гирляндами лампочек, совсем как в городе, украшены клубы, школы и другие общественные здания колхозов — дунганских, киргизских, русских. Огни отражаются в воде, сияют в горах, приветливо светятся в окнах одиноких путевых сторожек, в парках домов отдыха и санаториев. Огни и огни. Этот свет напоминает, что закончилась сплошная электрификация Иссык-Кульской области, кольцом лежащей вокруг озера. Пятисоткилометровое кольцо электрических огней.

Глянешь на озеро — оно словно в золотой оправе.

Пройдёт несколько лет, и наденет Иссык-Куль другую оправу — зелёную. Смелое дело задумали колхозники, смелое и разумное: создать зелёную зону по всему побережью горного моря.

Это будет пятисоткилометровый пояс, шириной от пятисот метров до двух километров. Опяшет он Иссык-Куль массивами тьянь-шанской ели и лиственницы, дуба и берёзы, клёна и тополя. Войдут в этот пояс и плодовые деревья — яблоня, орех, миндаль, груша.

— Сады встанут вдоль дорог! — радуется Ясыза и вспоминает о дикорастущих плодовых лесах на юге Киргизии. Там на сотни километров протянулись смешанные заросли ореха и миндаля, яблони и алычи, фисташки и шиповника. Даже в самую знойную пору ферганского лета прохладно в зелёном сумраке «плодовой тайги». Чудо природы, бог весть когда возникшее в Ферганской долине, будет сотворено руками человека здесь, в горах Тянь-Шаня.

А когда-то здесь, на берегах Иссык-Куля, родился другой план — план, продиктованный отчаянием. Восставшие киргизы и дунгане ушли в горы, спасаясь от царских жандармов. Затравленные люди задумали сбросить с тысячеметровой высоты воды гигантского озера, обрушить их, как проклятие, на преследователей... Легенда? Может быть.

— А теперь эти же люди украшают свой Иссык-Куль. Берегут, лелеют землю...

Машина врывается в темноту Боомского ущелья, и снова воздушные потоки бьют по кузову тугими волнами. Убаюканный, сладко дремлет Ясыза, склонившись к плечу водителя. Где-то рядом, передвигая камни, шумят невидимые воды Чу. Потом шум утихает, ущелье остаётся позади, а перед нами сияет огнями Чуйская долина. Мы не будим Ясызу — пусть проснётся у ворот своей фанзы.

— Хитрые какие! — ворчит старик, когда вдаль показались огни Милянфана. — Думали, проспит Ясыза свой колхоз? Как же!

Милянфан встречает нас праздничной иллюминацией, весёлой музыкой, льющейся из громких уличных рупоров. Ясыза смотрит на часы и говорит самому себе:

— Молодец, караке! Вернулся домой к празднику...

Клуб освещён гирляндами лампочек, затейливыми китайскими фонариками.

— Зайдём? — предлагает Ясыза.

Людно в клубе, весело. Много молодёжи, детей, стариков. Женщины и девушки в нарядных платьях. И как тут не вспомнить рассказы Ясызы о первых колхозных «собраниях наоборот»? По мусульманскому обычаю женщины должны держаться всегда в стороне, не попадаться на глаза мужчинам. Дунганка хоть и не закрывала лица, но не смела появиться в общественном месте. Поэтому на первых колхозных собраниях женщины сидели спиной к президиуму. Так они и голосовали, не поворачиваясь...

Людно сегодня в клубе. Праздничный концерт в разгаре. На сцене колхозный ансамбль. Музыканты играют на разнострунных китайских скрипках — михузе, эрхузе, сихузе; на санчае, напоминающей банджо; на вазе — трещётке; на новеньких, недавно купленных аккордесах, сияющих никелем. Молодёжь исполняет старинный танец. Над головами танцующих вьётся когтистый бумажный дракон. Жадная пасть широко раскрыта. Дракон кружит, грозит. Но вот юноша-вэин, встреченный одобрительными возгласами, разрубает чудовище...

Ночь. Над освещённым Милянфаном звучат молодые голоса.

— Хороша дунганская песня? — спрашивает Ясыза.

Юноши и девушки, обогнавшие нас, поют весёлую «Урожайную» из кинофильма «Кубанские казаки».



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. МЕЛЬНИКОВ, Л. ЧЕРНАЯ

★

ПОД СЕНЬЮ ДОЛЛАРА, ПОД ЗНАКОМ СВАСТИКИ

Германский вопрос — один из самых жгучих вопросов современности — приобрёл в настоящее время исключительную остроту. Воссоединение Германии в единое демократическое и миролюбивое государство или сохранение раскола Германии и возрождение фашизма и агрессии в центре Европы — такова дилемма, вставшая сейчас перед Германией и перед всей Европой.

Ноты Советского правительства правительствам США, Великобритании и Франции о мирном договоре с Германией показывают немецкому народу и всем европейским народам демократический путь разрешения германского вопроса. Эти исторические документы стали знаменем борьбы народов за сохранение всеобщего мира, за превращение Германии в единую и миролюбивую страну.

Демократические силы всего мира, в том числе и немецкий народ, отвергают политику США, которая ведёт к возрождению германского милитаризма и реваншизма. Итоги семилетнего хозяйничанья американских монополий на западногерманской территории воочию показали, какая огромная опасность грозит ныне мирному существованию народов. Задача этой статьи — показать, как американские монополисты вопреки воле подавляющего большинства немецкого народа вновь пытаются возродить в Западной Германии чёрные силы агрессии и фашизма.

Одно заседание...

7—8 февраля этого года состоялось заседание боннского бундестага, посвящённое ремилитаризации Западной Германии. Глава правительства Аденауэр выступил на нём с длинной речью. Он перечислил все свои «заслуги» в деле ремилитаризации и мимоходом ругнул «опозицию» — правых социалистов, которые якобы вставляют ему палки в колёса. В ответ на это один из лидеров «опозиции», правый социалист Карло Шмид разразился пространном монологом, неudelикатно намекнув на то, что Аденауэр, мол, впал в старческий маразм и недостоин стоять у руля боннского рейха. Потом выступали депутаты рангом пониже и также обменивались колкостями. Аденауэр и Шмид брали слово по второму и третьему разу...

Официальный стенографический отчёт об этом заседании пестрел, как обычно, множеством скобок. В них значилось: «шум», «сильный шум», «выкрики», «громкие выкрики», «реплики», «язвительные реплики», «звонки председателя», «настойчивые звонки председателя»... Одним словом, на первый взгляд могло показаться, что в течение двадцати часов между депутатами в западногерманском бундестаге проходила вполне «нормальная» парламентская перепалка. Но на самом деле всё обстояло совсем иначе. Шумные речи, язвительные реплики и прочая мишура, обычная для буржуазных политиканов, на этот раз имела целью затушевать публичное провозглашение агрессивной программы западногерманского империализма.

По существу никаких прений и дебатов в Бонне не было. Все буржуазные депутаты боннского парламента, вне зависимости от того, как они себя именуют,—

христианскими демократами или представителями нефашистской «имперской партии», «независимыми» или «социалистами», — выступали с единой, предельно циничной программой полного возрождения фашизма и агрессии...

Именно таков был тон так называемых прений в бундестаге. А тон, как известно, делает музыку. И если уж речь зашла о музыке, то следует сказать, что всё заседание бундестага, во время которого провозглашалась открытая программа вооружения Западной Германии, прошло под треск старого, хорошо знакомого всему миру, фашистского военного барабана. На этом барабане играли каждый свою партию: и правый социалист — предатель Карло Шмид, и престарелый агент германского капитала Конрад Аденауэр, и один из претендентов на пост послевоенного фюрера Западной Германии Альфред Лоринц.

На европейскую буржуазную общественность треск боннского барабана произвёл впечатление. Опытные буржуазные политики сразу поняли, что под вывеской обычных парламентских дебатов им преподнесли новый план экспансии на всех фронтах — военном, экономическом и политическом.

«Прения в боннском бундестаге, — писал английский буржуазный журнал «Экономист», — являются откровенным вызовом оккупирующим державам». «Мы предсказываем, — отмечала газета «Рейнольдс ньюс», — что если этот неразумный план (план перевооружения Западной Германии. — Д. М. и Л. Ч.) будет осуществлён, английский народ вновь проклянет в горе и муках этот акт безумия».

Встревожилась даже часть американской прессы. «Объявленная сейчас Бонном программа, — писал журнал «Нейшн», — уже достаточно серьёзна для того, чтобы заставить призадуматься всех, кроме безрассудных энтузиастов ремилитаризации Германии».

Английский журналист Вернер Кноп, посетивший в Западной Германии митинг, организованный генералом Ремером, внезапно «прозрел». «Прослушав речь Ремера и других выступавших, — писал Кноп, — я вдруг перестал понимать, где нахожусь: в послевоенной Германии или в гитлеровском рейхе?!» Если перевести комментарии западноевропейской прессы в связи с заседанием боннского бундестага с дипломатического на обычный язык, то они зазвучат почти так же, как признание Вернера Кнопа.

Наигранное изумление некоторых реакционных западноевропейских органов печати перед ростом милитаризма и реваншизма в боннском рейхе можно сравнить лишь с наигранным изумлением западноевропейских политиков накануне второй мировой войны. В то время, как известно, они также притворялись простаками: и подобно наивной девочке из старой сказки вопрошали германских агрессоров: «Бабушка, зачем у тебя такие большие руки?», «Бабушка, зачем у тебя такие длинные ноги?», «Бабушка, зачем у тебя такие острые зубы?».

Речи западногерманских милитаристов в боннском бундестаге, во всеуслышание провозгласивших программу реваншизма и агрессии, не случайное явление. За семь лет, прошедших со дня окончания войны, американская политика покровительства германскому милитаризму дала свои плоды. В Западной Германии вновь подняли голову реваншистские политики, агрессивные генералы, крупные промышленники, мечтающие о гегемонии на мировых рынках. Над Западной Европой благодаря покровительству американских магнатов вновь нависла зловещая тень германской агрессии. Уже сейчас во всех областях — экономической, военной, идеологической — можно наблюдать ростки этой агрессии, вызревающей под сенью доллара.

На долларовой фундаменте.

Рассказывают, что в первую мировую войну англичане во время одного из боёв захватили у немцев полевую пушку и решили установить её вместо памятника на могиле солдат, погибших в этом бою. Каково же было их изумление, когда они увидели фабричную марку изготовившей её фирмы!.. Это была английская оружейная фирма «Виккерс»!..

Фирма «Виккерс», снабжавшая пушками германских милитаристов, которые никогда не скрывали своих намерений обрезать когти британскому льву, отнюдь не исключение в ряду десятков и сотен монополистических фирм. Все эти крупные монополии, и прежде всего американские, на протяжении десятилетий вооружали немецких претендентов на мировое господство.

Сразу же после первой мировой войны, на словах проклиная «германских шовинистов», главари американского бизнеса выделили им миллиарды долларов для восстановления их военной промышленности и разбойничьей армии, для создания фашистского аппарата.

С 1924 по 1930 год иностранные банки предоставили немецким монополиям займы более чем на тридцать миллиардов долларов. Таким образом, «успехи», достигнутые германскими милитаристами в деле перевооружения Германии, были прямым результатом сговора между империалистами различных стран, сговора, имевшего своей целью сохранить германских милитаристов в качестве ударной силы мировой реакции.

Часть гигантских сумм, выданных монополистами США промышленным магнатам Германии, перекочёвывала из их сейфов в руки прусской военщины, в кассы всевозможных милитаристских организаций, а впоследствии в личные фонды Гитлера, Геббельса, Геринга. Американские деньги помогли немецким милитаристам создать «чёрный рейхсвер», отряды которого расправлялись с демократическим движением Германии. Впоследствии на долларовом фундаменте выросла и агрессивная фашистская армия, штурмовые отряды, банды эсэсовцев и прочие фашистские организации для зверской «тотальной войны» германских милитаристов против всех и вся...

Если заглянуть за кулисы американской политики в Западной Германии после второй мировой войны, то окажется, что и она в значительной степени определяется интересами американско-германского «братства бизнеса». Основа этой политики — восстановление немецких концернов под американским контролем и подготовка их к новой войне.

Благодаря заботам американских покровителей западногерманских монополий вновь расцвела химическая империя «И. Г. Фарбениндустри». Восстановил свои позиции и «Стальной трест». Большие суммы на возрождение были отпущены пушечному концерну Круппа. Полностью восстановлены концерн Клекнера, фирмы Маннесман, Хеншель, а также старые фашистские банки.

Западногерманские бизнесмены не остались в долгу и занялись успешной распродажей национального достояния. По условиям секретного протокола, подписанного в ноябре 1949 года Аденауэром, американские монополии получили право на вложение более половины основного капитала в такие ведущие предприятия военной индустрии как «Аугуст Тиссен-Хютте», «Дейче Эдельсшальверке», «Рурштал А. Г.», «Бохумер ферейн А. Г.», «Гуссшальверке». Американский концерн «Стандарт ойл» скупил акции крупнейших предприятий «Вакуум Эрдойль А. Г.» и «Винтерсхалл А. Г.», американская фирма «Дюпои» захватила в свои руки германский химический концерн «Шеринг», американская «Международная телеграфная компания» завладела авиационными заводами «Фокке-Вульф». Форд захватил «Байрише моторенверке» и заводы «Адлер», «Дженерал моторс» — автомобильные заводы Опделя и т. д.

По оценке «Белой книги», выпущенной недавно Национальным советом Национального фронта демократической Германии, вложения американских капиталов в западногерманскую промышленность достигли уже почти трёх миллиардов долларов.

Субсидии и кредиты американских миллиардеров помогли германским угольным, стальным, пушечным королям не только вернуть свои старые позиции, восстановить прежние концерны, но и наладить военное производство в Западной Германии. Но это ещё не всё. Западногерманские милитаристы, так же как и после первой мировой войны, щедро финансируют организации агрессивной военщины, шовинистические банды, реваншистские молодёжные союзы — словом, весь тот неофашистский сброд, который должен привести Западную Германию к третьей мировой

войне... Так же как и после первой мировой войны, за спиной германского народа американские, английские и французские империалисты подкармливают и вооружают германских милитаристов, которые должны, по их замыслу, стать во главе нового «священного союза» агрессоров.

Но опыт возникновения второй мировой войны показывает, что германские империалисты не удовлетворяются лишь теми целями, которые им предписывают их заокеанские и европейские покровители. Германские хищники, напавшие в своё время на Западную Европу и объявившие войну всем свободолюбивым народам мира, готовят уже сейчас свои «собственные» планы будущей агрессии. Вскормленные на американские доллары и английские фунты стерлингов, они возрождают все свои старые фашистские организации и старую фашистскую идеологию, предписывающую добиться окончательного «реванша» за счёт тех самых стран, правители которых дважды помогли им возродить свою мощь на обломках прежних империй.

Коричневая паутина германских монополий.

Связи банковских и промышленных монополий какой-либо крупной капиталистической страны с филиалами и контрагентами этих монополий в других странах — исключительно сложная и запутанная вещь. Если попытаться изобразить их графически, то придётся нарисовать густую сеть толстых и тонких линий, тянущихся в самых различных направлениях. Экономическое проникновение германских монополий в другие капиталистические страны проходит по сотням и тысячам каналов самой различной протяжённости, ширины и глубины. Многие из этих каналов были созданы ещё в начальный период развития германского империализма, другие возникли в промежутке между первой и второй мировыми войнами, третьи — в самый период войны и т. д.

Лишь после войны, в результате того, что открылись архивы концерна «Хейнкель», выяснилось, что этот концерн составляет единый картель с американской фирмой «Америкэн хайэлсэл» и некоей швейцарской химической компанией, хотя формально они всегда выступали совершенно самостоятельно. Во время войны благодаря участию в картеле «нейтральной» швейцарской компании отношения между концерном «Хейнкель» и фирмой «Америкэн хайэлсэл» не только не прекращались, но в известной степени даже активизировались. Немецкий концерн регулярно получал часть прибылей, вырученных американской фирмой, и в свою очередь снабжал последнюю соответствующими средствами и материалами. И, что удивительнее всего, после разоблачения преступных связей между этими тремя фирмами отношения между ними не только не были прекращены, но, наоборот, укрепились, так как были легализованы. Трудно сказать, сколько существовало и существует ещё подобных же соглашений, не затронутых ни кризисами, ни военными действиями, ни разгромом фашистской империи.

После окончания войны все помыслы немецких магнатов были направлены на то, чтобы укрепить прежние связи и, воспользовавшись старыми каналами, восстановить своё влияние там, где это только было возможно. Пользуясь поддержкой своих американских «коллег», они за последние годы сумели почти полностью возродить свою былую мощь, и западногерманские тозари и капиталы начали двигаться по прежним направлениям. Поскольку за спиной магнатов Рура стали магнаты Уолл-стрита, это продвижение стало принимать для монополистов других капиталистических стран всё более грозный характер. Так, например, английская химическая монополия «Эмпириэл кемикэл индастриес», ведя конкурентную борьбу с «И.Г. Фарбениндустри», сталкивается не только с этой немецкой монополией, но и с американскими Дюпонами, которым ныне принадлежит большой пакет акций «И. Г.». То же самое относится к электротехническому тресту «АЭГ», фактически перешедшему в руки «Дженерал электрик». И здесь столкновение «АЭГ» с электротехническими фирмами других западноевропейских стран является выражением наступления американского капитала на эти фирмы.

Ещё сорок лет назад один из столпов германского империализма Гуго Стиннес-старший в разговоре с вождём «пангерманцев» Классом сказал, что самое важное для подготовки войны — это медленно, но верно завоевывать экономические позиции в потенциально враждебных странах. Он хвастался, что всё больше и больше овладевает снабжением Италии углем, незаметно приобретает крепкие позиции в рудной промышленности Швеции и Испании, постепенно обосновывается в Нормандии и даже приобрёл 51 процент акций наиболее важных угольных копей в Уэльсе, вследствие чего, по его собственным словам, «немец распоряжается большинством копей, поставляющих уголь британскому адмиралтейству». С тех пор экономическое проникновение стало важнейшим средством подготовки германских империалистов к войне.

На протяжении восьмидесятилетней истории германского империализма довольно чётко определились основные направления экономической экспансии немецких монополий. Прежде всего — это стремление насильственно воссоединить в «счастливым браке» рурский уголь и лотарингскую руду и тем самым обеспечить немецким монополиям экономическое господство в Западной Европе. С тех пор как существует германский империализм, эти планы постоянно были в центре внимания правителей Германии. Вскоре после образования Германской империи определилось и пресловутое направление «Берлин—Багдад» — стремление завоевать господствующие позиции на ближневосточных рынках. Наконец, начиная с «прыжка пантеры» (агрессивные действия немецкой канонерки «Пантера» в марокканском порту Агадир в 1908 году), немецкие плутократы стали уделять самое пристальное внимание Африке как богатейшему источнику сырья и дешёвой рабочей силы. Эти три направления экономической экспансии и в наши дни продолжают манить германских монополистов.

Путешествие Ялмара Шахта.

Летом 1951 года западногерманские газеты сообщили, что Ялмар Шахт — бывший финансовый советник Гитлера и бывший президент рейхсбанка — собирается совершить длительное путешествие. Цель путешествия и маршрут его сохранялись в строжайшей тайне. В официальном сообщении западногерманского агентства ДПА лишь указывалось, что Шахт желает «отдохнуть» и предпринимает свой вояж как «частное лицо».

Как известно, в своё время Шахту пришлось предстать перед Международным трибуналом в Нюрнберге как одному из главных военных преступников, однако американо-английские покровители уберегли его от справедливой кары, настаивая на оправдании. В бейнском рейхе Шахт снова стал «персона грата». Он является одним из авторов сепаратной денежной реформы в Западной Германии, финансовым советником Аденауэра, доверенным лицом Круппа, Клекнера и других воротил рурской тяжёлой промышленности. Снова, как после первой мировой войны, Шахт занялся финансовыми махинациями с целью быстрого возрождения агрессивных сил германского империализма.

Не удивительно поэтому, что сообщение о предстоящем длительном путешествии Ялмара Шахта сразу же привлекло к себе внимание. Финансовые органы некоторых западноевропейских стран, в том числе Англии и Голландии, даже стали гадать, куда направит свои стопы этот сподвижник Гитлера. Возобновление активной деятельности Шахта не без основания было воспринято ими как признак возрождения экспансионистских устремлений германского финансового капитала. Уже самый маршрут путешествия Шахта представлял для них немалый интерес, так как он должен был показать направление этих экспансионистских устремлений германского финансового капитала.

Путешествие Ялмара Шахта длилось восемь месяцев. Главный эксперт по финансовым вопросам Аденауэра направился в страны Ближнего и Среднего Востока. Основной целью его путешествия было разведать возможность применения

немецкого капитала в четырёх главных странах: Индонезии, Индии, Иране и Египте. Кроме того, Шахт посетил Сиам, Италию и некоторые другие страны.

Конечно, поездка Шахта является не только показателем возрождения германского империализма. Возможно, это в ещё большей степени показатель американо-английских противоречий, причём в борьбе американских монополий с английскими немецкие концерны и тресты часто выступают лишь как орудие Уолл-стрита. Но как бы то ни было — факт налицо: немецкие монополистические объединения повсюду начали наступление на английские позиции даже в «традиционных сферах» английского влияния на Ближнем и Среднем Востоке.

На турецком рынке, например, западногерманские монополисты уже завоевали одно из первых мест. Два крупных химических концерна Западной Германии «Бадише анилин унд содафабрик» в Людвигсхафене и «Фридрих Удэ А. Г.» в Дортмунде вместе с турецкими банками создали германо-турецкое акционерное общество, которое строит в Турции завод стоимостью в 50 миллионов турецких лир.

В Ливане, по сообщению ливанской газеты «Оран», владелец крупной немецкой нефтяной фирмы фон Ротенкранц заключил с ливанской нефтяной компанией сделку, по которой немецкая компания получает право на ведение работ, связанных с бурением. Правительство Трансиордании недавно заключило с западногерманской фирмой соглашение о строительстве крупного цементного завода. По сообщению израильской газеты «Ал Гамишмар», трансиорданский рынок наводнён немецкими товарами. И даже в Сингапуре, Гонконге и Малайе английские капиталисты всё более явственно ощущают натиск западногерманских монополий. Об этом с нескрываемой тревогой сообщил в начале 1952 года сингапурский корреспондент реакционной английской газеты «Дейли мейл». По его сведениям, стоимость экспорта немецких товаров в Малайе в 1951 году почти в четыре раза превзошла стоимость экспорта Западной Германии в Малайе в 1950 году.

Планы освоения „чёрного континента“.

25 марта 1951 года реакционная английская газета «Санди кристикл» опубликовала сенсационное сообщение о том, что в Бонне разработан подробный план освоения «чёрного континента» — Африки. Автором плана, по сведению газеты, был Альфред Крупп. Составление своего плана Крупп начал ещё в тюрьме, где, как известно, ему были созданы все условия для «творческой работы». Сразу же после выхода из тюрьмы, в самом начале февраля 1951 года, Крупп приступил к осуществлению разработанного им плана. Боннское правительство выделило для этой цели в его распоряжение сумму в 14 миллионов фунтов стерлингов.

По сообщению этой же газеты, план Круппа предусматривает принятие решительных мер в трёх направлениях: во-первых, увеличение штата боннской дипломатической миссии в столице Южно-Африканского союза Йоганнесбурге и пополнение его за счёт бывших сотрудников Риббентропа. Во-вторых, посылка в Южную Африку большого числа западногерманских специалистов, которые должны там выполнять такие же функции, какие выполняли специалисты Англо-иранской нефтяной компании в Иране. В-третьих, значительное увеличение расходов на рекламу немецких товаров, на подкуп южноафриканских газет и политических деятелей. Все эти меры должны сочетаться с энергичным наплывом немецкого капитала в Южную Африку.

Немецкие монополисты рьяно взялись за претворение в жизнь плана Круппа. Паровозостроительная фирма «Хэншель», авиационная компания «Хейнкель» и автомобильная компания «Аугоунион» стали инициаторами создания «Африканского объединения». Председатель этого объединения в специальном выпуске органа рурских промышленников дюссельдорфской газеты «Хандельсблат» от 22 февраля 1951 года писал: «Мы должны принять всемерное участие в решении этих африканских задач, как в научном, так и в экономическом отношении». Планы освоения «чёрного континента» были официально одобрены и боннскими правителями. Заместитель «канц-

лера» Франц Блюхер заявил в том же номере газеты, что немцам предоставляются возможности вложить капитал якобы «в экономических интересах Африки и Европы».

В гитлеровской Германии существовало несколько африканских институтов, разрабатывавших нацистские планы порабощения народов Африки. Из этих планов следовало, что Африка должна служить основной сырьевой базой и резервуаром рабочей силы для германской «расы господ». Теперь эти планы вновь вытасяны на свет. Десятки «научных» сотрудников «Африканского объединения» и других подобных же организаций в Западной Германии снова занялись «исследованиями», цель которых — обосновать претензии германского империализма на господство в Африке.

Пока же западногерманские монополисты усиленно экспортируют сюда свои товары и капиталы.

В Южно-Африканском союзе создан филиал германского автомобильного концерна «ДКВ», уже начавший сборку и выпуск машин.

Кассельская фирма «Хэншель унд зон» основала свой африканский филиал в Йоганнесбурге под названием «Хэншель энд Аш локомотив компани лимитед», который уже построил в окрестностях Йоганнесбурга крупный завод транспортных машин и паровых котлов.

«Хейнкель-флюгцейгерке» совместно с южноафриканской фирмой «Меркантиль экзекушен корпорейшн оф Саус Африка» уже закончили подготовительные работы для строительства завода автомобилей, тракторов, мотоциклов и самолётов.

«Рурхеми А. Г.», «Лургис А. Г.» и «Общество холодильных машин Линде» заняты постройкой в Южной Африке крупного завода по гидрогенизации угля. Фирма «Фольксвагенверке» (Вольфсбург) построила в Порт-Элизабет сборочный завод, который уже пущен в ход и теперь должен расширяться.

Однако было бы ошибкой полагать, что планы и действия германских монополистов ограничиваются лишь Южно-Африканским союзом. Как сообщил боннский корреспондент газеты «Дейли экспресс», в январе 1952 года немецкие промышленники подготовили план захвата новых рынков в Родезии. Оттуда щупальцы германских монополистических объединений протягиваются в бывшую немецкую колонию Танганьика и в Бельгийское Конго.

По пути фашистского „нового порядка“ в Европе.

Во время пребывания в США в марте 1952 года статс-секретарь боннского министерства иностранных дел Хальштейн заявил на одной из пресс-конференций, что под «объединением Европы» он понимает «объединение всех частей европейского континента вплоть до Урала». Так Хальштейн цинично расшифровал один из основных лозунгов современных поджигателей войны, проводящих под прикрытием болтовни об «общеевропейской» обороне сколачивание агрессивного блока в Европе.

Заявление Хальштейна, вызвавшее возмущение мировой общественности, показывает, что цели германского империализма в Европе остались неизменными. Немецкие империалисты всегда пытались создать в Европе экономический блок под руководством германских монополий, который должен был послужить предпосылкой к завоеванию политической гегемонии над европейским континентом.

Ещё в 1931 году один из руководителей концерна «И.Г.Фарбениндустри» Дуисберг в выступлении перед немецкими промышленниками так сформулировал эти планы: «Ограниченность национальной экономической территории должна быть компенсирована межнациональными территориями... Для окончательного разрешения европейской проблемы... должен быть создан тесный экономический блок от Бордо до Одессы, являющийся становым хребтом Европы». Через несколько лет после произнесения этих слов фашисты ринулись на захват Западной Европы, пытались осуществить программу, предписанную им немецкими монополистами. Претворение в жизнь этой грабительской программы фашисты назвали созданием «нового порядка» в Европе.

В последнее время те же самые планы возродились в чуть-чуть перекрашенном

виде. Они были подхвачены и поддержаны американскими империалистами, которые назначили рейнско-рурских магнатов своими глазными приказчиками в Европе. Так возник американско-боннский план объединения угольной и металлургической промышленности шести европейских стран: Франции, Италии, Западной Германии, Голландии, Бельгии и Люксембурга. Тем самым форсируется создание того «экономического блока», о котором уже давно мечтали германские промышленники.

Историческим парадоксом во всём этом является то, что план завоевания гегемонии в Западной Европе для западногерманских промышленников был выдвинут французским министром иностранных дел Шуманом. Слепо выполняя приказания своих американских покровителей, мечтающих создать в Европе плацдарм для развязывания войны против Советского Союза и стран народной демократии, французские правящие круги пошли на неслыханное национальное предательство. День оглашения «плана Шумана» — 9 мая 1950 года — справедливо называется французской демократической прессой «чёрным днём» в истории Франции.

Прошло два года с того времени, как впервые был сформулирован «план Шумана». В многочисленных исследованиях и статьях с достаточной ясностью была раскрыта действительная сущность этого плана. В западноевропейских странах уже опубликован ряд фундаментальных работ, посвящённых «плану Шумана», таких, как работа профессора Сорбонны Бернара Лавернь, академика Приво, видного французского экономиста Гинью и др. Все эти работы написаны людьми, не имеющими ничего общего с демократическим движением во Франции, но все они сходятся на одном: «план Шумана» обеспечивает экономическое господство западногерманских магнатов и стоящих за их спиной американских монополистов над Западной Европой. Профессор Бернар Лавернь приходит, например, к выводу, что «при осуществлении «плана Шумана» Франция превратилась бы в сателлита Западной Германии с точки зрения промышленной, а следовательно, и военной и политической. Единая Европа... была бы реализована, но под немецким гнётом».

Такой вывод подтверждается прежде всего подавляющим превосходством рурской экономики над экономикой остальных участников «плана Шумана». А это и обеспечивает в запланированном американскими империалистами «сверхкартеле» господство рейнско-рурских королей угля и стали. В 1951 году в Западной Германии ежемесячная выплавка стали составляла около 1 200 тысяч тонн, во Франции только 800 тысяч тонн, в остальных странах — участницах «плана Шумана» — и того меньше. Что же касается добычи угля в Западной Германии, то она вдвое больше, чем во Франции. К этому надо добавить, что в Западной Германии себестоимость угля и стали значительно ниже, чем во Франции, Италии, Бельгии и Голландии. Естественно, что при таком соотношении объёма продукции и себестоимости западногерманским монополистам легко будет одержать верх над своими партнёрами по «сверхкартелю». Впрочем, этих своих расчётов не скрывают даже представители крупных германских монополий. Ведущий западногерманский финансист Герман Абс откровенно заявил недавно, что «основное место в объединении займёт не Франция, а Рур... Вся ответственность за управление объединением ляжет на Рур».

Глава концерна Клекнера — Гюнтер Хенле, выступая в боннском парламенте, прямо указал, что «план Шумана» даст возможность значительно расширить рынки западногерманской горной промышленности. В самом деле, после отмены внутренних пошлин, которыми западноевропейские страны ныне ограждают свою угольную и металлургическую промышленность, рынки этих стран окажутся наводнёнными западногерманскими изделиями. Недавно президент Федерации бельгийских угольных объединений Луи Деласс опубликовал следующие подсчёты: чтобы иметь возможность конкурировать с рурским углем, Бельгия должна снизить цену на свой уголь минимум на 50 франков за тонну, но для этого необходимо будет закрыть большинство шахт Южного бассейна, как «нерентабельные». Один из крупнейших промышленников Италии сенатор Фальк указал в конце 1951 года, что «план Шумана», лишая Италию доступа к источнику дешёвого сырья в Алжире и обязывая её покупать руду и уголь лишь в странах, участвующих в «плане Шумана», открывает итальянский

рынок для демпинга продуктов более сильной металлургической промышленности Западной Германии.

Господство боннских магнатов и их заокеанских покровителей в угольно-металлургическом объединении обеспечивается с помощью так называемого верховного органа. Статья 9 проекта договора о «плане Шумана» прямо указывает, что члены этого органа «не обращаются за инструкциями и не руководствуются указаниями какого-либо правительства или органа». Распоряжаться верховным органом будут лишь хозяева «сверхкартеля», то есть американские и западногерманские монополисты. Верховный орган обладает исключительно широкими правами. Он может, как указывается в проекте договора, «собирать такую информацию, какую он сочтёт нужным для выполнения своей миссии»; имеет право «наложить штраф и ежедневно взимать его с предприятий, уклоняющихся от своих обязательств»; может в любое время «потребовать от предприятий представления индивидуальных программ» и т. д. и т. п.

Таким образом верховный орган превращается в подлинного хозяина экономики Западной Европы. А это означает, что западноевропейские страны теряют свой экономический суверенитет и попадают под зависимость боннских магнатов. Даже реакционный американский журнал «Атлантик мансли» недавно вынужден был признать, что фактический контроль над высшим органом может оказаться как раз таким механизмом, с помощью которого Западная Германия «через какое-нибудь десятилетие попытается установить своё господство над Европой».

Под знаком свастики.

Сразу же после образования боннского «рейха» среди западногерманских политиков обнаружилось своего рода разделение труда. Одна их группа начала выступать с реваншистскими заявлениями, речами, интервью. Другая стала отмежеываться от этих заявлений, речей, интервью...

Вот, к примеру, на трибуну выходит фашистский преступник Генрих Копф и призывает «вернуть Германии» награбленные ею земли. А через день или два это заявление Копфа торжественно опровергается официальными боннскими властями. Вот главарь так называемой немецкой партии в Бад-Пирмонте собирает митинг своих сторонников, на котором очередной оратор заявляет, что требованием «немецкой партии» является «создание государства фашистского типа во главе с сильной личностью». Проходит день или два, и официальный представитель «правых» Шлютер публикует меморандум, где он торжественно клянётся, что митинг в Бад-Пирмонте не имеет никакого значения, так как он, мол, проходил «под влиянием фашистских групп Отто Штрассера»... Проходит ещё некоторое время, и штрассеровцы сообщают, что они в свою очередь отмежеываются от своих бад-пирмонтских сторонников.

Наконец, можно без преувеличения сказать, что сколько бы раз генерал Ремер ни выступал с программными реваншистскими лозунгами, столько же раз его «опровергали» и дезавуировали официальные боннские власти...

Но, быть может, и Ремер, и Копф, и Лориц и другие неофашистские головорезы действительно выкрикивают свои человеконенавистнические, преступные лозунги, так сказать, «на свой страх и риск»?

Ничего подобного! Отто Ремера боннские власти для успокоения и обмана общественного мнения неоднократно привлекали к «ответственности», но каждый раз дело кончалось буффонадой. Пока судьи Аденауэра «усовещали» этого неофашистского главаря, в западногерманской печати появлялись сообщения о том, что партия Аденауэра ведёт негласные переговоры с партией Ремера. Ремер платил смехотворный штраф и, выходя из зала суда, заявлял: «Ещё два-три таких процесса, и мне не надо будет тратить денег на рекламу»...

Или, скажем, «дело Гедлера». Депутат парламента, член неофашистской «немецкой партии» Гедлер выступил на собрании в Эйхфельде с восхвалением расовой теории и изуверской политики Гитлера. Под давлением широкой общественности Гедлера

отдали под суд. Когда шум стих, выяснилось, что Боннская юстиция оправдала Гедлера. Снова поднялась волна негодования. Бундестаг назначил специальную комиссию для «расследования» дела Гедлера. Прошло довольно долгое время, и комиссия опубликовала издевательское заявление о том, что процесс над Гедлером «вёлся вполне корректно», а приговор был «вполне объективным».

Подобных фактов можно было бы привести ещё десятки. Но и без них ясно, что наглые выходки боннских реваншистов санкционированы кликой Аденауэра, той самой кликой, которую поставили у власти реакционные политики США и Англии.

В последнее время реваншистские речи произносят также и боннские министры, и члены бундестага, то есть те самые лица, которые ещё не так давно «отмежевались» от чересчур рьяных неофашистов.

Не так давно председатель фракции христианско-демократического союза в западногерманском парламенте Брентано потребовал возвращения к границам 1937 года. Вслед за этим министр по общегерманским вопросам Якоб Кайзер заявил, что необходимо создать «германский блок» в составе Западной Германии, Австрии, Швейцарии, Саара, Эльзаса и Лотарингии.

В середине февраля 1952 года с официальным визитом в Вену выехал боннский министр Зеебом. После возвращения в Бонн он заявил, что переговоры в Вене явились значительным шагом на пути к «преодолению национальных границ в Европе». Совершенно ясно, на что намекал боннский реваншист Зеебом. В замаскированной форме он выступил с пропагандой аншлюсса, то есть присоединения Австрии к Западной Германии, с чего, кстати сказать, начал и Гитлер... И, наконец, реваншистские тенденции явно звучат в выступлениях «бундесканцлера» Аденауэра.

В своё время американско-английские чиновники, попавшие в Западную Германию, начинали свою деятельность с составления всевозможных карт и схем. Они уверяли при этом, что карты и схемы «помогают американско-английским властям уяснить себе обстановку в Западной Германии». Между прочим, сильнейший отряд этих чиновников, называвший себя «отделом по декартелизации немецких концернов», создал отличный «путеводитель» по западногерманским монополиям, который помог дельцам из США заключать картельные сделки с германскими империалистами... Сейчас «отдел по декартелизации» давно закрыт, а сотрудники распущены по домам. Но если представить себе, что кто-нибудь из нынешних американско-английских чиновников захочет уяснить себе обстановку в боннском рейхе и создаст «путеводитель» по реваншистским выступлениям западногерманских политиков, то получится весьма любопытная картина... Из «путеводителя» будет ясно видно, что аппетиты главарей боннского рейха вырастают с каждым днём. Дотошные американско-английские чиновники убедятся также в том, что из реваншистских выступлений боннских политиков выстраивается целая программа экспансии, пресловутая фашистская программа «создания «Велико-Германии»».

Геополитика из Бонна.

После разгрома фашистской империи в берлинском институте «геополитика» Гаусгофера был найден обширный документ, который представлял собой описание того, как гитлеровцы намеревались создать свою «Велико-Германию». Из документа явствовало, что план завоевания мирового господства был разбит фашистами на «семь фаз». Первые две фазы предусматривали захват Австрии и Чехословакии, оккупацию Франции, Голландии и Бельгии. Третья фаза этой бредовой программы получила название «плана Варбароссы» и предполагала установление гитлеровского господства над народами Советского Союза. И, наконец, последние четыре фазы предусматривали «завоевание» всех остальных стран мира, включая «обе Америки». В Южной Америке гитлеровцы намеревались создать «Новую Германию», которая включала бы Аргентину, Чили, Уругвай, Боливию и часть Южной Бразилии. Что касается Северной Америки, то она должна была быть разделена на целый ряд отдельных кусков. «Мы хотели бы,— заявлял Гитлер в этой связи,— иметь дело не с США, а с разрозненными её областями, превращёнными в отдельные страны».

Таким образом, «Велико-Германия» Гитлера-Гаусгофера должна была практически состоять из всех стран и континентов мира, исключая лишь те районы, на которые претендовала другая «раса господ» — японские самураи...

Но план создания «Велико-Германии» отнюдь не являлся частным творчеством Гаусгофера или изобретением Гитлера. История германского милитаризма показывает, что немецкие империалисты на протяжении многих десятилетий мечтали превратить все народы мира в «илотов, работающих на касту тевтонских рыцарей»... «Германия превыше всего», — распевали «тевтонские рыцари», жадные германские буржуа на заре XX века. «Вахт ам Рейн!» — «Франция должна стать немецкой!» — кричали германские бурши, сынки прусских юнкеров и рурских заводчиков в 20-е годы. Не иначе как «врагом» называли французов немецкие реваншисты в промежутке между двумя мировыми войнами. Махровый национализм, неуёмная жажда власти, сумасбродная мечта пройти, подобно диким гуннам, по всем европейским странам толкали на кровавые авантюры несколько поколений германских банкиров, промышленников, земельных баронов, офицеров и политиков...

После первой мировой войны империалисты США и Англии пытались «локализовать» шовинистический пыл германских агрессоров, направляя их на Восток. Они уверяли, что именно там немецкие «рыцари наживы» найдут своё «жизненное пространство».

Хорошо известно, однако, что эта политика поощрения шовинизма и фашизма в Германии привела к весьма печальным результатам для её создателей. Но может быть, боннские милитаристы «переродились» и «забыли» о претензиях германских империалистов на «западные земли», «забыли» о традиции реваншистских войн против Франции и «исконной» вражде германской военщины к англичанам?

Факты говорят, что это не так. Выступления Зеебома и Аденауэра, Кайзера и Брентано и ещё десятки агрессивных заявлений других западногерманских политиков свидетельствуют о том, что идея создания «Велико-Германии» отнюдь не чужда боннским реваншистам. Если официальные политики Бонна высказывают эту идею в завуалированной форме, то их духовные собратья неофашисты не стесняются. «Я буду первым солдатом в будущей войне против Востока так же, как и против Запада», — заявил уже несколько лет назад главарь одной из западногерманских группировок фашистов Шольц.

Итак, круг постепенно смыкается. Начав так же, как и после первой мировой войны, со старого воинственного клича «Драиг нах Остен», боннские «геополитики» приходят сейчас к тем же требованиям установления господства немецкого милитаризма над всей Европой.

„Перевоплощения“ реваншиста Рамке.

Перефразируя известное изречение Бисмарка, можно сказать, что германские милитаристы всегда мечтали сделать из каждого немца пруссака, а каждого пруссака одеть в солдатский мундир. Для выполнения честолюбивых замыслов германских королей стали и пушек требовались громадные военные контингенты: офицеры, генералы и, самое главное, пушечное мясо — миллионы обученных и одуроченных солдат. Поэтому каждый раз, когда щупальцы германских конферентов начинали вытягиваться в сторону чужих стран, в армейские казармы прибывали новые партии новобранцев... После первой мировой войны агрессивной немецкой военщине понадобилось сенадцать лет для того, чтобы открыто возродить свой старый вермахт. 16 марта 1935 года, то есть за три года до нападения на Австрию, гитлеровцы объявили о создании фашистской армии численностью в 300 000 человек. Ныне по замыслам германских и американских империалистов возрождение фашистской армии в боннском «рейхе» должно быть проведено в куда более сжатые сроки. Уже теперь, то есть всего лишь через семь лет после окончания войны, немецкая военщина намерена сколотить разбойничью армию численностью в 300 000 человек. Таким образом, нынешние западногерманские милитаристы с помощью американских агрессоров пытаются проделать путь, который проделали их кровавые предшественники, более чем в два раза быстрее.

Чем объясняется этот парадоксальный факт? Парадоксальный потому, что, казалось бы, опыт второй мировой войны должен был показать всем, в том числе Англии и США, какую смертельную угрозу несёт Европе возрождение фашистской армии.

В 1951 году на конфиденциальном совещании немецкой военщины бывший начальник гитлеровского генштаба Франц Гальдер заявил: «Американцам нужны немецкие солдаты для войны против СССР. Поэтому они не намерены ограничивать вооружение Западной Германии... Немецкие генералы должны воспользоваться этим отрядным фактом».

Фашистский солдафон Гальдер с циничной прямой сформулировал не только суть американской политики в Западной Германии, но и коварные расчёты германских милитаристов в связи с этой политикой...

Если какому-нибудь буржуазному романисту пришло бы в голову описать послевоенные приключения фашистского генерала Рамке, то его наверняка обвинили бы в неправдоподобии. Действительно, история «падений» и «взлётов» генерала Рамке почти фантастична... Послевоенное время началось для Рамке весьма печально. Он был пойман с поличным во французском городе Бресте, гарнизоном которого командовал в период немецкой оккупации Франции. Рамке взяли под стражу. В официальном обвинительном заключении по делу Рамке говорилось, что фашистский генерал парашютных войск сжёг целые кварталы французского города, грабил мирное население и с дикой жестокостью расправлялся с патриотами Франции. Французский трибунал приговорил Рамке к пяти годам каторги.

Однако очень скоро «фортуна» вновь улыбнулась фашистскому палачу. В США и Англии заговорили о том, что, мол, германские генералы пригодятся для будущего военного похода на Восток. Французская юстиция всполошилась и заменила Рамке пять лет каторги пятью годами тюремного заключения, мотивируя это своё решение «преклонным возрастом» фашистского генерала. Вслед за этим Рамке был препровождён из своей камеры в уютный особнячок тихого французского города Корбей. Судебные власти попросили у Рамке «подписку о невыезде» и порекомендовали ему беречь своё здоровье на благо Пентагона... Прошло ещё немного времени, и Рамке вызвали в США. Получив там соответствующие инструкции, гитлеровский палач выехал в отпуск в Западную Германию.

Даже ко всему привыкшие сотрудники английского агентства Рейтер были несколько смущены этим скандальным фактом. Поэтому лондонское агентство деликатно заявило, что Рамке «отдыхает в Германии и лечится там после перенесённого нервного потрясения». Но коллеги Рамке из фашистской «Ассоциации бывших парашютистов» не оценили тонкости Лондона. В ответ на сообщение агентства Рейтер они заявили, что генерал Рамке абсолютно здоров и даёт интервью журналистам и кинорепортёрам. В действительности Рамке использовал свой «отпуск» для того, чтобы спешно сколотить гитлеровские парашютные части для нового вермахта в Западной Германии.

Однако Рамке вскоре разъяснили, что ему на время придётся прекратить свою деятельность. Французский и германский народы возмущены «отпуском» Рамке. Между парижскими и боннскими властями начались переговоры. С прославленной французской галантностью парижские власти предложили Аденауэру вернуть осуждённого фашистского генерала во Францию. Боннский министр Делер сообщил, что он «склоняет Рамке к возвращению в Корбей»... Далее французские власти становились всё галантнее, а западногерманские — всё корректнее. Зато Рамке заупрямился и наотрез отказался расстаться хотя бы на время со своими «зелёными чертями», как официально именовали в гитлеровской Германии и именуют в боннском рейхе фашистских парашютистов. Неизвестно, чем бы закончился этот поединок между немецкой корректностью и французской любезностью, если бы в дело не вмешались американские боссы. Они повелели Рамке исчезнуть из Западной Германии, и Рамке исчез. Но вскоре обстановка опять изменилась. Агрессоры из США взяли курс на открытую ремилитаризацию Западной Германии, и Рамке вновь появился в Западной Германии. И не просто появился, а прибыл с помпой. Агенты Рамке в Западной Германии устроили своему шефу пышную встречу. Во время этой встречи фашистские громиды

выкрикивали реваншистские лозунги и пели нацистские песни. Ободренный успехом, генерал Рамке отправился в пропагандистское турне по Западной Германии. И тут-то оказалось, что ни любезным французским политикам, ни благосклонным к фашистским генералам британским деятелям не удалось сделать гитлеровского генерала «вполне ручным».

Германские милитаристы «неисправимы. Их невозможно перевоспитать», — меланхолично заметила как-то английская газета «Ивнинг пост». «Трудно воспитуемый» генерал Рамке изложил на пресс-конференции генералов и офицеров бывшего гитлеровского вермахта насквозь реваншистскую программу. В этой программе он потребовал создания агрессивной армии германских милитаристов, официальной реабилитации бывшего фашистского вермахта и, наконец, создания правительства так называемых «национальных сил», иными словами, открыто нацистского и реваншистского.

Впрочем, Рамке не остановился и на этой своей программе. Прощло всего лишь полгода, и на «товарищеском вечере» фашистских генералов в Западной Берлине бравоый Рамке решил, что называется, поставить все гочки над «и». Он выдвинул требование «восстановить Германию в пределах языковой и культурной границы». Мифическая «языковая и культурная граница» германских милитаристов была в своё время нанесена гитлеровцами на вполне реальные географические карты. Таким образом стало известно, что эта граница должна включать в себя почти всю Европу... На том же «товарищеском вечере» генерал Рамке заявил, что он требует провозгласить старый кайзеровский гимн «национальным гимном Германии». А, как известно, в первой же строчке этого гимна — «Германия превыше всего» — в предельно сжагой форме выражена вся философия немецких милитаристов.

Переволнения, которые произошли с генералом Рамке за последние семь лет, характерны для большей части бывших гитлеровских генералов. Так же, как и Рамке, эти генералы начали свой послевоенный путь в передних «западных» политиков. Так же, как и Рамке, они стали вассалами Пентагона. Так же, как и Рамке, они с каждым днём усваивают всё более наглый тон в отношении западноевропейских стран.

На пресс-конференции в Бонне бывший контр-адмирал Людвиг Штуммель рассказал, что один из крупных гитлеровских генералов заявил не так давно: «Как только мы будем располагать 15-ю дивизиями, мы заговорим с Францией совсем иным языком».

Американская газета «Дейли компас» сообщила в феврале об одном любопытном происшествии на приёме в резиденции американского губернатора Западной Германии Макклоя. Один из бывших генералов фашистского вермахта, изрядно хлебнувший виски, обнял американского полковника и сообщил ему в порыве откровенности, что, по мнению немецкой военщины, из американцев «выйдет толк» лишь тогда, «когда немцы возьмут на себя командование атлантическими армиями».

На том же приёме отличился и фашистский стратег Гейнц Гудериан. В беседе со своими американскими хозяевами он заявил буквально следующее: «Жребий брошен... В тот момент, когда под моим командованием будет находиться хотя бы одна танковая дивизия, я смогу выступить, когда захочу. И американцам придётся следовать за мной».

Попытки американско-английских властей сколотить фашистский вермахт, направленный на Восток и глубоко «лояльный» по отношению к «западным странам», терпят всё более явный провал.

Неофашисты в боннском „рейхе“.

В боннском рейхе появились десятки явно фашистских организаций — разнообразных «ферейнов» и «бундов».

Сколачивание этих организаций началось здесь в одно и то же время в разных направлениях. Бывшие гитлеровские генералы занялись созданием так называемых «солдатских объединений», куда должна была войти верхушка фашистского воинства, иными словами, отборные гитлеровские головорезы из числа военнослужащих фашистской армии.

По сообщению французской газеты «Юманите», в Западной Германии сейчас активно действуют 450 пронацистских группировок, объединяющих бывших гитлеровских солдат и офицеров. Одни только эсэсовцы создали 376 различных союзов и бундов, насчитывающих 45 тысяч членов. Все эти полулегальные военные союзы, распространяющие нацистский дурман, подчиняются трём крупным военным организациям: «Союзу немецких солдат», «Первому легиону» и организации «Брудершафт». Нетрудно догадаться, что эти объединения боннских милитаристов выросли на долларовых дрожжах, за счёт тех субсидий и наградных, которые немецкие империалисты получают из США. В соответствии с ярко выраженной милитаристской направленностью этих организаций их главарями являются видные гитлеровские генералы и офицеры — Мантейфель, Фрисснер, Рундштедт и другие.

Наряду с военными фашистскими союзами в Западной Германии созданы десятки милитаристских «молодёжных организаций». Некоторые из них существуют под весьма безобидными вывесками различных спортивных организаций, клубов любителей природы и т. д. Все эти группы возглавляет так называемый «Имперский орден». Руководитель этой организации нацист Вальтер Матрей заявил не так давно, что «Имперский орден» является сборным пунктом для всех «национальных сил, верных имперской идее». А как известно, «имперская идея» заключается в том, чтобы создать «Велико-Германию», включающую в свой состав земли Польши, Чехословакии, Франции и других стран.

Во Франкфурте-на-Майне находится центральный комитет неофашистской организации «Союз молодых немцев». Во главе этого союза стоят бывшие главарь «Гитлер-югенд» — Рейнхард, Петерс, Вальдорф и другие. «Союз молодых немцев» выпускает газету «Дейчер беобахтер». В Берлине в роскошной вилле в районе Даллема (американский сектор) находится филиал «Союза молодых немцев», которым также руководят бывшие «фюреры» из «Гитлер-югенд».

Кроме неофашистских молодёжных и солдатских объединений, большое распространение в Западной Германии получили всевозможные банды, которые действуют методом неприкрытого террора. В Южной Германии созданы террористические группы «Катакомбер шейнверфер» и «Одесса» — организация бывших эсэсовцев, бесчинствовавших во временно оккупированных районах Советского Союза. В Нижней Саксонии действует банда «Консул».

Деятельность всех этих групп и союзов контролируется неофашистскими организациями, которые именуют себя «партиями». В Баварии был создан так называемый «Отечественный союз». Его руководитель Фейтенханзль в дополнение к своей «партии» сколотил ещё охранные отряды. В Швабах некий Мейсснер организовал так называемый «немецкий блок», объявив себя, кстати, «рейхсфюрером». Агенты Отто Штрассера, которого английский писатель Уэллс называл «грязным нацистом», возрождают в боннском рейхе свой «чёрный фронт» под названием «Союза обновления Германии». Нацист Карл Гейнц Шольц объявил об организации так называемой «Независимой антисоветской и антибуржуазной немецкой рабочей партии».

Все эти группировки пытаются найти общую платформу и объединиться. На одном из объединительных съездов фашистских главарей в Годесберге — бывшей резиденции Гитлера — функционеры гитлеровской партии призывали к «окончанию междуусобной грызни» и объединению под старыми милитаристскими знамёнами. В последнее время две крупные фашистские организации объединили вокруг себя некоторое число сторонников и с каждым днём всё более нагло заявляют о том, что они намерены «прийти к власти». Одна из этих организаций, действующая в основном в Нижней Саксонии, возглавляется такими матёрыми нацистами, как военный преступник генерал Ремер и махровый нацист Дорльс. Нижняя Саксония превратилась в оплот воинствующих неофашистских элементов. Другая неофашистская группировка, называемая «Партия экономического восстановления», подвизается в Баварии, в тех самых пивных, где начинал свою карьеру Адольф Гитлер. Наследником Гитлера в Баварии является Альфред Лоринц. Его «партия» получила 12 мандатов в бундестаге...

По сообщению английских корреспондентов, пытавшихся проинтервьюировать гит-

леровского генерала Отто Ремера, этот главарь западногерманских неофашистов охарактеризовал свою внутривластную программу кратко, но выразительно. На вопрос: «Как господин Ремер намерен воздействовать на массы немцев?», Ремер ответил жестом, указывающим на картину, которая висела над его письменным столом. На картине был изображён сам Отто Ремер в зелёной шляпе с петушиным пером. Художник изобразил Ремера в весьма «ответственный» момент, когда тот опускал на голову своего противника массивный дубовый стул.

Программа кровавых расправ и террора, так своеобразно сформулированная генералом Ремером, отнюдь не является новейшим изобретением германских фашистов. На протяжении многих десятилетий немецкие империалисты проповедывали теорию «бронированного кулака». «Бронированный кулак» должен был обеспечить им власть внутри Германии и завоевать господство над миром.

Между двумя мировыми войнами во всех военных академиях Германии висел большой плакат, на котором золотыми буквами был выведен афоризм адмирала фон Тирпица: «С тех пор как земля населена людьми, сила в жизни народов стояла выше права». И каждый германский милитарист повторял эту циничную фразу.

«Бронированный кулак» адмирала фон Тирпица и дубовый стул генерала Ремера — это символы одной и той же милитаристско-фашистской веры. И не только символы, но и «рабочая программа», которую выполняют все поколения германских милитаристов.

Террор и насилие — таков лозунг современных нацистов в Западной Германии. По сообщению иностранной печати, Отто Ремер обладает личной «армией», насчитывающей шесть тысяч громил. Фашистская банда «Консул», действующая в непосредственном контакте с ремеровской партией, и «личная армия» неофашистского фюрера установили в Нижней Саксонии режим террора по отношению к западногерманским сторонникам мира. Запугивая население Нижней Саксонии, фашистские молодчики рассылают в адрес демократически мыслящих людей письма с угрозами расправиться, посылки с ядовитыми змеями или со взрывчатыми веществами. Они грозят уничтожить всех, кто выступает в защиту демократических прав германского народа.

На одном из митингов всё тот же Ремер утверждал, что никакой официальной платформы, никакой идеологии у «социалистской имперской партии» пока нет. «Сначала мы должны иметь партию, — заявил Ремер, — а потом уже сочиним идеологию».

Но Ремеру и не придётся «сочинять» свою идеологию. Возрождая фашистские организации, неонацисты в боннском рейхе возрождают всё ту же старую гитлеровскую идеологию человеконенавистничества, войны и разбоя.

Фашистская пропаганда в Западной Германии ведётся в старом гитлеровском стиле, под трескучие военные марши, со всей средневековой символической, которая была извлечена из пыли веков во времена «третьей империи» Гитлера.

Корреспонденты западногерманских газет, которым удалось проникнуть на тщательно охраняемые территории молодёжных «союзов», рассказывают о том, что на этих территориях уже организованы своего рода «фашистские империи в миниатюре». Эти «империи» подчиняются своим особым законам, в них опять открыто проповедуется изуверская расовая теория, в них снова в ходу старый фашистский жаргон.

В октябре 1950 года неофашистская организация «Имперская молодёжь» провела во Фленсбурге свой парад. Перед жителями города продефилировали шеренги молодчиков в голубовато-зелёных рубашках, покрой которых был как две капли схож с формой гитлеровских военно-воздушных сил. Высшие чины этого «вониства» были украшены различными фашистскими эмблемами.

Возрождение и усиление западногерманских монополий, выдвижение боннскими реваншистами новых захватнических планов, восстановление фашистских организаций и распространение человеконенавистнической фашистской пропаганды — таковы плоды семилетнего хозяйничанья американских монополий на территории Западной Германии.

Звериний германский империализм — зачинщик двух мировых войн — вновь поднимает голову в Западной Германии.

Расчёты американских империалистов заключаются в том, чтобы натравить западногерманских реваншистов на демократические страны, превратить Западную Германию в основной очаг агрессии в Европе. Однако против политики правящих кругов США и их боннских ставленников в Западной Германии поднялись миллионные массы во всех странах Европы, в том числе и немецкий народ. И с каждым днём грубые просчёты поджигателей войны в отношении Германии становятся всё более очевидными.

Грызня в стане „дружных партнёров“.

Ещё в первые годы войны, когда героический советский народ один на один сражался против германского фашизма, западноевропейские и американские политики занялись разработкой своих планов в отношении Германии. На эту тему в «западных странах» во время войны были выпущены десятки и сотни толстых книг и тонких брошюр. Некто Герберт Мэррей, англичанин, профессор и бывший председатель английского «Союза друзей Лиги Наций», выразил в своей книге краткий смысл всех этих длинных трактатов. Герберт Мэррей заявил, что после победы над фашистской Германией следует «создать в Германии правительство вроде пэтеновского»...

Вот почему сразу же после того, как Советская Армия уничтожила гитлеровскую военную машину, в Западной Германии начался «пэтеновский» ажиотаж. На поиски пэтенов ринулись американские бизнесмены, разведчики из английской «Интеллидженс сервис», французские коммивояжёры и даже... представители международного картеля «Арбед» из Люксембурга. Все они искали своего «Пэтена», поклядистого предателя с «представительной» наружностью, с «западной ориентацией», алчной душой и широкой космополитической натурой. Этот ажиотаж закончился созданием раскольнического марионеточного правительства в Бонне.

Боннское правительство по замыслу его создателей должно было обеспечить «вечный мир» между западногерманскими милитаристами и их недавними американо-английскими и французскими военными противниками. В соответствии с этой идеей в Западной Германии была разыграна «идиллия по-американски».

Яростные конкуренты, десятилетиями перегрызавшие друг другу горло из-за рынков, сырья, прибылей, выступают теперь в роли «дружных партнёров». Генералы, десятилетиями называвшие себя «эрбфайндами», то есть наследственными врагами, лицемерно пожимают друг другу руки. Прожжённые политики, десятилетиями добивавшиеся господства для себя и своих хозяев, любезно осклабясь, садятся за один стол... И над всей этой лживой империалистической «идиллией» царит американский доллар — символ грызни, раздоров и войн...

Спектакль в боннском балагане ещё далеко не закончен. Вербуются дивизии наёмников. Германские генералы верно служат американскому Мальбруку. Германские промышленники продают народное достояние Западной Германии американским хищникам и наживают на этой торговле громадные барыши. Западногерманские политики выслуживаются перед Маккломом. Макклой диктует свои законы боннскому парламенту. «Идиллия» в полном разгаре... Но «идиллии», собственно говоря, нет...

Западноевропейские политики тревожатся и ропщут. Их пугает осуществление «плана Плевена», предусматривающего создание «европейской армии», в которой основная роль отводится западногерманскому вермахту. Недаром «план Плевена», который предполагалось «на рысях» провести через все парламенты, тащится подобно дряхлой кляче по полям и весям европейской политики. Пять-десять пунктов, в отношении которых как будто бы существует договорённость, пересматриваются каждые несколько месяцев. Совещания следуют за совещаниями. Совещаются премьеры и министры иностранных дел, совещаются эксперты, снова министры и т. д.

Корреспондент агентства Франс пресс, присутствовавший на лиссабонском совещании стран — участниц Северо-атлантического блока в конце февраля 1952 года, отметил, что первые официальные заседания сессии прошли как «классический балет:

министры обороны, министры иностранных дел, а затем министры финансов по очереди выходили на сцену и присоединялись друг к другу». Но одновременно за закрытыми дверями различных комитетов и подкомитетов происходила усиленная грызня при обсуждении всех основных вопросов сессии и, главным образом, вопроса о восстановлении германского вермахта.

Другой буржуазный журналист, корреспондент парижской газеты «Пари-пресс Энтрансжан», жаловался на то, что сессия «лишена атмосферы теплоты».

Таким образом, даже самые опытные режиссёры последних дипломатических представлений западных держав не в состоянии разыгрывать свои спектакли по старым «классическим образцам». То тут, то там сквозь дипломатическую мишуру проглядывает суровая действительность. То тут, то там обнаруживаются крупные прорехи в системе Северо-атлантического блока, вспыхивают грызня и раздоры между партнёрами по этому агрессивному блоку.

Восстановление вермахта оказалось вовсе не столь простым делом, как полагал Вашингтон. Возрождение германского реваншизма, выдвигание экспансионистских требований западногерманскими милитаристами, всё новые проявления самонадеянности и высокомерия со стороны тупых и прожорливых боннских солдафонов — всё это не может не вызвать серьёзной тревоги в правящих кругах западноевропейских стран. Правительства этих стран, напуганные ростом недовольства широких масс политикой ремилитаризации Западной Германии, всё менее склонны проявить ожидаемую Вашингтоном уступчивость.

Опасность попасть в зависимое от германского империализма положение нависла над западноевропейскими государствами. И это обстоятельство не могут не понимать представители буржуазных кругов этих стран — промышленники, военные, политические деятели и т. д.

Атлантические распри.

«Атлантическая» политика американских империалистов переживает явный кризис. Несмотря на самые искусные дипломатические манёвры, невозможно примирить противоположные интересы различных капиталистических стран. Французская газета «Монд» недавно так охарактеризовала создавшееся положение: «Дело похоже на квадратуру круга. Надо одновременно обеспечить французов, не вызывая досаду немцев и не слишком связывать себя обещаниями, принимая во внимание американское общественное мнение».

Однако, как известно, «объять необъятное» невозможно. Пытаясь объединить боннских милитаристов с французскими империалистами в одном блоке, американские режиссёры Северо-атлантического союза не только не смягчают противоречий между ними, но, наоборот, лишь создают новые объекты и поводы для всякого рода трений и конфликтов. Возня вокруг создания пресловутого «атлантического единства» сопровождается всё большим усилением атлантических распрей.

В самом деле, французские правящие круги ставят условием своего присоединения к европейскому оборонительному сообществу получения англо-американских гарантий... против своих же партнёров по этому сообществу — боннских правителей. Английские правящие круги, несмотря на все усилия американской дипломатии, отказываются от вхождения в это «сообщество», которое они сами столь усердно расхваливают.

Обсуждение вопроса об участии Англии в «европейском оборонительном сообществе» весьма показательны для положения во всём атлантическом лагере. Малые европейские страны категорически настаивают на вхождении Англии в «европейскую армию», надеясь тем самым изменить соотношение сил внутри армии и обезопасить себя от засилья боннских милитаристов. Ещё в конце 1951 года на римской сессии совета Северо-атлантического союза бельгийская и голландская делегации внесли проект резолюции, в котором предлагалось, чтобы в «европейскую армию» наряду с западногерманскими дивизиями были бы включены также английские и канадские дивизии. Бельгийские и голландские представители продолжали настаивать на этом своём предложении и в дальнейшем — на сессии так называемой европейской консультативной

ассамблеи в Страсбурге в декабре 1951 года и на парижском совещании стран — участниц «плана Плевена» в самом конце 1951 года.

Однако английские правящие круги, повидимому, понимают, что присоединение Англии к «плану Плевена» не сможет предотвратить фактического господства боннских милитаристов в «европейской армии», ибо за боннскими милитаристами стоят американские магнаты. Поэтому присоединение Англии к «плану Плевена» лишь поставило бы англичан в зависимость от американо-боннской коалиции, против чего возражает значительная часть правящих кругов Англии. Орган английской буржуазии газета «Таймс» недавно сформулировала эти возражения в весьма категорической форме. «Не может быть уступок, — писала газета, — по основному вопросу. Англия не может участвовать в каком-либо плане, ставящем целью создание федерального европейского союза». Ни франко-британские переговоры в конце 1951 года, ни встреча Черчилля с Трумэнном в начале 1952 года не изменили этой точки зрения английских правящих кругов. Английские правители предпочитают оставаться вне «плана Плевена» и «плана Шумана», так как понимают, что эти планы непосредственно направлены против британских интересов.

Правда, после нажима со стороны США были опубликованы декларации о так называемых гарантийных соглашениях между Англией и «европейским оборонительным сообществом». В соответствии с этими соглашениями Англия и «европейское сообщество» берут на себя обязательство о «взаимной помощи». Однако, как справедливо отмечала газета «Юманите», эти «гарантии» ничего не гарантируют и не защищают западноевропейские страны от опасности, вызванной возрождением вермахта в Западной Германии. Английские «гарантии» призваны лишь ускорить создание вермахта и облегчить включение Западной Германии в «атлантическую систему».

Во всех странах так называемого «атлантического содружества» растёт недовольство американской политикой восстановления германского империализма с его претензиями на экономическое, политическое и военное господство в Европе. Ещё в 1949 году ряд английских органов печати указывал, что Западная Германия возрождается, как серьёзный конкурент Англии. Журнал «Трибюн» отмечал уже тогда обострение конкурентной борьбы между Англией и Западной Германией и призывал создать какой-либо компромисс «прежде чем конкуренция примет губительный характер для всех заинтересованных стран».

Однако никакого «компромисса» не было и не могло быть найдено, так как германские монополисты под покровительством США всё более укрепляли свои позиции и вместе с ростом их могущества увеличивались также их аппетиты. Уже в 1950 году английская буржуазная печать вынуждена была констатировать, что опасность, угрожающая английским позициям в различных странах, возросла. Реакционная буржуазная газета «Санди экспресс» писала в связи с этим: «Уже сейчас немцы откровенно презирают нас.. откровенно говорят о перевооружении и о будущем, когда Германия снова будет превыше всех. Наступило время призадуматься над тем, куда мы идём».

Прошло ещё два года, и теперь английская печать уже открыто бьёт тревогу. Такие солидные органы английской буржуазии, как «Таймс» и «Экономист», печатают статьи, в которых призывают к «осторожности». Журнал «Экономист», например, в середине февраля этого года предложил «решительно заявить Аденауэру, что теперь в политике союзников наступит перерыв, передышка для размышления». А как явствует из сообщения журнала, размышлять есть о чём: германские монополисты уже серьёзно теснят английских промышленников даже в британских доминионах и колониальных владениях.

Точно так же обстоит дело и с Францией. Французский еженедельник «Аксён» ещё в 1949 году писал: «Германская конкуренция благодаря поддержке американцев серьёзно угрожает нашей экономике. Не исключена возможность возникновения в ближайшем времени франко-германской проблемы».

Теперь так называемая «франко-боннская проблема» встала со всей остротой. Всё чаще газетам западных стран приходится писать о «франко-боннских трениях», «франко-боннском кризисе» и т. д. Лишь недавно с особой силой вспыхнули противо-

речия между Парижем и Лонном в связи с требованием Аденауэра отменить назначение французского посла в Сааре. По словам газеты «Нью-Йорк таймс», вспышка франко-боннских разногласий «погрязла всю структуру послевоенной Западной Европы».

Политика, направленная на восстановление фашистской армии в Западной Германии, вызывает всё большую тревогу в западноевропейских странах. Английская газета «Дейли экспресс» следующим образом описывает настроения во Франции в связи с принятием в Лиссабоне решения о включении западногерманских вооружённых сил в «европейскую армию»: «Вермахт снова одевают в военную форму. Правда, это другая форма — мундир европейской армии. Однако в эти мундиры будут одеты те же немцы, которые маршировали по приказу Гитлера... Во Франции это не вызывает улыбок... Французы сомневаются, разумно ли давать оружие в руки немцев, когда нет уверенности в том, против кого будет, в конце концов, повёрнуто это оружие».

В самой Англии также нарастает тревога. Член парламента лейборист Флетчер на страницах газеты «Таймс» предупреждает, что в случае воссоздания фашистской армии Западная Германия в скором времени сможет играть решающую роль в Западной Европе. Газета «Манчестер гардиан» призывает «избрать метод применения тормозов в отношении ремилитаризации Германии». Газета опасается, что в противном случае Западная Германия займёт господствующее положение на западноевропейском континенте. И даже в США некоторые представители правящего лагеря начинают задумываться над тем, куда ведёт нынешнее развитие Западной Германии.

Решающий момент.

Американо-английская политика раскола Германии и превращения её западной части в плацдарм новой агрессии привела к тому, что на той стороне Эльбы вновь возрождаются старые реваншистские силы. Фашиствующие генералы и воинственные политики, наглые рурские магнаты, строящие планы широкой экспансии, и неофашистский сброд, выступающий с открытой программой возврата к «гитлеровским временам», — таков результат антидемократической политики империалистических держав в Западной Германии.

Но если об империалистических политиках можно сказать, что они всё забыли и ничему не научились, то для миллионов простых людей во всём мире опыт двух мировых войн не прошёл даром. Они хорошо поняли, что политика вооружения германского милитаризма это гибельная, преступная политика. В то же время народы мира знают, что в возрождении германского империализма нет ничего «фатального» и «неизбежного», как это пытаются доказать многие американско-английские политики и пропагандисты...

В настоящее время вопрос стоит так: либо будет достигнуто воссоединение Германии на справедливой и здоровой основе, в соответствии с интересами мира и безопасности всех народов, либо останется в силе раскол Германии и связанная с этим угроза войны в Европе. Первый путь — то есть мирное воссоединение Германии и заключение с ней мирного договора — ведёт к разрядке нынешней напряжённости в международной обстановке и к урегулированию одного из самых актуальных вопросов современности — германского вопроса. Второй путь — то есть сохранение раскола Германии — неизбежно ведёт к возрождению германской агрессии и ставит народы Европы перед угрозой новой войны.

Создавшееся ныне положение в Западной Германии, то есть отрыв её от остальной Германии, установление над ней господства магнатов Уолл-стрита и их боннских подручных, превращение западных зон в очаг неофашизма и реваншизма — всё это, по замыслам американских империалистов, должно быть закреплено так называемым «общим договором». «Общий договор» призван «узаконить» оккупацию территории Западной Германии на 50 лет. Он представляет западным державам право «объявлять в западных зонах «чрезвычайное положение» и «принимать любые меры, включая применение военной силы», взваливает новое огромное бремя военных расходов на западногерманское население; фактически включает Западную Германию в агрессивный Атлантический блок.

Вместе с тем «общий договор» предоставляет новые возможности боннским реваншистам в деле ремилитаризации Западной Германии и подготовки её к реваншистской войне. Именно поэтому правители Бонна так ухватились за «общий договор» и вопреки воле огромного большинства германского народа пытаются претворить его в жизнь.

Но дело не только в этом. Реакционная печать западных стран открыто признаёт, что «общий договор» с боннским правительством призван подменить мирный договор с Германией, причём американская газета «Нью-Йорк таймс» отметила, что «по духу» «общий договор» будет соответствовать «договору для Японии». Следовательно, речь идёт о сепаратном соглашении, цель которого — закабаление Западной Германии и подготовка агрессии.

Во время прений в боннском парламенте о ремилитаризации Западной Германии в феврале этого года представитель правых социалистов Карло Шмид допустил в своей речи весьма «досадную» оговорку: он назвал «генеральный (общий) договор» — «генеральским договором». Оговорка Шмида вызвала громкий смех в зале. Невольно сподвижник Шумахера дал неплохую характеристику «общего договора» как договора, подготовленного генералами и служащего агрессивным целям.

Но германский народ, как и все свободолюбивые народы мира, выступает против закрепления нынешнего нетерпимого положения в Западной Германии, представляющего собой угрозу миру. Не закрепление раскола страны, а воссоединение её на мирной основе, не усиление иностранной кабалы и подчинение западной части Германии агрессивным целям американского империализма, а независимое, мирное, демократическое развитие Германии в соответствии с решениями Потсдамской конференции — вот что требуют сторонники мира во всех странах!

Постановления Потсдамского соглашения были грубо сорваны властями США, Англии и Франции. Вместо демилитаризации они проводят в Западной Германии ремилитаризацию, вместо денацификации — возрождение фашизма. Срыв Потсдамского соглашения западными державами создал опасное для дела мира положение в центре Европы. Только заключение мирного договора с единой демократической Германией может предотвратить эту опасность и привести к мирному разрешению германского вопроса.

Советский Союз последовательно и неуклонно боролся и борется за осуществление потсдамских постановлений, за мирный путь развития Германии, за демократизацию и демилитаризацию Германии, за восстановление государственного единства Германии и заключение мирного договора с ней.

Предложения советского правительства о заключении мирного договора с Германией, сформулированные в нотах от 10 марта и 9 апреля этого года, логически вытекают из всего курса Советского Союза в германском вопросе.

Советский проект основ мирного договора с Германией проникнут стремлением обеспечить разрешение германского вопроса на мирных демократических началах, в соответствии с интересами укрепления всеобщего мира и обеспечения законных национальных интересов германского народа. В соответствии с этим проект предусматривает восстановление Германии как единого государства. Все вооружённые силы оккупирующих держав должны быть выведены из Германии не позднее чем через год со дня вступления в силу мирного договора. Одновременно с этим должны быть ликвидированы все иностранные военные базы на территории Германии.

В советском проекте основ мирного договора указано, что германскому народу обеспечиваются все демократические права. Вместе с тем Германия обязуется не вступать в какие-либо коалиции или военные союзы, направленные против любой державы, принимавшей участие своими вооружёнными силами в войне против фашистской Германии. Важнейшее значение для немецкого народа имеет предложение советского проекта не налагать на Германию никаких ограничений в развитии её мирной экономики, которая должна служить росту её благосостояния. Германия не должна иметь также никаких ограничений в отношении торговли с другими странами, в мореплавании, в доступе на мировые рынки.

Все подлинные друзья мира с огромным удовлетворением встретили предложения советского правительства. Миролюбивые народы всех стран видят, что эти предложения открывают единственно правильный путь для разрешения германского вопроса и предотвращения угрозы германской агрессии в Европе.

Широчайший отклик нашли новые предложения советского правительства среди германского народа. Передовая германская общественность хорошо понимает, что путь войны, на который толкают Западную Германию боннские реваншисты и их покровители в США, неизбежно ведёт страну к новой национальной катастрофе.

Буржуазные политики, живущие в постоянном страхе перед движением масс, много раз тщетно пытались изобрести нечто подобное барометру народных настроений, который мог бы безошибочно предупреждать их о приближении политических бурь. Американские короли рекламы создали с этой целью сотни так называемых институтов общественного мнения и кичливо заявляли, что раскрыли секрет «народной души» и безошибочно могут предсказать реакцию масс на многие мероприятия империалистов.

Но именно на примере Западной Германии можно ещё раз убедиться, как наивны и неуклюжи эти попытки американских и иных империалистических горе-пророчателей. Народный гнев оказался гораздо сильнее, чем это предполагали господа из института Галлупа и их хозяева. В связи с этим несколько раз приходилось менять сроки проведения набора в западногерманские наёмные войска и оттягивать присоединение Западной Германии к Северо-атлантическому союзу.

Так было осенью прошлого года, когда по расчётам Макклроя должен был быть объявлен «атлантический военный статут» в Западной Германии. Полковник Герхардт, адъютант главнокомандующего американскими вооружёнными силами в Европе клялся летом 1951 года, что не позднее осени этого года «статут» будет введён, и западногерманские военные соединения будут сформированы. И сам полковник Герхардт зимой должен был признать, что по независящим от него обстоятельствам выполнить его обещание не удалось.

То же повторилось и впоследствии. «Что не удалось совершить осенью, — кричали американские газеты, — будет осуществлено в начале 1952 года, западногерманские дивизии будут созданы!»

Но вопреки предсказаниям американских знатоков общественного мнения, что теперь-то уж политическая погода в Западной Германии прояснилась и всё пойдёт гладко, западногерманское население сорвало и эти сроки поджигателей войны. От намерения формировать дивизии наёмников в начале 1952 года пришлось отказаться.

Патриотическая борьба западногерманского населения, направленная против «общего договора», против ремилитаризации, за единство и мир, растёт и крепнет с каждым днём.

В Германии развёртывается мощное движение в поддержку предложений о заключении мирного договора с Германией. В авангарде борьбы немецкого народа за мирное воссоединение Германии, за мирный договор идут трудящиеся Германской демократической республики. По призыву Социалистической единой партии Германии население Германской демократической республики демонстрирует своё единодушие в вопросе о создании единой независимой и демократической Германии.

Борьба всех демократических сил за мирное разрешение германского вопроса вступила в чрезвычайно ответственную фазу. В этот решающий момент немецкий народ мобилизует все свои силы, чтобы добиться осуществления своих национальных требований — создания единой демократической и миролюбивой Германии.



ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В. АСМУС

★

АБУ АЛИ ИБН-СИНА

1

В числе имён передовых деятелей культуры, создававшейся народами всего мира, одно из славнейших — имя уроженца Бухары, великого таджикского философа, энциклопедиста, учёного, врача и писателя Абу Али Ибн-Сины (Авиценны).

Далёкий от нас по времени, по общественным отношениям, среди которых он жил, Ибн-Сина близок нам тем, что в условиях феодального общества, несмотря на всю тяжесть гнёта религиозной идеологии, в то время господствовавшей, сумел в рамках этой идеологии разработать и выразить целую систему взглядов и учений — философских, медицинских, — освобождавших мысль и науку, служивших интересам передовой части человечества.

Это направление, это содержание и этот результат деятельности Ибн-Сины были основанием, по которому Всемирный Совет Мира постановил включить Ибн-Сину в ряд деятелей, память о которых должна отмечаться всем современным прогрессивным человечеством. Этих деятелей чтут все, кто борется за мир, против войны; за науку, служащую интересам простых людей, против лженауки, представляющей орудие угнетения или забаву праздных туеядцев; за мысль, выводящую из-под подчинения религиозной вере, против мысли, которая в самой философии видит только подсобное орудие веры.

Как учёный и философ Ибн-Сина не отделим от общества, в котором он жил и действовал, не свободен от чуждых нам понятий и воззрений. Мы не приписываем Ибн-Сине ничего, что ему не принадлежит. Но мы стремимся выделить из исторически обусловленного содержания его деятельности и его мировоззрения то, что тянется из его эпохи к нашей, выносит его влияние за пределы его исторически ограниченного времени, роднит его умственный облик с обликом корифеев передовой мысли всех времён и всех народов.

Философское развитие Ибн-Сины началось очень рано. Возможно, что от отца Ибн-Сина усвоил тот строй мыслей, который помог ему быстро выйти из пределов правоверия в область, хотя и подчинённую вере, но более свободную и связанную с науками, — область философии.

Условия для изучения философии у Ибн-Сины были благоприятны. Великолепная, прекрасно организованная библиотека бухарского дворца с богатым собранием рукописей и редчайших книг оказала Ибн-Сине неоценимую помощь в развитии его как учёного и мыслителя. Ибн-Сина охватил все отрасли современного ему знания и, в первую очередь, геометрию, физику, астрономию, медицину, юриспруденцию, философию. В истории науки, даже в те времена, когда сумма знаний была относительно невелика, нельзя назвать другого учёного, который в таком юном возрасте обладал бы такой всеобъемлющей учёностью. К восемнадцати годам Ибн-Сина знал всё, что могла дать ему наука того времени, и, по его собственным словам, его знания могли углубляться, но не расширяться.

В сложной исторической обстановке Ибн-Сина всегда искал поддержки у тех правителей, которые тяготели к традициям его родной страны и поощряли литературные,

философские и научные занятия, выходящие за рамки исламского правоверия, насаждавшегося иноземными арабскими завоевателями. После крушения династии Саманидов, при которой началась его деятельность, Ибн-Сина переехал не случайно в Хорезм — в то время крупнейший центр учёности, который фанатические приверженцы ислама считали гнездом ереси и свободомыслия.

Именно в Хорезме произошёл опасный для Ибн-Сины конфликт с государственными ревнителями правоверия.

Низами Арузи Самаркандский рассказывает в своих «Четырёх беседах», что Ибн-Сина с большим для себя риском отказался явиться в резиденцию завоевателя Хорезма, Махмуда Газнийского, велевшего представить ему известнейших учёных Хорезма. Вскоре опальный философ, испытавший немало бедствий, бежал из Хорезма на север Ирака — в Гурган, правитель которого, так же как и Саманиды, был верен старым иранским культурным традициям. После 1012 года Ибн-Сина переносит свою деятельность в Хамадан, где работает как философ, учёный и писатель.

2

Народы Средней Азии участвовали вместе с народами Восточной Азии и народами Европы не только в создании великого искусства, великой поэзии, но также в создании и развитии науки и философии.

В эпоху феодализма языком науки и философии в странах Средней Азии, завоеванных арабским халифатом, стал арабский язык, а господствующим мировоззрением — религиозное учение ислама. Коран, священная книга мусульман, был в странах, захваченных арабскими завоевателями, тем же, чем для христианских стран было «священное писание».

Философия и наука в это время ещё не отделялись резкой чертой друг от друга: в сочинениях философов разрабатывались и излагались вопросы наук — математики, астрономии, медицины, а науки опирались на философские устои. Вместе с тем и философия и наука были подчинены религии и были принуждены согласовывать свои положения с учением веры. В философии это подчинение было более сильным и полным, чем в науках, где под давлением запросов практической жизни накоплялись факты, а также развивались положения, основывавшиеся на наблюдении и на теоретическом мышлении.

В начале средних веков подчинение философской мысли религии было особенно сильным. Так было в странах, где утвердилось христианство, так было и в странах, где господствовал ислам. В то время вопросы, которые решала философия, были не столько её собственными, сколько вопросами, которые ставила перед ней религия.

Признанная сначала в качестве лишь слуги богословия, философия со временем начинает разрабатывать и собственные вопросы или собственными средствами решать вопросы, поставленные богословием. Начинается долгий и трудный, с перемежающимися успехами и поражениями, процесс освобождения философии и науки от власти и опеки богословия. Жизненная основа этого процесса в том, что ещё не отделившиеся полностью от философии и входившие в её состав науки — математика, астрономия, медицина — были нужны для задач практической жизни.

Но во всех этих науках нужные для практической жизни знания опирались не только на наблюдение, опыт и технику, но также и на известные философские предпосылки. Развиваясь, предпосылки эти всё чаще и всё больше отклонялись от догматов веры, приходили в противоречие с ними. Часть философов и учёных стремилась сделать отклонения от веры наименьшими, другие, передовые, напротив, смело шли вперёд, с тем, чтобы поставить научные исследования в возможно более независимое положение.

В процессе освобождения науки от власти веры, происходившем в средние века, участвовала также философия, развивавшаяся в странах Средней Азии. Виднейшими деятелями этой философии были Фараби и Ибн-Сина.

Характерное для буржуазной науки пренебрежение к культурным достижениям неевропейских народов и, в частности, народов Средней Азии сказалось в том, что

всё, созданное этими народами в области философии и науки, занесилось в общую и обезличивающую рубрику «арабской» философии и науки. Основанием для подобной нивелировки было господствующее положение арабского языка во всех странах, которые подчинились арабскому халифату и в которых языком богословия и науки стал язык арабский.

Эта философия была продуктом творчества не одних арабов, но также таджиков, персов, турков и других народов. То, что буржуазная история философии называет «арабской философией», есть философия не столько арабов, сколько народов, вошедших в состав государства, созданного арабскими завоевателями и получившего арабский язык в качестве государственного.

Теоретические корни арабской философии — в философской культуре народов, населявших ко времени пришествия арабов Месопотамию и Сирию. Именно здесь было частично сохранено утраченное европейским Западом великое наследие древней греческой философии и неотделимое от неё наследие греческой науки. Наследие это изучалось, переводилось преимущественно на сирийский язык и развивалось. Особенно ревностно изучались философия Аристотеля — величайшего мыслителя древности, а также философия неоплатоников, которая, по выражению Маркса, представляла «...фантастическое сочетание стоического, эпикурейского и скептического учения с содержанием философии Платона и Аристотеля»¹.

Поэтому, когда страны Средней Азии были покорены халифатом, завоеватели нашли здесь ряд очагов философской и научной культуры. Им не только не удалось погасить эти очаги, но уже довольно рано, когда развивающиеся нужды хозяйства, техники, средств сообщения вызвали потребность в знании, арабы сами стали заниматься, усваивать элементы научной культуры, найденные ими в завоеванных странах Востока. А так как науки в то время далеко ещё не освободились от первоначальной связи с философией, то вместе с элементами античной науки арабы стали усваивать и элементы античной философии.

Впрочем, делать это им пришлось не собственными руками. Ранее зажжённые очаги философской культуры под властью халифата — после периода едва заметного тления — стали постепенно разгораться. Их поддерживали и вновь разжигали не только и не столько арабы, сколько люди, принадлежавшие к народам, покорённым арабскими захватчиками. Люди эти даже при новых обстоятельствах не прекратили развития мысли.

Разумеется, ислам стремился подчинить себе восточную философию, так же как христианская религия подчинила себе философию Европы. Но он не мог остановить развитие философии, обусловленное её связью с науками, от которых ни арабская торговля, ни арабская государственность не только не могли отказаться, но в которых они всё более и более нуждались.

По той же причине мусульманское духовенство не могло приостановить никогда не прекращавшееся в странах Средней Азии изучение древней греческой философии.

Изучение это вводило в круг достижений древнегреческой науки, от которой неотделима античная философия. Но изучение древнегреческой философии имело ещё и другое — и притом чрезвычайно важное — значение. Изучение это культивировалось в тех кругах, которые сопротивлялись правоверному исламу, его нетерпимости и узости и которые признавали права не только веры, но и знания. Эти круги, по выражению советского исследователя Е. Э. Бертельса, в борьбе против исламизма не раз прибегали к греческой литературе как мощному орудью, позволявшему противопоставить исламу развитые философские теории; для них Платон и Пифагор были пророками, равными не только мусульманским пророкам, но и самому Мухаммеду.

Именно таким было значение греческой философии и для Ибн-Сины.

В его сочинениях, дошедших до нас и рано переведённых на латинский язык, философ в систематическом порядке, стройно и последовательно воспроизвёл и отчасти развил все основные учения Аристотеля. Но это не был точный слепок с оригинала. Ибн-Сина истолковал Аристотеля в свете неоплатоновского понимания.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. IV, стр. 122.

Поэтому учение Ибн-Сины, несмотря на отмеченную Аверроэсом его склонность к компромиссу, оказалось в двойном отклонении от правоверия. Оно отклонилось от него и как попытка сочетать веру с философией, коран с Аристотелем, и как попытка сочетать Аристотеля с неоплатонизмом. В итоге учение это оказалось еретическим и опасным в глазах не только правоверного мусульманского и христианского духовенства. Ибн-Сину считали еретиком и те реакционные арабские философы, которые стремились целиком подчинить знание вере, философию — религии. Когда один из них — Аль-Газали — задумал опровергнуть всё, что в различных философских теориях противоречило положениям веры, то первой и, в сущности, единственной философией, против которой направились его удары, была философия Ибн-Сины.

Литературно-философское, научное, поэтическое (Ибн-Сина писал и стихи) наследие философа заключало свыше ста сочинений самого разнообразного содержания и характера. Энциклопедические «суммы» всех современных ему знаний, комментарии древних авторов, коротенькие послания к вернейшим ученикам и друзьям, философская поэзия — все эти жанры представлены в творчестве Ибн-Сины.

Во многих трудах Ибн-Сина выступает как многосведущий, необычайно искусный, сильный в композиции и в логике изложения пропагандист учения Аристотеля. Знаменитейшим из произведений этого рода был энциклопедический свод всех знаний того времени, называвшийся «Книгой исцеления» («Китаб аш-Шифа»). Труд этот, в восемнадцати томах, оказал сильнейшее влияние на развитие философии Запада.

Однако написано «Исцеление» не в форме обычного для средних веков комментария к Аристотелю, а как изложение самого существа философии.

В средние века особенно ценились части «Исцеления», излагавшие логику, психологию, учение о природе и теоретическую философию.

Как мыслитель Ибн-Сина — крупнейшее явление средневековой философии не только в пределах культуры арабского Востока. Его, как и Фараби, называли «вторым учителем» — вторым после Аристотеля, который в эту эпоху считался непогрешимым и непререкаемым авторитетом в вопросах науки и философии. В XIII веке имя Ибн-Сины было известно не только всем арабским, но и христианским философам, которые видели в Ибн-Сине врага, но врага, достойного уважения. Французский историк Ренан полагает, что впервые полного выражения арабской философии нужно искать у Ибн-Сины. Известный писатель XII века Низами ставит Ибн-Сину рядом с Аристотелем и даже говорит, что тот, кто против одного из них, должен быть причислен к сумасшедшим.

Значение Ибн-Сины в средние века было настолько велико и его имя так признано, что восточных философов определяли, смотря по тому, кто в их глазах был величайший философ современности, — Ибн-Сина или Аверроэс.

Для оценки философских учений средних веков не имеют решающего значения религиозные понятия, содержащиеся в них. В ту эпоху всякое философское учение вынуждено было принимать форму истолкования или дополнения господствующего религиозного учения. Поэтому значение философии определялось не наличием в ней религиозных понятий, а тем, насколько, несмотря на это наличие, философия всё же удавалось занять позицию, более или менее независимую по отношению к религии, и таким образом выявить своё собственное содержание.

Так было и с Ибн-Синою. Философия Ибн-Сины излагает известную систему религиозных учений. Есть в этой философии и мистическое понятие о боге как о непостижимой первой причине. Известны источники этой мистики — учения восточных неоплатоников и, в частности, ходившие под именем Аристотеля, но написанные не им, а неоплатониками, сочинения «Богословие Аристотеля» и «О причинах».

Но в особых условиях развития средневековой философии мистика, будучи мистикой, в некоторых случаях играла и другую роль. Официальная религия или богословие складывались в неподвижную, застывшую сумму догматов, обязательных положений веры, обязательных предписаний культа. Напротив, мистика развивалась вне рамок официальной догматики и представляла более свободную форму личных религиозных воззрений. В фантастических умозрениях мистики иногда возникали понятия,

далеко не совпадавшие с обязательными положениями веры. Больше того, мистика в средние века нередко была формой, к которой прибегала оппозиция, выступая против официального религиозного учения. Такой формой мистика была не только в Европе, но и в странах Востока. Такое значение имели мистические элементы и в философии Ибн-Сины.

Чрезвычайно отвлечённое и сложное для неспециалиста философское учение Ибн-Сины с трудом поддаётся популяризации. Попробуем дать сжатое его изложение.

По учению Ибн-Сины, в основе всякого объяснения может лежать только то, что является общим для всего существующего. Такими общими для всего существующего являются категории бытия, вещи, единого и т. д.

Существует особая наука, предмет которой не те или иные частные обнаружения бытия, но бытие как таковое. Наука эта — философия. Она исследует сначала бытие само по себе, затем то, что из него вытекает, разделение бытия на единое многое, на общее и частное, на возможное и необходимое.

Возможное есть то, что может существовать, но действительно существует только при условии, если оно порождается известной причиной. Если этой причины нет, то возможное остаётся всего лишь возможным, не переходит в действительность. Но есть и такое возможное, которое, будучи по своей природе всего лишь возможным, фактически всё же оказывается необходимым, так как существует некоторая причина, которая порождает его с необходимостью.

Из опыта мы можем познавать только такие предметы, существование которых зависит от порождающих их причин. И самые эти вещи и их причины только возможны. В этом смысле следует сказать, что вся сумма наполняющих мир существ в целом представляет собой лишь возможное. Однако для существования всего возможного должна быть причина. Поэтому в случае, если существовало бы только возможное, ничто не могло бы возникнуть. А так как вещи всё же существуют в действительности, то должна быть уже не возможная только, но необходимая причина их существования. Эту необходимую причину всего существующего Ибн-Сина называет богом.

Отсюда видно, что бог Ибн-Сины не что иное, как необходимое бытие, первая причина действительности всего существующего. В боге его сущность необходимо совпадает с его существованием. Напротив, сущность каждой отдельной вещи не имеет сама в себе основания для собственного существования, так что по отношению к сущности каждой вещи её существование есть нечто случайное. И хотя при необходимости причины существование будет следовать также с необходимостью, однако, необходимость эта не будет вытекать из сущности как таковой.

Опираясь на эти понятия о необходимости, действительности и возможности, Ибн-Сина развил учение о мире. Мир есть вечное последовательное превращение в действительность ряда существ, каждое из которых само по себе — лишь возможно, но становится необходимым в силу порождающей его причины. Эта причина в свою очередь становится необходимой в силу собственной своей причины и т. д. Весь же мир в целом со всеми своими вещами необходимо возникает в силу единственного безусловно необходимого бытия.

Однако необходимое бытие не может быть непосредственной основой возможного. Так как возможное это то, что может быть, но может и не быть, то непосредственной основой для него должно быть не необходимое бытие, но материя. Если необходимое бытие — вечный источник действительности, то материя — такой же вечный источник возможности.

«Всё, что начинает быть, — говорит Ибн-Сина, — имеет материальный принцип... всё, что начинает быть после того, как его не было, имеет, без сомнения, материю, так как всё порождённое должно по необходимости до своего порождения быть возможным само по себе».

Всё, что существует, имеет бытие трояким образом — или до вещей, или в вещах, или после вещей. До вещей всё существует в уме бога как замысел его тво-

рения. В вещах бытие существует — поскольку вечно творимый мир становится действительностью. После вещей бытие существует в уме человека в форме понятия о вещах, отвлекаемого умом от самих вещей.

Вселенная состоит из отдельных или единичных вещей, составляющих предмет специальных наук. Но ум человека образует общие понятия об этих вещах, составляющие предмет науки логики.

Сама по себе сущность каждой вещи одинаково безразлична как к единичному, так и к общему. Например, сущность лошади («лошадность») сама по себе несколько не зависит от того, что необходимо прибавить к этой сущности, как для того, чтобы она стала единичной, вот этой именно лошады, так и для того, чтобы она стала общим понятием о всякой лошади.

Необходимое бытие есть сущность мыслящая и, стало быть, познающая. Необходимое бытие познаёт само себя, и это его знание о самом себе есть первое обусловленное причиной бытие. Первое обусловленное причиной бытие есть также сущность мыслящая, или ум. Будучи причинно обусловленным, оно только возможно, но — в силу наличия своей причины — оно вместе с тем и необходимо. Порождённый первобытием ум мыслит, во-первых, бога и, во-вторых, самого себя — как необходимое в силу своей причины. Мышлением о боге порождается второй ум, отделённый от первого, а мышлением о себе самом порождается душа первой небесной сферы, обнимающая собою мир. Наконец, порождённый первобытием ум мыслит самого себя и как то, что само по себе возможно. Этой мыслью порождается тело первой небесной сферы.

Аналогичным образом возникают порождения второго ума: познавая первый ум, он тем самым порождает третий ум; познавая себя самого в качестве необходимого, он порождает душу второй небесной сферы и, познавая себя самого в качестве возможного, он порождает тело этой второй небесной сферы.

Весь ряд порождений завершается порождением ума, господствующего над сферой Луны, ближайшей к Земле и к центру мироздания. Ум этот и есть наш деятельный ум. Он уже не способен, как предшествующие умы, породить из себя другой ум, но, дробясь, он излучает отдельные мыслительные формы, которые, овладевая земными вещами, способны принять эти формы, порождают все те предметы и вещества, какие мы воспринимаем посредством наших чувств. К числу этих существ принадлежат люди. Душа, одушевляющая тело человека, есть мыслящая сущность, излучаемая душой последней — лунной — сферы. Душа мыслит — сравнивает между собой образы тел, воспринимаемые посредством чувств, классифицирует их и образует отвлечённые понятия. Каждое такое понятие есть восприятие одной из мыслительных форм, которые непрерывно излучаются последним из умов и которые проникают в человеческий рассудок, если только этот рассудок расположен или способен их принять.

По мнению Ибн-Сины, наш ум не только пассивно воспринимает, но и проявляет собственную деятельность. Понятия об общих родах он образует путём сравнения. Но основанием для сравнения всегда является то сходство или несходство вещей, которое существует в самой действительности.

В этом учении мистика приобретает натуралистический оттенок. Впоследствии, в XVII веке, Спиноза, отождествивший бога с природой, повторил учение Ибн-Сины о том, что в природе сущность её совпадает с существованием.

Это учение отклонялось от мусульманского правоверия. Правоверие помещало бога вне мира и видело в нём творца всех вещей в мире и прямого вершителя всего, что происходит в мире. Ибн-Сина, напротив, учил, будто бог творит мир непосредственно, а через ряд порождаемых им «умов» или «умных небесных сфер» — вплоть до последней, которая порождает всё множество существ, воспринимаемых нами посредством чувств.

Как ни мистично для современного научного сознания это учение, но в нём таилась несовместимая с религиозным правоверием мысль. Учение Ибн-Сины отнимало у бога роль непосредственного творца отдельных вещей и вершителя их судеб. От-

делив бога от мира земных вещей рядом промежуточных сфер или ступеней излучения, учение это делало возможным изучать мир вещей не как прямое творение бога, но так, как он существует сам по себе.

В монографии об Аверроэсе Ренан характеризует такими словами взгляд Ибн-Сины на отношение между миром и богом: «Бог... не может иметь непосредственного воздействия на мир. Он не вмешивается в течение отдельных вещей: будучи центром колеса, он позволяет периферии катиться по своему усмотрению».

Именно это учение, отклоняющееся как от правоверия, так и от частично признанной правоверием философии Аристотеля, и было изложено Ибн-Синою в сочинении «Восточная философия». Здесь Ибн-Сина не комментирует, как в других своих книгах, учение Аристотеля, но излагает собственные взгляды.

Современные Ибн-Сине, а также позднейшие философы хорошо знали его «Восточную философию». Другой видный философ и писатель арабского Запада Ибн-Туфейль ясно видел расхождения между философией самого Ибн-Сины и взглядами философов, более приемлемых для правоверия. По его словам, в своих комментариях Ибн-Сина часто говорит о том, чему сам не верит, а подлинные свои взгляды излагает в своей «Восточной философии». Тот же Ибн-Туфейль сообщает, что в начале своего философского сочинения «Исцеление» Ибн-Сина признался, что он написал его, только следуя учению Аристотеля, так что тот, кто ищет истину безукоризненно чистую, должен взять сочинение его о восточной философии. Эта же «Восточная философия» была известна знаменитому научным трудам и борьбой против папства философу XIII века Роджеру Бэкону.

Но для самого близкого и узкого круга учеников Ибн-Сина писал небольшие послания («рисалэ»), в которых точнее всего выражал свои взгляды, не совпадавшие с мусульманским правоверием.

3

Не меньшей, чем философская, была слава Ибн-Сины как медика. Его «Канон» и «Урджуза» — важнейшие из шестнадцати написанных им медицинских сочинений — были в течение ряда веков не только для врачей арабских стран, но и для врачей Европы наиболее ценившейся энциклопедией медицинских знаний, сводом практических правил и наставлений. Отвечая на вопрос, какие медицинские труды должен изучить врач, чтобы достигнуть мастерства во врачебном искусстве, самаркандский учёный Низами пояснял, что для того, кто усвоил «Канон» Ибн-Сины, изучение книг других авторов излишне.

В «Каноне» Ибн-Сины излагались анатомия, учение о причинах болезни, патология, общая терапия и терапия отдельных органов, фармакология.

В содержании своего медицинского учения, так же как и в идейном составе своей философии, Ибн-Сина не просто переписывает античных писателей по вопросам медицины, но вносит в их учения ряд важных оттенков, иногда усиливающих их материалистические тенденции. В «Каноне» Ибн-Сина не ограничился изложением чисто медицинских учений, но ввёл и учение о душе и её функциях. Он полагал, что медицинская наука должна опираться не только на знание анатомии, патологии, терапии, но также и на знание природы душевных способностей.

В своей классификации душевных функций Ибн-Сина различает четыре их класса. К первому он относит органы внешних чувств. Он видит в них связующее звено между независимым от ощущений внешним миром и самим человеком, испытывающим ощущения. Вторым классом душевных функций Ибн-Сина считает внутренние умственные силы человека, третьим — движущие силы и, наконец, четвёртым — рациональные способности.

Особенно интересно учение Ибн-Сины о внутренних умственных силах. Он различает в них: 1) ощущения, получаемые посредством органов внешних чувств, 2) способность отвлечения и обобщения, дающую начало понятиям, и 3) способность запоминания или сохранения воспринимаемого.

При этом Ибн-Сина не просто перечисляет все эти виды душевных функций, по

пытается точно определить их локализацию или расположение в материальном веществе и в строении мозга. Так, ощущения локализируются, по его мнению, в передней части мозга, способности отвлечения и обобщения — в средней, а память — в задней части мозга.

При всей своей грубости эта локализация была первой в средние века попыткой указать материальную структуру, в которой коренятся процессы ощущения, отвлечённого мышления и запоминания. Это, разумеется, ещё не материализм в строгом и полном смысле слова, но формулировка одного из необходимых условий материалистического объяснения душевной жизни.

В течение многих веков феодальной общественной системы передовым оставалось учение Ибн-Сины о едином для всего человечества уме, а также его учение о развитии умственных способностей человека. Ибн-Сина учил, что каждый человек обладает способностью приобретать отвлечённые понятия и что способность эта осуществляется, восходя по трём ступеням. На первой ступени ум похож на ребёнка, который хотя может выучиться писать, но ещё не знает ни букв, ни чернил, ни пера. На второй ступени ум уже наделён чувствами и образами: он похож на ребёнка, который начинает чертить палочки и пользоваться пером. На третьей ступени ум уже владеет умственными формами, соответствующими его чувственным образам.

Влияние Ибн-Сины на развитие философской и научной мысли средних веков исключительно велико. Влиянием этим была охвачена наука и философия в странах арабского языка — не столь даже арабского Востока, как арабского Запада. Значительным было воздействие Ибн-Сины на умственную жизнь культурных народов Средней Азии, особенно на персидскую культуру. В Средней Азии и в Персии идеи Ибн-Сины распространялись не только посредством его учёных и философских сочинений на арабском языке, но и посредством сочинений, которые он писал на языке «дари» — предшественнике современного таджикского.

Наконец, сильным и длительным было также влияние Ибн-Сины в странах Европы. Задолго до того, как западная схоластика получила из рук арабов переведённые с арабского сочинения Аристотеля, всеобъемлющая энциклопедия наук, разработанная Ибн-Синою по плану и по руководству Аристотеля, но оригинально преломлённая, оказывала своё действие на европейских учёных через среду арабской учёности. Вплоть до эпохи Возрождения, когда в Европе начались самостоятельные анатомические, а затем и физиологические исследования, «Канон» Ибн-Сины считался медицинским трудом, единственным по обилию медицинских сведений, по их разносторонности, по соединению теории с практическими наставлениями и предписаниями, по основательности.

О силе воздействия Ибн-Сины на медицинскую науку Европы можно судить по огромному количеству рукописных списков его медицинских сочинений, а впоследствии — с началом книгопечатания — по большому числу изданий и переизданий тех же его трудов в латинских переводах.

«Канон» рано был переведён с арабского на латинский язык и уже в 1544 году напечатан на этом языке в Венеции. В XVI веке он переиздавался 14 раз, а, в общем, до последнего времени выдержал 30 изданий и до эпохи Возрождения один доминировал в теоретической медицине и в практическом применении. «Канон» породил множество толкований, он сохранился до наших дней в виде множества рукописных списков. Знаменитый соперник Ибн-Сины по учёности и по влиянию, постоянный критик его философских взглядов, Аверроэс отзывался о «Каноне» с полным уважением.

С «Каноном» соперничала по силе влияния и по авторитетности «Урджуза» — дидактическая медицинская поэма Ибн-Сины, охватывавшая, так же как и «Канон», все составные части и все основные учения медицины. Стихотворная форма этого произведения отразилась на названиях сделанных с него переводов. Уже в арабской литературе, кроме названия «Урджуза», оно получило название «Мазума», что значит поэма. И в соответствии с этим латинский перевод этого сочинения получил название «Cantica» или «Canticum» (песня). Списки медицинской поэмы Ибн-Сины также сохранились в рукописных отделах многих библиотек. Сочинение это было прокомментировано Аверроэсом.

Среди воздействий, которые Ибн-Сина оказал на окружавший его культурный мир, особо выделяется его влияние на развитие таджикской и персидской литературы.

В широко известных своих сочинениях энциклопедического характера Ибн-Сина, избегавший заострения борьбы и искавший компромисса, не мог высказывать мысли, которые сразу поставили бы его в положение открытого противника правоведа. Оригинальный образ мыслей выступает у Ибн-Сины в посланиях, написанных для тесного кружка учеников и доверенных лиц. В одном из таких произведений — «О душе» — Ибн-Сина изображает последовательный подъём философа с низших ступеней философского посвящения на высшие, доступные только тем, кто подготовлен к тому особым обучением.

Большое влияние на литературу народов Средней Азии и Ирана имела повесть Ибн-Сины «Хайй ибн-Йакзан». В ней Ибн-Сина рассказывает о встрече своей с мудрым старцем по имени Хайй, который посвящает Ибн-Сину в вопросы строения Земли, Вселенной и небесных сфер.

В дальнейшем влияние Ибн-Сины всё больше распространяется на поэзию Средней Азии.

Под именем Ибн-Сины дошло небольшое число стихотворений, написанных на языке дари (предшественнике таджикского). Одна из его газелей сохранилась в рукописи, находящейся в настоящее время в СССР в библиотеке Института востоковедения. В этой газели и во многих его четверостишиях славится вино как источник духовных радостей, говорится о загадках человеческой жизни, которые остаются нерешёнными и для учёных. В двух четверостишиях поэт клеймит невежд и фанатиков, обвинявших его в ереси.

Вся эта поэзия овеяна духом свободомыслия.

Считают возможным, что Омар Хайям не только читал Ибн-Сину, но и учился у него, и притом не одной лишь философии и науке, но и поэзии. Может быть, четверостишия Ибн-Сины были для Омара Хайяма образцом. Сохранился рассказ, что последней книгой, которую Хайям читал накануне своей смерти, была книга Ибн-Сины.

Тысячелетие отделяющее нас от Ибн-Сины, было серьёзным испытанием для внесённых им в науку и в философию идей. Большая часть его понятий и взглядов оказалась превзойдённой наукой Возрождения и составляет достояние истории. Но как учитель народов Востока и Запада, Средней Азии и Европы, как посредник в сложном обмене культурными богатствами этих народов Ибн-Сина имеет мало равных.

В эпоху обострённой и фанатической религиозной розни между христианством и исламом Ибн-Сина, как никто другой, способствовал устранению перегородок, разделявших философию, науку и поэзию в различных странах Европы и Средней Азии. Его огромное, длившееся в течение ряда столетий влияние показало, что в произведениях передовой мысли есть содержание, не зависящее от различий языка, веры, племенной и расовой принадлежности.

Ибн-Сина — один из тех выдающихся деятелей культурной истории, которые трудились над объединением лучших людей средневекового общества. Во все страны Старого света, в длинный ряд веков от этого великого учёного протянулись нити оплодотворяющего мысль действия. Вот почему фигура Ибн-Сины жива и для нас; для всей передовой части современного человечества.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

С. МАРШАК

★

ЛИТЕРАТУРА — ШКОЛЕ

Детская литература становится у нас богаче с каждым годом. Уже не писатели-одиночки творят её, а большой отряд талантливых прозаиков и поэтов. Мы можем с гордостью сказать, что у нас уже есть для детей и повести, и стихи самых разнообразных видов — песни, баллады, поэмы, рассказы в стихах, сказки, прибаутки, загадки. Есть и научно-художественная книга, тоже разных типов — от небольшого очерка до целого трактата или поэмы в прозе. И всё это непрерывно растёт, крепнет, совершенствуется.

С литераторами сотрудничают и соревнуются в мастерстве равноправные с ними соавторы детской книги — художники.

Конечно, в библиотеке детской литературы ещё много существенных пробелов. Не все её разделы развиваются равномерно. Однако теперь уже никто не может сомневаться в успехе того дела, фундамент которого с такой любовью заложил родоначальник всей советской литературы Алексей Максимович Горький.

Но есть у детской художественной книги сёстры, сильно отстающие от неё в росте. Это книги учебные. Я думаю, можно со всей справедливостью сказать, что в деле создания учебных книг для детей у нас ещё не было таких побед и удач, какие были одержаны в литературе художественной.

А между тем это самые распространённые, многотиражные книги. Они не минуют ни одного школьника. Их запоминают от первой до последней строчки. Они проникают в самые отдалённые уголки страны гораздо скорее, чем популярнейшие книги поэтов и прозаиков. Для подготовки и выпуска их у нас существует особое и очень мощное издательство — Учпедгиз.

Но может ли учебно-педагогическое издательство нести всю ответственность за качество учебных книг? Не больше, чем издательство «Советский писатель» — за советскую литературу.

Задача создания талантливых, свежих, хорошо задуманных и хорошо написанных книг для нашей школы может быть разрешена лишь совместными усилиями педагогов и литераторов.

Речь идёт не только о первых книгах для чтения и литературных хрестоматиях, не только о книгах учебных в узком смысле этого слова.

Для того, чтобы школьники глубоко усвоили курс истории, им необходимы живые, художественные иллюстрации к этому курсу — исторические рассказы. Такие рассказы запоминаются на всю жизнь, а схемы исторических событий и голая хронология усваиваются с трудом и забываются очень легко. Чем моложе возраст, тем более ему нужны конкретные образы, а не отвлечённые понятия и схемы. Пожалуй, и самый учебник истории для младших и средних классов должен состоять из рассказов.

Создать такой учебник нелегко. Но ещё до его возникновения мы можем и должны дать школьнику впридачу к учебному курсу книгу — или, вернее, книги — интересных, сюжетных исторических рассказов.

Но где же они, эти рассказы?

Наша историческая библиотека школьника похожа на лестницу, у которой нехватает многих ступенек.

Повести и романы у нас есть — хоть их не так уж много, — а вот исторических рассказов и очерков, относящихся к различным эпохам, пока ещё почти совсем нет.

Их нет, но есть люди, которые могли бы их написать. Это могли бы сделать авторы наших исторических романов — Степан Злобин, Василий Ян, Георгий Шторм, Георгий Блок, Ольга Форш, Сергей Голубов, Сергей Бородин, Сергей Григорьев, Виктор Шкловский, Зинаида Шишова и другие. Да и кроме них, несомненно, найдутся писатели, которых эта задача может заинтересовать.

А география? Какой это увлекательный предмет, если у преподавателя географии оказывается живое воображение и если он к тому же сам хоть немного попутешествовал на своём веку. Мы знаем, что человек никогда так не интересуется путешествиями, как в ранней юности. География может быть одним из самых любимых предметов в школе. Но как редко бывает, чтоб учебник географии был книгой, а не каталогом гор, рек, озёр и городов, чтоб он по праву носил своё название «география» — «землеописание».

Несомненно, такой учебник будет создан. Но уже и сейчас можно было бы вызвать к жизни собрание географических и краеведческих рассказов, романтических историй о давних и нынешних мореплавателях и землепроходцах. Как интересно было бы сопоставить какое-нибудь старинное путешествие по пескам среднеазиатской пустыни с нашей современной советской экспедицией, следующей по тому же маршруту.

Дневник зимовки, жизнь высокогорной станции, лесного заповедника — всё это как будто нарочно существует для того, чтобы увлекать и очаровывать читателя — ребёнка и подростка. И непонятно только одно: почему рассказов об этом так мало и почему существующие рассказы так незаметны?

Издательствам гораздо легче найти автора для объёмистой повести о каком-нибудь путешественнике или, скажем, о судьбе экспедиции, чем для лаконичного рассказа на те же самые темы.

А ведь именно короткий рассказ так нужен учителю на уроке, ученику после урока, детскому журналу — всегда.

Короткие, точные, написанные с настоящим мастерством рассказы, слагаясь в одно целое, могли бы создать со временем обширный круг чтения, не менее содержательный, чем любой, самый ёмкий роман.

Томик чеховских рассказов весит больше, чем многие и многие романы и повести его современников.

Но вернёмся к географическим рассказам.

В первую очередь нам надо создать книгу о Родине. Не книгу, обобщающую сведения, которых, кстати говоря, у маленького читателя ещё нет, не беглый обзор необозримых пространств нашей страны, а поэтическую книгу, полную живых и конкретных подробностей. И не одну книгу, а много — самых разных по замыслу и форме.

Это может быть, например, книга замечательных пейзажей, сопровождаемых очерками и рассказами.

Обычно считают, будто дети не интересуются пейзажем, будто никакой, даже самый живописный ландшафт не способен привлечь их внимание.

Я полагаю, что это утверждение далеко не бесспорно. Хороший, глубоко прочувствованный художником пейзаж оценят и дети.

Да к тому же пейзаж у нас в Советском Союзе особенный. Нет уголка в нашей стране, где бы человек — строитель, геолог-разведчик, тракторист, лесовод, чабан, охотник, лесоруб — не оживлял природы своей деятельностью. Любой ландшафт — поля, реки, горы, степи, леса — стал у нас ареной борьбы со стихиями.

Такой — оживлённый человеком — пейзаж не может не заинтересовать детей и того литератора, на долю которого выпадет задача написать к рисунку рассказ или очерк.

Когда-то, во времена молодости, Горький вместе со своими домочадцами и друзьями изготовлял для деревенских детей самодельные альбомы, наклеивая на чистые листы бумаги рисунки, вырезанные из иллюстрированных журналов. Алексей Максимович живо представлял себе, каким подарком будут для ребёнка, лишённого детских книг и картинок, эти альбомы с интересными, живописными пейзажами, видами городов всего мира, с занятными сценами из быта разных народов и стран, с изображением невиданных машин, диковинных зверей и птиц.

Сейчас детские книги проникают в самые отдалённые уголки страны. У нас существует крупнейшее в мире издательство книг для детей. Наши художники вместе с писателями могут создать самые разнообразные альбомы и книги, посвящённые народам СССР, великим стройкам коммунизма, героям этих строев.

Но инициатива в деле создания большой книги о Родине может и должна принадлежать не только художнику.

Пора нам затеять книгу, в которой лучшие наши писатели рассказали бы детям о своих родных краях, о том, что представляли собой эти края до революции и чем стали теперь.

Можно не сомневаться в том, что все писатели наших братских республик откликнулись бы на такого рода затею.

В большой книге о Родине могли бы найти место и очерки, и рассказы, и подписи под рисунками, и небольшие повести. Авторы не должны быть стеснены ни в листаже, ни в выборе жанра.

Особенность этой книги — в её подлинности, в том, что о Родине на этот раз написали бы не компиляторы, знакомые с географией страны по литературе, а писатели-художники, глубоко знающие и любящие свои родные края, исходившие их вдоль и поперёк, изо дня в день наблюдающие их могучий расцвет.

Возможно ли создать такую книгу? Думаю, что возможно.

Инициатором и организатором её должен быть наш коллективный Горький — Союз советских писателей в целом.

Одному отряду литераторов — детским писателям — с этой огромной задачей не справиться.

А каким великолепным подарком советским детям была бы книга, в которой М. Шолохов написал бы несколько поэтических страниц о берегах Дона, К. Федин — о Волге, А. Фадеев — о Дальнем Востоке, В. Катаев — о Черноморье, Н. Тихонов и В. Панова — о Ленинграде, Всеволод Иванов, Г. Марков и К. Седых — о Сибири, М. Исаковский и А. Твардовский — о Смоленщине и все лучшие писатели братских народов — о своих республиках или отдельных краях этих республик.

Мне могут возразить, что далеко не все литераторы умеют писать для детей. В таком возражении есть доля правды. Чтобы говорить с детьми, автору книг для взрослых приходится зачастую несколько изменить свою манеру письма, свой стиль.

Но ведь справился же когда-то с такими трудностями писатель, пользовавшийся в своих книгах для взрослых сложными периодами, эпически-неторопливым ритмом, как нельзя более соответствовавшим широте его художественных задач. Писатель этот — Лев Толстой.

В предисловии к его «Русской книге для чтения», переизданной Детгизом в 1946 году, говорится:

«Много лет Л. Н. Толстой накапливал материал для этой книги. Перечитывал школьные книги и детские журналы того времени, русские и иностранные произведения, написанные для народа, и произведения народного творчества. С особым вниманием изучал русские народные сказки и былины, пословицы, поговорки, загадки и живой русский народный язык. И лишь после этой огромной подготовительной работы он начал писать книгу, которую и закончил в 1872 году. Вышла она впервые под названием «Азбука».

Из сопоставления дат видно, что Толстой работал над «Русской книгой для чтения» в период между двумя своими величайшими произведениями — «Войной и миром» (1863—1869 гг.) и «Анной Карениной» (1873—1877 гг.).

В его четырёх книгах для детского чтения есть рассказы, уместающиеся в трёх-пяти строчках — и на нескольких страницах. В первых книгах рассказы состоят чаще всего из коротеньких предложений. В последующих — синтаксис постепенно усложняется.

Но и в самых первых рассказах, напечатанных на первой странице первой книжки, есть все признаки живой речи, настоящего повествования. Простота и лаконичность не превращает их в сухие и скучные упражнения вроде: «Маша ела кашу», «Мама и Саша на сене».

Первой книге для чтения предшествует у Толстого «Новая азбука». В ней даются даже не рассказы, а простые сочетания отдельных предложений, связанных между собой весьма незамысловатым сюжетом.

Но вот что создаёт Лев Толстой из двадцати двусложных слов:

- «Несла баба ведро воды. Ведро было худо. Вода текла на землю. А баба была рада, что нести стало легче. Пришла, сняла ведро, а воды нету».

Да ведь это вполне законченное произведение с последовательным развитием фабулы, со всеми интонациями и паузами естественной, непринуждённой речи.

А вот ещё более короткое сочинение Льва Толстого из той же «Азбуки» и тоже состоящее из двусложных слов:

«Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села подле кошки птичка. Не сиди близко, птичка, кошки хитры».

Эти строчки могут многому научить всех тех, кто составляет рассказы для первого классного чтения или подбирает примеры для усвоения правил грамматики.

Ведь даже в грамматических примерах речь должна быть сочной, свежей, а не безжизненной, варёной, как в большинстве учебников.

Умел же К. Ушинский подбирать живые фразы для школьных прописей:

«Зубы береги: беззубому, брат, плохо!»

Такая фраза надолго запоминается и учит не только писать буквы по трём кесым и беречь смолоду зубы, но и хорошо говорить по-русски.

Работа Льва Толстого и Константина Ушинского убеждает нас в том, что книгу, которая учит ребят владеть словом, должны создавать люди, одарённые вкусом, слухом, талантом. Пусть это будут не Толстые и Ушинские (такие не каждый день являются на свет!). Но к чему приобщаться? В наше время и в нашей стране можно найти немало

литераторов, обладающих педагогическим чутьём, и педагогов с литературным талантом.

Трудясь над своими детскими книгами, Лев Толстой решал не одну педагогическую, но и художественную задачу. Для него было делом писательской чести справиться не только с многолистной эпопеей, но и с рассказом из четырёх строчек, с повестью из двадцати четырёх страниц. Умение писать коротко и просто было для него проявлением и доказательством высшего мастерства. Кто из современных ему писателей нашей страны и зарубежных стран мог поспорить с ним в этом искусстве!

Сегодня, перечитывая учебные книги Толстого, мы особенно ценим в них его блистательное умение пользоваться всеми оттенками, всеми возможностями родного языка, его щедрую затрату писательского мастерства на каждые три-четыре строчки, которые превращаются под его пером в умные, трогательные и убедительные рассказы.

Конечно, по этим книгам в наши дни мы не могли бы обучать школьников. Мир, который они отражают, и мировоззрение, в них заложено, далеки от нас и от наших детей.

Но этот великолепный опыт, этот подвиг художника, со всей страстью, со всей ответственностью взявшегося за такое, казалось бы, незаметное, скромное, кропотливое дело, навсегда останется воодушевляющим примером.

Опыт Толстого многообразен.

Не одни лишь рассказы и повести писал он для детей. В сущности, он и Ушинский были авторами наших первых детских энциклопедий. В «Четырёх книгах для чтения» Льва Толстого вы найдёте и басни в прозе, и сказки, и «рассуждения» — научные очерки на самые разнообразные темы: «Отчего бывает ветер?», «Как ходят деревья», «Тепло», «Магнит», «Куда девается вода из моря?», «Шелковичный червь», «Сырость», «Газы», «Отчего в морозы трещат деревья», «Как делают воздушные шары», «Гальванизм», «Кристаллы» и т. д.

И всё это написано пером Льва Толстого, тем же пером, что написало «Войну и мир», «Детство» и «Воскресение».

Не жалея своего времени и сил, великий писатель трудился над очерком для детей на тему: «Отчего потеют окна и бывает роса?»

В тех же четырёх книгах для чтения есть и небольшие исторические очерки, рассказы, анекдоты: «Ермак», «Мужик и царь», «Как тётка рассказывала бабушке о том, как её разбойник Емелька Пугачёв дал гривенник», «Камбиз и Псаменит», «Поликрат Самосский», «Основание Рима» и т. д.

Но венцом «Книг для чтения», несомненно, является повесть, помещённая почти в самом конце четвертой книги, — знаменитая повесть о Жилине и Костылине — «Кавказский пленник».

Вряд ли можно найти во всей мировой литературе более совершенный образец маленькой повести для детей.

В «Кавказском пленнике» мы находим редчайшее сочетание романтического сюжета с глубокой, поистине толстовской правдивостью и точностью в изображении обстановки и действующих лиц.

«Кавказский пленник» показал всему миру, какой содержательной может быть детская повесть, напечатанная крупным шрифтом на двух десятках страниц. В ней есть приключения, столь привлекательные для юного читателя, но есть и большие чувства, оставляющие след на всю жизнь.

Я говорю здесь о детских книгах Толстого так подробно, потому что эти книги лучше всего опровергают толки о существовании некоей непроходимой пропасти между так называемой «взрослой» литературой и детской, между педагогическим и литературным искусством. Это — кажущаяся, мнимая пропасть. Она может быть заполнена, если детские писатели не будут требовать никаких скидок на «детскость», а «взрослые» — на незнакомство с особенностями детской литературы.

Не к этому ли призывал литераторов другой великий классик нашей родины, Алексей Максимович Горький, так много сделавший на своём веку для процветания детской литературы?

Все его статьи о детском чтении направлены к тому, чтобы мобилизовать всю нашу литературу на создание «большой книги для маленьких».

Помню, как заботливо искал он у себя на библиотечных полках лучшие книги, которые должен переиздать Детгиз, как бережно держал он, точно взвешивая на своих крупных ладонях, облюбленные им аккуратные томики, как серьёзно и сосредоточенно обдумывал во время беседы с нами темы десятков и сотен будущих детских книг.

Мысль его охватывала не только художественную литературу, но и литературу познавательную. Во время нашей последней с ним встречи весной 1936 года в Крыму он передал мне исписанные его квадратным почерком страницы, хранящиеся теперь в Горьковском музее. Эти страницы представляют собою два рекомендательных списка книг. Один список — для среднего возраста, другой — для младшего. Среди своего огромного труда Горький находил время для того, чтобы перебирать у себя в памяти и на полках множество разных повестей, романов, рассказов и сказок в поисках того, что может понадобиться и полюбить советским детям.

Мало того. Наряду с будущими книгами Алексей Максимович обдумывал, — можно сказать, изобретал, — новые типы наглядных пособий для школы. На двух-трёх переданных мне Горьким листах я нашёл проекты разборного геологического глобуса, подробнейшей — тоже разборной — географической карты нашей родины, особого, складного, анатомического атласа. Над этими проектами Алексей Максимович работал в те самые дни, когда писал последние страницы своего последнего романа.

Подлинный писатель-патриот, он заглядывал далеко в будущее и, не жалея, отдавал считанные часы своего рабочего дня мыслям и заботам о тех поколениях, расцвета которых ему не суждено было дожидаться.

..Не я

Увижу твой могучий поздний возраст...

Осуществить завещание Горького об участии литературы в деле воспитания детей и юношества — прямой долг каждого из нас.

Писатели должны прийти на помощь детской библиотеке и школе в решении самых крупных и самых рядовых повседневных задач — везде, где требуется перо писателя-художника.

О воспитательной роли советской художественной литературы нельзя сказать яснее и значительнее, чем это сказано в постановлении ЦК ВКП(б) 14 августа 1946 года:

«Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодёжь, ответить на её запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в своё дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия».

Это относится ко всей нашей литературе в целом. Роман, повесть,

лирические стихи, драма и комедия, любой вид литературы, решая свои особые задачи, служит одной общей цели — воспитанию растущего человека, служит не дидактической моралью, не навязчивой назидательностью, а всеми подлинными средствами высокого искусства.

Именно от искусства со всеми его огромными, великолепными возможностями должна ждать помощи одна из самых важных книг, выпускаемых нашими издательствами, — та книга, которою пользуются миллионы детей, обучающихся читать, думать и говорить на родном языке.

Можем ли мы допустить, чтобы такие книги при всём богатстве нашей общей и специально детской литературы были бедны, плоски, в лучшем случае только удовлетворительны? А между тем дело обстоит именно так. Правда, за последние годы уровень этих книг немного повысился. Из них выпали доморощенные стишки анонимных авторов, сухие и убогие по языку статейки. Трудно поверить, что в книжке для первого класса (издание 1948 года) могли печататься такие строчки:

Хоть хавронья и грязна,
Всё же людям всем нужна.
Если снять с неё шетину,
Сделай кисть, — пиши картину.
Шкуру хрюшечки дубят,
Ну, а мясо все едят.

А в книжке для второго класса (1948 год) были помещены стихи под названием «Кто сеет репейник?» и «Птичка сеет ягоды».

Первое из них звучит так:

А вот репейник —
такой затейник:
Жучке к хвосту прицепился.
Жучка его далеко унесёт
и везде семена натрясёт.
Весной семена прорастут,
летом опять репы зацветут.

Второе стихотворение¹ почти так же примечательно, хоть и написано в несколько ином — более меланхолическом тоне:

Отыскала птичка ягоды рябины.
Только собиралась ими пообедать,
Как вблизи вдруг что-то сильно зашумело.
Испугалась птичка и, вспорхнув с рябины,
Захватила ягоду и с нею улетела.
На опушке леса с ягодкой присела,
Но опять тут что-то птичку напугало.
Бросила рябинку, дальше полетела.

Сейчас такого рода досадных клякс почти не осталось. Книжки для школьного чтения подверглись некоторой чистке, — так сказать, ремонту на ходу. Но сущность их изменилась мало.

Настоящего замысла, образующего книгу, в них нет. Я имею в виду не методический принцип расположения и подбора материала, а тот крупный художественный и педагогический замысел, который вы ясно

¹ В учебнике это «произведение» было напечатано без делений на стихотворные строчки. Но как его ни печатай — стихами или прозой, — оно всё равно не станет ни прозой, ни стихами.

ощущаете, когда берёте в руки «Родное слово» и «Детский мир» К. Ушинского или «Четыре книги» Л. Толстого.

Книжки для чтения, по которым до сих пор учатся наши дети, не созданы, а именно «составлены» в полном смысле этого слова. Составлены из доскутёв стихов и прозы, из осколков учебных книг для чтения, существовавших в разные времена и зачастую построенных на основании разных, несходных между собою педагогических систем и принципов. При внимательном рассмотрении этих эклектических книжек легко обнаружить, что откуда пришло: из Толстого, из Ушинского, Вахтеровых, Тихомирова и т. д.

Много отрывков из классической и современной литературы даётся в сокращённом, иной раз даже искромсанном виде.

Составителям, например, ничего не стоит отрезать от знаменитой Некрасовской строфы, состоящей из шести строк, ровно половину — три строчки.

В полном разгаре сграда деревенская...
Доля ты! — русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать...

Не ищите в учебнике окончания строфы, не ищите рифмы к последней строчке. Необходимую составителям мысль — о женской доле — Некрасов высказал, и хватит с него.. Что там ещё растабарывать! Тем более, что дальнейшие строчки, очевидно, по мнению составителей, не соответствуют установленным методистами возрастным нормам.

К сожалению, эта спокойная и безмятежная уверенность, что любое литературное произведение — и стихи и прозу — можно резать и кроить произвольно и безнаказанно, вкоренилась чрезвычайно глубоко.

Совсем недавно детскую писательницу Любовь Воронкову пригласили в одно педагогическое учреждение, где готовилась — в порядке эксперимента — новая учебная книга для чтения. Просматривая проект книги, Л. Воронкова обнаружила в ней свой рассказ «Солнечный денёк» в совершенно новой редакции.

Впрочем, изменения оказались небольшие. Всего-навсего летс превращено в зиму, а девочки — в мальчиков.

Писательница несколько удивилась и спросила, чем, естественно, вызвана такая метаморфоза. На её вопрос ей ответили вопросом, от которого не отказался бы и сам Кузьма Прутков:

— А не всё ли равно — мальчики или девочки?

— Но зачем же в таком случае вы меняете? — поинтересовалась писательница.

На это она получила простой и вразумительный ответ:

— У нас в книжке и без того слишком много лета и девочек!

Повидимому, составители уверены, что писателю глубоко безразлично, каксе у него в произведении время года, какого пола его герои и как их зовут.

Детей в рассказе Л. Воронковой авторы проекта хрестоматии переименовали, что, впрочем, вполне естественно: нельзя же девочек — после того, как они стали мальчиками, — называть попрежнему женскими именами.

К мальчикам и девочкам составители книг для чтения зачастую относятся так же, как любой автор задачника относится к своим персонажам.

«Один мальчик сорвал 12 орехов...»

«Один пешеход вышел из города А по направлению к городу Б...»

Действительно, совершенно неважно, кто сорвал 12 орехов — мальчик или девочка.

Действительно, совершенно неважно, какого пола был пешеход и в какое время года отправился он из города А в город Б.

Всё дело в том, что авторы учебных книг для чтения не видят разницы между словесным упражнением и арифметической задачей.

Рассказ, стихи, сказка, включённые в учебную книжку, одинаково превращаются под их пером или ножницами только в упражнение.

Я думаю, что это происходит отнюдь не от злого умысла, а от недостатка вкуса, — я бы сказал, от нехудожественного отношения к художественному слову.

Но бранить учебники легко. А вот сделать их — гораздо труднее. Заставьте-ка любого из самых суровых критиков заняться составлением книги для чтения — и он запросит пощады. По Ушинскому и по Вахтеровым книги сейчас не построишь. Мир меняется на наших глазах — не может же оставаться неизменным и «Детский мир».

Наша книга для чтения должна быть построена на совершенно иной философской и педагогической основе. Она должна охватывать множество явлений и событий, из которых слагается наша жизнь, такая бурная и стремительная.

Чем старше возраст читателя, тем легче найти для него материал, отражающий наше время, нашу страну. Тут к услугам составителя множество романов и повестей, написанных в советскую эпоху. Приток этого материала не прерывается.

Но попробуйте указать десяток хороших, законченных, полноценных рассказов, которые можно было бы включить в учебные книги второго, третьего и даже четвёртого класса. Я имею в виду такие рассказы, которые просто и ясно отражали бы нашу сложную жизнь и могли бы по праву стоять рядом с «Ванькой Жуковым», с которым им неизбежно придётся встретиться в учебной книге для чтения.

На одних стихах да отрывках из повестей таких книжек не построишь.

Необходимо всячески растить, поощрять и культивировать короткие рассказы, которые за последние годы почти вытеснены длинными повестями.

И не только рассказы нужны, но и художественные очерки. Надо замечать в газете и в журнале имя очеркиста и корреспондента, умеющего писать интересно, просто, свежо.

— Кто знает, может быть, из него выйдет детский писатель! — сказал бы в таком случае Алексей Максимович и взял бы это новое имя на заметку.

Надо, чтобы издательства были поворотливее, инициативнее. Не только Детгиз и «Молодая гвардия», постоянно имеющие дело с беллетристикой, но и Учпедгиз может затеять на подступах к будущим выпускам «Родной речи» беллетристические сборники и альманахи, мобилизующие писателей на работу над этим дефицитным сегодня видом литературы.

Да и Детгиз и даже «Молодая гвардия», составляя планы, должны помнить, как нуждается в рассказах — исторических, географических, краеведческих и просто в рассказах — наша школа.

Хорошая учебная книга для чтения не возникнет внезапно и сама по себе. Её нужно подготовить исподволь.

Одним из важнейших видов рассказа является короткая биография. Она насущно необходима школе, необходима учебным книгам. Издатель-

ства не должны успокаиваться на этот счёт прежде, чем не подготовят целой серии мастерски написанных кратких биографий.

В сущности говоря, у нас ещё нет тех строгих, точных и в то же время поэтических биографий Ленина и Сталина, — биографий, которые можно было бы с полным правом включить в хорошую книгу для чтения. У нас нет кратких жизнеописаний Ломоносова, Менделеева, Павлова. Нет биографий Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Некрасова, Белинского, Чернышевского, Горького, Чехова, Репина, Сурикова, Глинки, Мусоргского, Чайковского, Суворова, Нахимова, Фрунзе и многих других замечательных людей, именами которых наши дети должны гордиться. Нужны краткие биографии писателей для собрания их сочинений. Но подумать об этом надо заблаговременно, а не в тот момент, когда приступаешь к изданию сочинений. У издательства должна быть большая заготовительная работа, и участвовать в ней должен широкий круг литераторов.

Создать краткую биографию иной раз ничуть не легче, чем самую пространную.

Недаром же древний мастер этого дела — Плутарх — прославился на века.

Трудность встающих перед нами задач не может и не должна останавливать нас. Нам случалось брать и не такие крепости. Соединёнными силами мы возьмём и эту.

В заключение, несколько слов о морали. Ведь мораль всегда бывает в конце.

Говоря о коротких рассказах, столь необходимых в книге для классного чтения, нельзя не коснуться так называемых нравоучительных рассказов.

Название это несколько устарело, но смысл его, в сущности говоря, не устарел нисколько.

Чем, собственно, занимается литературное искусство, как не нравами, т.е. поступками людей в разные времена и в разных обстоятельствах? В любом художественном произведении, как бы оно свободно ни строилось, как бы ни было оно сложно и глубоко, таится некая моральная идея. Только в одних жанрах литературы она очевиднее — например, в басне, притче, сказке, сатире, комедии; в других — в романе, повести, поэме — сокровеннее.

А если этой моральной идеи в произведении нет совсем или она вернута наизнанку — будьте начеку. Мораль навыворот или отсутствие морали — это первый признак начинающегося в литературе разложения. Недаром такое множество сказок на Западе щеголяет аморальностью и изсмешливым отношением к понятиям нравственности.

Мы стоим за простую, ясную и чистую мораль. Мы гордимся воспитательной ролью нашей литературы.

Но при этом мы никак не должны думать, что правильность наших моральных идей освобождает нас от заботы о жизненности, полноценности и объёмности наших образов.

Плоская, поверхностная мораль всегда отталкивает и подрывает доверие к литературе и к морали.

Я вовсе не хочу сказать, что мораль надо обязательно прятать, скрывать. В басне, например, она настолько откровенна, что последние её строчки зачастую так и называются «моралью».

Мораль сей басни такова.

Опасность — не в откровенности, а в навязчивости морального вывода, в излишней назидательности. Если читатель чувствует, что его с первой страницы повести, рассказа или сказки гонят к определённому выводу, он идёт в эту сторону чрезвычайно неохотно. Он подозревает обман, инсценировку и всеми силами души сопротивляется нажиму.

По счастью, в нашей детской литературе есть уже немало удач, достигнутых на этом ответственном участке.

Мы знаем весёлую, лукавую по форме и глубокую по существу мораль А. Гайдара.

А как открыто и смело преподносит детям свою — вернее сказать, нашу советскую — мораль Маяковский, решающий вместе с маленьким читателем такой серьёзный и кардинальный вопрос, как «Что такое хорошо и что такое плохо».

Да и в других своих стихах он прямо, без обиняков, обращается к читателю с нравоучением, и стихи от этого не перестают быть стихами, не теряют остроты, теплоты, живости.

От такой честной морали ребёнок не откажется. Он скорее испугается хитро поданной ложки сиропа, которая маскирует следующую за ней порцию горького назидания.

Сказка К. Чуковского «Мойдодыр» — задорная, живая, темпераментная — совершенно явно, без всякой маскировки учит детей «умываться по утрам и вечерам», и дети с великим удовольствием сотни раз выслушивают и повторяют это поучение.

Многие стихи С. Михалкова, А. Барто, Платона Воронько читатели воспринимают, радуясь стихам, а заодно и заключённой в них морали.

На передовые позиции в борьбе за новую мораль вышла писательница В. Осеева. Целая серия её коротких рассказов с большим или с меньшим успехом решает эту труднейшую задачу. Чтобы оценить её труд, надо понять, что для каждого такого рассказа надо найти особый, неожиданный поворот, сделать маленькое открытие.

В одном из её рассказов, например, это открытие заключается в том, что волшебным, осуществляющим все желания мальчика, словом оказывается самое простое слово — «пожалуйста».

Учить вежливости трудно. В. Осеева нашла способ остроумно и тонко дать ребятам этот полезный урок.

Находкой можно считать и басню в прозе «Две лягушки», написанную Л. Пантелеевым. Совет, который эта басня даёт читателям, — никогда не терять мужества — «не умирать раньше смерти» — подан с тем неожиданным юмором, который по самому характеру своему исключает унылую назидательность.

Пуще всего надо остерегаться, как бы мораль не оказалась скучным и назойливым «указующим перстом», чем-то вроде таблички, прибитой гвоздями к живому дереву.

Недавно мне передали целую коллекцию фотографий, сделанных в одном парке, где хранитель, заботясь о поведении посетителей, вывесил правила морали на самом видном месте — на деревьях парка. Я написал по этому поводу небольшое стихотворение, отрывок из которого я позволю себе привести здесь.

Стремься порядку на́учи́ть людей,
Хранитель парка не жалел гвоздей.
В могучий ствол дубовый
Забил он гвоздь двенадцатидюймовый.

А в этот бук
 Вогнал гвоздей огромных двадцать штук,
 Чтоб вывесить такие объявленья:
 «Оберегайте лесонасаждения!»,
 «Не рвать цветов!», «Запрещено курить!»,
 «Не мять газонов!», «В парке не сорить!»,
 «Нельзя плевать!» и «Дорогие детки!
 Не обрывайте у деревьев ветки!..»

На всех стволах, куда ни кинешь взгляд,
 Таблички аккуратные висят.
 Взгляните на каштан или на бук вы.
 С каким искусством выведены буквы!
 «Налево — душ!», «Направо — тир и клуб».
 Когда бы говорить умел ветвистый дуб,
 Столетний дуб с табличкой «Детский сектор»,
 Он заявил бы: «Милый мой директор,
 Порой друзья страшнее, чем враги.
 Ты от гвоздей меня обереги!»

Мы с вами книги детские видали,
 Пробитые насквозь гвоздём морали.
 От этих дидактических гвоздей
 Нередко сохнут книжки для детей...
 Мораль нужна, но прибивать не надо
 Её гвоздём к живым деревьям сада,
 К живым страницам детских повестей.
 Мораль нужна. Но — никаких гвоздей!

В книжках для чтения, которые мы общими усилиями должны подготавливать, рассказы и сказки с живой и действенной моралью, басни в стихах и в прозе, меткая сатира — всё это должно занять не меньшее, а, может быть, даже большее место, чем рассказы познавательные.

Находить и отбирать такой материал нелегко.

Люди, которых интересовали вопросы воспитания, тратили на создание своих хрестоматий, своих «кругов чтения» лучшие силы и долгие годы.

И мы не должны быть скупее их.

Если мы хотим дать нашим детям не суррогаты, а подлинную художественно-воспитательную литературу, достойную нашего времени, мы должны преодолеть инертность, которая до сих пор господствует в этом деле.

Надо искать и хорошо встречать новых людей. Надо поощрять всякое желание писателей работать в этой области. Надо затеять целый ряд сборников, которые ещё не претендуют на звание единой школьной книги для чтения, но представляют собою новые и смелые опыты.

В издательствах и в Академии педагогических наук, несомненно, можно создать прочную и солидную базу для таких опытов.

А если забота о первых книгах для чтения, в которых нуждаются миллионы школьников, станет нашей общей заботой, мы с честью решим эту трудную задачу.



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

О ДРАМАТУРГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Высокое качество — единственный критерий, с которым мы должны подходить ко всем явлениям советского искусства, в частности и к драматургии для детей. Само собой разумеется, здесь не может быть никаких скидок на «специфику», «жанр» и пр. Это было бы не только унижительно для драматургов, пишущих для детского театра, но и просто вредно для дела.

Высокое качество включает в себя не только технологическое мастерство, совершенное знание так называемых законов сцены, но — в первую очередь и главным образом — важную мысль, идею, нравственное чувство, без чего любое произведение искусства неизбежно превращается в игрушку, в звук пустой. В этом отношении детская драматургия ничем не отличается от драматургии «взрослой», с той лишь поправкой, что в детской драматургии с особенной чёткостью и тактом должны быть учтены возрастные особенности аудитории.

В области нашей детской драматургии за всё время её существования создано много произведений, прочно вошедших в репертуар и составляющих «золотой фонд». Причём надо заметить, что почти все эти пьесы созданы сравнительно недавно, в послевоенные годы. И тем не менее, сейчас детский театр переживает репертуарный кризис, который, с моей точки зрения, является не признаком упадка детской драматургии, а скорее всего болезнью роста. Жизнь очень быстро движется вперёд. Перед обществом встают всё новые и новые задачи. Меняется политическая обстановка. Общественное бытие опережает сознание художника. Появляются новые жизненные конфликты, ситуации. Всё это, прежде чем отразить в своём творчестве, художник должен осмыслить. По-моему, сейчас идёт накопление нового материала, после чего, несомненно, последует дальнейшее движение вперёд по новому пути, соответствующему той новой обстановке, которая сложилась за последние годы в нашей стране и за её пределами. Поэтому было бы весьма своевременно и полезно посмотреть, что же делается в нашем «хозяйстве».

Разумеется, все пьесы проанализировать невозможно, да и не нужно. Возьмём какую-нибудь пьесу из числа наиболее типичных, наиболее «репертуарных». Таких пьес имеется не мало. Вот, например, «Аттестат зрелости» Л. Гераскиной. Эта пьеса пользуется любовью у юношества и идёт с большим успехом на сцене. Это, безусловно, незаурядная пьеса талантливого автора. Тем больше оснований остановиться именно на ней.

Посмотрим, что же в этой пьесе хорошо и что плохо, какие её качества, с моей точки зрения, надо развивать, а какие надо отбросить как слабые, устаревшие и тормозящие дальнейший рост детской драматургии. В основу пьесы положен конфликт между личностью, ощущающей

себя выше своей среды, и обществом, в котором эта личность живёт. Конфликт сильный, хотя нельзя сказать, чтобы очень типичный. Впрочем, такие конфликты в жизни безусловно бывают, и нет никаких оснований проходить мимо них. Во всяком случае, с воспитательной точки зрения полезно показать на сцене и осудить советского человека, в характере которого ещё сохранились элементы зазнайства, ячества, высокомерия, ощущения своей исключительности.

Десятиклассник Валентин Листовский, комсомолец и первый ученик, совершает один за другим целый ряд дурных поступков: издевается над молодой, неопытной учительницей, несколько раз срывает свой доклад для семиклассников, не хочет писать статью в стенгазету, хотя это и является его комсомольской нагрузкой, и, наконец, теряет комсомольский билет и своевременно об этом не заявляет. Всё это вызывает законное возмущение у товарищей, и после бурного комсомольского собрания, во время которого Листовский, вместо того, чтобы прислушаться к голосу товарищей и признать своё поведение недостойным, сгоряча заявляет, что «вы мне просто завидовали», — его тоже сгоряча исключают из комсомола и товарищи от него отворачиваются. Впрочем, райком не утверждает исключение Листовского, Листовский исправляется, и всё оканчивается благополучно.

Такова схема пьесы.

Я нарочно снял с пьесы, так сказать, верхние покровы и мускулатуру и обнажил её остов, самую её суть.

Могло ли так произойти в жизни? Несомненно, могло. Вообще, в жизни всё может произойти. Но не всё, что может произойти в жизни, является предметом искусства. Жизненный случай может и должен стать предметом искусства лишь тогда, когда художник извлечёт из него важную общественно-полезную идею и выразит её в столкновении разнообразных человеческих характеров. Говорят, что Валентин Листовский — фигура не типичная для советского школьника-десятиклассника. Говорят, что не типично его самомнение, заносчивость, крайний индивидуализм, ощущение собственной исключительности. Конечно, арифметически — Валентин Листовский не типичен. Вероятно, на десятки и даже сотни тысяч советских десятиклассников может найтись всего лишь один Валентин Листовский, да и то не обязательно. Но значит ли это, что драматург не может извлечь подобный характер на свет божий и показать всю его неприглядность и пустоту? Не только может, но и должен. В противном случае невозможно будет показать на сцене и осудить лодыря, бюрократа, подхалима, ротозея и множество тому подобных отрицательных персонажей, которые, хотя и не являются типичными для нашего общества, но, тем не менее, всё ещё продолжают в нём существовать. Взяв такой нетипичный, но тем не менее возможный характер, драматург обязан привести его в столкновение со средой, с обществом, показать всю его неприглядность, осудить, высмеять, даже, может быть, морально уничтожить, если он не исправим. Валентин Листовский не заслуживает морального уничтожения. Его отрицательные черты не являются коренными чертами характера. Это скорее что-то наносное, случайное — не укоренившиеся пороки, а болезнь возраста, может быть, результат неверного домашнего воспитания, на что есть намёк в пьесе.

Автор поступил правильно и в полном соответствии с жизненной правдой, дав Валентину Листовскому возможность исправиться. Однако беда в том, что это исправление — как, впрочем, и подавляющее большинство подобных исправлений в нашей драматургии — совершилось быстро и неубедительно. Но об этом ниже. Поставив Листовского в центр драматургического конфликта, сделав его образ объёмным, инте-

ресным и даже в чём-то острым, автор как бы счёл свою задачу выполненной. Для изображения других действующих лиц у него уже не нашлось достаточно ярких красок. Автор выдохся.

А ведь эти «другие» и есть та среда, то общество, тот коллектив, столкновение с которым и является содержанием пьесы. Если Валентин Листовский — роль, то остальные действующие лица так бледно написаны, что с большой натяжкой удовлетворяют понятию роли. Это не роли, а скорее функции. Они лишены движения. Они как бы существуют в пьесе только для того, чтобы подыгрывать Листовскому. При таких условиях у зрителя не получилось ощущения полной жизненной правды. Нет школьного коллектива. Нет полнокровных разнообразных человеческих характеров, следовательно, нет и действия. Зачастую действие заменено рядом чисто иллюстративных кусочков, показывающих то или другое положение авторской схемы. Например, нужно довести до сведения зрителя, что Листовский игнорирует работу в стенгазете. Тогда вбегает редактор стенгазеты:

«Редактор. Валя, статья готова?

Валентин. Какая статья?

Редактор. Как какая? Ты что? Ты только меня, пожалуйста, не подводи. Мы же решили выпустить специальный номер, посвящённый последней четверти, а ты как член комитета обещал написать статью, призывающую ребят...

Валентин (сороговоркой). Некогда, некогда, некогда...

Редактор. Да ты с ума сошёл! У меня весь номер гстов, только твоей статьи нет. Ведь ты срываешь...

Валентин. Срываешь, срываешь, научились громкие слова говорить. Только мне и дела, что корреспонденции строчить. Поважнее есть работа.

Редактор. А я вот пойду на бюро и расскажу Кострову... (Убегает)».

Этот юноша-редактор даже не имеет в пьесе своего имени. Он так и обозначен в списке действующих лиц: Редактор.

Вот сцена на комсомольском собрании:

«Редактор. Я хочу сказать. Вот вы почти на каждом собрании язвите насчёт газеты.

Гера. Ты по существу.

Редактор. По существу, по существу. Ты вот называешь газету «глазом вопиющего в пустыне», а сам написал хоть одну заметку?

Женя. Тебе говорят, высказывайся по существу.

Редактор. Сейчас. А Листовский сорвал специальный выпуск, посвящённый новой четверти. Так ты помогаешь бороться за повышение успеваемости?

Валентин. Привыкли с няньками, без Листовского ни на шаг, иждивенцы!

Редактор. Сам иждивенец!»

Вот, собственно, и вся роль редактора. Как видите, не роль, а функция.

Или, например, надо показать, что Листовский мапкирует общественными обязанностями.

«Гера. Валя! Ты не забыл, что у тебя сегодня доклад в седьмых классах? Они ведь ждать будут.

Валентин. Постой, постой... какой доклад?

Гера. Я так и знал, что ты забудешь. «Об изобретателе Попове».

Валентин. Ну что ты будешь делать, из головы вон. Ты пойдё, скажи, чтоб перенесли.

Гера. Сам пойдё и извинись перед ребятами.

Валентин. Неужели?

Гера. А ты думал? Ты их второй раз подводишь. Нельзя так.

Валентин. Нечего нотации читать.

Гера. Ну ты пойми...

Валентин. Всё».

Или надо сообщить зрителю, что Листовский небрежен в хранении комсомольских документов:

«Товарищи! Я должна вам сказать, среди нас есть комсомолец, который три дня тому назад потерял комсомольский билет и не заявил... Я говорю о вас, Листовский. Три дня назад ваш билет принесли в райком пионеры. Мы все эти дни ждали, что вы заявите.

Валентин. Я не знал. Я бы заявил».

Всё!

К сожалению, подобной скороговорки, написанной служебным, невыразительным языком, в пьесе довольно много. Обществу, которому противопоставил себя Листовский, состоит из его школьных товарищей, педагогов, старшей пионервожатой, секретаря райкома комсомола, знакомых девочек соседней женской школы и т. д. Кажется, богатый материал. Есть из чего выбирать и лепить интересные образы, оригинальные, запоминающиеся характеры. Между тем большинство ребят похоже друг на друга, почти все разговаривают на бойком школьном жаргоне, иногда забавном, но не дающем почти никакого представления об индивидуальности каждого из них.

Ведь язык в драме служит прежде всего для того, чтобы наиболее полно выразить внутренний мир героя, своеобразие, особенности его характера. Благодаря однообразию языка, комсомольцы — товарищи Листовского — получились похожими друг на друга. А в хорошей пьесе этого не должно быть. Каждое действующее лицо обязано быть резко индивидуальным, как по характеру, так и по языку не похоже одно на другое.

Если в пьесе хотя бы два действующих лица похожи друг на друга, то уже начинается скука. Что же сказать о пьесе, где три или четыре персонажа отличаются друг от друга только именами — Женя, Гера, Юра. Даже Добчинский и Бобчинский при внешнем сходстве каждый имеет свою определённо выраженную индивидуальность.

Не лучше обстоит дело и со взрослыми. Старый педагог, партиец, классный руководитель Грохотов при явном намерении автора создать образ мудрого, самоотверженного воспитателя юношества, получился не более, чем сентиментальным добряком, резонёром, призванным на сцену, в сущности, лишь для того, чтобы несколько раз произнести прописные истины. Впрочем, даже не всегда истины, так как один раз между ним и Листовским происходит следующий разговор:

«**Грохотов.** Не ошибусь я, если скажу, что ты считаешь себя на голову выше товарищей?»

Валентин. Честно говоря, не ошибётесь.

Грохотов. В таком случае помни, что выдающиеся личности, как правило, отличались скромностью и не позволяли себе свысока относиться к окружающим».

Я не думаю, чтобы опытный педагог, тонкий и умный человек, партиец, мог так легкомысленно, а главное — совершенно не верно, признать Валентина выдающейся личностью, своим авторитетом утвердить его в этой глупой мысли. Какой же это старый, опытный педагог!

Или вот учитель физики. Он появился в пьесе, видимо, лишь затем, чтобы произнести несколько служебных, резонёрских фраз по поводу исключения Листовского из комсомола:

«Он зашёл слишком далеко... Поймёт».

Не роль, а, как видите, — тоже функция. И Костров, секретарь райкома комсомола, также резонёр. Призван для того, чтобы указать несколько прописных истин на собрании, но немного «утеплён» тем, что сделан страстным футболистом. Если бы не это — неизвестно, что было бы делать актёру, играющему эту роль-функцию.

Есть молодая, неопытная учительница Яковлева, на которой пробует своё остроумие Листовский. Лицо эпизодическое, бледно намеченный характер. Гораздо больше внимания автор уделил Жарковой — матери друга Листовского, Лёни, и его сестры Вики, в которую влюблён Листовский. Образ Жарковой развёрнут в двух больших жанровых сценах, написанных талантливо, с душой и темпераментом. Но, мне кажется, это как бы фрагмент из какой-то другой пьесы и прямого отношения к развитию сквозного действия не имеет, если не считать двух-трёх опять-таки резонёрских фраз вроде:

«А ты ничего не знаешь о таких вещах, как «производственная дисциплина» или «партийная дисциплина»? Мало ли чего мне хочется. Представь себе, ты кончаешь институт и тебя посылают работать, ну, скажем, на Курильские острова. А ты говоришь — нет! Я хочу работать здесь. В родном городе... И в малом и в большом надо общественное ставить выше личного».

Или:

«Помни, сейчас главное в вашей жизни — подготовка к экзаменам».

Или:

«Разве тебе не понятно, что с ним (Листовским. — В. К.) случилась беда, пусть даже по собственной вине, но беда. Не может же он быть безнадежным в свои семнадцать лет. Как вы мало думаете друг о друге!»

Возможно, что Жаркова могла и даже должна была сказать нечто подобное, но уж, конечно, не такими сухими прямолинейными словами. О таких вещах надо уметь говорить горячо, поэтично. Только тогда они будут действовать.

Один из товарищей Листовского говорит:

«А что для него коллектив? Это фон, на котором сверкает гений Валентина Листовского».

Это сказано, конечно, иронически, но по существу довольно правильно. Коллектив людей (юношей и взрослых), окружающих Листовского, сер, безразличен. На таком фоне блистать Листовскому, действительно, не трудно.

Возникает законный вопрос: как же получилось, что пьеса «Аттестат зрелости» имеет на сцене такой большой успех и прочно держится в репертуаре детских театров? Это происходит, во-первых, потому, что в основу пьесы, как я уже говорил, положен острый жизненно-правдивый, хотя и не очень типичный конфликт, что является безусловной заслугой талантливого автора, а во-вторых, конечно, потому, что у нас очень хорошие детские театры — первоклассные артисты, вдумчивые, серьёзные режиссёры, которые умеют, пользуясь малейшим намёком автора, обогатить, углубить образ, сделать его объёмным, интересным, запоминающимся, придать ему характерные черты, иногда даже вопреки прямому тексту пьесы. Это, конечно, очень хорошо. Но это вовсе не освобождает автора от обязанности создавать законченную, полноценную пьесу. Пьеса вовсе не есть лишь повод для спектакля. Пьеса должна быть прежде всего совершенно самостоятельным художественным, литературным произведением, которое можно с удовольствием не только посмотреть в театре, но и прочесть в книге, как роман, повесть или поэму.

Конфликт Листовского с коллективом разрешается, как я уже отмечал, благополучно. После бурного комсомольского собрания — одной из наиболее действительно сильных и впечатляющих сцен пьесы — Листовский перерождается, и всё заканчивается благополучно.

Перерождение совершается очень быстро, в одной сцене. После исключения из комсомола Листовский возвращается домой, тоскует, «со страстным отчаянием, — как указано в ремарке, — играет на пианино», а затем «медленно открывается дверь, на цыпочках входит мальчик в пижаме». Это больной братишка Листовского Олег, которому Листовский до сих пор не уделял никакого внимания. Но теперь, чувствуя себя одиноким, отверженным, он заботливо укладывает больного братишку, укрывает его пледом (не одеялом или пальто, а именно пледом) и начинает рассказывать ему глубоко аллегорическую сказку в таком духе: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был принц. Очень умный и красивый принц... Все во дворце твердили принцу, что он самый умный юноша на свете, и это вскружило ему голову. Он стал свысока смотреть на мальчиков, которые учились с ним в одной школе, и даже на учителей... Заметили мальчики его высокомерие и перестали его любить. А надо тебе сказать, что этот принц был выбран мальчишками... старостой по школе ещё до того, как загордился. Принц принялся было за дело, да скоро ему всё надоело и он забросил свои нагрузки... У этого принца был друг — Синеглазый юноша, которого он очень любил, и златокудрая принцесса, которую он тоже... вообще, он совсем не такой уж плохой был, этот принц...» и т. д. и т. п.

Вот именно эта безвкусная, сентиментальная сцена в духе Чарской и является переломным моментом в психологии героя. Он перерождается. А дальше уже всё идёт как по маслу. Райком не утверждает исключения, добрый учитель хитростью устраивает примирение Листовского с товарищами и, поднимая за занавес бокал, произносит тост, не вполне вытекающий из предыдущих событий: «Мальчики, за вашу дружбу, за ваше счастье, за нашу Родину, сыновья мои!» — и занавес.

Совершенно очевидно, что, нащупав в основном верный конфликт, талантливый автор неверно его развил и неэкономно распределил материал. Я бы начал пьесу сразу с комсомольского собрания, где можно легко и в действии дать экспозицию, познакомить с действующими лицами, а затем в течение остальной части сценического времени заставил бы Листовского жить в предполагаемых обстоятельствах человека, от которого отвернулось общество. В конце концов, я довёл бы Листовского, а вместе с ним и зрителя до понимания, что жить вне коллектива невозможно. Это было бы более похоже на жизнь. Это была бы настоящая драма. И верная мысль, заложенная в пьесе, выявилась бы отчётливо и ясно, не заслонённая сентиментальными аллегориями, ненужными вставными сценами и излишним жанризмом.

В пьесе «Аттестат зрелости» есть и удачи. Это фигура десятиклассницы Вики Жарковой, написанная тонко и поэтично. Хорошо намечен друг Листовского Женя Кузнецов, честный правдивый юноша. Жаль, что этот образ не получил должного развития. Он мог бы стать настоящим положительным, не статичным, а действующим героем пьесы.

Я так подробно остановился на «Аттестате зрелости» потому, что эта в общем талантливая пьеса — весьма типичное явление в современной драматургии для юношества. Л. Гераскина — даровитый драматург. Ей многое дано, с неё многое и спросится. Подобных пьес за последние годы появилось несколько. Целая серия. Это — «Они поспорили» В. Любимовской, «Её друзья» В. Розова, «Воробьёвы горы» А. Симукова и другие. Они все написаны на школьном послевоенном материале, их

герои — десятиклассники, и все эти пьесы, в основном, вращаются вокруг вопросов дружбы, причём — и это надо особо отметить — школы, как правило, в них изображены столичные или во всяком случае школы крупных центров. Общность материала, проблемы, характеры действующих лиц делают эти пьесы однотипными. Появляются одинаковые конфликты, повторяются ситуации, унифицируется язык, из пьесы в пьесу кочуют походящие друг на друга персонажи и даже целые сцены. Редкая пьеса обходится без какого-нибудь школьного вечера или бала, без выпускной вечеринки с мечтами о будущем, чтением стихов, без первой трогательной влюблённости и тоста под занавес. Всё это, конечно, в жизни есть, и всё это, безусловно, может и должно появиться на сцене.

Но, делаясь как бы необходимой принадлежностью каждой пьесы, всё это превращается в конце концов в свою противоположность — в штамп, перестаёт звучать убедительно и отдаёт дурным ремесленничеством.

Детскому театру уже становится тесно в том кругу образов и конфликтов, который за последние годы создали драматурги. Пора совершенствовать мастерство, создавать новые образы, находить новые краски. Пора выходить на оперативный простор.

Жизнь идёт вперёд такими большими шагами, что сегодня уже нельзя писать так, как вчера. Уже нельзя писать о школе, о дружбе, о любви, забыв, что мы живём в атмосфере великих строек коммунизма, реализации Сталинского плана преобразования природы, борьбы за мир во всём мире. Рождаются новые формы общественного труда — стахановские заводы, комплексные бригады, укрупнённые коллективные хозяйства. В городе и деревне появляются люди совершенно новой формации — подлинные герои нашей жизни. Бурно развивается процесс становления нового человека. Стираются грани между физическим и умственным трудом. Таково общественное бытие сегодняшнего дня. Это общественное бытие не может не определить сознание художника-драматурга. Жизненные конфликты наполняются новым содержанием. Советский зритель и советские театры, в том числе и молодёжные, ждут пьес, которые отражали бы нашу сегодняшнюю жизнь во всём её многообразии, ждут появления новых характеров. Искать драматургические конфликты и своих героев можно не только в столичных школах. А где колхозные ребята, их быт, их интересы, их участие в жизни? Где ремесленники? Где школы новостроек? Где юноши и дети, приехавшие вместе со своими родителями на стройки коммунизма и как бы начинающие заново свою жизнь на новом месте? Ведь таких семейств сотни тысяч.

Разве это не интересно, не ново, не заслуживает внимания?

Мы непростительно забываем о рабочем классе и колхозном крестьянстве. О них почти нет пьес. Есть только одна хорошая пьеса И. Ирошниковой «Где-то в Сибири» об участии ребят в производстве. Но она относится кс времени войны. Почин И. Ирошниковой надо всячески развивать.

Изучение нового жизненного материала несомненно вдохнёт новое содержание, новые идеи, новые конфликты в детскую драматургию, откроет перед ней богатейшие возможности.

Естественно, что за последние годы большое место в детской драматургии заняли пьесы на международные и политические темы. Серию этих пьес открыли «Снежок» В. Любимовой и «Я хочу домой» С. Михалкова. Обе эти пьесы явились большой творческой удачей и быстро завоевали общую любовь и признание. Особенно хороша пьеса «Снежок», в которой высокая, гуманная идея облечена в превосходную драматическую форму. Острые, запоминающиеся, а главное разнообразные ха-

рактеры персонажей, отточенный диалог, построение конфликтов, стремительно меняющиеся ситуации — всё это свидетельствует о большом таланте и зрелости драматурга, от которого мы вправе ждать новых, ещё больших успехов.

В 1951 году появилась новая пьеса «Вперёд, отважные!» А. Зака и И. Кузнецова. Это — дебют авторов в драматургии, и дебют удачный. Тема — Франция, борющаяся за мир, — тема для нас очень важная, глубоко волнующая. Связь между судьбой современной французской школы и борьбой французского народа за свою независимость показана свежо, темпераментно, в острых конфликтах. Сюжет пьесы оригинален: борьба за школу, которую хотят превратить в казарму для американцев. Охват событий широк и интересен. Кроме целой галереи детских образов, сильно даны и образы взрослых — как положительные, так и отрицательные. В особенности удалась омерзительная фигура Буше, директора школы, деголлеца, и полный глубокого обаяния образ Раймона Робера, коммуниста, депутата парламента.

К сожалению, эта хорошая пьеса имеет существенный недостаток, весьма типичный почти для всех пьес, написанных на зарубежном материале, — немного обезличенный, как переводной язык. Я заметил, что иногда авторы нарочно стилизуют его под перевод, для того чтобы было больше похоже на заграницу. Но это глубокое заблуждение. Пьесу на иностранном материале нужно писать таким же точно языком, как и русскую, но, разумеется, без примеси русского фольклора. Ведь, например, Тургенев в «Вешних водах» написал Джемму и всё её семейство своим прекрасным тургеневским языком, ничуть не стараясь стилизовать его под перевод с иностранного, что ни в коей мере не повредило убедительности образов, а, напротив, ещё более усилило их и углубило.

Почти одновременно с пьесой «Вперёд, отважные!» появилась ещё одна пьеса о борьбе за мир на том же французском материале — «Звезда мира» («Мальчик из Марселя») Ц. Солодаря. В основу пьесы положен эпизод, рассказывающий о героическом сопротивлении французских патристов, марсельских докеров, мужественно борющихся за мир. Тема важная, задача благородная.

Но как это ремесленно написано! Яркие примеры мужественной борьбы французского народа, в том числе французских детей, за мир втиснуты в низкопробную мелодраматическую схему, высосанную из пальца. Столкновение характеров подменено полудетективной интригой. Драматургический конфликт совершенно потонул в поисках ложной занимательности. Что ни персонаж — то штамп. Живые люди действительно превращены в плоские двухмерные схемы. Кому это нужно, чтобы наш юный зритель представлял себе борьбу за мир в капиталистических странах так, как это изображено у Ц. Солодаря? Сюжетная ситуация с мальчиком, нанятым для чистки котлов, случайно застрявшим в трубе и оказавшимся под угрозой сожжения заживо, заимствованная из рассказа Б. Лавренёва, уже была использована в кинофильме двадцать пять лет тому назад.

Ну что ж, это ещё не большая беда. Заимствования в драматургии бывают. Но беда в том, что вся пьеса слеплена из отработанного литературного материала, совершенно лишена дыхания живой жизни, поэзии борьбы. Докер-коммунист Клод Ферри в пьесе не живёт, а функционирует, не разговаривает, а всё время резонирует. В особенности же плох в пьесе язык: сухой, служебный, серый, штампованный. Это даже не перевод, а какой-то перевод с перевода. Приходится удивляться, как наши требовательные детские театры решились поставить этот явный драматургический брак.

Ремесло — дело хорошее, но для ремесленничества нет и не может быть места в советском искусстве.

Экземпляр пьесы пестрит множеством широковещательных титров. Вот один из этих титров: «Посвящается французскому мальчику Филиппу Перро, который отважно помогает старшим в борьбе за великое дело мира. Недавно он посетил Москву. Обращаясь через «Пионерскую правду» к советской детворе, Филипп писал: «Я буду продолжать дело моего отца, убитого фашистами, буду бороться за то, чтобы Франция была такой же прекрасной, как Советский Союз».

Мне кажется, со стороны автора довольно-таки бестактно ставить на своей ремесленной пьесе имя хорошего французского мальчика, никакого отношения не имеющего к драматургическим упражнениям Ц. Солодаря.

Между прочим, на экземпляре пьесы автор выражает глубокую признательность Б. Лавренёву, разрешившему использовать некоторые его сюжетные положения и отредактировавшему пьесу. Подобная надпись похожа на пузыри, которые надел на себя человек, не умеющий плавать, чтобы удержаться на воде и не потонуть.

Случай с пьесой Ц. Солодаря говорит о том, что пора бы уже всем нам повысить требования к детской драматургии и не позволять, чтобы под видом актуальных международно-политических пьес на детском театре появилась, извините за резкость, халтура — вольная или невольная.

Большое место в репертуаре детских театров, разумеется, занимают сказки. Детям были показаны сказки Пушкина, братьев Гримм, Перро, Андерсена, множество русских народных сказок, грузинские, армянские, немецкие, итальянские, чешские, китайские; «Сказка о царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике его Балде», «О мёртвой царевне», «Русалка», «Баба-Яга», «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Золушка», «Снегурочка», «Весёлый портняжка», «Аленький цветочек» и пр. Всех и не перечислишь. И это очень хорошо.

Ни в каком другом жанре так ярко не проявилась интернациональная тенденция советского искусства, как в постановке на сцене большого количества сказок всех времён и народов. В этой области было создано много настоящих шедевров. Итальянская народная сказка о деревянном мальчике «Пиноккио» («Буратино»), обработанная Алексеем Толстым для детской сцены, превратилась в блестящий, остроумный, глубоко содержательный спектакль «Золотой ключик». По мотивам чешского фольклора мастер детской литературы Самуил Маршак написал «Двенадцать месяцев» — пьесу-сказку, тонкую, полную очарования, настоящую жемчужину. «Снежная королева» Евгения Шварца и «Горьд мастеров» Т. Габбе стали любимейшими детскими пьесами. Недавно появилась замечательная сказка П. Маляревского «Волшебный клад», созданная по мотивам бурятского фольклора. Эта пьеса-сказка написана великолепным, точным языком и очень хорошо построена. В ней сильно вылеплены все характеры, даже характеры эпизодических действующих лиц, и широко представлен народ в борьбе против богача нойона (кулака). Содержательно, остроумно и лаконично развивается действие.

С оригинальными сказочными сюжетами за последнее время выступили А. Симуков («Семь волшебников»), С. Михалков («Зайка-зазнайка»), Ю. Принцев («Страна чудес»). Эти пьесы-сказки являются в некотором роде новым словом в сказочной драматургии, так как их можно отнести к жанру современной советской сказки. Рассказывая о зайцах, С. Михалков, по-существу, говорит о наших ребятах, а А. Симуков

в своей пьесе-сказке рассказывает, по существу, о Сталинском плане преобразования природы. Таким образом, можно считать, что в этой области дела обстоят довольно благополучно. Появление сказки в театре объясняется живым интересом к ней со стороны юного зрителя — ребёнка и подростка. Сказка даёт возможность показать нарядный, живописный спектакль. Сказка открывает дорогу самым смелым и неожиданным приключениям.

Но главное достоинство сказки — в её умении свободно и легко передвигаться во времени и в пространстве, в её способности к большим поэтическим и философским обобщениям, в слиянии художественного элемента с воспитательным, педагогическим. В сказке перед юным зрителем может предстать во всей наглядности и чистоте противоположение добра и зла, смелости и трусости, самоотверженности и себялюбия. Лучшие нравственные стремления зрителя находят утоление в спектаклях этого рода. Сказка может и должна быть могучим средством воспитания советского человека, чистого, честного, деятельного.

К сожалению, некоторые драматурги или, правильнее сказать, театральные закройщики считают, что написать сказку для сцены — дело очень простое. Им кажется, что сказка может обойтись без сложной психологии, без глубоких характеристик, без настоящего жизненного конфликта и даже без логики развития действия. В сказке, мол, всё возможно, и закон для неё не писан. Дело, дескать, только в бутафории и в реквизите, да ещё в морали, которую можно кое-как пришить белыми нитками.

При известной энергии и оперативности драматурга такую пьесу возьмут и, если автор и режиссёр сумеют ловко использовать сочувствие маленького зрителя благородным и бескорыстным поступкам героев, то спектакль пройдёт, чего доброго, с аншлагами и даже с самыми положительными рецензиями.

Нечто подобное случилось, думается мне, со сказкой В. Гольдфельда «Иван-да-Марья». В ней есть всё, что полагается в сказке, и даже больше, чем полагается. Три сестры: две — чванных и сварливых, а третья — скромная и добрая. Молодой и красивый герой — добрый молодец. В прежней сказке это был бы, вероятно, Иван-царевич, а у В. Гольдфельда он приобрёл «социальную окраску» и именуется Ивашкой-сокольниковичем. Впрочем, в сказке есть и царевич — вернее, княжич, но почему-то ему досталась на сей раз роль царевны Несмеяны. Есть идолище пганое, которое похищает каждый день по человеку. В народной сказке такому чудовищу обычно приносят в жертву прекрасных девушек, а у В. Гольдфельда оно ест людей без различия пола и возраста.

Семьдесят две страницы сказки густо набиты аксессуарами, взятыми напрокат из самых различных народных сказок. Сплошная окрошка или, вернее, то, что в дореволюционном театре загадочно называлось «коперетта-мозаика». Тут и волшебное зеркальце, и говорящие цветы, и магический пояс, и пр. и пр. Что же, в конце концов, родилось из этой сумбурной смеси сказочных мотивов, из этого готового набора театральной бутафории? Какова тема сказки, какова её идея? Кандидат искусствоведческих наук Б. Асеев опубликовал в «Комсомольской правде» в 1950 году статью-рецензию под обязывающим названием «Сила добра и правды». Рецензент пишет: «Тема пьесы — борьба народа за свою свободу, за счастье».

Что ж, эта тема значительная, важная. Но вы тщательно прочитываете пьесу от первой до последней страницы — и не находите в сказке ни борьбы за свободу и счастье, ни народа, упомянутого в рецензии.

Весь народ состоит здесь, в сущности, из Ивашки-сокольничего да Богдашки-скомороха.

Но, может быть, Ивашка и Богдашка являются так называемыми собирательными типами, образами, достойными представить собой весь народ? Едва ли это так.

На протяжении всей пьесы Ивашка и Богдашка действуют и проявляют себя очень мало, и только в третьем действии Ивашка сносит голову «идолищу поганому», существу отвлечённому и весьма смутному. В пьесе говорится, что у него «два лика». Идолище, как сказано у автора, «лики меняет: соблазняет ликом приветливым, а кровь пьёт ликом страшным». Как это можно «пить ликом», остаётся томительной загадкой. В русских народных былинах идолище поганое представляет собой некую грозную, мрачную, безликую силу, бросающую вызов всей Руси. С ним борются могучие богатыри. В сказке В. Гольдфельда идолище поганое или «заморское» «ходит по разным землям», берёт с князя дань и думает только о том, как бы насолить Ивашке-сокольничему и добродетельной девице Машеньке, о которой оно, идолище, говорит так: «Ух, я бы этих правдолюбцев, скромников, смутьянов в один жгут скрутил...»

Почему такие понятия, как «правдолюбец», «смутьян» и «скромник», поставлены здесь рядом — одному только идолищу поганому известно. Очевидно, это идолище плохо знакомо с духом русского языка, что, впрочем, и понятно — оно же «заморское».

В другой своей реплике это же идолище высказывает такое опасение: «Через него (то есть «через» Ивашку. — В. К.) конец моей власти настать может... Прямо не идолище, а Епиходов какой-то. Впрочем, не только заморское чудовище, но и русская девица Ирина не вполне в ладу с грамматикой. «Каждая из нас с а м у себя хвалит». Идолище поганое всё время околачивается в княжьих хоромашах, но почему-то время от времени уходит в лес, куда население и доставляет ему обречённую на съедение жертву. Обращаясь к идолищу заморскому, воевода именуется его «ваше заморство». Это уже прямо из Гоголя: «Господин финансов». И чина такого нет! Столь неряшливое словообразование свидетельствует о том, что и воевода не силен в русском языке. Как видим, пьесе эту никак нельзя назвать бесконфликтной. Она построена на острейшем конфликте с русским языком, с его духом.

В своей рецензии Б. Асеев пишет: «Действующие лица пьесы не сказочные маски, не аллегорические персонажи, а живые люди...». Если идолище не аллегорический персонаж, то кто же оно такое? Представитель монополистического капитала, что ли? А если аллегорический — то что он собою выражает?

Итак, можно считать живыми людьми Воеводу, который только и делает на сцене, что поглаживает свою окладистую бороду, и княжича, который сначала упорно молчит, а потом выпаливает несколько незначительных и невразумительных реплик, из которых самая длинная — «жениться хочу».

Да и другие действующие лица сказки наделены не более сложными характерами, чем княжич. С первого своего появления на сцене до конца пьесы все они как бы дуют в одну дуду, обнаруживают одну-единственную черту. Б. Асеев отзывается с похвалой о языке и стиле сказки: «Пьеса написана простым и выразительным языком, без излишней архаизации и стилизации. Это язык сказки, близкий живому, разговорному языку современности».

Послушаем, как звучит этот язык, «близкий разговорному»:

«Богдашка: Они надежду крепкую имеют на тебя, Иван!»

Разве это по-русски сказано?

Главный герой пьесы Ивашка говорит князю:

«Не любили вы меня Ивашкой-сокольничим, а я не люблю вас Иваном-добрым молодцем».

Можно ли здесь что-нибудь понять?

Вопреки утверждению рецензента, действующие лица сказки выражаются не просто, а расцветивают свою речь фразами стилизованными, архаическими. Ирина говорит о себе: «Как ты хороша, Ирина-девица!». Катерина говорит о себе: «Как ты хороша, Катерина-девица!». Ирина: «Ах, Ирина, свет!». Катерина: «Ах, Катерина, свет!». Где же тут близость к живому, разговорному языку? Конечно же, это — стилизация, да притом весьма беспомощная, старомодная, пряничная, так называемый «стиль русс». На одной и той же странице пьесы мирно уживаются архаизмы вроде «Катерина-свет» с оборотами речи, чуждыми русскому сказочному стилю, например: «Как она безобразна!» или «Я тебе прохладу устрою». Идолище погане говорит девушке: «Выбери себе пояс жемчужный или бриллиантовый». Автору и в голову не пришло, что слово «бриллиантовый» никак не годится для сказки и что следовало бы его заменить словом «алмазный». Никакого чувства языка! Но стоит ли говорить об отдельных погрешностях стиля, о манерных фразах с унылыми переносами глагола на конец фразы, — что, по мнению автора, вероятно, должно создавать нечто «былинное», — когда вся сказка фальшива от начала до конца.

Сюжет пьесы надуман, натянут, мораль пришта белыми нитками, язык неряшлив. И при всём том сказка состряпана довольно хитро. В неё вложено много такого, что может служить приманкой для сотен и тысяч наших хрсоших, простодушных ребят. На экземпляре пьесы имеется уведомление, что право первой постановки в Москве предоставлено Московскому Академическому Художественному театру Союза ССР имени Горького, в Ленинграде — Академическому театру имени А. С. Пушкина.

К счастью, МХАТ не воспользовался столь заманчивым правом. Это — не первый опыт В. Гольдфельда в сказочном жанре. До этого во многих театрах шла его «Сказка об Иване-царевиче». В соответствии с требованием времени она касалась военно-политической темы. В ней речь шла о том, что хотя два старших царских сына пропили и проспали родину, но как скоро младший — Иван-царевич — всё-таки победил врага, то на общем пиру по случаю победы прощены и братья — обжора и лентяй, что уже с воспитательной точки зрения и по жизненной правде просто неверно и вредно. Я здесь говорил о непродуманной рецензии Б. Асеева по тому, что, кроме неё, появился целый ряд таких же неверных и непродуманных, хотя и восторженных рецензий на периферии и в центре. «Иван-да-Марья» получила широкое распространение не только в детских театрах, но и во «взрослых». С этим нельзя мириться. Поэтому-то я и уделил такое внимание анализу этой малохудожественной пьесы, дискредитирующей жанр сказки.

Три типа пьес, о которых я говорил, являются основными в молодёжном театре. На них, главным образом, и строится репертуар. Но есть ещё и другие типы пьес. За последние годы стали завёвывать место в репертуаре пьесы биографические. И это следует всячески приветствовать, так как трудно переоценить их громадное художественно-воспитательное значение. Появились пьесы «Семья» И. Попова, «Побег» Дм. Щеглова, впервые в истории детского театра давшие возможность показать на сцене тюзов всем нам дорогие, любимые образы В. И. Ленина и И. В. Сталина.

В особенности удалась автору и полюбилась советскому зрителю — как юному, так и взрослому — пьеса «Семья». И. Попов создал обаятельный образ юного Ленина. Это ещё, собственно, не Ленин. Это ещё Володя Ульянов. Но в нём уже как бы просвечивают и от сцены к сцене растут и определяются черты будущего Ленина, вся жизнь которого для всех нас есть высший пример душевной чистоты, непримиримой принципиальности, страстной любви к угнетённым и столь же страстной ненависти к угнетателям. Учитесь у Ленина, говорит товарищ Сталин. Пьеса «Семья» помогает юным зрителям учиться у Ленина, вызывает желание подражать Ленину, быть таким же, как Ленин. В этом-то и заключается большее воспитательное значение пьесы. Пьеса названа «Семья», и это в значительной степени определяет её содержание. Мы видим на сцене чудесную русскую семью Ульяновых, в которой рос Владимир Ильич, настоящую, в полном смысле этого слова, интеллигентную, революционную семью — пример для всех нас. Часто биографические пьесы страдают некоторой иллюстративностью, хроникальностью. Но с пьесой «Семья» И. Попова этого не случилось, так как в её основу положен острый конфликт семьи Ульяновых с тёмными силами русского царизма второй половины XIX века. Юноша Ленин показан пламенным неутомимым борцом с мрачными силами старого мира, носителем светлых идей мировой, пролетарской революции. Его активный, революционный характер и делает то, что по существу хроникальная пьеса приобретает черты исторической драмы. Следует особо отметить великолепно написанный образ матери Владимира Ильича, в значительной степени действующий успеху пьесы.

Имеется ещё несколько биографических пьес. Далекое не совершенная пьеса «Гастелло» И. Штока всё-таки положительное явление, так как она повествует о конкретном и в то же время типичном характере героя. И хотя в пьесе «Гастелло» больше убеждают факты, поступки, внешние события, чем психологический рисунок, тема формирования героического характера, трудный и сложный путь преодоления препятствий в пьесе ощущается явственно. Биографические пьесы пишутся; создаются и инсценировки. Таковы «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Начало пути» (о Кирове по повести А. Голубевой), «Володя Дубинин» (Л. Кассиля и М. Поляновского), «Алёша Пешков» (И. Груздева и О. Форш). Есть «Всадник, скачущий впереди» Ю. Принцева, пьеса о Гайдаре. Но всё же мало у нас пьес-биографий, вернее, хороших пьес-биографий, написанных с глубоким проникновением во внутренний мир героя, с серьёзным изучением дела его жизни, с настоящей любовью к нему. Халтурная пьеса о Циолковском не увидела света. Ещё свежа в памяти порочная пьеса А. Липовского о Маяковском — «Грозное оружие». Нет пьесы, например, о Чкалове. Да мало ли замечательных биографий великих русских людей прошлого и современности! Сколько в этих биографиях драгоценного, познавательного, психологического материала, сколько подлинных драматургических конфликтов, борьбы, столкновений! Вопросом создания целого ряда пьес-биографий надо серьёзно заняться. Здесь нельзя довериться самотёку. Нужно создать единый хорошо разработанный тематический план и последовательно выполнять его, может быть, даже в государственном порядке, привлекая самый широкий круг драматургов, — примерно так, как это практикуется в нашей кинематографии, создавшей и всё время создающей хорошие биографические фильмы.

Острейшей репертуарной проблемой детского театра, как, впрочем, и театра «взрослого», является почти полное отсутствие комедий. Это тем более странно, что отцами русской реалистической драматургии

были великие комедиографы Фонвизин, Гоголь, Грибоедов, Островский (более половины пьес которого — комедии), Сухово-Кобылин. Сильная традиция! Между тем современных детских комедий очень мало. В этой области я ничего не могу вспомнить, кроме двух школьных комедий А. Барто «У нас экзамены» и «Опасное знакомство» (последняя комедия написана совместно с Риной Зелёной) и двух комедий С. Михалкова — «Особое задание» и «Весёлое свидание». Нельзя сказать, чтобы эти пьесы были образцовыми комедиями. Они, может быть, кое в чём излишне водевильны, и юмор положения в них сильнее юмора характеров, но всё же это были весёлые вещи. Однако из репертуара детских театров они быстро улетучились, и сейчас нет ни одной комедии. И, кажется, не предвидится. Таким образом, если мы, писатели, не вмешаемся, — целое поколение юного зрителя может остаться без комедий. Ребята уже начинают отыскивать от смешного и сатирического на сцене. Драматурги не хотят писать комедий. Писать комедию стало делом очень нелёгким. Всё время приходится сталкиваться с недоверием к жанру, с мелкой опекой, сглаживанием конфликтов, без которых вообще никакое драматургическое произведение немислимо, а тем более комедия. Невозможно же, в самом деле, написать детскую комедию, если в ней все ребята общими усилиями превращены, по крылатому выражению, в «отвратительно-прелестных мальчиков».

Выступая по радио в памятный всем день 3 июля 1941 года, товарищ Сталин сказал:

«...основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины».

Эти качества и определяют характер, который мы должны вместе со школой и комсомолом воспитывать в наших детях и юношах.

Конкретную программу своей художественно-воспитательной деятельности драматурги, пишущие для детского театра, могут найти и в словах Калинина:

«Это, во-первых, любовь, любовь к своему народу, любовь к трудящимся массам. Человек должен любить людей...»

Во-вторых, — честность. Приучить ребят к честности. Этого учитель должен, по-моему, добиваться последовательно всеми педагогическими приёмами, какие только возможны. Не врать, не обманывать, а вести себя честно.

В-третьих, — храбрость. Социалистический человек — человек труда — он хочет завоевать мир, и не только мир, существующий на земном шаре, но и вселенную раздвинуть разумом человека.

В-четвёртых, — товарищеская спайка. Надо, чтобы товарищеская спайка была. Она нужна хотя бы потому, что мы находимся в капиталистическом окружении...

В-пятых, — это надо любить труд. Не только любить, но честно относиться к труду, твёрдо при этом памятуя, что если человек живёт, питается и не работает, то это значит, что он поедает чужой труд...

Дисциплина это само собой — она вытекает из тех качеств, о которых я говорил выше».

Это для нас, драматургов, целая, я бы даже сказал — исчерпывающая, программа. Мы должны создать образ героя нашего времени — молодого человека, юноши, мальчика-пионера, девушки, образ, в котором бы соединились все положительные черты характера советского человека сталинской эпохи. Но эти черты не должны быть неподвижными,

иллюстративными. Они должны раскрываться в острых сценических ситуациях, в борьбе нового со старым, в столкновении противоположностей и противоречий. Не должно быть никакой лакировки, никаких сглаживаний углов. Наш юный зритель хочет увидеть на сцене личность, которой нужно подражать. Это должен быть Павел Корчагин сегодняшнего дня — борец и победитель!

Но, повторяю, нельзя забывать и о комедии. У нас есть все возможности для создания комедийных, сатирических характеров. Человек должен любить людей. Но ещё в жизни попадаются экземпляры, которые не любят людей. И комедиограф обязан вытащить на сцену такой тип, разоблачить, высмеять, показать всю его неприглядность. Человек должен быть честным. Стало быть, необходимо вытащить на сцену тип человека нечестного и больно отхлестать. Необходимо разоблачать и высмеивать труса, тунеядца, лентяя, не желающего учиться, личность бескрылую, не развивающую свой разум. Все эти отрицательные типы должны быть приведены в столкновение с нашей здоровой, советской средой, с обществом, строящим коммунизм, и это столкновение, этот основной драматургический конфликт и даст возможность создать хорошую, полезную комедию характеров и положений. А складывать оружие комедиографам ни в коем случае не следует!

Мы имеем лучший в мире детский театр, и наш долг неукоснительно двигать его вперёд во всех жанрах, не останавливаясь на достигнутых успехах и не боясь никаких трудностей. Силы у нас для этого найдутся. Нам поможет общество. Поможет партия.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

П. ВЕРШИГОРА

★

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

(Очерк жизни и творчества)

В начале нового, XX века, 8/21 декабря 1900 года в семье межевого инженера (землемера) по профессии, романтика, путешественника по призванию, первого русского специалиста по воздушной фотосъёмке, Виталия Вишневого родился сын Всеволод. «В предвоенные годы отец усиленно занимался фотограмметрией (воздушной съёмкой). В мировую войну ставил это дело в русской армии. В гражданскую войну мой отец — работник политотдела 7-й армии, затем Балтфлота, затем преподаватель в ленинградских вузах. Мать — фельдшерница-акушерка, затем работник военных госпиталей. Кроме меня, в семье было ещё двое братьев, с 1918 года оба красногвардейцы», — писал в 1939 году Всеволод Вишневецкий в своей автобиографии.

Мальчик провёл детство на Балтийском море. Много путешествовал с отцом. Отец возил сыновей с собой, играл с ними в «разведчиков», рассказывал им о родине и её истории. В семье Вишневских жили бодро, без кислых настроений, модных в те времена во многих семьях русских интеллигентов. Отец — весельчак, силач, настоящий труженик — самозабвенно работал над техническим оснащением русской армии. Он неплохо знал историю русской армии и флота, а главное — любил её. Эту любовь к родине, к боевым традициям русской армии он передал своему первенцу Всеволоду.

Мать — замечательная русская женщина, умная и цельная натура, каких много в трудовых интеллигентных семьях. Дядя Всеволода служил в гвардейском Егерском полку. Он, один из немногих среди

офицеров того времени — по преимуществу картёжников и пьяниц; — свято верил в немеркнущую славу русского оружия, в духовную силу русского солдата. От дяди и отца мальчик ещё в раннем детстве услышал о жизни и делах Суворова и Кутузова, Ушакова и Нахимова.

В 1909 году Всеволод Вишневецкий поступил в первую С.-Петербургскую мужскую гимназию. Обучение в ней было связано с военизацией. «Усиленно занимался военной историей», — пишет об этом периоде своей жизни Всеволод Вишневецкий в своей автобиографии. Но не законы роста организма и личности, а именно война, внезапная и не во всём понятная, была толчком для раннего возмужания юноши. В июле 1914 года из пятого класса петербургской гимназии Всеволод уходит добровольцем на войну. Сначала попал он на Балтфлот, служил юнгой на посыльном судне «Бети»; но на флоте показалось ему скучно и безрадостно. Война шла главным образом на сухопутных тысячевёрстных просторах, и в декабре того же года неутомимый, как и его отец, подросток уходит на сухопутный фронт. Перед нами последняя дань детству — самодельная записная книжка. Почерк ещё полудетский, но разборчивый. Записано всё: рублей столько-то, копеек значительно больше; список личной одежды, солдатская ложка и подробный маршрут... прямо на фронт под Варшаву. Позже Вишневецкий объяснял этот уход из флота тем, что флот бездействовал.

Романтически начал самостоятельную жизнь четырнадцатилетний Всеволод Вишневецкий. Но только ли романтика войны влекла его на фронт? Он и в эти юные

годы был человеком реального дела, русской смётки, больше того — выверенного расчёта и пусть ещё детской, но упрямой, настойчивой думы.

Только здесь, в пехоте, юноша встречается с настоящей войной. Книжные её красоты остались где-то в стороне, а на первый план выступает дело и труд солдата, его повседневные заботы. Вскоре он познаёт оборотную сторону этой неказистой солдатской медали: всю суровость военной службы, звериную жестокость царизма.

На границе Восточной Пруссии в окопах, в грязи, в смраде разлагающихся трупов людей и животных, в страданиях и смерти увидит юноша безобразное лицо войны. Но не испугается и не «отдаст концы». Прозрение ещё далеко, а пока надо делать своё солдатское дело. Вот перед нами фотография: курносый солдатик лет четырнадцати с медалью на груди. Гимнастёрка и штаны из крашеной в грязнозелёный цвет холстины. Солдатские сапоги, а из-за голенища торчит ложка. Руки по швам, великолепная выправка, нос держит высоко, взгляд суровый, но бодрый.

А вот письмо к матери, датированное 14 января 1915 года:

«Здравствуй, дорогая мама!

Я нахожусь сейчас в лейб-гвардии Егерском полку, в 4-м батальоне, 14-й роте, 3-м взводе. Мне дали шинель, винтовку, и я хожу наравне с солдатами на ученье и на стрельбу. Мой ротный командир хвалит меня, так как я попадаю в цель на 200—300 шагов очень хорошо. Из шести пуль я попал все шесть... Пришли мне посылку и в ней письмо. В посылку положи, уж не поскупись... карту Привисленского края... шесть карандашей (второй номер), десять конвертов и двадцать листов писчей бумаги, двадцать пуговиц...»

По всему видно, что паренёк на войну собрался всерьёз и надолго. Словно интуитивно чувствует он, что впереди большая, тяжёлая солдатская жизнь. И как подобает солдату, он знает цену и ложке, и иголке, и пуговице. Но выше всего он ценит карту. Видимо, очень необходимо для него сидеть над ней и с важнецким видом следить за военными делами, изучать причудливо изогнувшуюся линию фронтов.

А вот другая фотография. Тот же срёл собрал оборванных деревенских ребят-

шек, выстроил в две шеренги с хвостиками на караул. Игра? Или дело? Или то и другое? Письмо к матери от 1915 года:

«Дорогая мама!... Сейчас идёт 5-й день бой. Я был в разведке и в перестрелке. И под шрапнелями ходил с донесениями. Жив и здоров. Ежесекундно вчера визжали пули над головой. Рвалась шрапнель. Ничего не могут немцы с нами сделать. Один снаряд попал в окоп, никого не убил и не ранил, меня только засыпало немного землёй, головка от него хранится у меня. Ну желаю всего хорошего... Не беспокойся.

Воля».

Как будто, не игра. Дело большое, солдатское. Пусть ещё детская похвальба: «ежесекундно визжали пули над головой», но это уже бой. И снова письмо к матери: «Здравствуй, дорогая мама! Я жив и здоров. Прости, что долго не писал. Мы стоим на позиции. Завтра, 31-го уйдём в резерв на два дня. А потом на левый фланг к деревне К-но. Потеря в роте пять человек за шесть дней, есть легко раненые. Меня оглушило бомбой на левое ухо. Теперь ничего, всё слышу, а то был звон в левом ухе...»

Так начал свою первую войну Всеволод Витальевич Вишневецкий, будущий боец и писатель революции. Он ещё не в состоянии осмыслить природу войны, её причины, но он спокоен и просто выполняет свой солдатский долг. Дважды: весной 1915 года и в мае 1916 года мальчик-солдат приезжает в Петербург сдавать экзамены. Сдав их, снова возвращается на фронт. Вскоре он стал разведчиком. Первая мировая война и была первым классом его жизненной академии. Он закончил её так: одно ранение и контузия, один солдатский георгиевский крест и две георгиевские медали на груди, звание старшего разведчика 4-го батальона лейб-гвардии Егерского полка. Что же ещё, кроме ранений и наград, дала ему война? Очень много! Он узнал душу русского солдата. С ним он ел кашу и спал в землянках, с ним сидел в окопах под вой и скрежет немецких «чемоданов». С ним рядом стоял он на бруствере по приказу изверга-офицера. Уже тогда острый глаз сообразительного, башковитого русского паренька-романтика видел то, что потом он расскажет в повести о русском герое — солдате Иване Сысоеве. Мно-

го лет спустя встанут герои первой мировой войны в незабываемых сценах «Первой Конной», и ещё позже он такими словами расскажет о своих товарищах и первых учителях жизни — русских солдатах: «Шла тяжёлым шагом своим русская пехота, в крови и истории своей хранившая битвы и победы на Неве и Чудском озере, победы Куликова поля, битвы в Ливонии, на Волге и на Днепре, битвы Урала и Сибири, пехота, хранившая победы Москвы над панями, победы Петра — Лесную, Гангут и Полтаву, суворовский Измаил и Требию, пехота... знавшая Бородино и Севастополь... Шла пехота народа, который веками мятежно гремел, добывая себе и другим свободу и не отрекаясь от неё ни на плахе, ни на костре. Шли праправнуки Степана Разина и Пугачёва, шли потомки декабристов, шли братья Коммуны, шли люди, которые в огромной истории своей пережили и поражения, для того, чтобы больше их не знать. Шёл здоровый народ... народ-победитель, великий и гениальный» («Мы — русский народ»).

И в ногу с русским народом, совершавшим чужой и тяжёлый труд империалистической войны, шагал юноша, солдат русской пехоты — Всеволод Вишневский.

Второй, высший класс жизненной академии Всеволода Вишневского — его служба в Красной гвардии. В последних боях до февраля 1917 года наступает прозрение. На фронте он чувствовал, как неладно идёт война. Страдания народу не страшны, и вместе с народом превозмог и он личные страдания. Но во имя чего война? — спрашивал себя шестнадцатилетний паренёк в начале 1917 года. Над этим вопросом думали миллионы солдат в те дни. Так появляется первый предвестник переворота в сознании — гнев. «Как я шёл к революции? Во время империалистической войны был тяжело контужен и ранен. Нас везли в тыл. Мимо шёл южный поезд с зеркальными окнами, из окон смотрели господа — курортники. Накалялось желание разбить эти вагоны, ненависть к разжиревшим людям с их безразличием к человеческому страданию, гнев обманутых и преданных солдат»¹.

Это пока только эмоция, предвестник

сознания. Пройдёт ещё полгода, год — и гнев распахнет почву для революционного посева. Вишневский ещё только солдат, которого обманули. Ясного понимания происходящих процессов, подготовки народа к огромным историческим переворотам, чёткой цели, стремления к организации пока ещё нет, но почва вспахана глубоко, на всю жизнь, сознание чуткого юноши глубоко потрясено. Темпераментный, хотя внешне и сдержанный, пылающий и гневный человек — таким мы его узнали позже.

Он рассказывает: «Я тогда не читал ещё революционных листовок. Впервые прочёл их в 1917. Массу вещей объяснил мне старик большевик-царицынец товарищ Генералов»¹.

Семнадцатилетним юношей участвует Вишневский в Февральской революции в Петрограде. В июне 1917 года он, по совету солдата Генералова, пишет первое своё литературное произведение — солдатское письмо с фронта в «Правду», и с июня 1917 года Вишневский навсегда связал свою судьбу с большевиками. Это был выбор жизненного пути. Храбрый воин, пламенный оратор и писатель-революционер, он остался на всю жизнь, до последнего дня, верен этому выбору, подсказанному его юношески чистым сердцем и солдатским верным чутьём, угадавшим великую правду большевизма — единственно могучую силу, способную вырвать Россию из лап империалистов и открывшую ей новые, небывалые исторические перспективы.

В дни Октябрьской революции Всеволод Вишневский — уже сознательный и зрелый боец-красногвардеец. Он участвует в Октябрьском перевороте и в октябре же выступает в составе отряда моряков из революционного Питера на фронт против Керенского; принимает участие в авангардных боях с казаками на шоссе у Гатчины. В начале 1918 года Вишневский идёт добровольцем на службу в Красный Флот, в 1-й морской береговой отряд.

С отрядом Особого назначения Вс. Вишневский сопровождает поезд советского правительства при переезде из Петрограда в Москву и состоит в охране советского правительства в Москве. Здесь он неоднократно видит в кипучей деятельности Ленина, Сталина. Образы великих вождей

¹ Неопубликованная запись речи Вс. Вишневского в Ленинградском доме писателей 23 мая 1950 года.

¹ Там же.

революции остаются на всю жизнь в его памяти, и незабываемые впечатления через много лет помогают моряку, ставшему писателем, правдиво показать эти дорогие всем трудящимся великие образы.

В марте-апреле 1918 года Вишневский участвует в ликвидации московских анархистов в составе Особого отряда при Народном командовании по морским делам. Весной 1918 года Вишневский участвует в ликвидации контрреволюционного выступления кавполка в Нижнем-Новгороде, затем выступает против муромских мятежников. Здесь ранен в ногу.

В июле 1918 года правительство призвало моряков-добровольцев во вновь создаваемую Волжскую военную флотилию. В числе добровольцев был и военный моряк Вишневский. Он был назначен на военный корабль «Заря», затем переведён на флагманский корабль Волжской флотилии, знаменитый боевой корабль «Ваня-коммунист» № 5», которым командовал легендарный моряк Маркин. В зоне боевых действий флотилии под Казанью Вишневский участвует в боях с белогвардейской чешской флотилией. С 21 по 27 августа 1918 года отряд из трёх кораблей — «Ваня-коммунист», «Добрый» и «Серёжа» — сражаются под Казанью.

Вскоре на корабле молодого моряка узнали не только как боевого матроса-пулемётчика. Пригодился и опыт пехотинца-разведчика. Вишневский ходит в поиски, ведёт разведку правого и левого берега. Однажды был такой случай. Разведку вели двое — Вишневский и Сагура (сигнальщик с «Вани-коммуниста»). Пришлось принять бой с передовым охранением белых. Расстреляли почти все патроны. Сагура был ранен в бедро и передвигаться не мог. Вишневский прикрывал последними патронами раненого до тех пор, пока из цепи не подоспели на помощь красноармейцы.

В начале сентября 1918 года Вишневский ежедневно участвует в боях с белыми: у Свяжска, под В. Услоном, при взятии Казани.

1-го октября 1918 года Вишневский — в вылазке на берег в составе небольшого десанта, в качестве наводчика скорострельной пушки. Десант имел задание ночью пройти по берегу, занять скрытую огневую позицию напротив пристани вражеских кораблей и внезапным огнём налё-

том обстрелять суда белых на стоянке одновременно с атакой флотилии вдоль реки. Атака флотилии успеха не имела, суда отошли, и небольшой десант остался на берегу по существу в расположении белых. Цепи противника прочищали берег. В десанте паника. Вишневский принял командование. Орудия были спазены, и ночью, погрузив их на рыбацью шлюпку, десантники двинулись вниз по Каме на вёслах. Рассвет застал их на виду у противника, но десант всё же отошёл. Явившись во флотилию, узнали о гибели своего корабля «Вани-коммуниста» № 5», доблестно сражавшегося до последней минуты в неравных условиях. На нём погибло более половины команды во главе с организатором флотилии Маркиным. В знак уважения к делам корабля все оставшиеся в живых были включены в команду нового, спешно вооружённого в Сормове корабля, получившего название «Вани-коммуниста» № 9». До конца 1918 года флотилия действует на Каме и Волге; действует с ней и пулемётчик Всеволод Вишневский.

В конце 1918 года, когда суда флотилии были уведены в затоны, по приказу Центра из команд судов Волжской военной флотилии, ставших на зимний ремонт, было начато формирование отряда моряков для переброски на Украинский фронт. Вишневский принимает активное участие в организации отряда, записывается добровольцем и назначается пулемётчиком в отряд бронепоездов. Отряд, а затем бригада бронепоездов прибыли на Украину. Первый бой приняли на станции Мерефа. Затем участвовали в наступлении на станцию Лозовая и в дальнейшем наступлении в направлении Синельниково. Здесь Вишневский действует в лихой разведке на паровозе, направлявшемся в сторону Екатеринослава.

Вскоре — к Днепру. Вишневский участвует во взятии Екатеринослава, одним из первых с разведкой перейдя мост. Там был сформирован новый бронепоезд «Грозный». Вишневский попал в команду «Грозного» и действовал в боях разведчиком под Мелитополем, у станций Акимовка, Ново-Алексеевка. А когда бронепоезд «Грозный» был переброшен на другой, западный фронт, Вишневский проследовал вместе с ним через Киев в прославленную

дивизию Николая Щорса, ведущую бои против петлюровцев и банд зелёных. Дивизия Щорса, пишет Вишневский, занимала «...фронт в районе Бердичева, который был частью наш, частью противника. На фронте тарашанцы, богунцы, еврейская дружина. Оттесняем противника на запад. Выходим на ветку к Житомиру. У станции Кодня участвую в упорном бою с петлюровцами. Останавливаю панику в цепи... дружинников, победившей под снарядами. Борт артиллерийской площадки пробит снарядам. Противник теснит и мы отступаем к Бердичеву. Бронепоезд «Железнодорожник» сошёл с рельсов и одна его площадка брошена. Вблизи вокзала видна петлюровская кавалерия. Мы медленно отходим параллельно движению кавалерии противника. «Грозный» вызван обратно. Ночью на станции Попельня на ходу подвергаемся нападению банды зелёных, начавших перекрёстный внезапный обстрел. Я был вахтенным на пулемётной площадке и быстро открыл огонь, почти сейчас же был ранен пулей в щёку ниже глаза, но стрельбу не бросал, пока не подоспели товарищи из эшелона. Идя на перевязку вдоль цепи красноармейцев, весь в крови, ободрял их, так как они считали себя «в кольце». Вернулся немедленно в строй. Рана странная, болит».

После ранения, не уходя с бронепоезда, Вишневский участвует в ряде боевых операций под Киевом. Он упорно отказывается лечь в госпиталь, и его назначают в штаб на должность председателя следственной комиссии бригады бронепоездов, в которую развернулся отряд бронепоездов № 8.

Работа напряжённая. Об этих днях он потом расскажет в своих записках, а позже в новеллах из цикла «Матросы».

В этой лично пережитой и вошедшей в плоть и кровь постоянной, самозабвенной готовности к борьбе, в большевистской страстности, продиктованной боевой обстановкой, — именно в этих жизненных обстоятельствах следует искать истоки вдохновения Вишневого, вызвавшего к жизни его пламенную драматургию. В этих бурных обстоятельствах выковывался стойкий, непримиримый характер автора будущих драм и трагедий, характер человека, способного раскрыть содержание тех неизбежных лет и дел, создать типические

характеры героев гражданской войны. Вслед за прозаиками Д. Фурмановым и А. Фадеевым, А. Серафимовичем и Ф. Гладковым, вместе с Николаем Островским и Антоном Макаренко драматургу Вс. Вишневскому суждено посвятить основную, главную линию своего творчества героям гражданской войны. К этому приведут его не литературные пристрастия и наследования, а сама жизнь — жизнь, полная горения, самопожертвования, глубокой ненависти к интервентам и пламенной любви к горячо любимой родине, справедливому делу большевистской партии. Память о героях гражданской войны, борьба и сильная, трудная жизнь вызовут бурные вспышки его незаурядного таланта. Придёт время, и всё это оживёт в художественных образах, отольётся в ярких характерах драматургии моряка Вс. Вишневого. Но это случится ещё через целое десятилетие. А пока он ещё мало думает о литературном творчестве. Первые проблески его художественного дарования (если не считать фронтовых зарисовок красками и карандашом в юношеские годы) проявляются в наиболее мобильной и в этот момент в наиболее нужной, способной немедленно откликаться на запросы дня и часа, форме — в ораторском искусстве, искусстве трибуна.

Работа в следственных органах требует не только проведения следствий и приведения в исполнение приговоров именем революции, но и разъяснения значения дисциплины, революционного долга, и молодой чекист, так сказать по совместительству, становится оратором.

Он выступает на митингах, на приморских собраниях, вербует новых моряков в бригаду. Возвратившись в бригаду, Вишневский продолжает вести следственную, политическую, пропагандистскую работу.

Началась новая фаза гражданской войны. Потерпев поражение в своём первом походе на востоке, Антанта начала свой второй поход с юга. Бригада бронепоездов, в которой сражается Вс. Вишневский, принимает на себя удары деникинских полчищ, которых вооружили иностранные интервенты. Закипели бои с деникинцами, кадетами. Белые теснят. Идёт эвакуация. Опытный глаз чекиста в период отступления Красной Армии под нажимом белых не подводит. Вишневский видит деятельность агентов белых. Чёткая работа, чуткие

и следовательское пристрастие к «подробностям» помогают поймать белого агента. Он раскрывает явки, пароли и т. д. Агент рассказывает многое. Поняв, что им схвачен конец длинной нити, Вишневский идёт в штаб армии и попадает на доклад к товарищу Ворошилову. Получает мандат и большие полномочия.

В «Незабываемом 1919-м», как бы перенося свой личный опыт моряка-чекиста, действовавшего на юге, в обстановку Питера, Вишневский покажет работу моряка-чекиста. Как видно из вышесказанного, в образе Шибаява много автобиографичного.

Бронепоезда под натиском белых отходят на север через Знаменку к Киеву, затем на Коростань, затем обратно в Дарницу. Бронепоезд «Грозный» временно в резерве.

30 августа пал Киев, наши отошли на Гомель. Всеволод Вишневский отъезжает в Москву, где получает назначение снова в Волжскую флотилию — драться против Колчака.

Повоевав снова на «Ване-коммунисте», на фронте у Саратова, а затем возвратившись в Нижний-Новгород, Вишневский рвётся туда, где кипят бои. Призывы Ленина и Сталина о формировании красной конницы находят отзвук в душе Вишневецкого.

Вот запись из автобиографических заметок:

«Пролетарий, на коня! Я не кавалерист. Иду на бронепоезд «Коммунар» № 56». Берут охотно. Там есть уже наши... Судьбе угодно, чтобы мы попали в 1-ю Конную армию почти в начале удара Будённого на Деникина. Двадцатые числа октября 1919. Мы ринулись с воодушевлением в бой... Мы — будённовцы. Но я не снимаю матроской фуражки».

Выполняя мудрый сталинский план разгрома Деникина, проходит Первая Конная как всеокрушающий ураган революции, как непобедимая сила сталинского военного гения.

Чем дальше продвигается Первая Конная Армия на юг, тем сильнее её удары. Осуществляется сталинское предвидение. Рабочий класс Донбасса, беднейшее крестьянство Украины пополняют ряды будённовской конницы и пехоты. Форсирован Донец; при помощи шахтёров взят Лисичанск; затем — на Дебальцево и через

Донбасс: такой путь был предначертан гениальным сталинским стратегическим планом. Первая Конная прорывается к Таганрогу и Ростову. Из Ростова — к Новочеркасску. Гремит слава Первой Конной Армии. Под Сулином Вишневский тяжело заболевает. Бронепоезд перебрасывают в Харьков, на западный фронт. Запись Вишневецкого: «В Харькове сдал совсем. Не могу, приходится идти в госпиталь. Один совсем, нет ни одной близкой души».

В прозе Вишневецкого среди уже упомянутого цикла «Матросы» есть яркий рассказ «Болезнь». Он автобиографичен и передаёт обстановку госпиталя того времени и душевного состояния автора. Это уже не мальчик-доброволец и даже не боец-красногвардеец, работающий на первом порыве, а уверенный в справедливости своего дела сознательный революционер, осмысливший законы движения истории.

Уже в госпитале Вишневский заболевает сыпняком. Здесь лежат вповалку все — и красноармейцы, и белые. Много дней пролежал одинокий моряк, борясь со смертью. Вывез молодой организм. Чуть встав с лазаретной койки, Вишневский выписывается из госпиталя и через Донбасс пробирается к морю в Новороссийск, стремясь поступить на службу во флот. Но флот потоплен черноморскими моряками ещё в 1918 году. «Меня назначили на моторные катера, — пишет Вишневский. — Я команду флотилией, взятой нами у частновладельцев. Кустарное вооружение, сам себе организатор, тактик, администратор. В городе тревожно. Масса офицерства. В горах сигнализация».

Во время своей службы в Новороссийске Вишневский участвует и в действиях против десанта Улагая. Он действовал с красным десантом под командованием Дмитрия Фурманова. Вернувшись с Кубани в Новороссийск, изловил шхуну «Тижаречья багры».

«Моторист на ней русский, — записывает В. Вишневский, — производит хорошее впечатление. Я доверяюсь ему и через него направляю в Константинополь агит-литературу для моряков союзной эскадры. Воззвания пишу сам, переводят спецы из местного ОНО с готовностью и страхом, набирает и печатает один грек...»

Отношение к большевистской пропаганде и особенная, присущая Вишневецкому черта

во всё, даже в глубоко личное вносить мотивы общественного, очень хорошо передаёт одно из писем отцу, написанное в это время ещё с фронтов гражданской войны.

«Новороссийск. 28 марта 1921 г. ...Масса выросла и мы соответственно с ней предъявляем себе более серьёзные требования. Уже не выходишь с готовой, пламенной, но трескучей речью, а делаешь доклад и его разбирают по косточкам без аплодисментов. Ну, я, кажется, в политрабату ударился. Извиняюсь...»¹.

Здесь же, в Новороссийске Вишневский делает свои первые шаги в драматургии. Несохранившаяся инсценировка «Суда над кронштадтскими мятежниками» была разыграна в матросском клубе. Автор играл в ней роль мятежника. Спектакль начался в 8 часов вечера, а окончился в 4 часа утра. Инсценировка захватила и потрясла аудиторию. Кое-кому из артистов, игравших мятежников, впопыхах и под горячую руку наставили настоящих синяков.

Через Новороссийский порт (Крым ещё у Врангеля) была проложена главная морская коммуникация, связывавшая Советскую Россию с Турцией, странами Ближнего и Среднего Востока...

«Проходили делегаты на съезд народов Востока и Конгресс Коминтерна, — записывает В. Вишневский. — Шли с моря, проскакивая опасные зоны... Приходили позже раскаявшиеся врангелевцы, казачьё... Они остановились у мола. Я спустился в палубу: «Здравствуйте у нас, казаки!..» «Ура Третьему Интернационалу!» И истовые крестные знамения были в ответ. А что сделали бы эти бородачи со мной, ну, с год тому назад, на Украине? Меняются, здорово меняются времена...»

Но не удовлетворённый этой кипучей жизнью агитатора и трибуна, организатора и контрразведчика, ещё не нашедший своего призвания, будущий писатель Вишневский рвётся в бой. Его тяготит отсутствие настоящей боевой работы. Польский поход Первой Конной прошёл без него — помещала болезнь и работа. Вишневский узнаёт, что из Новороссийска готовится десант с задачей поднять восстание в тылу Врангеля. Партия направляла опытных организаторов-большевиков для работы в тылу у белых.

¹ Неопубликованное письмо к В. П. Вишневскому.

Подполье требовало строгой конспирации. После долгих настойчивых поисков Вишневский встретил матроса, который оказался руководителем одного из партизанских десантов. Этот матрос был Иван Дмитриевич Папанин. Вместе с десантом Папанина на небольшом судне «МИ № 17» Вишневский участвует в операции, связывается с партизанскими отрядами, действующими в тылу у Врангеля. Двенадцать десантников с честью выполняют задание Центрального Комитета партии — они в краткий срок организуют разрозненные отряды в партизанскую армию и возглавляют её. Партизанские отряды стремительно рвутся от побережья на север, на соединение с красными частями, движущимися от Перекопа к Симферополю. В штабе повстанческой армии Вишневский вновь видит будённовские шлемы красноармейцев. Походам на скорлупах «МИ № 17», «Витязе» и «Гаджибее» посвящены яркие страницы в цикле рассказов «Матросы», а также историко-оперативное описание этой операции в «Морском сборнике» в сборнике «Морских рассказов».

После разгрома Врангеля Вишневский снова возвращается в Новороссийск. Осенью 1921 года он в числе 600 моряков откомандирован на Балтийский флот.

Гражданская война закончена, наступают годы мирной жизни, усиленной учёбы и раздумий о судьбах Родины и её вооружённых сил. Снова и снова возвращается Вишневский к истории России, её флота и армии.

Не забывает Вишневский и о будущих врагах. Он изучает вооружённые силы возможных противников Советской России. Для этого нужны серьёзные знания. Воюя уже семь лет, он многому научился у жизни, в революционной борьбе в первую очередь; но и тогда он не забывал об учёбе теоретической: ещё в феврале 1918 года, параллельно с военной службой, Вишневский экстерном закончил курс гимназии — сдал экзамены и получил аттестат зрелости. После окончания гражданской войны он поступает в школу сигнальщиков и рулевых и параллельно в порядке самообразования проходит вузовский гражданский курс. По окончании школы Вишневский остаётся в ней в качестве инструктора-преподавателя, а затем ротного командира.

Готовит себя к научной работе. Изучает для военно-научной исследовательской работы немецкий, французский и английский языки.

Тяга к учёбе, знаниям, к литературе, к познанию сложного мира, в котором ему суждено пройти всю жизнь с оружием в руках, у Вишневого была огромна. Человек этот очень хорошо знал силу печатного слова, знал он значение и слова живого, импровизированного выступления на трибуне; он проверил, испытал и отточил это слово в революционных боях. Слово своё он поставил на службу революционному делу, к которому пришёл семнадцатилетним юношей-солдатом. Тяга к литературе у молодого Вишневого постоянная. Он с четырнадцати лет тщательно вёл записи, дневники. На фронте первой мировой войны делает острые зарисовки, где можно увидеть зародыши тем и сюжетов, которые, созрев гораздо позже, через двадцать лет, воплотятся в художественные образы героев его пьес, киносценариев, прозы. В эти ранние годы он пытается писать рассказы, стихи, но без успеха.

Вместе с выросшей массой, шагающий с ней в ногу, Всеволод Вишневецкий рвётся к знаниям, к творчеству. И это страстное стремление на первых порах приводит его к науке, к исследовательской военной литературе. Но прежде чем войти в литературу твёрдым краснофлотским шагом, ему предстоит ещё почти целое десятилетие упорных исканий, раздумий, большой напряженной работы.

2

Вишневецкий начал впервые печататься во время гражданской войны. В 1920—21 гг. его статьи были помещены в газете «Красное Черноморье» (редактор Ф. Гладков) под псевдонимом «Черноморский Норд-Ост» и «Неугомонный В.». Под этим же псевдонимом печатаются его первые статьи в газете «К. Б. Ф.» («Красный Балтийский Флот»).

Прибыв из Новороссийска на Балтику, он снова в родном Питере служит на корабле в должности преподавателя и вахтенного начальника. Но его всё больше привлекает работа в печати. Осенью 1922 года Вишневецкий организует литературное объединение «Балтфлот». Вскоре он пере-

ведён в редакцию «Красного Балтийского Флота» как заведующий военным отделом. В это время он вновь пробует писать прозу. Первые его рассказы носят ещё сугубо описательный характер. Их можно скорее назвать рассказами-очерками из краснофлотской жизни. В них уже слышатся новые мотивы, чувствуются упорные поиски сильной, впечатляющей повествовательной формы. Вчитываясь в эти рассказы, мы ощущаем талант, пробивающий скорлупу натуралистического видения жизни, рвущийся к созданию нового революционного искусства. Неровно, но всегда последовательно намечается почерк будущего писателя. Так, в «Синем якоре» он пишет: «Мы свободны — как море, сильны — как орлы и идеи наши — как солнце...»

В первых очерках Вишневецкого о походе в тыл Врангеля звучит южная морская речь. Он ещё увлекается говорами, не всегда умеет отбирать словесный материал, но во многих его набросках видно, как он обуздывает свой темперамент и вдруг переходит к сдержанной, скупой и от этого ещё более выразительной фразе — первый признак растущего литературного мастерства. В трогательном рассказе «Вспомните получше», скорее похожем на рабкововскую заметку, величиной в одну страничку на машинке, мы уже узнаём оркестр из «Мы из Кронштадта».

Но до полного расцвета таланта драматурга Вишневецкого ещё далеко. В 1925 году он направляется в Военно-морскую академию. Всё больше и больше увлекаясь историей и военной наукой, одновременно готовя себя к сложной работе военного разведчика, Вишневецкий с 1924 года по 1930 написал для Военно-морской академии ряд исследований: «Материалы по изучению морального элемента английского флота», «Командный состав английского флота», «Юнги, матросы и унтер-офицеры английского флота», «Резервы личного состава английского флота», «Личный состав финского флота» и другие. Эти труды были приняты Военно-морской академией как пособие, а некоторые из них напечатаны в «Морском сборнике» и изданы отдельными брошюрами.

В 1924 году Вишневецкий назначается редактором журнала «Красный флот», а затем старшим редактором в Издательский отдел Управления военно-морских сил

РККА. Начиная с 1924 года, в краснофлотской прессе всё чаще и чаще появляются статьи и очерки Вс. Вишневого. Он становится постоянным автором журнала «Морской сборник».

В это же время Вишневецкий накапливает мемуарный материал, восстанавливает и обрабатывает свои записи о гражданской войне. В украинской прессе были опубликованы его письма с фронта о Волжской военной флотилии и о бригаде бронепоездов Южного фронта. Написаны, но не опубликованы мемуары, дневник фронтовых действий (Украина и Крым). В 1925—1926 гг. опубликован в «Морском сборнике» дневник фронтовых действий (Юго-западный фронт, Кавказский фронт). В газете «Красное Черноморье» за декабрь 1920 года публиковались «Записки из крымского подполья», а также серия статей и очерков о Черноморском флоте.

Первые беллетристические произведения Вишневого были опубликованы в литературном флотском альманахе «Алые вымпела». Заграничный поход «Океана» также нашёл своё отражение в его творчестве. В журнале «Молодая гвардия» в Москве был опубликован дневник Всеволода Вишневого «Плавание на «Океане». В 1924 году выходит его сборник морских рассказов о гражданской войне под заголовком «За власть Советов». В 1925 году — второй сборник рассказов о империалистической и гражданской войне и книга «Между смертями».

В этих двух сборниках Вс. Вишневецкий часто возвращается к тематике своих заметок девятнадцатилетнего «Норд-Оста» и «Наугомонного В.». Но сейчас темы взяты шире, литературное исполнение становится увереннее, взгляды глубже. Вообще последовательное развитие и совершенствование одной и той же темы — характерная черта творческого метода Вишневого. Он не просто повторяет полюбившуюся ему тему, характер, конфликт, расширяя объём или охват событий, но, как бы двигаясь по спирали, вновь и вновь и — главное — под иным творческим ракурсом разглядывает глубоко заинтересовавший его жизненный факт. Он каждый раз воспроизводит эту тему в другом творческом ключе, находя ей иную, более совершенную инструментку. Так, например, тема помещённых в сборнике «Морских рассказов» зарисо-

вок — «К белым с подпольными», «Красные моряки в тылу у Врангеля» — по-новому и уже полным голосом прозвучит в рассказе 1930 года «Песнь братьям моим коммунарам». Написанный в 1923 году рассказ «Как дрались балтийцы» возрождается в 1930 году в рассказе «Гибель Кронштадтского полка», а в свою очередь этот рассказ получит своё более завершённое звучание в «Оптимистической трагедии». Первый из них можно назвать лишь мелодической фразой, второй — мелодией, разработанной уже как самостоятельная песня, а затем следует многообразная контрапунктическая разработка — как более высокое творческое исчерпание темы. Но интересно то, что богатство мелодии, видимо, было столь велико и душа художника так заполнена ею, что отголоски её мы находим и в «Мы из Кронштадта». Таких примеров в творчестве Вс. Вишневого много. Очевидно, наиболее остро пережитое за тяжкие годы двух войн не только глубоко врезалось в память писателя, но и приобрело такую творческую стойкость, что воображение писателя не могло успокоиться до полной творческой отдачи юношеских впечатлений. Он вновь и вновь возвращался к взволновавшей его теме и развивал её не только сюжетно, но и в разных жанрах литературы.

Уже в тех пробах пера молодого писателя, которые относятся к первому пятилетию после гражданской войны, человека, имевшего за плечами опыт двух небывалых в истории войн, можно увидеть истоки писательских приёмов Всеволода Вишневого. Всё, что пишет писатель в эти годы, посвящено военной теме. Для Вишневого характерны острота сюжетов и лаконичность языка, стремление к выразительности диалога. Острота восприятия событий, активность творческого темперамента рождала и действенный, «стреляющий» стиль.

Попутно с беллетристическими книгами Вишневецкий издаёт политические брошюры «Буржуазия вооружается на море», «Нам нужен морской военный флот», «Помните о флоте всегда». В журнале «Красный флот» за период с 1924 по 1928 годы напечатано 27 статей и очерков Всеволода Вишневого. В 1928 году, к десятилетию Октября, издана книга Вишневого «Эпизоды борьбы Красного морского флота».

Книга эта одобрена жюри военно-литературного Всесоюзного конкурса. Кроме этого, в журнале «Морской сборник» за период с 1925 по 1927 годы было напечатано 18 статей и исследований Вишневецкого.

В 1927 году приказом Реввоенсовета СССР Вс. Вишневецкого зачисляют в штат Военно-морской академии. Он участвует в дальних походах флота, в том числе в заграничных. Одновременно редактирует при штабе Балтфлота походную газету «Море», а также работает редактором массового журнала «Краснофлотец» и первой радиогазеты «Красный моряк». В военной академии, кроме общей военно-преподавательской работы, Вишневецкий вёл специальный курс «Работа печати в военное время». В 1927—1929 гг. он работал редактором военно-морского научного журнала «Морской сборник».

Активное участие в научной и газетно-журнальной работе в первое десятилетие после гражданской войны не мешает ему и в практической работе. Инструктор-преподаватель, ротный командир в школе рулевых и сигнальщиков Балтийского флота, Вишневецкий руководит в июне 1930 года восстановлением минного заградителя «Амур», предназначенного для подготовки морских допризывных кадров, на базе Осоавиахима.

Как видно из некоторых вышеперечисленных трудов Вс. Вишневецкого, он выступает в третьем десятилетии века как публицист, журнально-газетный и научный работник, военный историк и исследователь, не порывающий практической связи с флотом. Он уже много пишет, печатается, но находится в строю, в плаваниях и на руководящей командирской работе. Пытливо и упорно возвращается он к опыту гражданской войны, не забывает о более далёком прошлом, но помнит о будущем и упорно работает на него.

Деятельность драматурга и кинодраматурга, в которой наиболее ярко выразился его талант и благодаря которой он стал всемирно-известным советским писателем, в это десятилетие он не считает своей единственной профессией, связывая её со своей военно-научной исторической деятельностью. В своей автобиографии он пишет:

«В эту пору начал как литератор и во-

енно-исторический работник писать военно-исторические драмы:

1. «Красный флот в песнях»
2. «Первая Конная»
3. «Последний решительный»
4. «На западе бой»
5. «Оптимистическая трагедия»
6. «Мы из Кронштадта» и другие».

Эта запись, сделанная в 1939 году, свидетельствует об установке автора, считающего литературно-художественную работу частью своей военно-исторической и пропагандистской деятельности. И этот взгляд на свой литературный труд у Вишневецкого сохранился навсегда.

Первые два своих драматических произведения (не считая несохранившегося «Суда над кронштадтскими мятежниками») он написал по прямому заказу. В 1929 году по заданию ансамбля красноармейской песни и пляски (нынешний ансамбль имени Александрова) Вишневецкий пишет ораторию или скорее монтаж «Красный флот в песнях». На фоне дореволюционных песен о русском флоте дан ещё суховатый, но точный публицистический дикторский текст. «Красный флот в песнях» был поставлен и исполнялся многие годы. В этом своём первом драматургическом опусе Вишневецкий уже вводит ведущего — диктора в спектакле.

Сразу же после окончания «Красного флота в песнях» Театр Красной Армии заказывает Вишневецкому пьесу о Первой Конной Армии. С огромным увлечением принялся Вишневецкий за эту работу. Он написал её в чрезвычайной короткий срок — с 2 по 14 ноября 1929 года.

В пьесу вошли как эпизоды некоторые из ранее написанных им рассказов: «В тисках произвола», «Вместе с будённовцами» и другие.

Спектаклем «Первая Конная» был открыт вновь организованный Театр Красной Армии. Пьеса прошла во всех театрах Советского Союза, издавалась массовыми тиражами, была переведена на ряд языков. Она прочно заняла своё место в репертуаре советского театра.

Сразу стало ясно, что и пьеса и автор — особые. Высокий накал чувств, яркие характеры действующих лиц, хотя и данные в своей массе эпизодически, взволнованность драматического повествования, неуёмный темперамент автора, его непре-

клонная вера в правоту революционного дела — всё говорило о том, что в советскую драматургию пришёл большой талант. «Первая Конная» была крупной вехой не только в советской драматургии, но и в истории советского театра. Появление её вызвало горячие споры в искусстве.

Сразу заспорили между собой театральные критики и рецензенты. Они искали, в чём «метод» Вишневого. Одни утверждали — дерзкий новатор; другие доказывали — ревностный последователь Софокла; а, пожалуй, им и в голову не пришло, что это просто настоящий бывалый солдат царской службы, он же военный моряк-конармеец, прошедший сквозь войны и революцию, выводит на сцену невыдуманных героев, шагнувших прямо из жизни на подмостки красноармейского театра, выступает за то же дело, которому он отдал всю страсть юных лет, но выступает теперь в роли драматурга советского театра. Многим рецензентам это было непонятно, так как они в ту пору часто подходили к явлениям искусства со стандартными формалистическими мерками. Но советский зритель понял и оценил пьесу. Он сердцем уразумел, что перед ним не плод богатой и яркой фантазии автора, а невыдуманные, подлинные герои-друзья, братки, товарищи самого автора в ногу с ним шагнули на сцену театра. И зритель как бы узнал себя в каждом из них. Партийная печать поддержала молодого автора. Одобрительные рецензии были напечатаны в центральных и армейских газетах.

Маршал Советского Союза С. М. Будённый так оценил значение этой пьесы:

«Мне хочется указать на то, что только пулемётчик Вишнево, боец Первой Конной, один из могучего коллектива её героев, смог создать эту вещь — нашу вещь — конармейскую. Без выдумки, без прикрас, без ложного пафоса боец рассказал о боях, герой — о героях, конармеец — о конармейцах. Воспитанный Конармией, Вишнево говорит её словами, мыслит её мыслями. Он берёт материал от самой жизни, широко используя документы, воссоздавая подлинные события, вводя в действие подлинных людей» (С. М. Будённый. «О пьесе пулемётчика Вишнево», 1929).

Появление пьесы Вишнево «Первая Конная» горячо одобрили М. Горький, Тео-

дор Драйзер, С. Эйзенштейн и многие другие мастера искусства и литературы.

Всеобщее признание, которое получила «Первая Конная» у советского зрителя, было вызвано яркостью таланта автора и смелостью, вернее, дерзновенностью его писательской манеры.

Вишнево к большинству своих драматических произведений писал либо послесловия, либо введения, раскрывая в них свой художественный метод. В послесловии «Как я писал «Первую Конную» он раскрывает обстановку и внутренние мотивы, продиктовавшие ему не только эту тему, но и побудившие его написать пьесу именно так, а не иначе.

Обладая незаурядными познаниями военного историка, больше того, будучи полон личных впечатлений, обладая целым рядом зарисовок (дневниковых записей, очерков и т. д.) о гражданской войне, то есть свободно и критически владея материалом, Вишнево не пошёл по пути создания драмы, трагедии, эпопеи, трилогии; — он не хотел уложить ещё бродивший, не устоявшийся исторический материал в канонические формы. Основные сюжетные линии отражали расстановку классовых сил; Вишнево создал тип русского солдата Ивана Сысоева. Острейший конфликт Сысоева и офицера (отнюдь не главный в пьесе) достигал воздействия необычного. Звучание социального конфликта в этом романтически приподнятом произведении было дано с убедительностью обобщающего символа. «Первая Конная» Вишнево была написана в то время, когда наша литература находилась в периоде усиленных поисков, жарких споров, творческих исканий единого метода, позднее провозглашённого в гениальном определении И. В. Сталина как метод социалистического реализма.

Многие драматурги и до Вишнево и после него (особенно кинодраматурги) бились над проблемой прямой авторской речи. Прямая речь актёра — монолог, обращённый непосредственно к публике, — приём классической драматургии (доведённый псевдоклассиками до абсурда) — не мог удовлетворить художника жизненной правды. Но чем же заполнить недостающее, а главное, не поддающееся средствам сценического действия и диалога?

Пожалуй, только Вишнево удалось найти не вызывающую протеста у самых

«правдолюбивых» театров и у самого изощрённого зрителя форму прямой авторской речи. Проблема внутреннего монолога, сквозного действия, или как бы её ни называли в разные времена разные деятели, всегда была одной из важнейших проблем мастерства драматурга и театра. Вишневский нашёл яркое публицистическое решение этой проблемы в Ведущем. Он пошёл не от книжной публицистики, а от живой ораторской речи, такой знакомой, близкой и выверенной Вишневским на трибуне в годы гражданской войны. Так шагнул на сцену театра его Ведущий — «наша совесть, наша память, наше сознание, наше сердце».

Но всё же эпизодичность построения пьесы была слабостью её формы. Яркость содержания, животрепещущая жизнь, данная в выразительных, ярких эпизодах, сила страсти, острота социальных конфликтов, темперамент автора, сила его убеждения — эти достоинства пьесы, пленившие зрителя и читателя, на время заставили забыть об этой слабости. По своему социальному содержанию равная «Любови Яровой» К. Тренёва, «Штурму» В. Биль-Белоцерковского, по охвату исторических событий и значительности их превосходящая всё, ранее созданное советской драматургией, — именно из-за этого просчёта автора она не удержалась в репертуаре советского театра до наших дней. И автор сам хорошо объяснил причину этого просчёта. Боясь дурного штампа, которым действовали всюю драмоделы, писавшие «новые слова на старую музыку», всем утром своего цельного таланта чувствуя фальшивость такой драматургии, Вишневский, задавшись целью вывести на театральные подмостки такую глыбу материала, какую давала Первая Конная, раздумывал, волнуясь: «...почему столько бездействующих статистов в наших военных пьесах? Почему вылезают первопланнные «герои»? Разве новый театр не требует новой формы? Почему герои постарому выворачивают на протяжении 3—4—5 актов своё «нутро»? Почему они часто не живут, а философствуют? Почему нарушается закономерность соотношения «я» и коллектива?»¹.

¹ Вс. Вишневский. Как я писал «Первую Конную», журнал «Литературная учёба», № 8, 1931.

Боязнь нарушить эту, так хорошо понятную автору в её общественном звучании закономерность, толкнула его на эпизодическое построение, которое ослабило силу этого замечательного произведения (имеются, правда, свидетельства, что построение пьесы по эпизодам было продиктовано автору театром из соображений мобильности спектакля, требований играть его на открытом воздухе, в лагерях, на походе и т. д.).

Формалистическая критика именно эту «слабину» творчества Вишневского превозносила. А когда он преодолел её и отошёл от неё, стала с ним расправляться.

Вишневский с присущей ему ещё с гражданской войны страстностью никогда не проходил мимо неправильных, а иногда и враждебных нападок формалистической критики. Он упорно отстаивал свой стиль и метод, своё право на показ ярчайших явлений революционной борьбы, своё право на поиски формы, адекватной этому новому содержанию. Но в работе автора эта «слабина», по его собственному выражению, сыграла положительную роль в учебно-творческом смысле. Через девять лет Вишневский вернётся к теме Первой Конной Армии. На материале её польского похода и в другом жанре драматургии он создаёт замечательный киносценарий «В 1920 году» («Первая Конная»). Отличительной чертой этого произведения, кроме многих других достоинств, будут как раз замечательно выписанные фигуры главных героев этого произведения. На этом примере особенно ярко виден тот путь, которым шёл Вишневский к вершинам наиболее трудного жанра литературы — драматургии. А о том, что краснофлотец и конармеец Вишневский в литературе не искал себе «путь, чтобы протоптанней и легче», говорят его последующие искания в драматургии.

После «Первой Конной» этот путь творческих исканий привёл Вс. Вишневского к жанру советской трагедии. И пусть для театров, идущих протоптанной и лёгкой стезёй, именно по своей форме «Первая Конная» сейчас «устарела», но и сейчас, не имея возможности видеть её на сцене, а лишь перечитывая её, мы ощущаем всю силу этой драмы, вернее, драматической повести Вишневского. Будённый писал: «Никто из читателей и зрителей этой пьесы

не сможет остаться спокойным. Старого бойца она заставит вновь вспомнить незабываемые переживания великих боёв и походов гражданской войны. Молодому красноармейцу она покажет подлинное, неприкрашенное лицо дней, событий и людей, выковавших мощную Красную Армию. Рабочий получит от неё глубокий художественно-психологический анализ эпохи своей борьбы за власть.

Эта характеристика первой пьесы Вишневецкого и по сей день остаётся верной.

Как видно из послужного списка и деятельности автора прогременевшей пьесы, Вишневецкий не обольщался своим успехом. Он не бросил занятий историка, исследователя. В 1930 году вышла его книга о походах отряда кораблей из Кронштадта в Севастополь; она называлась «Через два океана и шесть морей». Но возможности такой большой трибуны, какой являлся советский театр, уже властно влекли к себе автора. Весной 1930 года Вишневецкий пишет пьесу «Последний решительный». В ней он пытается приподнять завесу будущего. Он хотел напомнить этой пьесой о возможности и неизбежности войны, о необходимости всегда быть готовыми к ней. Тематически пьеса посвящена будущей войне. Была поставлена она в Ленинграде, в Москве, в Баку и других городах. В одном из писем Вс. Вишневецкий даёт такую характеристику этой пьесе и мотивам её создания: «Я ясно представил себе приближение войны. Будоражили вести с ДВ. Я написал сложную, полемическую, задиристую вещь о близкой войне... В печати 1931 года Вы найдёте споры о ней...»¹. Полемичность затруднила доходчивость этой пьесы, стройность фабульного решения была нарушена. Но именно эту пьесу любил автор, «хотя в ней есть некоторые слабину»². Она поражает сейчас не своим сюжетом (в котором в связи с полемическими высказываниями по вопросам искусства есть много путаницы), а той удивительной прозорливостью, которую проявил автор, заглядывая в будущее, пытаясь определить поведение советского народа в будущей войне. В знаменитом эпизоде гибели двадцати семи пограничников Вс. Вишневецкий на десять

лет предвосхитил подвиг 28 панфиловцев. Он ошибся только на одного человека. Но что же это — мистика? Да нет же! Просто военная грамотность. Перенесая творческим воображением на поля будущей войны, он взял первую тактическую единицу армии и её приблизительную численность военного времени — взвод.

Мобилизующее значение пьесы «Последний решительный» было очень велико. В настоящее время представляя лишь историко-литературный интерес, пьеса эта — живой укор драматургам, пишущим безжизненные, скучные, бесконфликтные полудрамы-полукомедии. Критически воспринимая полемическую и в этой части во многом ошибочную пьесу, мы должны ясно видеть её здоровые тенденции. Патристическое, интернациональное, мобилизующее и, безусловно, здоровое зерно заложено в её идее. А идея эта — преданность Родине, способность, не раздумывая, отдать на алтарь отечества всю свою кровь каплю за каплей и, если потребует, то и жизнь. Острый конфликт со старым миром лежит в её основе.

К созданию этой пьесы Вишневецкий шёл уже более уверенным шагом. Он позже в послесловии к «Оптимистической трагедии» раскроет причину возникновения «Последнего решительного». Вот как он зафиксировал первый шаг в рождении замысла своего второго драматического произведения: «Все пьесы родились в Питере. Внешним толчком бывала чаще всего музыка или ассоциативный ход. Проходила колонна моряков вечером поздно и пела. Я посмотрел на этих людей и подумал: вот так и в бой ходило наше поколение и вероятно пойдут в будущем. Примерно так родился «Последний решительный», мысль пришла: «а если нас, двадцать человек, отрежут... Будем в сторожке сидеть, отстреливаться и, может быть, по радио подслушивать мир. И будет радио передавать что-нибудь с Запада или тоску какую-нибудь неподходящую»¹.

В этом первом наброске ещё ни слова о полемике. Она родилась позже, вмешалась в самый процесс создания пьесы как наносное явление и увела автора в сторону. Вместо того, чтобы написать статью

¹ Неопубликованное письмо к Ю. Осносу от 29 апреля 1950 года.

² Там же.

¹ В. Вишневецкий. Оптимистическая трагедия. ГИХЛ. 1933. «Автор о трагедии», стр. 87.

на полемическую тему о старой опере и театре, с трудом и медленнее, чем хотелось бы автору, поворачивающимся к советским темам, Вишневский включил полемику в фабулу пьесы, нарушив этим стройность её сюжетного развития.

В этом и только в этом есть та серьёзная «слабина» пьесы, которую позже осознал и сам Вишневский. Но для нас сейчас является важным не только этот факт. Для характеристики личности Вишневого — а нам кажется, что личность его как культурного деятеля, воина, трибуна и обязанности, связанные с этим, были шире его огромной талантливой писательской деятельности — этот факт является показателем цельности и целеустремлённости его характера. Проблема ответственности советского искусства — а эту действительность он видел в его правдивости — настолько захватила его кипучую натуру, что он пошёл на полемику в самом своём творчестве. Не думаю, чтобы он не понимал того, что эта полемика снижает художественные достоинства самой пьесы или, во всяком случае, делает её пьесой более ближнего прицела и в плане историко-литературном делает её недолговечной. Понимал. Но, видимо, дальнего прицела он в данном случае и не добивался. В последующих своих произведениях он покажет способность действовать и в области большой социальной драматургии. А тут он действовал накоротке, броском, налётом. И соответственно задачам выбрал литературное оружие.

Вс. Вишневский вошёл в советскую литературу через несколько лет после появления «Чаноева» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, он развивался и рос в одном ряду с Н. Островским, А. Гайдаром, Мате Залка, В. Ставским, А. Афиногеновым. Творческие связи у него были со всеми писателями, кто так же, как и он, всю силу своего таланта поставили на службу революции.

Вс. Вишневский в это время становится всё больше и больше профессиональным литератором и участвует в создании литературной организации Красной Армии и Флота (ЛОКАФ). Но он всё ещё остаётся на службе в Армии. Тогда же создаётся журнал «ЛОКАФ» — будущий журнал «Знамя». Вишневский активно работает в нём в качестве члена редколлегии.

На теле центральной Европы вырастает злокачественная опухоль германского фашизма. Социальная борьба в Германии обостряется ещё до прихода к власти Гитлера. Чуткий к изменениям в классовой расстановке сил на мировой арене и к нарастающей угрозе войны, Вишневский в 1931 году пишет пьесу «На западе бой» и в 1932 году — «Оптимистическую трагедию».

Пьесу «На западе бой» сам автор охарактеризовал так: «Германией я занимался с детства. Знаю язык. В революционную пору 1918 г. вёл пропаганду среди немецких пленных. Затем писал о Германии, о германском флоте и т. п. Много читал о Германии. В 1931—32 гг. я занимался данной пьесой. Да, это первая советская пьеса против фашизма... Вся пьеса построена на моих впечатлениях от встреч с немцами в Ленинграде (в порту, в интерклубе и пр.), от чтения новой нашей литературы и пр. Москве — от Носке: я читал его мемуары и увидел с.-д. палача... Хотел заклеить такового. Когда написал пьесу, беседовал в Москве с немецкими товарищами. Они делали перевод пьесы на немецкий язык. Помогли мне некоторыми советами... Сюжет я придумал, представив себе опыт наших промышленных и торговых представителей за границей...»¹.

«Оптимистическая трагедия», так же как и другие пьесы Вишневого, прошла по многим театрам СССР. Она была переведена на ряд иностранных языков, в 1936 году игралась в Праге, в 1937 — в Мадриде, а после разгрома фашистской Германии ставилась в демократической Германии, где была удостоена национальной премии имени Гёте и, наконец, в 1950 году — в Париже.

«Оптимистическая трагедия» — первая пьеса Вс. Вишневого, написанная на сюжет со строфою очерченной драматургической фабулой. Но решил он эту задачу своеобразно, по-своему, ярко и выразительно.

К теме этой трагедии Вишневский шёл десятилетия, пробовал, варьировал, искал, нащупывал ходы, жанр, стиль, манеру письма. Накапливая материал и в процессе работы возвращаясь к самым ранним

¹ Неопубликованная стенограмма встречи с коллективом Камерного театра. 1934 год

юношеским воспоминаниям, он по крупным отбирал их. Наиболее важные из них, по признанию самого автора: «1905—13 гг. Первые впечатления от жизни на море, соседства казарм...

1916 г. Первые литературные записи о войне...

1920 г. Записи об операциях на кавказском берегу. Записи погибли во время боёв с десантом Улагая. Тема: героика моряков, подготовка к ночному налёту на белую Керчь, к боям в Таврии¹.

Далее, уже упоминавшиеся рассказы «Как дрались балтийцы» (опубликован в 1924 году в сборнике «За власть Советов») и «Песнь братьям моим коммунарам», 1930 года. Пройдя этот сложный путь вариантов, подходов к теме, автор летом 1932 года (как всегда в работе над пьесами) рывком пишет «Оптимистическую трагедию».

В пьесе «Оптимистическая трагедия» со всё большей выпуклостью вырисовывается одна особенность творчества Вс. Вишневого, которая в дальнейшем получает всё большее развитие. Эта особенность — глубокая, всесторонняя историчность его творчества. Понимание истории России, блестящее знание военной истории, любовь, иногда даже переходящая в пристрастие, к истории вооружённых сил России и особенно её флота — отличительная черта творчества Вишневого. Эта черта вырабатывалась и развивалась ещё со школьной скамьи.

«Оптимистическая трагедия», как и большинство произведений Вишневого, созданных им после неё, является хорошей иллюстрацией правильного творческого историзма в литературе. Сам сюжет пьесы взят из недалёкого исторического прошлого нашей родины. Материалом для сюжета послужил эпизод гражданской войны. Через семнадцать лет, подводя итоги этому этапу своего творчества, Вишневский охарактеризовал пьесу как «...суммированные впечатления и истории ряда морских отрядов. Все они проходили период анархо-комитетчины. С конца 1918 года ввели мы комиссарское начало... Затем к 1919 г. ещё более строгие начала регулярности. Таким образом тут — в пьесе — слиты дела

многих отрядов 18 и 19 годов... Были боевые женщины комиссары. Я дал для контраста именно тип молодой партийки. Суть — в уме и воле. Типы анархистов — из моих наблюдений... Конструкция вещи от классической драматургии...»¹.

Сюжет превращения партизанского полунархистского отряда моряков в рамках данной «конструкции» не только взят из жизни, но и написан на животрепещущую тему строительства вооружённых сил революционной республики. Автор не просто напоминает нам один из конкретных эпизодов, но как бы иллюстрирует в драматической форме известный исторический вопрос, ставший предметом острого обсуждения на VIII съезде РКП(б) и получивший название борьбы с «военной оппозицией».

Этот важный для решения судеб нашей революции исторический процесс получил следующее исчерпывающее определение в «Кратком курсе истории ВКП(б)»:

«Особо стоял на съезде вопрос о строительстве Красной армии. На съезде выступала так называемая «военная оппозиция». Она объединяла немалое количество бывших «левых коммунистов». Но вместе с представителями разгромленного «левого коммунизма» «военная оппозиция» включала и работников, никогда не участвовавших ни в какой оппозиции; но недовольных руководством Троцкого в армии...

Борясь против искривления Троцким военной политики партии, «военная оппозиция» защищала, однако, неправильные взгляды по ряду вопросов военного строительства»².

Против военной оппозиции со всей решительностью выступили В. И. Ленин и И. В. Сталин. Товарищ Сталин говорил:

«...Либо создадим настоящую рабоче-крестьянскую, строго дисциплинированную регулярную армию и защитим Республику, либо мы этого не сделаем и тогда дело будет загублено»³.

Проводить в стране, на фронтах, в отрядах эти исторические решения VIII съезда партии и были призваны представители партии — комиссары.

Таков исторический материал, взятый писателем из жизни для воплощения в тра-

¹ В. Вишневский. Оптимистическая трагедия. ГИХЛ, 1933. «Автор о трагедии», стр. 108, 109.

¹ Неопубликованное письмо к Ю. Осносу от 10 мая 1950 года.

² «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 224.

³ И. В. Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 250.

гедийном, то есть самом высоком звучании на подмостках театра.

Женщина-комиссар, только что прибывшая в отряд, обнаруживает верховодящую в нём группу анархистов во главе с Вожаком и Сиплым. Командиром полка, в который переформируется отряд, назначен военспец, бывший кадровый офицер флота. Опираясь на нескольких коммунистов и здоровую, но терроризированную анархистской верхушкой массу отряда, комиссар начинает чистку полка. Некоторые коммунисты требуют расправы с офицером: «стенка об нём страдает. Так прямо и плачет...».

Историчность метода писателя сказалась не только в выборе основной линии сюжета. Даже в самом построении некоторых эпизодов, более того — диалогов, автор мастерски пользуется историческими сравнениями для построения яркого, выразительного, бьющего в цель диалога.

Комиссар, видя главную угрозу дисциплины в анархистах, вызывает к себе командира.

«...Пожалуйста. Вы точны.

Командир. Старое флотское качество.

Комиссар (шутя). Вы удивительны — моряки. Все добродетели — это, конечно, флотские качества?

Командир (в тон). Если не все, то большинство.

Комиссар. Вы давно во флоте?

Командир (несколько вызывающе). На флоте у нас говорят; на флоте — двадцать лет. С десяти лет. Если угодно считать иначе — двести лет.

Комиссар. Двести?

Командир. Да. Мы, наша семья, служили ещё Петру. Да. Императору Петру... Есть ряд таких старых флотских семей...»

Командир в острой форме высказывает комиссару своё недовольство беспорядками в отряде. Говорит о том, что вся его семья расстреляна.

Далее следует блестящая сцена усмирения бунтующих анархистов, расстрела вожака анархистов и приведения в порядок отряда и прибывшего пополнения.

«**Комиссар.** Боцман, займитесь ими.

Боцман. Есть. (Пополнению). Становись! Направо рравняйсь! Отставить! Не дыхай там! Н-ну! Направо рравняйсь! Смир-рно, рравнение на середину!

Группа стала «смирно». К ней подходит комиссар.

Комиссар. Здравствуйте, товарищи!

Главарь. Привет.

Комиссар (подходя ближе, строго). Ещё раз... Поучитесь... Здравствуйте, товарищи! Нестройный ответ. Полк шевельнулся угрожающе: «Н-ну!» (пополнению). Плохо. Ещё раз. Здравствуйте, товарищи!

Группа (чувствуя, с кем имеет дело, после паузы). Здрас-сс!

Комиссар. Так. Поздравляю с прибытием в Первый морской полк регулярной Красной Армии!

Группа. Служим трудовому народу.

Боцман. А-а-а, вспомнили...

Командир (комиссару). Ну, знаете,—поразительно быстро.

Комиссар. Да, значительно меньше двухсот лет понадобилось».

Так в нескольких репликах вырастает и образ морского офицера, ставящего порядок во флоте превыше всего, офицера, свято соблюдающего флотский лексикон и установление этого порядка, и ироническое отношение представителей партии — комиссаров — к этому лексикону. Так художник, ведущий как бы переключку с военным историком и публицистом, рисует цельные характеры людей, их идеалы, их линии поведения: ясную и целеустремлённую у одних — и неуверенную и хрупкую у других.

Блестяще знавший историю русской армии и флота, Вс. Вишневский ни в одной из драм и сценариев, ни в прозе не позволил себе уйти от современности.

В его знаменитые радиоречи, систематически произносимые в осаждённом Ленинграде, включались целые трактаты из истории русской армии и флота. Именно в этих речах история русского народа, её поучительные факты звучали как современное и своевременное напоминание о предвидении победы в самые трудные дни войны. Это активное современное творческое восприятие фактов славного исторического прошлого — отличительная черта творчества Вс. Вишневского.

Тяжёлые будни осаждённого города художник освещал прожектором славного прошлого русского народа и достигал в этом поразительных по силе воздействия результатов.

Начиная с первой драмы Вс. Вишневского, в подавляющем большинстве его

произведений мы имеем блестящий пример той историчности, которая не принижает, не затухивает, а, наоборот, усиливает, делает более ёмкой и объясняемой в сравнении, в сопоставлении с прошлым живую, находящуюся в непрерывном развитии современность.

А. М. Горький писал об умении видеть настоящее глазами будущего, как о качестве, необходимом советскому писателю. Вишневский обладал этим даром в такой степени, что и прошлое и настоящее в его произведениях, в его речах, в дневниковых записках освещались этими зарницами будущего. И именно это качество сближало творческую линию и литературную практику Вс. Вишневского с линией и практикой В. Маяковского.

Не пытаясь усанавливать ни методологического тождества, ни исторической или творческой преемственности драматурга и прозаика Вс. Вишневского по отношению к В. Маяковскому, остающемуся и по сей день лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, нельзя в то же время не провести ряд бросающихся в глаза параллелей, обнаруживающих не только родственность темпераментов писателей, работавших в одной исторической атмосфере и отражавших одни и те же идеи, настроения, литературные вкусы, но и творивших в одном литературном ключе, прибегавших часто к одним и тем же литературным приёмам.

Признаков, роднящих творческую личность Вс. Вишневского с Маяковским, немало. Наиболее существенные: романтическая приподнятость сюжетов и фабул; острая лексика; гипербола, как излюбленный литературный приём, усиливающий агитационную сторону художественного воздействия; вторжение в жизнь, любовь к трибуне; разговор с будущим; дискуссионность как приём творческой активности; стремление творить свои произведения не столько в тиши писательского кабинета, сколько на улице, шагая под грохот морского прибора или общаясь с советским читателем, зрителем со сцены клуба, на привале воинской части и — самое главное — высокая революционность, чистота идей, беспредельная любовь к Родине — России, ненависть к капиталистическому Западу. Развивая эту мысль, можно найти сотни

примеров родственности творчества обоих писателей.

Маяковскому не дозволено видеть пьес Вишневского на сцене. Он успел ознакомиться лишь с «Первой Конной». Когда ему прочли её, он, по свидетельству Л. Бриг, сказал: «Это продолжение моей линии в драматургии и театре».

Вишневский часто мысленно обращался к творчеству поэта.

Для Вишневского Маяковский — сын революции. «Для того, чтобы Маяковский мог писать, выступать в Питере, в Москве — нам надо было штурмовать Зимний»¹.

Он не скрывает и не хочет скрывать своего восхищения поэтом-гигантом; он смело заявляет о своей любви к нему, а не к Блоку. «Любить всех — и Блока и Маяковского — не могу. Нужен выбор, чёткость. В душе как всегда — боевое упорство». И, наконец, как сознательный итог: «Мне жизнь не дала творческого общения с Маяковским, но он шёл близко, рядом. Я перечитывал его в 1931 году и ощущал это до потрясения»².

Конечно, можно найти и множество различий в творческом пути, в биографиях обоих писателей. Но жизнь, какую они воспевали, цель и твёрдый шаг, идеалы, которые оба отражали, светлое будущее, за которое боролись, безусловно объединяют их и позволяет назвать творческими соратниками. Сравнивая Маяковского с его современниками (речь шла о Брюсове, Вайльмонте, Хлебникове, Пастернаке), Вишневский торжественно заявляет: «...остался в воздухе, в жизни, в Революции — лишь Маяковский, обожавший всяческую жизнь, шагавший по миру, ругавшийся, работавший, всюду лезший, весь в синяках»³.

Вишневский не был маринистом в обычном понимании этого слова. Действие его пьес, сценариев проходит в большинстве случаев на суше, вернее сказать — на берегу. Темой большинства его произведений в прозе и драматургии, в том числе и «Оптимистической трагедии», был показ моряков в революции, матросов на бронепоез-

¹ Неопубликованное письмо к В. Азарову от 3 ноября 1948 года.

² Неопубликованное письмо к В. Азарову от 16 апреля 1950 года.

³ Неопубликованное письмо к В. Азарову от 27 декабря 1949 года.

дах, действий морской пехоты. Здесь сказались и автобиографические черты Вишневецкого. Ведь он сам, по своему своему опыту, был солдатом морской пехоты. Показана наиболее высокой степени взаимодействия флота и сухопутных вооружённых сил, матросов и пехоты Вишневецкий добивается в следующем своём крупном произведении «Мы из Кронштадта». В нём он достиг наиболее гармоничного сочетания главной и второстепенных (сопровождающих) тем, завершив ряд сложных исканий в области симфонического построения образов и характеров.

Но прежде чем охарактеризовать этот новый этап творчества писателя, начавшийся и развившийся уже в кинодраматургии, необходимо дать краткую характеристику работы Вс. Вишневецкого над прозой. В 30-е годы, отходя постепенно от военно-научной деятельности, Вишневецкий много работает над прозой, хотя и мало публикует. Им написан и частично опубликован в журналах «Залп» и «Красная новь» цикл рассказов «Матросы» и главы эпопеи «Война» («Песнь братьям моим коммунарам», «Спартак», «Похороны» и другие рассказы о гражданской войне на Украине, в 1919 году). Эти рассказы — почти воспоминания. В этом цикле есть рассказ «Гибель Кронштадтского полка». Написан он в марте 1930 года, а по своему содержанию является одним из набросков, как бы этюдом «Оптимистической трагедии», написанной двумя годами позднее.

Автобиографичен очерк из этого же цикла — «Взятие Акимовки». И особым юмором, прекрасным знанием южного диалекта проникнута небольшая повесть о походе крохотного десанта организаторов повстанческого движения в тылу у Врангеля, высаженного по заданию ЦК партии из Новороссийска на берег Крыма. Герои этой повести — подлинные исторические лица: черноморские матросы, большевики и организаторы партизанской войны в Крыму — Иван Папанин и Алексей Мокроусов, действовавшие в Крыму во главе повстанческой армии. Мокроусов известен партизанам Крыма и по Великой Отечественной войне; он командовал крымскими партизанами в 1941—1942 годах.

И в прозе Вишневецкий, так же как и в драматургии, всё время ведёт переключку с историком и публицистом. Запах Черно-

морья и его характеры, грубовато-наскоковые слова, нежные угрозы, удивительно точно подслушанный говор южан, все выразительные средства, которыми пользуется автор, передают события и чувства людей в конденсированном виде. Флотские ленточки, выщипанные по ветру, своеобразие морской стихии, горячие чувства революционной романтики, неудержимая воля к победе переданы здесь выпукло и образно (недаром Горький сравнивал героев Вишневецкого с героями повести «Тарас Вульба»).

В этих новеллах особое значение приобретает язык писателя, язык персонажей его прозы. Вс. Вишневецкий широко пользуется фольклором, народными говорами, к которым он чрезвычайно чуток.

Ограничивать писателя только установившимся канонизированным литературно-книжным языком всегда было величайшей ошибкой. А тем более писателя, творившего в период огромных социальных сдвигов, отражавшихся в значительной степени и в народных говорах.

Товарищ Сталин дал ясную характеристику диалектов и жаргонов.

«Классовые» диалекты, которые правильнее было бы назвать жаргонами, обслуживают не народные массы, а узкую социальную верхушку. К тому же они не имеют своего собственного грамматического строя и основного словарного фонда. Ввиду этого они никак не могут развиваться в самостоятельные языки.

Диалекты местные («территориальные»), наоборот, обслуживают народные массы и имеют свой грамматический строй и основной словарный фонд. Ввиду этого некоторые местные диалекты в процессе образования наций могут лечь в основу национальных языков и развиваться в самостоятельные национальные языки¹.

В свете этих чётких разъяснений при анализе языка ранней прозы Вс. Вишневецкого нужно иметь в виду, что, широко пользуясь местными территориальными диалектами, которые «обслуживают народные массы», писатель достигал зачастую больших художественных результатов, хотя иногда, увлекаясь, он грешил языковыми

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Издательство «Правда», 1950, стр. 37.

излишествами и давал крен в сторону натурализма.

В «Матросах» Вишневого интересно отметить одну характерную деталь: большинство его прозаических вещей является, по существу, зарисовками с натуры. В них он описывал события, в которых сам участвовал. В самом этом факте нет ничего особенного: многие из современников автора, раньше него, вместе с ним или после него пришедшие в литературу, в той или иной степени приближаясь или отдаляясь от фактов собственной биографии, всё же пользовались ими как материалом, претворяя, обобщая, проводя их сквозь призму опыта страны, народа, различных слоёв общества, профессий. Эту зависимость мы найдём и у Д. Фурманова, и у А. Фадеева, и у А. Макаренки, и у Н. Островского, и у других выдающихся писателей. У одних это — сюжетно-фабульная зависимость, у других — географическая, у третьих — социальная.

Интересно другое: если в прозе Вишневого крепко «привязывает» сюжеты своих рассказов и новелл не только к факту, но и к месту, а часто даёт свои прототипы, почти не изменяя их жизненной натуральности, то именно в драматургии взяты, так сказать, литературно очищенные факты, освобождённые от бытовой натуралистической одежды, данные зачастую даже слишком абстрактно.

Вполне реальные моряки таких пьес, как «Последний решительный» и «Оптимистическая трагедия», действуют в вымышленной обстановке. Интересно и вторая деталь: в ряде своих драматургических произведений Вишневский брал сюжеты из тех эпизодов гражданской войны, в которых сам участия не принимал. Таким выбором сюжетов он как бы помогает себе в типизации и обобщениях.

Например: «В 1920 году» — поход Первой Конной на польский фронт; «Незабываемый 1919-й» — подавление мятежа на Красной Горке.

Темы гражданской войны как бы сами собой распределяются так: проза — о личном и пережитом, а большинство драм и сценариев — на материале тех этапов и фронтов гражданской войны, в которых автор сам не участвовал, но которые хорошо знал по документам, воспоминаниям участников и по аналогичным собственным

впечатлениям. В сюжеты драм и сценариев он иногда вкрапывал автобиографические эпизоды. Но основную сюжетную линию обязательно очищал от бытовых деталей, личных впечатлений и пристрастий, пропуская их через творческую деформацию и как бы этим помогая себе в лепке жизненного материала (следует заметить, что процесс претворения жизненной правды в правду художественную проходил у писателя не всегда без срывов и ошибок).

Нам кажется, что именно тем обстоятельством, что в драматургии Вишневский уходил от личного, то есть был творчески объективен, и объясняется предельная типизация образов, обобщающая их сила, очищение образов и характеров от случайных деталей, их типизация.

В большинстве же его прозаических произведений есть лиричность, на наш взгляд вытекающая из прямой автобиографичности этих фактов, дорогих писательскому сердцу и душе.

Одна интересная творческая деталь объяснит некоторые моменты сложного и трудного пути Вишневого-прозаика.

Интересна оставшаяся незавершённой эпопея «Война». Отрывки из неё писатель начал публиковать ещё в 1930 году. «Книга покажет Россию 1912—1917 годов, пути её, казармы, РСДРП (б), Ленина, Сталина, заводы, корабли, людей, делающих по-разному жизнь; массивные глыбы событий; вещи с разных точек зрения (как видят Петербург А. Белый, Ю. Тынянов, А. Толстой, и как видим мы — «нижние чины» — большевики — в разное время); мир литературный, династию, окопы, немцев, Зимний...»¹.

Эпопея «Война», по признанию автора, была предпринята им по совету А. М. Горького.

Книга широко живописует Россию этих годов. Она даёт эволюцию страны, изображая её сквозь призму армейской и флотской жизни: она показывает постепенный ход развития классового самосознания, сложный и извилистый процесс движения народных масс к грядущей революции. Таковы: «Либавя», «Новобранцы», «Ревель», «Полесье», «Мёртвый лес», «Ночь в капиталистическом городе».

¹ «Литературная газета» от 7 ноября 1931 года.

Многие из глав этой незавершённой эпопеи задуманы и выполнены автором как бесфабульные, широкие массовые сцены. В них, в отличие от «Матросов», нет ярко выписанных характеров главных действующих лиц, нет упругого действенного диалога, но даны широкие картины движений, глубокая характеристика психологии нижних чинов Российской империи и их пробуждающегося человеческого достоинства, растущее самосознание народа.

Различие между «Матросами» и «Войной» Вишневого — именно лиричность первого цикла и эпичность второго. В «Матросах» лиричность прозы сказалась довольно сильно. С предельной силой она зазвучит позже в его фронтовых дневниках периода Великой Отечественной войны.

Эпичность же «Войны» требовала некоторой дистанции между прямыми событиями и наблюдениями и их творческим воплощением, причём дистанция отнюдь и не только во времени, а и в пространстве, в отдалённости изучаемых фактов и сюжетов. Она требовала, видимо, чтобы художник силою воображения обрисовал и воссоздал их в уже новом художественном качестве. Лиризм же требовал обратного: не только ясного конкретного видения в деталях, но, главное, лично, глубоко лично пережитого. В драматургии Вишневого счастливо удавалось найти эту дистанцию, необходимую для его творческой индивидуальности при создании эпоса. Мучительные же поиски и творческие затруднения Вишневого в эпопее «Война», о которых свидетельствуют многие записи в его дневниках, объясняются именно этой творческой диспропорцией между жанром и материалом. Взяв материал лирический, писатель решил воплотить его в форме эпической. В записках и дневниках Вишневого неоднократно повторяется жалоба на то, что заказы на киносценарии, пьесы, статьи, общественная работа и — войны (Испанская, Финская) не дают ему застыть и завершить мечту его жизни — прозу «Война» и другие.

С 1932 по 1935 гг. Вишневский работает над авторизованным переводом пьес немецкого драматурга антифашиста Фридриха Вольфа, посвящённых восстанию матросов («Матросы из Катарро»), рабочему восстанию в Вене («Флорисдорф»),

трагедии немецкого крестьянина («Крестьянин Бетц»). Эти пьесы шли на советской сцене, издавались с предисловиями Вишневого. Он придавал большое значение этой работе, так как события, происходившие в то время на Западе, не могли не волновать советского зрителя и читателя. Эти исторические события, приведшие вскоре к возникновению второй мировой войны, требовали от такого чуткого к событиям международной жизни писателя, каким был Вишневский, немедленного и активного отклика.

3

1933 год принёс Вишневному ещё одну творческую победу — им написан сценарий «Мы из Кронштадта».

В кинематографии Вишневого влекли широкие возможности «самого важного для нас из искусств — кино». Театральные подмостки во многом ограничивали эпический талант драматурга. Военная тема, которой он посвятил своё творчество, требовала более широкого охвата событий, художественных приёмов более мобильных, маневренных, массовых. Кинематограф давно привлекал внимание талантливого драматурга.

Маркс говорил, что на пути к вершинам подлинной науки приходится часто держаться, преодолевая многие предрассудки и суеверия. К искусству это замечание Маркса относится, пожалуй, ещё в большей степени. Автоматизм мышления, узость некоторых работников искусства и в особенности работников аппарата, не творящих произведений, но пропускающих, подписывающих и несущих ответственность за них, создаёт атмосферу боязни нового, желание идти по проторённой, испытанной другими дороге.

Так было, в частности, и с новаторскими сценариями Всеволода Вишневого. Яркому дарованию писателя как раз и пришлось встретиться с предрассудками тогдашних руководителей кинематографии, заморозивших на два года постановку этого фильма. На многих совещаниях, пишет Вс. Вишневский, сценарий «подвергался обстрелу. Была начата так называемая «проработка»¹. На тематическом

¹ В. Вишневский. Мы из Кронштадта. М. 1936 (статья «Борьба за сценарий и фильм»).

овещаний автор выступил с ответом на многочисленные обвинения и придирки. Этот ответ следует привести как пример принципиальности писателя, его уверенности в правоте избранной им линии и твёрдого желания добиться правдивого, искреннего, взволнованного, а не казённого показа средствами искусства событий гражданской войны. «Я пишу то, что знаю, что видел, сам делал и продумал. У нас в кинематографии много стандарта. Я беру материал жизни просто и грубо. Вы этого испугались. У нас показ гражданской войны в кино слабый, фальсифицированный. Я показываю то, что имело место в жизни, то, что является исторически верным и типичным. Вы комиссара хотите видеть театральным героем, а у меня замысел иной. Вы хотите, чтобы матросы целовались с пехотинцами сплошь, а я знаю, как было в жизни. Мои матросы есть — матросы. У них кровь была чёрна от угольной пыли. Было много тяжёлого в нашей службе, в нашей жизни, в наших душах до 1917 года. Менять это в угоду критике не буду. Нам нужно точно, средствами нашего искусства сказать правду о нашей жизни, правду о нас самих... Корни старого очень сильны в людях. И когда я говорю о жизни, я говорю так, как я её вижу, чувствую, знаю. Смешно с меня требовать этакий энтузиастический Кронштадт. Разве вы не понимаете, что я даю Кронштадт с его глубочайшими старыми корнями? Разве вы не понимаете, что я говорю людям: смотрите, какой тёмной и страшной была раньше жизнь, как трудно было, дерясь с врагом, ещё драться с самим собой? Вы подходите сейчас ко многому с позднейшими мерками. Меня многие обвиняли в тех же грехах, в которых говорилось здесь, и в «Оптимистической трагедии». Но я не уступлю...»¹.

Когда был уже создан сценарий и организован творческий коллектив, призванный осуществить его, начались длительные мытарства. Вишневский вспоминает: «Сценарий явно пускали на дно. Взамен настоящей творческой работы из ГУКФ присылались канцелярские бумаги и канцелярские заключения. Со счетов были

сброшены высказывания кинематографической и писательской общественности. Единственное, что я мог противопоставить, — это печатный экземпляр сценария. Он был помещён в 12 номере журнала «Знамя» (1933 г.) и существовал как литературное произведение, как требование, как прообраз фильма»¹.

В июле 1934 года благодаря личному вмешательству товарища К. Е. Ворошилова были отброшены все препятствия. Творческому коллективу в составе автора, режиссёра, актёров, моряков была дана возможность приступить к осуществлению киноленты «Мы из Кронштадта».

Фильм «Мы из Кронштадта» был выпущен на экраны вскоре после крупнейшей победы советского кинематографа — появления «Чапаева». Это почти одновременное появление двух кинолент, таких близких по идее и теме и таких различных по жанрам, по творческому и профессиональному методу, по выбору средств воздействия, служило и служит доказательством богатства советской литературы и киноискусства, могущего свободно, разными творческими почерками создавать произведения, доступные широким массам советского народа и трудящимся зарубежных стран. Одновременно оно было подтверждением негодности бюрократических методов в руководстве кинематографическим процессом, стоявших тогда на пути создания настоящих творчески полноценных фильмов.

Кинофильм «Мы из Кронштадта» сразу завоевал горячие симпатии советских зрителей. «Правда» писала о нём:

«Мы из Кронштадта» — фильм о моряках. Но в нём с замечательным умением, с большой любовью показана вся Красная Армия, её рабочие полки, в особенности её командиры... Этот фильм является блестящей, живой иллюстрацией к словам товарища Сталина о красных моряках в дни борьбы за Петроград: «Балтийские матросы везь на наши себя, оживив в своих подвигах лучшие традиции русского революционного флота». Никакими беглыми заметками нельзя исчерпать художественную силу и непередаваемое впечатление

¹ В. Вишневский. Мы из Кронштадта. М. 1936 (статья «Борьба за сценарий и фильм»).

¹ В. Вишневский. Мы из Кронштадта. М. 1936 (статья «Борьба за сценарий и фильм»).

фильма. Советская кинематография, всё наше искусство, по праву гордятся «Чапаевым». Они могут с таким же правом гордиться своей новой победой... Во всём фильме ясно чувствуется стиль, темперамент и масштаб Вишневого»¹.

Советское киноискусство ещё со времён появления «Броненосца «Потёмкина» завоевало первенство своей идейностью, правдивостью, высоким художественным уровнем. Фильм Вс. Вишневого и режиссёра Л. Дзигана вскоре после выхода на советский экран обошёл все кинотеатры земного шара. Развевающиеся на морском ветру ленточки бескозырок русского революционного флота и папахи пехотинцев России появились и в Париже, и в Мексико-Сити, и в Монтевидео, и на Пикадилли в Лондоне, и на Бродвее в Нью-Йорке. Они показали трудящимся капиталистических стран яркие и поучительные примеры революционной борьбы, рассказали большевистскую правду о том, как сражался за свою Родину русский народ. Признание достоинств картины, огромной силы советского искусства, яркого художественного воздействия фильма было всемирным. Он потряс своими масштабами, силой страсти, глубиной убеждённости, мужеством.

Орган французской компартии газета «Юманите» писала в номере от 27 мая 1936 года: «Мы из Кронштадта» — один из самых замечательных фильмов, сделанных до сих пор в СССР. Это произведение достигает высшего совершенства фильмов этого типа. Все обычные павильонные постановки были заменены воспроизведением событий. В отношении сборов фильм побивает все рекорды. Он был восторженно принят американской публикой и прессой, и парижская публика в этом не уступит американской».

Небывалый успех советской картины не могли замолчать даже буржуазные реакционные газеты.

Даже солидный орган биржевиков «Нью-Йорк таймс» 2 мая 1936 года давал фильму такую оценку:

«В «Чапаеве» прославлен героизм Красной армии; в фильме «Мы из Кронштадта» так же величественно прославлен Красный флот. Фраза: «А ну, кто ещё хочет в Петроград?» звучала угрожающе,

и публика поняла его оборонческий намерен...»

Фильм, прогремевший по всем экранам мира, стяжавший всеобщее признание и умноживший славу русского советского киноискусства, не остался лишь временным явлением кинематографического календаря. Его значение и влияние вышло далеко за рамки явлений искусства. Как только грянули события в Испании, этому фильму суждено было сыграть там знаменательную и исключительную роль. Фильм русских художников Вишневого и Дзигана прошёл по всем экранам революционной Испании. Он оказал огромную идейную помощь народу, сражавшемуся за свободу и независимость. Революционный народ пылающей Испании поднял фильмы «Мы из Кронштадта» и «Чапаев» как боевые знамена. При помощи русской советской кинематографии он учился у русского народа революционной борьбе. На экранах сражающейся Испании фильм стал не просто ярким зрелищем, волнующим произведением искусства; он участвовал в революционной борьбе, звал, будил, учил, вдохновлял и потрясал.

Газеты сообщали, что по фильму «Мы из Кронштадта» испанские республиканские бойцы учились, как бороться с фашистскими танками Гитлера и Муссолини. Авторы фильма в ответ на известия о демонстрациях фильма на фронтах революционной Испании писали: «Братья и товарищи! Телеграф принёс нам весть, что наш фильм «Мы из Кронштадта» пришёл к вам в разгар боёв за свободу Испании... Мы прочли ваши отзывы. Спасибо! Сердца наши полны боевой радостью. То, что наш фильм действует как оружие в боях за Мадрид — высокая нам награда...».

Кинематограф поднял талант Вс. Вишневого, дал ему возможность развернуть своё яркое дарование, стиль, темперамент и убедительнейшую силу.

В 1936 году Вс. Вишевский едет вместе с постановщиком фильма режиссёром Л. Дзиганом за границу. Он присутствует в Праге и Париже на премьерах «Мы из Кронштадта». Он впервые видит тот «Запад», в котором много думал и много писал: он встречается с зарубежными коммунистами, знакомится с партийной и рабочей жизнью Чехословакии, Франции,

¹ «Правда» от 3 марта 1936 года.

Англии; изучает жизнь и быт капиталистического мира; впервые в Италии он непосредственно наблюдает фашистские нравы. Как результат поездки, в «Знамени» печатаются очерки Вишневого «По Европе» (из путевого дневника).

1 января 1937 года правительство наградило за фильм «Мы из Кронштадта» автора сценария Вишневого и режиссёра Дзигана орденами Ленина.

Летом 1937 года Вишевский в составе делегации писателей СССР едет в Париж и в Испанию на Всемирный конгресс писателей-антифашистов. В революционной Испании Вишневого знает каждый боец по фильму «Мы из Кронштадта» и по «Оптимистической трагедии». Советского писателя, автора этих замечательных произведений, ставших родными далёкой Испании, горячо приветствуют. Где бы он ни появлялся: на мадридской трибуне, в окопах Карабанчеля, в маленькой вилле Долорес Ибаррури, — гостеприимные испанцы трогательно встречают своего друга. Революционная Испания глубоко потрясла советского писателя. Ему вспомнилась юность, гражданская война, и Вишевский-воин взял верх над работником искусства: он пошёл с испанскими бойцами на передовые, участвовал в одном из боёв Интернациональной бригады... «В Испании насмотрелся, налазил, навоевался в смысле психологических ощущений. Видел много, остро. Был в окопах, на наблюдательных пунктах и проч. Наиболее замечательно: пехотная цепь под пальшим солнцем, в хлебах — это цепь из «Мы из Кронштадта»... Шли хорошо. И я шёл. Я был в самом прорыве на Брунетте. Прорвали фронт... Захватили местечко... Был как-то в сложном переплёте воспоминаний, наблюдений и действия...»¹

Через год Вишевский написал сценарий и дикторский текст к документальному фильму «Испания». Фильм этот был смонтирован режиссёром Э. Шуб. Он с успехом обошёл все экраны Советского Союза. Но впечатления, полученные писателем в Испании, отразились на творчестве Вишневого не только прямым образом. Творческая реакция, отдача его была гораздо сложнее. Стремясь к созданию эпических произведений и верный уже выра-

ботанной творческой привычке обобщать события по сложным ассоциативным ходам мысли и чувства, он, переполненный военными впечатлениями, полученными в революционной Испании, вновь переживший ощущения войны, немедленно после возвращения из Испании приступает к роману «Мы — русский народ». В 1937—1938 годах Вишевский создаёт новое произведение для кино роман-фильм «Мы — русский народ». Судьба этого романа-кино-сценария поразительна: как литературное произведение он печатался в «Знамени»; издавался огромными тиражами в «Роман-газете»; был издан отдельной книгой; был переведён на французский и другие языки. Один из самых видных советских кинорежиссёров С. Эйзенштейн написал интересное предисловие к этому сценарию: «...Второй крупный сценарий Вишневого роман-фильм «Мы — русский народ» на новом этапе продолжает путь нашей оригинальной русской, советской социалистической кинематографии. Что пленяет в этом произведении? Здесь цельность и монолитность коллектива, плотного, как единый организм, неразрывно с галлереей монументальных эпических образов и фигур. Они корнями уходят в коллектив и растут из него разветвлением, раскрывая чувства и мысли людей. Они эпичны, монументальны. Но совершенно так же, как они едины с массами, они умеют сохранить свою бытовую и живую реальность, нигде не влезая на ходули и на котурны, нигде не застывая монументами, статуями командоров там, где место живым, полнокровным командирам. «Мы — русский народ» — не только радость мощного произведения — это ещё победа принципа теоретической мысли, — рождение самостоятельного, оригинального классово-национального стиля и своего метода в ответ на определённый тематический запрос эпохи и класса».

Сейчас, после Великой Отечественной войны это произведение Вишневого читается с таким же неослабевающим да, пожалуй, с ещё большим интересом. Но фильм по этому сценарию так и не был осуществлён. Весьма нечуткие к новому, яркому в «Мы из Кронштадта», киноруководители оказались очень отзывчивыми к вою критиков, разоблачённых впоследствии как космополиты. Эти критики

¹ Письмо к С. Вишневецкой от 15 июля 1937 года из Парижа.

встретили роман в штыки. В 1950 году, незадолго до смерти, на встрече с ленинградскими писателями и моряками Балтфлота, Вишневский с горечью вспоминает: «...был в Испании, в армии, в Интернациональной бригаде, у Долорес Ибаррури. Боевые впечатления накалили, нахлынули воспоминания военных лет, в результате — написал роман «Мы — русский народ». Космополиты А. Гурвич и К. Малахов выступили против этого романа. Получил от них чудовищные удары. Если бы по роману этому был сделан фильм типа «Мы из Кронштадта», он показал бы великую силу русского солдата и помог бы народу. Сейчас понимаешь, как тогда «сработали» космополиты в преддверии Великой Отечественной войны»¹.

Этот роман-фильм написан Вишневским в результате большого писательского опыта и зрелого мастерства. Больше того, как указывает и сам автор, сценарий «Мы — русский народ» написан им в результате творческого подъёма, связанного с третьей в его жизни войной — войной в Испании. Роман-фильм не был тематическим и тем более жанровым повторением или продолжением предыдущего.

В «Мы из Кронштадта» авторы, продолжая эпическую линию советского кинематографа, начатую ещё в немом кино «Броненосцем «Потёмкинским», сумели поднять его на новую, большую высоту. По содержанию — более зрелая, полная, чётко выражённая политическая идея; фильм был весь устремлён к будущим боям: он готовил к ним трудящихся, хотя и рассказывал о делах и боях прошлых дней; по форме — вошёл и впервые органически заработал как новый компонент искусства: звук, звук — не как музыкальное сопровождение, а как идейно-художественное средство, передающее и смысл, и содержание, и оттенки, и настроения, и тончайшие нюансы жизни, борьбы, действия, раздумий, стремлений, чувств. Звук стал компонентом кинодраматургии. Эти новые краски обогатили палитру киноискусства, они увеличили силу воздействия революционного искусства.

Формальное совершенство этого роман-фильма хорошо уловил чуткий и при-

дирчивый к форме мастер советского кино С. Эйзенштейн. «Подобно ему не построено пока ни одно произведение. Мне он кажется растущим концентрическими кругами. Внутри один, два, три, четыре образа такой полноты очерченности и рельефности, неожиданных поворотов и всестороннего освещения, каких не знало до сих пор наше сценарное искусство, герои «первого ряда». На шаг от них — второй ряд. Столь же характерные, живые люди. Но скупее черты. Меньше нагрузка деталей и красок. Третий круг. Рисунок ещё более облегчён. Дальше — больше. И вот уже люди, данные двумя штрихами. Вот одним. И вы не заметили, как вы перешли в гущу тех, которые слагают единый массив целого — того целого, к которому принадлежат все эти герои в равной степени. Так выпукла, решающая и та одна единственная черта, которая выхватывает из однотонности общего плана тот или иной профиль. Тот персонаж или другой...»

С. Эйзенштейн, делая этот анализ, заметил, не мог не заметить, очень существенную, мы бы сказали, решающую идейную линию, до конца проведённую Вишневским: поразительное проникновение художника в сложные «зигзаги» классовых противоречий. Нельзя не остановиться на поразительном раскрытии отличия социалистического народного патриотизма от «патриотизма» самодержавного: он («патриотизм» самодержавный. — П. В.) дан в образе врага — полковника. «Патриотизм» его в своей последовательности доходит до предательства родной земли.

4

Уже в 1939 году товарищ Сталин на XVIII партсъезде говорил о начавшейся второй мировой войне, что она, «...так незаметно подбиравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию...»¹. В этих условиях советская страна готовила свои лучшие силы для отпора агрессорам.

Всеволод Вишневский в этот период много работает в Союзе советских писателей. Он возглавляет военную комиссию

¹ Неопубликованная запись речи Вс. Вишневского в Ленинградском доме писателей 23 мая 1950 года.

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, М. 1947, стр. 568.

СССР, курсы по военной переподготовке советских писателей, активно участвует в работе журнала «Знамя».

Именно в это время в редактируемом Вишневым «Знамени» появляются первые произведения ныне известных советских писателей — К. Симонова, Н. Вирты, М. Алигер, Е. Долматовского и других.

В 1938—1939 гг. писатель много путешествовал по стране Советов. Он, как обычно, часто выступал перед военной аудиторией, писал в военную прессу, участвовал в военных манёврах. Летом 1939 года он был в командировке на Дальнем Востоке. Там он побывал в пограничных частях, на Хасане, в пограничных гарнизонах и у моряков Тихоокеанского флота. Осенью 1939 года мы читали корреспонденции Вишневого уже из Прибалтики: он был на эскадре советских кораблей Балтфлота, пришедших в Советскую Эстонию. Этот период знаменателен для Вишневого как период глубоких раздумий.

Большую роль в жизни и творчестве Вс. Вишневого всегда играли его устные выступления. Прирождённый оратор, горячий трибун, он из месяца в месяц, из года в год в общении с массами оттачивал своё слово; он неизменно и безотказно выступал в воинских частях, рабочих клубах, в военных академиях, дворцах культуры и в Союзе писателей, принимал горячее участие в творческих дискуссиях.

Здесь мы видим единую линию писателя-воина, писателя-борца, трибуна. Он зовёт и разоблачает. В его выступлениях на литературно-критические темы ясно видна борьба против неверной критики, тревога человека, учувшего уже тогда порочную линию ещё не разоблачённых, тщательно маскировавшихся критиков-космополитов, борьба человека, неустанно ратовавшего за право писателя на новаторство в советской литературе.

В своих выступлениях по литературным вопросам Вишневский всегда помнил о неизбежности войны с фашизмом. На Первом Всесоюзном съезде писателей в 1934 году он говорил:

«...Пишите о хрустале, о любви, о нежности и прочем. Но при этом всегда должны мы держать в исправности хороший револьвер и хорошо знать тот при-

писной пункт, куда надлежит явиться в случае необходимости. Это полезно и необходимо».

Большой писатель, крупный общественный деятель, он весь в предчувствии крупных исторических событий, большой войны. Он ощущает всем своим существом, мыслью и уже порядочно уставшими нервами приближение решающей военной схватки. Воин и военный исследователь, посвятивший войне и военной науке всю свою сознательную жизнь, создавший целую серию военных художественных полотен — драм, сценариев, он как бы на миг остановился среди бурления жизни и задумался: «Что ещё могу написать, создать в жизни?..».

Характерна для этого периода запись, сделанная писателем в дневнике от 25 октября 1939 года.

«Написал дату и посмотрел: 25 октября... Двадцать два года... Последний период полон событий. Мысль справиться с анализом их не успевает, не в состоянии. Четыре месяца в поездках на Дальний Восток, 20 тыс. км туда и обратно, несколько тысяч по Приморью, затем возвращение и срочно на С.-запад и на Балтику. Повороты, перемены обстановки крутые... Минутами я работаю с огромным подъёмом, пишу, выступаю, погружаюсь весь в дело, в ощущение истории, природы. Минутами невероятная усталость, сознание того, что война уже третий или четвёртый раз в жизни, что уже не молодость... Но всякий раз, когда были острые минуты, старый задор брал верх. Знаю, что сумею пойти прямо, вперёд, отчаянно, по-былому, добровольческому кинуться...»

В 1939 году Вс. Вишневский потерял своих родителей, которых он горячо любил.

Тяжёлое личное горе совпало с творческим кризисом. Вишневский понимает, что пора молодых романтических увлечений миновала. Необходимо перейти к более высокому, более зрелому искусству — искусству предельно выверенному, реалистическому. Личное горе и творческие раздумья, видимо, сопряжены и с первыми отказами перенапряжённого работой организма.

Но все личные и литературные переживания уступают место, отходят в сторону, когда мысль Вишневого обращается к

потрясениям общественным, приближение которых ощущает писатель. Опытный военный, приучивший себя мыслить исторически масштабно, он чувствует приближение большой войны. Страна на стройке, в огромном напряжении. В дневнике ярко вскрыты особенности личности автора, удивительная цельность его мышления. Своё личное он не в состоянии оторвать от творчества, а творчество — от жизни народа, страны, её исторической поступи. И только слившись с народом, с его суровыми буднями, он преодолевает личные невзгоды, потери, предательские подступающую физическую слабость... «...Трагедия нашей эпохи именно в том, что на ней ещё лежит тень старого мира. Мы обязаны обращать свой труд в военные запасы, подчинять всё исторической задаче: обороне. Отсюда жестокость, суровость, поспешность, грубоватость... Это сказывается и на искусстве. Время жёсткое, трудное, суровое. Эти мысли, оплаченные кровью, слезами, добытые как крупница истины, неотъемлемы от меня. Писать бы надо обо всём этом, прямо, спокойно... Но никто из писателей не идёт на это... Какая-то молчаливая странная договорённость: о главном, о сути жизни не говорить. И чтобы ни писали и ни говорили, литература именно о главном у нас не пишет, не освещает дорогу народа... Пишем о частностях, о кампаниях, и в большинстве случаев дудим в унисон..»

Не слишком ли мрачно пишу я эти заметки? Возможно. Но я хотел бы что-то для себя подытожить. Впереди годы и годы работы, на ней когда-нибудь и свалишься, отдав свою жизнь за дорогое и родное, за общее народное дело. Никакая горечь и трудность не унижат, не умалят величия этого дела и величия общего процесса: объединения человечества в единое коммунистическое общество. Никакие лит. лжи и красоты никогда не украшали настоящей литературы, настоящего искусства. Никогда настоящая мысль не должна ползать, угодничать, кланяться — даже перед всем человечеством. Говорить и писать надо всегда прямо, повинувшись голосу совести, сердца, ума¹.

¹ Из неопубликованного дневника Вс. Вишневецкого; запись от 25 октября 1939 года.

Новый прилив энергии писателя связан с новым, более высоким этапом его творчества. Ещё выступая на Первом Всесоюзном съезде писателей, Вишневецкий раскрыл свои творческие замыслы и думы. Его мыслями всецело овладели художественные образы Ленина и Сталина. Вишневецкий уже тогда ставил перед собой задачу — воплотить эти дорогие трудящимся всего мира образы великих людей в искусстве, и всё последующее время Вишневецкий последовательно старается реализовать этот замысел. Он упорно идёт к осуществлению этой задачи.

С 1938 по 1941 год Вишневецкий работает над сценарием кинофильма «В 1920 году». Стратегическое руководство товарища Сталина в годы гражданской войны показано в этом произведении на материале разгрома третьего похода Антанты. Сценарий был назван в первой редакции «Первая Конная». Написанию сценария предшествовали многие статьи Вишневецкого в прессе, которые также можно назвать этюдами к созданию образов товарища Сталина в киноискусстве. Это статьи: «У всех на устах Сталин», «О речи товарища Сталина на XVIII съезде», очерк «Домик в Гори», «Клятва товарища Сталина (десятилетие клятвы)» и многие другие; художественно-биографические очерки о соратниках Сталина: С. М. Кирове, Ф. Э. Дзержинском, Г. К. Орджоникидзе и М. И. Калининe.

В киносценарии «В 1920 году», как бы завершающем десятилетние поиски писателя в области драматургии и кинодраматургии, Вс. Вишневецкий дал яркие образы товарища Сталина и его боевых соратников — товарищей Ворошилова и Будённого.

Писатель поставил перед собой задание показать на фоне героических дел Первой Конной Армии, как велика была близость товарища Сталина к народу. В образе украинского парубка Петро, идущего в Первую Конную бить врагов родины, Вишневецкий создал обобщённую народную фигуру. Сталин и народ — так можно сформулировать тему этого произведения.

Подводя итоги своему творческому пути за десятилетие, писатель отмечает в дневнике: «Чувствую, в этот год закончился целый этап жизни. Вероятно финалом молодой моей поры является вещь о 1920 го-

де, о Сталине и хлопце Петро, о конниках. Война всех нас повлекла куда-то в неизвестные события. Сама война развёртывается причудливо, опрокидывает предположения и прогнозы буржуазных военных публицистов гамеленовских и деголлевских генштабистов»¹.

Предуствия не обманули писателя. Едва успел он вернуться с Балтики, как ему снова пришлось отправиться туда уже в качестве военного корреспондента. Началась война с Финляндией — четвёртая война в биографии писателя. Снова Вишневский в форме морского командира, снова его пламенные речи поднимают балтийцев на боевые подвиги. Он неутомим, Действует он и в сухопутных частях, на берегу, на ледяных просторах Балтики; его коренастую фигуру в белом полушубке видят на многих участках фронта. Вместе с писателями-фронтовиками он работает и как пропагандист, и в качестве корреспондента военных газет, и в качестве редактора. Вновь после длинного перерыва в газете «Краснознамённый Балтийский Флот» появляются статьи со знакомой морякам подписью — «Вс. Вишневский», по радио звучит его страстная речь, призывающая к победе над врагом.

С 1 декабря 1939 года, вместе с писателями В. Лебедевым-Кумачём и Л. Соболевым, Вс. Вишневский участвует в боевых операциях, совершает поездки по частям, проводит доклады и литературные выступления. Лично Вишневским проведено 63 таких выступления перед красноармейской и краснофлотской аудиторией. Кроме того, здесь он окончательно осваивает новый жанр, с таким успехом использованный им позже, — радиоречи. Работая в газете, Вс. Вишневский является застрельщиком юмористического отдела «Полундра». При его участии создано восемь номеров «Полундры».

Весной — после окончания войны с Финляндией — Вишневский впервые в жизни не сумел, не смог побороть усталость: он болен. Его отправляют в санаторий. Но уже в июле-августе 1940 года мы видим его в Молдавии, в Дунайской речной флотилии, в Кишинёве, в Черновцах. По заданию Комитета по делам кинематографии он с группой творческих работников вы-

ехал в освобождённую Бессарабию для подготовки сценария и съёмки фильма о Бессарабии. Верный своей натуре, жадно стремящийся всё знать и видеть, перечувствовать и осмыслить то, о чём он собирается писать, Вишневский исколесил всю Бессарабию: проехал её вдоль и поперёк на машине; прошёл катерами по Дунаю и Днестровскому лиману; побывал на родине Котовского и Тимошенко; беседовал с участниками знаменитых Хотинского и Тарабунарского восстаний против румынских бояр; посетил могилу Котовского. Вернувшись в Москву, он написал сценарий документального фильма «Бессарабия». Закончив сценарий, вновь вернулся к работе над фильмом «В 1920 году», съёмки которого были в полном разгаре.

Кроме перечисленных здесь произведений, созданных за десятилетие, предшествующее Великой Отечественной войне, Вишневским были написаны сотни статей и очерков, напечатанных в «Правде», «Известиях», «Красной звезде», «Красном флоте», «Литературной газете», в «Знамени» и других журналах и газетах. Им были в этот период написаны брошюры: «Шорс», «Папанин», «Эйзенштейн» и другие. Они издавались Госполитиздатом, «Огоньком» и Киноиздатом.

До большой войны, к которой себя так готовил автор многих военных произведений и участник четырёх войн. Вс. Вишневский, он много работает над подготовкой писательских кадров. В предвоенные годы он редактирует журнал «Знамя», руководит военными курсами писателей, всенной комиссией.

Вишневский был «трудным» писателем. В поисках новых путей он иногда совершал ошибки, брал «на полтона выше», спорил, доказывал свою правоту. Любители спокойного, тихого, уютного искусства не могли терпеть такого писателя. Но во всех случаях, при всех затруднениях, встававших на его творческом пути, писатель получал помощь, указания, справедливую критику партии. Он всей своей горячей душой принимал эту помощь, сознавая, что без неё ему было бы неизмеримо труднее, а то и просто невозможно работать. Он об этом и говорит прямо в одном из своих выступлений:

«Каждый раз, когда у меня внутренне накапливались силы, внимательная забота

¹ Из неопубликованных дневников 1940 года.

партий, наблюдавшей за моей работой, приходила мне на помощь: партия помогла мне в 1922-м году создать литературную группу Балтфлота, в 1929 году стать драматургом, и в дальнейшем партия всегда мне помогала»¹.

За активную писательскую и общественную работу в предвоенные годы Всеволод Вишневский был награждён орденом Ленина и орденом «Знак Почёта».

5

В 1941 году близилось окончание работы над фильмом «В 1920 году», и Вс. Вишневский начал работу над новой пьесой. Это была пьеса на необычную для него тему. До сих пор большинство его произведений было посвящено флоту, Ленинграду. И вот моряк и ленинградец Вишневский, задумав выйти за рамки «своей» темы, начал писать пьесу о Москве в 1918—20—30 годах. Он хотел на широком историческом фоне показать разные стороны общественной жизни страны и её столицы, поставить ряд бытовых и психологических вопросов. Радость поисков новых путей в драматургии окрыляла автора. Но, работая над пьесой, писатель не мог оторваться от мысли о надвигающейся грозе. Он вспоминал позже: «Я сидел как раз над этой работой у себя на даче под Москвой, когда по радио прозвучало выступление Молотова о том, что немцы вторглись в Советский Союз. Я собрал свои бумаги, вышел с женой на шоссе, поднял руку, остановил первый попавшийся грузовик и явился немедленно в Москву... На войну»².

С первых часов Великой Отечественной войны Вишневский на своём посту. Не заезжая домой, он выступил на митинге в Союзе писателей. Вечером 22 июня Вишневский произносит по радио свою первую радиоречь — «Уроки истории». Этой речью началась целая полоса творческой деятельности Вишневского. За время Великой Отечественной войны вплоть до Дня Победы им был создан перед микрофоном целый цикл хорошо известных нашему народу военных радиовыступлений.

¹ Неопубликованная стенограмма выступления Вишневского на дискуссии о формализме 31 марта 1936 года.

² Л. Бать. В гостях у Вс. Вишневского. Журнал «Интернациональная литература» (на французском языке), № 10, 1945.

С 22 по 24 июня Вс. Вишневский проводит организаторскую работу — мобилизацию крупных групп писателей, формирует посылку на фронт в армию и на флот основных писателей Москвы.

25 июня сам выезжает в Таллин в действующий Балтийский флот. В Таллине и на флоте Вишневский развил активную деятельность. День и ночь он в редакциях, на митингах, собраниях, в окопах, на переднем крае, в Военном Совете и Политуправлении Балтфлота. Вскоре он получает звание бригадного комиссара.

С первых же дней Великой Отечественной войны Вишневский восстанавливает свой обычай вести подробный дневник и ведёт его с необычайной точностью, ежедневно. Он до конца войны не расстаётся с тетрадами, где карандашом, ручкой, в походных условиях, под налётами вражеской авиации и миномётным огнём, на суше и на кораблях ежедневно упорно записывает, записывает всё, что видит, что делает и переживает сам, что делают и переживают другие. Его наблюдательность была обострена во много раз пониманием исторической важности событий, а опыт и хватка журналиста облегчили ему ведение этих записей, которые по объёму равны нескольким романам, по исторической ценности непосредственных записей очевидца — исключительны. Дневник этот расширился и к концу войны вырос в огромную летопись Великой Отечественной войны — 57 общих тетрадей, не менее 100 печатных листов записей, воспроизводящих день за днём ход войны: думы, наблюдения, чувства, размышления человека, за плечами которого пять войн и большая писательская жизнь.

Кроме его замечательных статей, очерков, радиоречей, написанных в годы войны, сохранилось огромное количество писем. Эпистолярное наследство Вишневского очень велико и своеобразно. В нём почти нет ничего личного, домашнего, бытового. Даже самые интимные письма, написанные им в годы войны к ближайшим друзьям, к жене, — это страстные общественные, хотя и глубоко личные, идущие от всего сердца призывы публициста.

Вот некоторые выдержки из писем Вишневского. Дата — 17 июля 1941 года: «...Иногда события заслоняют всё — прошлая жизнь кажется отрезанной, далёкой, —

исчезает искусство... — потом обдумываешь всё опять и опять — нет, — война эпизод, — а жизнь вечна, идёт потоком... Надо смотреть широко... Вот я рассматриваю серию художественных плакатов. Ни одного сильного, запоминающегося. Всё на спешке, на монотонном годе приёме, внешнем... А нужно вносить порядок, углублять отношение к событиям, анализировать их; давать новые мысли, советы, указания... Я пишу тебе об этом, так как ясно вижу горючливость и в текстах поэтов, и в корреспонденциях (много орут, сумятица), а где анализ? Властно осадите себя, окружающих: нужна чёткость, расчёт, план... Вы в центре борьбы: в Москве... Нужно осмысленно, чётко, умно дать в художественных образах советы бойцам и народу... Не вообще «ура, бей», — а как бороться с танками; как отражать налёты авиации; как нападать на противника; как тушить пожары и прочее. Нужно улавливать главное; нужно говорить с людьми фронта; с опытными работниками; внимательно изучать корреспонденции... — моё письмо доведи до своей партийной организации. — Изучайте суть дела; берите главное... — не мечитесь, не обрывайте звонки, а потратить несколько дней на то, чтобы понять: что же именно нужнее всего фронту и тылу...

Вообще агитировать: «иди, бей» и прочее — мне кажется странным. Народ идёт... — а вот конкретизировать все главные виды задач нужно...»¹.

В Таллине Вишневский непрерывно работает первые два месяца Великой Отечественной войны. Затем участвует в прорыве флота из Таллина в Кронштадт. «Я долго гляжу на Таллин... «Мы вернёмся, Таллин!»

«...Напряжённейшая ночь. Мины у борта.

...На корабле люди ведут себя безукоризненно. Не смыкают глаз, работают...

29 августа. Утро. Веду записи непрерывно...

Продолжаем поход. Снова отбиваем воздушные атаки...

15 час. 25 мин. Виден Кронштадт... Приходим, наконец, в Кронштадт. На минзатге «Марти» выстроена вся команда. Она приветствует флот, героически прорвавшийся из окружения...

Я много продумал в дни обороны Таллина... Совершены сотни актов беспримерного в истории морских войн героизма. Балтийцы не запятнали своей чести ничем... Дрались упорно. Ушли по приказу. Время выиграло. История запишет прорыв Балтийского флота в ряды славнейших дел»¹.

В этой записи любопытен ход мысли, анализ событий. Вишневский сумел тут же, во время событий, верно оценить, понять весь ход операции, отбросить частности, неудачи, отчаянное положение отдельных подразделений, свидетелем и участником чего он был, и понять главную задачу, которую выполнял и выполнил флот.

После прорыва Вишневский находится два месяца в Кронштадте, выдерживает вместе с гарнизоном «звёздные налёты» фашистских ассов, артобстрелы и тут же пишет историческое исследование о Кронштадте, подняв для этого весь архив горсда-крепости, затем переезжает в Ленинград вместе со штабом Балтфлота. Из Таллина, Кронштадта, из блокированного Ленинграда Вишневский регулярно корреспондирует в «Правду» и другие газеты. Война возрождает старый вид его деятельности пламенного оратора, которую он вёл в 1918—1919 годах. Он выступает в воинских частях, в госпиталях, на производствах, на флоте, но так как в осаждённом Ленинграде спрос на его выступления был чрезвычайно велик и потребность в широкой агитации живым словом всё более возрастает, Вишневский начинает регулярно передачи по радио.

В тяжёлые годы войны, во фронтовое быстротекущее время требования к пропаганде и агитации, ко всем формам её больше всего сводились к мобильности, сжатости, массовости. Радиоречи как раз отвечали этим требованиям. Резонанс этой деятельности Всеволода Вишневского был, пожалуй, равен только его деятельности кинодраматурга.

В этих речах были и краткие выразительные оведения по истории русской армии и флота, так хорошо изученные ещё гимназистом Вишневским; и смелые патристические прогнозы хода войны; и сводки с фронтов, и будущее, и настоящее —

¹ Из неопубликованного письма к С. Вишневцевой от 17 июля 1941 года.

¹ В. Вишневский. В боях за Таллин (из записной книжки писателя). Кронштадт 1944, стр. 11, 12, 13.

всё это сплавлял он своим могучим темпераментом, своей непоколебимой верой в победу. Этот человек умел объединять в своих речах и стальное мужество стоявших насмерть у стен Ленинграда солдат и матросов; и действия партизан в лесах Белоруссии; и пламенные чувства и точное знание, марксистский анализ событий. Это была настоящая, боевая большевистская агитация, конкретная, убедительная, нестрашная, призывающая народ не боятся ни жертв, ни лишений, требовавшая от всех советских граждан именем Родины, именем её славного прошлого, именем Сталина стоять насмерть у стен столицы Родины Москвы, у стен Ленинграда и Севастополя, у стен славного Сталинграда. Связь Вишневого с войсками Ленинградского фронта и моряками Балтфлота была постоянна. Неоднократно он писал листовки для флота, для войск Ленинградского и Волховского фронтов.

Безвыездно находился Всеволод Вишневецкий в блокированном Ленинграде осень и зиму 1941 года, весь 1942 и 1943 годы. Он действовал как офицер флота, как писатель и руководитель оперативной группы писателей, много сделавшей в дни блокады Ленинграда¹. В последнем своём письме, уже смертельно больной, Вишневецкий пишет о 1942 году: «Год был тяжёлый: осенью ожидался штурм города после падения Севастополя. В это время я написал (совместно с Кроном и Азаровым) музыкальную комедию «Раскинулось море широко». Её поставил 7/XI-42 года единственный театр города: «Музыкальная комедия»².

Действительно, какой верой в будущее и стремлением вызвать улыбку, смех, бодрость в изнурённых и ожесточённых блокадой сердцах нужно было обладать, чтобы в этот самый тяжёлый момент написать весёлую вещь, бросив её как вызов судьбе и врагу.

В январе 1943 года Вишневецкий лично участвует в прорыве блокады. Он действует в районе Шлиссельбурга на Балтийских железнодорожных батареях. Весна и

лето проходят в боях летней кампании 1943 года. С конца 1943 года Вс. Вишневецкий по заданию командования работает над пьесой «У стен Ленинграда».

В этой пьесе мы видим продолжение линии обороны Петрограда, нашедшей яркое воплощение в «Мы из Кронштадта». В основе её сюжета — действия знаменитой русской морской пехоты, советских моряков, грудью защищавших родной Ленинград. Писатель находит новые краски для обрисовки своих излюбленных тем: отцов и детей, беззаветной борьбы человека-воина с вражеской техникой (борьба с танками в «Мы из Кронштадта» и «У стен Ленинграда»). Вишневецкий говорил о том, что писатель должен «детонировать» на события эпохи (понимая детонацию не как музыкальный, а как военный термин). Сам он обладал этим свойством творчески «взрываться» и давать произведения во-время, тогда, когда они нужны советскому народу.

Весной 1944 года пьеса была поставлена театром Краснознамённого Балтийского флота, а затем показана в Москве. В Москве этот спектакль прошёл с большим успехом. В «Правде» была напечатана статья, положительно оценивающая спектакль и пьесу. На творческом обсуждении все выступавшие признали достоинства и пьесы, и спектакля.

Вишневецкий в 1944 году участвует в наступлении на Выборг и во взятии его, а осенью — в наступлении на Таллин, Ригу.

В день освобождения Таллина Вишневецкий пишет статью «Здравствуй, Таллин!». Он завершил первый цикл войны, вернулся на места летних и осенних боёв 1941 года. Он полон радости победы наших войск и флота, встречи с городом, ставшим дорогим его сердцу. Но войска быстро движутся на запад, а вместе с ними и Вишневецкий устремляется к Риге, где он выступает с пламенной речью на митинге в честь освобождения столицы Советской Латвии.

В ноябре 1944 года Вишневецкий вызван в Москву и вновь назначен ответственным редактором журнала «Знамя».

Особенно яркие страницы дневника Вишневецкого и письма друзьям, отражающие эти победные дни. За годы войны писатель Вишневецкий ещё более сросся с великой армией Советской России. Лири-

¹ В состав оперативной группы писателей входили: В. Азаров, И. Амурский, Н. Браун, С. Вишневецкая, А. Крон, Г. Мирошниченко, А. Тарасенков, Л. Успенский, Н. Чуковский, А. Яшин.

² Неопубликованное письмо к Ю. Осюсу, ноябрь 1950 года.

ческая форма дневника и личная переписка с друзьями отвечают потребности писателя высказать самые задушевные мысли, запечатлеть настроение и полёт мыслей этих незабываемых дней, приближавших нас к Победе.

В письме в Ленинград из Москвы перед выездом на берлинское направление, на 1-й Белорусский фронт, он пишет:

«...Ну, вот я, значит, опятьдвигаюсь в Европу. Посмотрим, какая она после русской выучки. ...В воздухе предощущение весны, прорыва всех сил жизни, творчества. Видимо — к лету с Гитлером будет кончено. Гордые победные ошушения. Радость за Россию — неимоверная, широкая!»¹.

Вишневский осуществил свою мечту. Он не только как корреспондент «Правды», но и как офицер русской армии участвует в боях под Кюстрином, в Познанской операции войск маршала Рокоссовского; он в Цопотте, Гдыне, опять на Балтийских берегах, а затем с начала и до конца Берлинской операции — в войсках маршалов Конева, Жукова и Рокоссовского, овладевающих столицей фашистской Германии. Позже, уже в Москве, он так рассказывал об этих незабываемых днях, когда Великая Армия Сталина подошла к стенам фашистского логова:

— Мне повезло: я находился в рядах гаубичного артиллерийского полка. Мы подошли к Берлину 21-го апреля в 6 часов утра. Я никогда не забуду, как выбрировал глас офицера, командовавшего: «Батареи, по столице Германии, логову зверя, — за всех наших убитых, за вдов и сирот, за искалеченных и за мою семью, вырезанную фашистами, — огонь!». Мы дали первый залп. Из правофлангового орудия 2-й батареи стрелял я сам. Мне была предоставлена эта честь, и я постарался расчитать — хоть в некоторой степени — за 900 дней блокады Ленинграда. Я был потом в рейхстаге, и на Кенигсплац, и на Зигесаллес. Я испытывал наслаждение, когда увидел поверженными прусские оимволы и пробитые навывлет статуи Бисмарка, Родфа, Мольтке и стены рейхстага, изрешеченные нашими снарядами. Зияли пятиметровые бреши... Белели надписи наших воинов: «Мы из Москвы», «Я из Сталингра-

да»... «Есть тут и мои снаряды...». В эти минуты я почувствовал, что заканчивается пятая моя война...

Ровно через год, в годовщину победы, в адрес писателя пришло письмо от командира батареи, в котором советский офицер вспоминает эти незабываемые дни, делится своими впечатлениями и напоминает о том, что в числе первых снарядов, выпущенных по Берлину, были снаряды, выпущенные лично писателем Вишневским.

Первые месяцы после победы Вишневский думает напряжённо и много о будущем родной страны. Душевное состояние писателя в эти дни передаёт письмо, в котором он как бы отчитывается о проделанном пути и воинском труде. В письме к ленинградке писательнице О. Матюшиной он раскрывает своё состояние, свои думы. Здесь описание последних дней войны звучит как глубоко личное лирическое переживание писателя. «...Своё решение я осуществил полностью. Сделал до 10 тысяч километров по фронтам, работал напряжённейше. Состояние души было высокое, чистое, — борьба была вдохновенной. Фашистский Берлин бросили на колени... Вернулся в Москву 8 мая, летел над полями и лесами России, и внутри всё дрожало от счастья встречи с Родиной, от возвращения, от победы... Я весь — в переходной, в глубоком смысле слова, фазе... Анализирую прожитое, собираю записи, материалы... Напряжённно думаю о предстоящих крупных мероприятиях, культурных, экономических и прочих. Страна будет ровно, уверенно выходить к новым достижениям, смелым мерам усовершенствования во всех областях»¹.

В течение шести месяцев Вишневский весь отдаётся литературной работе: редактирует журнал «Знамя», выступает в Союзе писателей, подводит итоги пройденных военных лет, собирается засесть за прозу и дневники.

В новогоднюю ночь, в радиоречи 31 декабря 1942 года, Вишневский из Ленинградской радиостудии с уверенностью говорил о том, что в день международного суда над фашизмом и его заправилами ленинградцы предъявят свой счёт, а в ноябре 1945 года корреспондент «Правды»

¹ Неопубликованное письмо к О. Матюшиной, февраль 1945 года.

¹ Неопубликованное письмо к О. Матюшиной от 23 мая 1945 года.

Вишневский был в Нюрнберге. Он пробыл там до апреля 1946 года. Многие статьи его о международном суде над военными преступниками печатались в «Правде» и других газетах, а в ярком и образном его дневнике уже в то время отражено возмущение советского человека поведением англо-американских судей и военных. Ещё не обо всём можно было и стоило говорить тогда в открытую, но душевное состояние участника войны отражает одно из писем к жене: «Нюрнберг. Ночь на 20.II-46 г. Да, дорогая, это безумно трудно объяснить, вероятно невозможно. Ты меня знаешь, как никто. Жизнь моя — большая, сильная, трудная... Я туг ночи без сна. Сжал зубы. Ты («вы») себе не представляете, как тут трудно, как конденсированно зно, грязно. Я поставил себе задачей стоять до конца. Вот из-за этого я живу и работаю. Буду победителем и чистым». В другом письме к ней же: «Наблюдаю, записываю...—Мы очень и очень мало знали о враге... Это необыкновенно сложный, неизмеримо жестокий и холодный мир; странные люди — без сердца, без жалости, с непомерными, внеморальными целями и идеями»¹.

Так ещё тогда советский писатель разглядел отвратительный облик американского империализма.

Всеволод Вишневский после завершения Великой Отечественной войны, которую он прошёл как один из активнейших воинов-трибунов, агитаторов и писателей, много работает в качестве редактора. В «Знамени» за время редактирования его Вишневским публикуются новые произведения А. Фадеева, П. Павленко. И. Эренбурга, К. Симонова...

В первое трёхлетие послевоенного периода «Знамя» выдвигает на своих страницах новые имена писателей: В. Некрасова, В. Пановой, Э. Казакевича, Г. Николаевой и многих других, произведения которых получили широкую известность у советского читателя.

Это была трудная, кропотливая и незаметная работа. Для того, чтобы выдвинуть нового писателя, нужно иногда перечитывать десятки слабых произведений, найти в них то, что может быть лишь отправной точкой для создания произведе-

ния, а часто потребовать от писателя, считающего свой труд уже завершённым, начать его сначала.

О том, с какой радостью принимал редактор «Знамени» каждую свежую талантливую вещь, говорит письмо неизвестному капитану-разведчику, написанное через несколько дней после того, как в редакцию поступила рукопись первой повести ныне известного писателя, дважды лауреата Сталинской премии Эм. Казакевича. «11 декабря 1946 года. Здравствуйте, товарищ Казакевич. Сегодня ночью прочёл вашу повесть «Звезда»... Поздравляю Вас. Это настоящая вещь: точная, умная, надёжная военно-грамотная, полная размышлений и души. Вещь нелёгкая для любителей «беллетристики». Вещь горькая и вместе с тем полная силы и оптимизма... Совершенно замечательны «круги», которые показаны вокруг дела Травкина. От имени «Знамени» благодарю Вас за повесть. Мы дадим её в № 1 1947 года. Вы должны писать. Все данные за это. Вс. Вишневский.

Отдельно примите чувства от бывшего разведчика с 1915 года. Вс.»

Но не только с авторами «Знамени» поддерживал творческую связь писатель. Со многими из товарищей по перу он делился своим военным, политическим опытом, знаниями историка, которыми так солидно был вооружён. Всем известны романы К. Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето». Вишневский считал своим товарищеским долгом помочь крупнейшему советскому романисту своими знаниями историка и участника описываемых автором событий. И, закончив свой роман «Необыкновенное лето», благодарный автор сразу же пишет товарищу, чья помощь пришла к нему так вовремя:

«Дача, 27 августа 1948 года.

Дорогой Всеволод Витальевич, спасибо за письмо! Получил его через 10 минут после того, как поставил точку на «Необыкновенном лете»! Было 3 часа дня. Ещё не соображаю хорошо, что собственно произошло. Вам, по праву, могут и должны быть посвящены некоторые страницы и даже главы этого романа. Благодарю Вас за помощь и за товарищество — за бескорыстие и терпеливость желания мне помочь. Сделаю это лично, т. е. поблагодарю.

¹ Из неопубликованного письма к С. Вишневецкой от 18 декабря 1945 года.

Ново-Оскольский эпизод заканчивает роман. Герой сливается с Армией — в этом смысл финала. Я полагаюсь целиком на Ваши «свидетельские» воспоминания о Н.-Осколе и привожу их (метаморфизированно) в последних трёх страницах. Впрочем, больше нежели в трёх: много места занимает сам смотр (парад). До скорого свидания. Ваш Константин Федин. Не трудитесь ещё искать и копать материалы! Теперь мне ничего не надо! Материалы все Ваши возвращу в городе. Вам первому сообщаю об окончании работы».

В 1949 году Вишневский освобождается от работы в журнале. Замыслов у писателя много, но болезнь в результате ранений, перенесённой блокады и пяти войн подкрадывалась долго, а ударила внезапно. После первого перенесённого тяжёлого приступа болезни, немного оправившись, но всё же ещё тяжело больной, Вишневский нашёл в себе силы и протрубил свою лебединую песню — пьесу о Ленине и Сталине — «Незабываемый 1919-й».

В дни, когда вся страна отмечала семидесятилетие со дня рождения товарища Сталина, писатель сделал в дневнике следующую запись: «21 декабря 1949 года. — Да, есть ощущение праздника. Год неотрывной напряжённой работы. Сегодня мои премьеры в театрах Москвы и Ленинграда. Вчера вышел № 12 «Новый мир» (с моей пьесой). Сейчас отнёс этот номер И. В. Сталину (на Спасскую башню) в окно приёма почты. Рад, что мой подарок пришёл в нужный день и час...

Пусть как «Оптимистическая трагедия» и «Мы из Кронштадта» — вещь о Сталине, о России и её манере расправляться с англо-саксами и их наёмниками идёт и делает своё дело. Сейчас привезли приглашение в Большой театр на торжественное заседание в честь товарища Сталина. Иду в 7 ч. с волнением. Это будет народная встреча с дорогим человеком».

Пьеса Вс. Вишневского «Незабываемый 1919-й» получила заслуженную оценку и была удостоена Сталинской премии первой степени за 1949 год.

«Незабываемый 1919-й» написан зрелым мистером-реалистом. Критически рассматривая всё созданное ранее, Вишневский записывает: «Со мной перелом произошёл

в дни войны. Всё, что я видел вокруг, уже не соответствовало юному романтическому восприятию. Нужны другие краски, решения...»¹.

К своей последней пьесе, написанной как всегда залпом, в один присест, Вишневский шёл издавна. Внешним толчком послужила его собственная статья «Помните о 1919 году», найденная в личном архиве. «Это мордобойная статья из К.Б.Ф., разговор о том, как мы разгромили англичан на Балтике в 1919 г. Таким образом подступы к пьесе были очень долгими и давними...»².

Но внутренним поводом к её написанию были и события послевоенных лет, и наблюдения на Нюрнбергском процессе, и тревожные сигналы о стремлении агрессоров в третий раз разжечь мировой пожар, и постоянные творческие думы о великом Сталине, дела, мысли которого писатель изучал всю свою жизнь. Вишневский подробнейшим образом фиксировал всё, что ему удалось заметить при встречах с товарищем Сталиным. Ещё бойцом Особого отряда он видел молодого Сталина в годы гражданской войны, и образ великого соратника В. И. Ленина глубоко запал в его юношеское сердце. На Первом Всесоюзном съезде писателей в 1934 году Вишневский впервые раскрыл свою заветную мечту — воплотить в литературе образ вождя.

«Мы сумели дать бойца, партизана, матроса, солдата, командира взвода, командира полка. Мы рванулись, и лучшие, сильнейшие из нас дали ещё партизанского вождя... и остановились...

Проблему, образ большевистского пролетарского вождя мы обязаны решить, мы обязаны подняться выше «полкового», «дивизионного» уровня. Решение этой проблемы необходимо. Она имеет не только исторические цели, но и выводит нас в область самых высоких умственных, этических, моральных и военных категорий».

В образах Ленина и Сталина, запечатлённых Вс. Вишневским в «Незабываемом 1919-м», волнует прежде всего их глубокая жизненная правдивость, мудрость этих людей, определённая их характеров, их любовь к родине, любовь к партии, созданной и выпестованной ими в

¹ Неопубликованное письмо к В. Азарову от 26 декабря 1948 года.

² Неопубликованное письмо к В. Азарову от 5 января 1950 года.

борьбе, отсутствие всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться.

Эти качества большевистских вождей с большей или меньшей полнотой, с большим или меньшим мастерством были показаны и в других драматургических произведениях, отражающих отдельные важнейшие моменты истории нашей родины. Но Вишневскому удалось наиболее проникновенно найти художественные стороны темы: ему удалось запечатлеть характеры великих вождей нашей партии, ему удалось сказать художественную правду о незабываемом 1919 году, когда историческая мудрость Ленина, государственный и военный гений Сталина спасли революцию.

Художественная правда — лишь эстетически претворённая жизненная правда. Жизненная правда незабываемых лет, борьбы, подвигов народа и его мудрых вождей воплощена в трудах Ленина и Сталина, в Сталинской Конституции СССР, в решениях большевистской партии. Эта жизненная правда побеждает во всём мире, к ней стремятся честные люди всего земного шара. Задача художника, остановившего своё творческое внимание на одном из исторических эпизодов, — быть верным правде исторического процесса. Он должен всю силу своего темперамента и мысли, чувства и знания собрать воедино, чтобы создать эстетически претворённую правду, чтобы донести до народа истинный облик его великих вождей.

Вишневскому удалось это сделать. В этом благородном деле ему помогло партийное чутьё советского писателя-реалиста, помогли преданность и любовь к родине, партии, Сталину.

«Незабываемый 1919-й» — военно-грамотная и глубоко поучительная пьеса. Писатель не увлекается баталиями, но и не создаёт бутафорской войны. Он показывает фронт и тыл, штабной центр и передовую линию, работу вражеских разведок и нашу контрразведку, он вскрывает механику войны и волю великого человека, овладевшего всей сложностью законов современной войны, пониманием политических причин её, он показывает связи вождя с рабочим классом, с народом.

Но пьесе Вишневского нельзя назвать военно-историческим произведением. В ней сказалось умение писателя видеть настоя-

щее и прошлое глазами будущего, о котором говорил А. М. Горький. Глазами страстного современника, устремлённого в будущее нашей родины, взглянул Вишневский на незабываемые дни гражданской войны. Народ советский и его великий вождь, руководитель мирных преобразований и великий полководец, показаны писателем в пьесе любовно, проникновенно и художественно правдиво.

Вскоре после опубликования и постановки в театрах пьесы «Незабываемый 1919-й» состоялось решение об экранизации этого выдающегося произведения. Вишневский, верный своей манере авторской отдачи до конца, доведения замысла до творческого коллектива, призванного осуществить его замысел, выезжает с режиссёром и соавтором сценария народным артистом СССР М. Чаурели на места исторических событий. После этой поездки Вишневский снова заболел.

21 декабря 1950 года в санатории «Барвиха» состоялось чествование тяжело больного писателя в связи с 50-летием со дня рождения и 30-летием литературной работы.

28 февраля 1951 года в Москве, в Кремлёвской больнице Вишневский умер.

Это был удивительный человек, у которого во всём его литературном наследстве — пьесах, киносценариях, в его радиоречах, выступлениях, статьях и очерках, наконец, в дневниках и письмах, не говоря уже о многих военных и военно-исторических исследованиях, почти не ощущаешь ничего личного, бытового, но в которых в то же время в каждой строке звучат глубоко личные душевные думы. Идеи патриотизма, чувство общественного долга были так широко и совершенно развиты в нём и так пропитаны искренностью мысли и чувств, что для Вишневского они стали одновременно душевными эмоциями, основной функцией его личности. И только эта высокая степень советского патриотизма давала ему право в самых интимных случаях смело говорить своим родным, близким и друзьям: «Моя Россия», «Народ моей России», хотя он всегда писал: «Мы из Кронштадта», «Мы — русский народ».

Именно эта совершенная степень тех важнейших гражданских качеств, которые

мы называем партийностью, любовью к родине, дала ему творческие силы предугадать ту лаконичную формулу, которую народ-победитель писал в 1945 году на стенах поверженных вражеских твердынь: «Мы из Москвы!», «Мы из Сталинграда!»

Это «мы» прозвучало в Берлине так же грозно, органично и сильно, как и в 1936 году, когда благодаря силе советского киноискусства и таланту Вишневого мы впервые услышали:

«Мы из Кронштадта!»

«Мы — русский народ!»

Творческая жизнь писателя прошла в кипучей борьбе.

Наше правительство, наш народ, литературная общественность по заслугам оценили труд писателя и подвиги воина.

За боевую и литературную деятельность Всеволод Вишневский был награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почёта» и восемью медалями.

Уже тяжело больной Вишневский писал другу:

«Белинский прав, что писатель должен подтверждать свои писания кровью, жизнью»¹.

Он имел право так сказать, потому что сам он всей своей жизнью певца революции, поэта-воина подтверждал написанное им.

¹ Неопубликованное письмо к В. Азарову от 13 октября 1948 года.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ю. Лукин. Советы мастера.— В. Огнев. Тема и индивидуальность.— М. Брагин. О пользе военной грамотности.— Е. Успенская. Дети Алтая.— С. Тураев. Незавершённый труд.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Слазин. Путь английского интеллигента.— Академик Н. Цицин. Растительный мир Советского Союза.— Кандидат географических наук Е. Лукашова. Умение видеть.— Кандидат биологических наук И. Поляков. Биолог-материалист.

Литература и искусство

Советы мастера

Книжка М. Исаковского «О поэтическом мастерстве» обращена по преимуществу к начинающим поэтам. В ней собрано несколько статей 1944—1951 гг. и опубликован ряд писем молодым авторам, содержащих замечания и размышления, которые имеют широкое, общее значение, хотя и опираются на сугубо конкретный материал. Характер сборника с первых страниц определяется вступлением, озаглавленным «Читая письма...» и помещённым «вместо предисловия». Автор пишет о своём желании рассказать людям, начинающим писать стихи, что такое поэзия, почему она одним даётся, а другим нет, что требуется от человека, обладающего поэтическими способностями, каким должен быть этот человек, как он должен работать, к чему стремиться. Автор хочет помочь действительно талантливым людям стать на правильный путь учёбы, работы, на путь роста; хочет помочь разобраться в существе дела и тем, кто взялся писать стихи случайно, кто не имеет для этого никаких данных, предостеречь их от напрасной затраты времени, от несбыточных надежд, обратить их к тому труду, на который они способны.

Издание книжки на столь важную тему

М. Исаковский. «О поэтическом мастерстве». Редактор З. Одинова. «Советский писатель», М. 1952.

и написанной одним из выдающихся наших поэтов — дело очень полезное. Статьи первого раздела сборника представляют большую ценность. В них удачно обобщены и ясно изложены мысли и наблюдения автора, его советы тем, кто посвящает себя поэтическому труду. В этом разделе сборника найдут для себя немало принципиально важного не только молодые поэты, но и зрелые мастера, — особенно в статьях, посвящённых песенному творчеству. Кстати, именно М. Исаковскому и надлежит по праву выступить советником и наставником для молодых поэтов-песенников, а также поделиться своим богатым творческим опытом с другими мастерами советской песни.

В основу статьи «О советской массовой песне» положено выступление М. Исаковского на совещании поэтов и композиторов по вопросам советской песни, созванном Союзом советских писателей в сентябре 1944 года. Статья «Работа над песней» написана на материале беседы со студентами Литературного института имени М. Горького.

Содержательны и интересны многие суждения автора, высказанные в этих и других статьях сборника. С той ясностью, живой образностью и задушевностью, которые присущи стихам М. Исаковского, ведёт он и беседу о творческих проблемах

мал. Подчёркивая, что песня содвигает человека всюду, во всех его делах, во все моменты его жизни, выражает душу народа, его чаяния, стремления и надежды. помогает ему в труде и в бою, украшает его отдых, имеет громадное воспитательное значение, автор пишет: «Трудно себе представить народ без песни. И если бы мы вдруг лишились её, то жизнь намного обеднела бы от этого».

Вот почему, заключает он, создание всё новых и новых песен должно стать одной из важнейших работ как поэтов, так и композиторов.

Отмечая, что советскими поэтами и композиторами написано немало хороших песен, которые стали подлинно народными, автор указывает на то, что по сравнению с требованиями, которые предъявляет страна, сделано всё же недостаточно: «Во многих случаях мы работаем плохо, кое-как. Работать же в наше время кое-как просто недопустимо».

Мы являемся свидетелями того, что у нас появилось много скучных, серых, однообразных и малограмотных песен, которые вряд ли нужны кому-либо другому, кроме, разве, написавших их.

Поэтому, мне кажется, что мы прежде всего должны повести серьёзный разговор о повышении идейно-художественного уровня советской песни».

Основное внимание М. Исаковский уделяет слову в песне. В статье подвергнутой критике взгляды некоторых композиторов, недооценивающих значения текста, считающих, что поскольку главным в песне является музыка, то совершенно неважно, какие под эту музыку будут петься слова. если музыка удачна, значит песня пойдёт, значит всё в порядке. Замечательно образное определение, данное М. Исаковским: «Музыка — это как бы душа песни, её крылья, на которых она летит. Но несомненно также и то, что если этим крыльям нечего нести, то они вынуждены работать, если, может быть, и не совсем, то в значительной мере впустую». Автор книги приводит ряд наиболее распространённых песен — как дореволюционных, так и советских — и подчёркивает, что секрет их популярности объясняется не только хорошей музыкой: громадную роль играют здесь содержательные и по-настоящему поэтические стихи.

Одну из причин появления неудачных песен автор видит в том, что композитор, если он не особенно требователен к тексту песен, пишет музыку и на заведомо плохие слова, тем самым «выводя их в свет». Мало внимания обращают на словесную ткань песни также музыкальные редакторы. «Создаётся положение, при котором легче всего «выйти в люди» именно «по музыкальной линии»... оказывается, то, чего нельзя напечатать в журнале, почему-то можно напечатать в «Песеннике». В качестве другой причины выделена практика своего рода «ремесленников», готовых писать на любые темы, в любом количестве и в любые сроки. Ещё одна причина состоит в том, что основные кадры советских поэтов работали в области песни недостаточно интенсивно. Даже от тех поэтов, которые создали в последнее время прекрасные песни, принятые народом, несомненно можно было бы ожидать гораздо большего. Характеризуя недостатки многих песен, автор книжки говорит об их тематическом однообразии, о бедности поэтических приёмов, об отсутствии поэтического замысла. Для уяснения положений, сформулированных в статье, приводятся убедительные, наглядные иллюстрации. Удачно выбраны, например, три строфы одной песни, чтобы доказать, что такое песня, где «нет стержня, нет ни начала, ни конца, ни середины, то есть нет той поэтической пружины, которая связывала бы воедино весь словесный материал» и отсутствие которой делает песню зыбкой и неопределённой, превращает её уже не в песню, а в набор слов.

В книге содержатся тонкие замечания о песнях шуточных, жанровых, об умелом творческом использовании фольклора и об имитации народного языка, о лженародном языке. Исследуется богатый опыт русских поэтов-классиков и лучших советских поэтов.

Очень ценны соображения относительно того, какими качествами должна обладать хорошая песня. Требования, которые выдвигает автор книги, таковы: по содержанию, по жанрам наши песни призваны отражать всю сложную и многообразную жизнь страны, жизнь советских людей — их борьбу, труд, богатство их души, неисчерпаемую творческую энергию. Песни

должны затрагивать все стороны советской действительности и в этом смысле быть очень разнообразны. Слова всякой песни, настоятельно напоминает далее автор, должны иметь самостоятельное художественное значение, такое же, какое присуще всякому хорошему стихотворению.

Поэт придерживается того мнения, что песня легко запоминается, становится популярной, если в её словах заключено не только конкретное содержание, но если она обладает сюжетом. Почти все народные песни, утверждает он, имеют свой сюжет. Существенно замечание относительно того, что есть, конечно, песни и не сюжетные, но в этом случае надо добиваться, чтобы текст имел внутреннюю цельность, чтобы он заключал в себе некую «поэтическую находку», новую в каждом отдельном случае, чтобы он не рассыпался на отдельные, не связанные друг с другом куски. Надо сделать так, чтобы из песни действительно нельзя было бы выкинуть ни слова, чтобы всё было на своём месте, чтобы всё было в ней совершенно необходимо.

В одном из ответов на письма автор развивает эту мысль: иногда в песнях бывает так, что отдельные части, отдельные строфы как бы не связаны между собою сюжетом, но в таких случаях обязательно должен быть очень яркий, очень хороший припев, который как бы цементирует все части песни и не позволяет им рассыпаться. Он является душой песни, он как бы всё время подчёркивает всю важность и значительность того, о чём говорилось до припева.

В том же письме кратко сформулированы самые основные требования к песне: она должна иметь чёткий поэтический замысел, строго очерченный, а не такой, при котором песню можно растянуть либо, наоборот, сократить без ущерба делу. Слов песни требует очень простых, прозрачных, без всяких вычурностей, поэтических «красивостей», без всякой поэтической бутафории, книжности, тяжеловесных многословий. Песня не может быть многословной. Поэту надо уметь в двадцати-тридцати строках передать всё то, что он считает нужным. Поэтому каждая фраза песни должна говорить о чём-то новом, действие должно непрерывно развиваться, идти вперёд, а не «топтаться на

одном месте». И нужно, чтобы слова в песне «текли свободно, спокойно, плавно, чтобы при чтении язык не спотыкался». Смысл песни должен быть выражен с предельной чёткостью и краткостью, заключает автор. Характерно для М. Исаковского и такое напоминание: «К песне надо относиться с большой любовью, в каждую песню надо, что называется, вкладывать свою собственную душу».

Эти обобщающие определения подкреплены глубоким разбором некоторых песен В. Лебедева-Кумача, А. Суркова, Д. Бедного, С. Алымова и других поэтов.

Любопытны приводимые автором сведения о том, как народ, принимая песню поэта, совершенствует её, по-своему заменяет неудачные слова, образы именно в духе тех требований, какие предъявляются к массовой песне. Интересен рассказ о том, как использовалась автором фольклорная традиция для создания замечательных песен «Ой, туманы мои», «И кто его знает».

Веда разговор о мастерстве поэта, М. Исаковский подробно останавливается на значении поэтического замысла, идейности произведения, его жизненной правдивости, самобытности творческого лица автора, новизны в разработке темы.

Глубоко поучителен анализ Некрасовских стихов, показывающий, что поэт, не ограничиваясь чисто внешним описанием явлений жизни, обнажает внутреннюю сущность их, «как бы гозоря читателю: вот что я увидел в этом явлении, вот что оно означает в жизни». Разбирая стихотворение «Несжатая полоса», автор книги раскрывает, как за рядовым, казалось бы, жизненным явлением Некрасов увидел его огромную социальную сущность и поэтически сильно и убедительно рассказал об этом своему читателю. Большое значение имеют суждения о том, как истинный поэт, сохраняя всю реалистическую конкретность факта, явления, создаёт образ, обладающий могучей силой обобщения.

В этой книге хотелось бы видеть большую систематизацию материала, более чёткий план и равномерную разработку отдельных её частей. Но и такой, какова она есть, она окажется очень полезной. Жаль, что не всюду устроены некоторые повторения, возвращения к уже сказанному в других главах, текстуальные совпа-

дения. Например, о песне Некрасова «Коробейники» говорится: «В результате получился принципиально новый поэтический сплав...»; и о поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Получился принципиально новый поэтический сплав...»

Менее первого раздела книги примечателен второй, в котором собраны письма. Здесь меньше обобщений, иногда разговор с молодыми поэтами переходит на частности. Однако думается, что читатель со вниманием и с пользой для себя познакомится и с этими материалами.

Книжка не претендует на исчерпываю-

щее освещение проблем совершенствования поэтического мастерства. «Разумеется, — пишет автор, — сборник мой не является всеобъемлющим, исчерпывающим все стороны дела до конца. Его скорее следует рассматривать лишь как начало разговора с товарищами, пишущими стихи, лишь как первую беседу о поэзии, о мастерстве поэта».

Хочется прочесть в этой фразе не только оценку содержания книги, но и обещание продолжить начатую поэтом ценную и интересную работу.

Ю. ЛУКИН.



Тема и индивидуальность

Стихов печатается много. Ещё больше их пишется. Вспоминаются полные иронии слова В. Белинского: «Умение писать стихи — конечно, ещё не талант, но всё же способность...». И в самом деле, как часто, читая что-то такое рифмованное, мы тщетно ищем в нём поэзию; как часто поэзия подменяется умением «...перекладывать в гладкие и звучные стихи чужие чувства, чужие мысли...». Не слишком ли мы обедняем себя и поэзию, привыкая судить о стихах не с позиций большого и труднейшего вида искусства, а только с точки зрения нужности темы или приятности выражения?

Большие мысли и чувства нельзя уступать прозе. Им не тесно в богатой, разнообразной, выразительной форме русского стиха, разработанной классиками от Пушкина до Маяковского. Объявить войну рифмованным пустячкам, ориентировать поэтов (особенно молодых!) на смелое дерзание, на большие задачи, на проявление максимума своих творческих возможностей — насущная задача критики.

Разумеется, и вопрос о даровании — важный вопрос. И его не обойдёшь. Поэт начинается с особого, образного, поэтического видения мира, с отношения к нему. И дальнейшая судьба его зависит от степени проникновения в жизнь, от интенсивности внутреннего обогащения.

Скромная книжечка стихов молодого поэта Евгения Винокурова «Стихи о дол-

Евгений Винокуров. «Стихи о долге». Редактор Ст. Щипачёв. «Советский писатель», М. 1951.

ге» выделяется на фоне ряда других первых поэтических книжек дарованием её автора, тем очень ценным качеством, которое обычно не очень точно определяют как «свой голос», «свой почерк». Дело не в голосе и не в почерке — это явления вторичные. Дело в том, что и с какой, не известной ещё людям стороны увидит в жизни поэт значительное, нужное многим людям, как поможет он им разобраться в вопросах современности.

Поэтический материал большинства стихов Е. Винокурова — солдатские будни Тема — воспитание мужества, становление характера, высокого патриотического сознания, чувства долга. Тема эта органична для молодого поэта, она — своя, выполненная, спаянная с его человеческой личностью, с его индивидуальностью, с его биографией солдата.

Когда тема органична, когда она действительно стала внутренней темой поэта, поэтическая мысль естественно находит выражение в форме. Ведь настоящий поэт не облакает мысли в образы, а мыслит образами. Может, именно поэту тому необыкновенная простота всегда сопутствует искренности. В стихотворении, не вошедшем в сборник, Е. Винокуров писал:

Я был бы горд своим трудом вполне,
Когда б солдат какой-нибудь сказал мне:
«Твой стих среди инструкций на стене
Как памятка висит у нас в казарме.
Он не велик, да что и говорить,
Ведь у других стихи звучней и краше,
Но стих твой точный учит нас любить
Армейские простые будни наши».

В стихотворении «Обед» — почти фламандская сочность и достоверность деталей звуковых, зрительных, запаха. И не только этих деталей. «День переломился пополам» — это не столько хороший образ, органически вырастающий из образа переломленного хлеба, и не столько астрономическая примета полудня, но и ощущение поэтическое — на полнотности этого дня действием. День этот — главный герой. Он дан за кулисами в «песнях», которые одна за другой входят в «мещёный двор», в образах штабных часовых, в ощущениях временном. То действие, которое заполняло день в первой его половине, будет заполнять его и во второй. Поэтическому восприятию даётся простор. Действие имеет прошлое и будущее, оно не ограничено данным моментом. Это — не та фетовская или символистская «недосказанность», мнимая «поэтичность», которая до сих пор ещё соблазняет некоторых неглубоких поэтов, не «где-то», «что-то» и «когда-то»... Нет, это — другое. Без этой «недосказанности» не живёт и не может жить подлинное искусство. Она, эта «недосказанность», рождается именно из полной досказанности поэтической формы, из максимального полного привлечения необходимых красок, деталей. Это придаёт полную достоверность изображаемому, заставляет нас не замечать форму и естественно воспринимать содержание, которым хотел поделиться с нами художник. Без навязывания, без голых, сформулированных выводов, идущих почти всегда от несомнительности и схематизма.

Дань схематизму и уступку чужому силую отдал в отдельных стихах и Е. Винокуров.

Литературными ассоциациями порождены стихи «Письма», «Подруге», «Сколько было тобой пережито...». В стихотворении «Письма» нет естественности, присущей лучшим стихам поэта. Оно придумано от начала и до конца. И поэтому стихи о седом пенсионере, который перечитывает забытые письма «с датой нашего времени на конвертах», вряд ли взволнуют читателя. Общая мысль о том, что «самый лучший край в Союзе тот, где мы всего нужней», завершает такое же обидное и безличное стихотворение «Подруге». Балладно-традиционно стихотворение

«Строитель». Под явным влиянием интонации К. Симонова написано стихотворение «Медестре»:

Я не знаю, как вы, только он вас ещё
не за́был,
Тот худой и сутулый, в обвисшем халате,
Что всех громче кричал по ночам,
тот, что был
Беспокойнее всех в вашей трудной
палате.

Е. Винокуров владеет стихотворной речью. Кажущаяся угловатость его строки — от хорошего сопротивления материала, от органичности поэтической мысли, идущей за упругостью стиха, за жестом.

Дверь распахнувши плечом,
В солнечные поляны
Выйдем.

В лицо нам пахнёт...

Ритмическая пауза после «выйдем» хорошо передаёт состояние человека, распахнувшего дверь и словно остановившегося: задохнулся от воздуха, солнечного света, запахов...

Ритмически выразительно:

Облаков сероватую сырость
Перемальвали колёса.

Юмор, ирония — хорошие помощники Е. Винокурова. Достаточно вспомнить «Первые стихи», «В малиновом шарфе...» и др. Юмор Винокурова основан на глубоко проникновении в жизнь описываемой среды. Этим же обусловлены и его меткие эпитеты («длинные сёла» — субъективная окраска, солдат устал; «медленные костры» — ощущение времени и застухания; «невеликого роста солдат» — что-то тёплое и чуть ироническое). Когда автор говорит: «любили бойцы, у важа старшина» — всякий, кто был в армии, улыбнётся и отметит: точно, ох, как точно!

У Е. Винокурова яркие, смелые, динамичные детали: «примёрзшие к винтовкам часовые», «где в небо грозное взлетают города и к сапогам ложатся пыльным шебнем», «немецкие аккордеоны рыдали рязанской тоской».

Чувствуется, что автор ищет точные, весомые слова и во многих случаях их находит.

Главное пожелание молодому поэту: не замыкаться в одной теме, расширять и углублять связи с жизнью — первоисточ-

ником истинной поэзии. И — не останавливаться!

Глубоко ошибочной кажется нам утешительная версия о том, что поэт может переходить к освоению новой темы, только исчерпав до дна свою прежнюю тему. Как-то уже так получается иногда даже у хороших поэтов, что если они во-время не воспитают в себе широты и пытливости к разным сторонам действительности, то

чем глубже они «влезают» в свою, скажем, колхозную или солдатскую тематику, тем труднее им потом из неё «вылезти», тем больше нитей с богатой и многогранной жизнью нашей они обрывают...

Поэт должен с самого начала воспитывать в себе пытливость к жизни, широту взглядов, смелое и дерзкое чувство радости открывания нового.

В. ОГНЕВ.

★

О пользе военной грамотности

Некоторые авторы, пишущие романы и повести на военные темы, считают, что им не обязательно знать военное дело, что в художественном произведении о войне не надо придерживаться положений военных уставов.

Происходит это, очевидно, не столько от желания этих авторов пренебречь военной спецификой, сколько от военной безграмотности. В современном сложном бою так много слагаемых победы и поражения — видимых и незримых, но влияющих на исход боя, — так велик хаос борьбы, кажущийся неискущённому автору непостижимым, что он либо отстраняется от главной темы, либо вносит хаос в свою книгу, либо пытается утверждать, что придерживаться боевого устава не обязательно.

К каким серьёзным неудачам приводит автора пренебрежение военными знаниями, можно проследить по книге И. Сотникова «Корсунское побоище (записки офицера)».

Содержанием книги послужили действия стрелкового полка, его командира, начальника штаба, офицеров и солдат в историческом сражении у Корсунь-Шевченковского. Автор ведёт свой рассказ от имени начальника штаба полка капитана Железнова, и есть основания считать, что Железнов выражает взгляды автора «записок офицера».

В предисловии к книге, тщательно из-

Иван Сотников. «Корсунское побоище». Записки офицера. Предисловие К. Сергеева. Редактор М. Искольдская. Новосибирское областное государственное издательство, 1951.

Ю. Стрехнин. «На поле Корсунском». Повесть. Редактор М. Алексеев. Военное издательство Военного Министерства Союза ССР, М. 1951.

данной, сказано, что книга эта «не военно-историческое исследование, а художественное произведение».

Не будем спорить с автором предисловия, но попробуем проанализировать книгу с военной точки зрения — и это нам покажет, является ли она действительно «художественным произведением».

Уже с первых страниц, где начальник штаба Железнов называет командира полка майора Шербинина «Батей», а тот его — Алексеем, читатель настораживается. Могут сказать, что так на фронте бывало. Да, так бывало, и всё же в большинстве случаев это приводило к панибратству, вредило работе, и там, где царил «батькощина», нарушалось важнейшее условие победы — единоначалие.

И. Сотников не только не осуждает панибратство, но устами своего героя капитана Железнова возводит его в добродетель: «Разделение должностных функций было у нас скорее разделением ответственности, чем работы... вмешательство одного в обязанности другого никогда не вызывало раздражения или ссор...». Такое нарушение уставных правил отомстило за себя сразу же как только полк начал действовать.

Полк спешно перебрасывается в район бсёв. Положение у Корсунь-Шевченковского крайне напряжённое. Окружённая группировка врага прорывается на запад; ей навстречу, пытаясь разбить кольцо окружения, наступают танковые войска Гитлера.

Полк должен занять оборону на ответственном направлении.

«Мы спешим с Шербининим вперёд, чтобы разведать дорогу, — рассказывает Железнов. — Слева гулко рвутся снаряды...

Дорога, по которой мы ехали, вдруг круто повернула влево... Через полкилометра стало ясно: заблудились. Щербинин выругался...— Скорей обратно! Иначе втянется сюда колонна километра на два, на три — тогда застряли. Ночью ни за что не выбраться, а днём прицельным огнём в упор расстреляет противник... Смотри,— облегчённо и вместе с тем предупреждающе произносит Щербинин,— как легко погубить людей и всё дело.

Урок запомнился надолго».

Автору кажется, что ничего особенного не произошло. А на самом деле грубо нарушены правила тактики, и герои уже в самом начале книги дискредитированы.

Опытный командир полка (автор сообщает, что Щербинин бывалый офицер) и начальник штаба вряд ли могут заблудиться в такой ответственный час, вблизи от позиций противника, когда у каждого коноводного внимание, чувство ответственности напряжены до предела. Мобилизованы весь опыт и умение водить войска.

И то, что командир полка и начальник штаба чуть не завели полк в расположение противника, свидетельствует об их военной неграмотности. При правильной организации марша со всеми необходимыми мерами обеспечения (за что в первую очередь отвечает начальник штаба) они бы не заблудились.

И хотя автор заставляет Железнова признать, что «урок запомнился надолго», урок этот впрок героям не пошёл.

«Мы с Щербининым,— продолжает свои записи Железнов,— выехали вперёд, чтобы ознакомиться с обстановкой и подготовить решение... Нас принял сам генерал (командир соседней дивизии.— М. Б.). Угостил чаем. В общих чертах ознакомил с положением».

С точки зрения неискущённого в военных вопросах читателя и автора ничего страшного не происходит: пока колонна совершает марш, командиры подготавливают решение и пьют чай. А на самом деле — вот что это значит:

Щербинина вызывает к телефону командир дивизии Виногоров.

«— Я слушаю вас,— произнёс Щербинин.

— Вы чего ж это колонну на произвол судьбы бросили?»

— Колонна в пути,— отвечает Щербинин дрогнувшим голосом.

— Что же это за командир, который бежит от войск,— опять иронизирует Виногоров.

Фраза эта Щербинину показалась особенно обидной. Он весь вспыхнул и вздрогнул. Зная характер своего командира, я слегка отстранил его, перехватив телефонную трубку. Не сопротивляясь, он отошёл к окну и зачёртыхался, нервно закуривая.

Я доложил суть дела и закончил словами, что колонна вот-вот подойдёт к нам.

— Ваша колонна движется совсем в другую сторону... и к вам не придёт. Немедленно скачите обратно... получите новую задачу».

На этом эпизоде автор должен был показать ошибочность поведения своих героев, но вместо этого он делает глубокомысленный вывод:

«Война, сколько в ней неожиданностей!»

Действительно, на войне много неожиданностей, но ничего неожиданного в данном случае не произошло.

У командира полка и начальника штаба настолько перепутались функции, что начальник штаба не только позволяет себе отстранить командира полка от телефона и продолжать разговор с командиром дивизии (который почему-то терпит это), но оба они — «Батя» и Алексей — нарушили давным-давно известные всем правила управления войсками, в результате чего и потеряли управление полком. Если бы командир дивизии доверился таким горевоякам, дивизия пошла бы в бой, не имея в своём составе целого полка, и по всей вероятности потеряла бы поражение.

Сам того не подозревая, И. Сотников показывает в неприглядном свете и самого командира дивизии, тем более, что либеральное отношение этого командира к подчинённым приводит к новым нарушениям основ тактики и к напрасным жертвам.

Полк стал на позиции. Начался бой. И сразу же противник прорвался к штабу полка, окружил командный пункт «Бати». Все офицеры штаба вынуждены вступить в бой.

Штаб готовит контратаку. «Волнение перед боем, святое волнение! Сколько раз я чувствовал его благородный огонь!» — вдохновенно произносит Железнов, и всё

это выглядит весьма героически. Но вот Железнов подводит итог: «По всему это была разведка боем», — и сразу видно, что во всём этом тяжёлом для полка деле, в гибели людей повинны командир и начальник штаба полка. Только крайне плохим руководством, неумением организовать оборону можно объяснить, почему противнику удалось без поддержки артиллерии, без танков, силами мелких подразделений так глубоко прорвать оборону полка, окружить его штаб и командный пункт. Может быть, это случайный прорыв? Нет, как свидетельствует Железнов, «уже в третий раз за эти дни бой закипел у самого командного пункта», а из последующего изложения видно, что полк не только плохо обороняется, но и плохо наступает, и командиру дивизии приходится самому ходить в роты, чтобы обеспечить их продвижение.

В таком случае, что же это за полк, именуемый в книге Сталинградским?! Зная сталинградские полки, войска, сражавшиеся у Корсунь-Шевченковского, можно с полным правом сказать, что автор даёт неверное представление об одном из этих героических полков, которые в тяжчайших условиях распутицы, снегопадов, буранов отразили контрудар крупных сил танков и пехоты, посланных Гитлером на выручку своих окружённых дивизий, и не выпустили из окружения у Корсунь-Шевченковского все десять вражеских дивизий и бригаду.

Дальнейшие действия героя книги И. Сотникова капитана Железнова вызывают ещё более сильное чувство протеста. Он не только вмешивается без надобности в функции командира полка, но неизменно афиширует: «Мы с Щербинным решили... Мы сделали...», забывая старую истину штабной службы, что решает, командует и отвечает за всё прежде всего командир, а начальник штаба выполняет его волю, готовит решение, обеспечивает выполнение решения. В Советской Армии характерными для начальника штаба чертами являются скромность, такт, умение оставаться на втором плане, что не уменьшает его ответственности и популярности в части. А начальник штаба Железнов не только вызывающе нескромен, но подчас просто роняет в глаза читателя своего командира.

Пытаясь казаться выше командира полка, Железнов в то же время забывает о том, что есть такие моменты, когда начальник штаба обязан взять на себя проведение мер обеспечения боя.

Такой мерой является организация связи в полку. Но в критический момент боя Щербинин оказывается без связи.

Такой же мерой является разведка, организуемая штабом по заданию командира полка. Но вот как Железнов её организовал в ответственном бою против дивизии СС «Викинг»:

Командир дивизии «строго и требовательно спросил, есть ли пленные. — рассказывает Железнов. — Пленных же было. Морозов (начальник разведки. — М. Б.) трижды организовывал поиск и всё неудачно... Занимаясь другим, мы с Щербинным не организовали разведку должным образом, что оказалось большой ошибкой».

Не «мы с Щербинным», а в первую очередь Железнов с начальником разведки Морозовым должны были организовать разведку. Но Железнов, видимо, этого не понимает, и когда Щербинин отчитывает начальника разведки, начальника штаба ещё и поучает командира полка:

«— Не горячись, батя: неправы больше всего мы сами, — заговорил я сдержанно и убедительно. — Один он ничего не сделает».

В результате, Щербинин лично руководит поиском «языка» на правом фланге, а Железнов с Морозовым — на левом фланге. Вылазка Железнова удалась, пленный был взят, и начальник штаба докладывает об этом командиру дивизии.

«— Сегодня решили провести два поиска разведчиков...»

— Меня не интересует, что решили. Результаты?

— Ещё не всё закончено. — сдержанно докладываю я, неизвестно к чему оттягивая радостную весть».

Действительно, «неизвестно к чему». Очевидно, это происходит потому, что капитан так и не стал военным человеком, офицером, у которого воинский долг и такт в разговоре с начальником вошли в плоть и кровь. И вполне понятно, почему командир дивизии горячится: «— Есть у вас пленные, чёрт возьми, или вы решили со всем не выполнять моих приказов?..»

«Теперь можно ответить», — решает Железнов.

Подобное поведение начальника штаба воспринимается читателем как совершенно недопустимая попытка поиграть на нервах командира дивизии.

А в это время командир полка Щербинин, вынужденный лично руководить поиском при контратаке танков противника сам становится наводчиком орудия (!?). В этом бою Щербинин серьёзно ранен. И начальник штаба, по вине которого Щербинину пришлось самому пойти в бой, встретив раненого командира, ещё и укоряет его:

«— Эх, батя, батя, — сочувственно произношу я. — Не уберёшься».

Возникает вопрос — зачем автору понадобилось показать в таком неприглядном виде офицера? Для того, чтобы молодые офицеры учились на ошибках, совершенных героем книги? Но тогда необходимо было раскрыть ошибочность поступков Железнова. Ложность позиции автора книги в том и состоит, что он не считает подобное поведение своих героев порочным.

Трудно представить себе возможность появления книги, в которой бы автор превозносил хирурга, не знающего своего дела, пренебрегающего законами медицины и калечащего своих пациентов, или инженера, не овладевшего основами техники. Но почему-то считается возможным выпустить в свет книгу, в которой всячески восхваляется поведение офицера, не знающего основ тактики и приносящего своими поступками вред полку.

И. Сотников в своей книге описал и некоторые интересные эпизоды, ему иногда удаются пейзажи войны, но он не разобрался в самой сути военных явлений, и поэтому они так искажены; поэтому искажены и образы людей, которых автор хотел показать героями.

И поэтому до самой последней главы гарцует на своём коне капитан Железнов, командуя своим спутником: «А ну, в галоп» (кстати, такой команды никогда в кавалерии не было), хотя после первой же главы его нужно было отстранить от занимаемой им должности и предать офицерскому суду чести.

Как может автор предисловия К. Сергеев считать, что эта книга «художественное произведение», если известно, что там, где искажена правда жизни, правда боя, там нет художественного произведения.

Перед нами другая книга на ту же тему. Такой же стрелковый сталинградский полк; совершает он марш к тому же полю битвы у Корсунь-Шевченковского, с той же задачей: отразить яростные атаки противника, уничтожить его окружённую группировку.

В повести Ю. Стрехнина «На поле Корсунском», как и в книге И. Сотникова, описаны действия командира полка (подполковника Бересова) и командира батальона (капитана Яковенко), офицеров и солдат полка.

В образе подполковника Бересова автор раскрывает черты советского командира, проникающего в самую суть военной тактики, глубоко понимающего природу боевых действий, характер современной войны.

Бересов не скачет подобно Щербинину впереди полка. Нет, — «глядя на карту, Бересов мысленно (разрядка моя. — М. Б.) шёл вперёд, вместе с головным отрядом своего полка».

Он остался в штабе, даже послушал радиопередачи из Москвы, но в это же время: «...шагал вместе с первым батальоном. Опережая батальон, переводя взгляд дальше по чёрной линии, обозначающей дорогу, Бересов спешил догнать разведчиков. Вот этот поворот дороги они, судя по времени, уже миновали. Затем, скользя по обледенелому скату, разведчики спустились в овраг и перешли ручей — нет, не по этому мостику, за которым возможно следит противник, а прямо по льду ручейка».

Задумчиво и внимательно глядя на карту, Бересов представлял себе всё изображённое на ней, видел поля, кусты, под которыми притаился враг, улицы села.

«Монотонно тикали на стене пёстрые деревенские ходики, отпуская время по строго размеренной своей мерке. Где-то далеко, по безлюдным улицам Комаровки, шли сейчас посланные им разведчики. И вместе с ними, склонившись над картой, отягощённый своей большой командирской заботой, мысленно шагал командир полка».

Очень хорошо показывает Ю. Стрехнин, как Бересов строит своё руководство на органическом единстве своих тактических взглядов и взглядов и действий подчинённых, на глубоком взаимопонимании, на единстве воли и едином стремлении к цели.

Бересов оказывает разведчикам огромное доверие, верит в их силы и умение, в то, что они, им обученные и воспитанные, будут действовать именно так, как действовал бы он сам, что «они идут тем путём, который им указал командир полка». И насколько ясно должен был понимать Бересов тактическую обстановку, чтобы, ставя разведчикам задачу по карте, он мог безошибочно указать им путь предостеречь от возможных опасностей, и потребовать добыть именно те сведения о противнике, которые нужны полку, дивизии, армии.

В бою Бересов всегда находится среди своих солдат, но он не подменяет всех и всюду, как это делает Щербинин в книге И. Сотникова. И читатель верит, что Бересов, не в пример Щербинину, не заблудится, не поведёт свой полк к расположению противника, под его огонь в упор. Бересов не бросит, подобно Щербинину, свой полк без управления и не услышит упрёков за это от командира дивизии, потому что, живя интересами полка, он думает и о задачах дивизии. Бересова трудно застать врасплох, он не будет сокрушаться подобно Железнову: «война, сколько в ней неожиданностей», потому что он обладает способностью и умением предвидеть неожиданности, возникающие в условиях фронта.

Эти важнейшие черты советского командира правильно раскрывает Ю. Стрехнин в образе подполковника Бересова.

Капитан Яковенко в книге Ю. Стрехнина напоминает отчасти капитана Железнова из книги «Курсунское побоище» своим чрезмерным самомнением, гипертрофированным честолюбием. В погоне за славой, переоценив свои возможности, Яковенко преждевременно дошёл командир полка, что батальон занял окрестную атакуемого села. Однако он села не достиг, и батальон понёс напрасные потери.

Но Яковенко тактический грамотный, боевой командир батальона; не в пример Железнову, даже не отдававшему себе отчёта в своих поступках, он сознаёт свою вину и, стремясь её заглавить, просит командира полка дать ему возможность исправить ошибку: «— Я село обратно возьму. Я себя оправдаю... Бедь тогда я был уверен, что ворвусь...».

И слышит в ответ:

«— Не якай!. Один не возьмёшь...»

Автор показывает, что Советская Армия;

развивая инициативу, самостоятельность молодых офицеров, одновременно учит их добиваться победы объединёнными усилиями.

Кстати, «Бересов почти всем своим подчинённым говорил «ты». Но никто в полку не обижался на него за это... Его любили и уважали. А если и побаивались, то так, как побаиваются строгатого, но доброго отца... Подчинённые Бересова старались безукоризненно выполнять свои обязанности, не только потому, что это, прежде всего, являлось их долгом, но ещё потому, что они не хотели бы огорчать Бересова».

Яковенко не хочет верить, что его, такого смелого и удачливого командира, могут отстранить от командования батальоном. Недолечившись в госпитале, он возвращается в полк и просит Бересова:

«— Товарищ подполковник! Разрешите командовать. Оправдаю. А если не верите,— позвольте командиром взвода в бой пойти или хотя рядовым!»

И слышит беспощадный ответ:

«— В батальон не пойдёшь. И рядовым ты мне не нужен... Неудачу я всегда простить могу. Ошибку — прошу. Обман — никогда».

В этой неумолимости Бересова — глупая правда.

Офицер Яковенко обманывал командира не злонамеренно. Он стремился раньше других выполнить боевую задачу, при этом переоценил свои силы, принял желаемое за действительное, он обманывал, но ставил себе цели обмануть. Но его проступок стоил крови и жизни солдатам и офицерам, и он должен был понести наказание.

Автор не пытается оправдать своего героя, как это делает И. Сотников, а очень убедительно раскрывает недостатки Яковенко, ошибочность его поступка.

Бересов не оставляет Яковенко в своём полку, но судьба бывшего комбата волнуёт подполковника и он помогает ему получить назначение в другой полк, где Яковенко снова храбро сражается.

Автор показывает, что воспитанием Яковенко занимается не только командир полка, но и замполит Бобылев, чуткий коммунист, и другие его товарищи-однополчане.

В повести Ю. Стрехнина раскрыто значение исторической битвы. Автору удалось

показать, что судьба боя решалась усилиями огромных масс артиллерии, танков, пехоты, конницы, участвовавших в сражении у Корсунь-Шевченковского. В книге верно изображены батальные картины, правдиво показано поведение человека в бою.

Видимо, небольшой размер повести при обилии действующих лиц и событий определил некоторую эскизность в изображении отдельных образов и эпизодов. Но основная творческая задача автором решена.

Писать детально о конкретном сражении гораздо труднее, чем о военном сражении вообще. И поэтому правдивое изображение поведения человека на войне в некоторых книгах подменено внешним правдоподобием, где всё как будто есть, всё на месте, а читатели, особенно миллионы участников войны, чувствуют фальшь.

Ю. Стрехнин хорошо знает правду боя и написал о ней искренне и верно.

М. БРАГИН.

★

Дети Алтая

Внизу, в долинах — лето. Здесь, за перевалами Алтайских гор — уже зима. Уже завыл северный ветер Хиус и засыпает сухим жёстким снегом неуспевшие созреть травы. Но богат этот суровый край. Богат лесами, зверем, птицей. плодородной землёй, прекрасными пастбищами. И на его богатства всегда находились охотники: западномонгольские ханы, купцы русских царей. Приходили, грабили и уходили, разбогатеv.

А хозяева этих богатств всё кочевали со своими стадами, всё так же спали, завернувшись в шкуры, задыхались от дыма, пока горел костёр, мёрзли, когда он гас к утру.

...Так было триста, сто, пятьдесят лет назад. И ничего не менялось. Так было тридцать пять лет тому назад. Так жили прадеды, и деды, и отец, и мать старой бабушки Тарынчак. Так жила и сама бабушка Тарынчак первую половину своей жизни. Но как не похожа эта жизнь на судьбу её внучки пионерки Чечек — героини книги «Алтайская повесть».

Разителен контраст между настоящим и прошлым. Юные герои книги знакомятся с этим прошлым по музейным экспонатам краеведческого музея, по воспоминаниям близких. Героиня повести алтайская девочка Чечек встречается со следами этого прошлого у своей бабушки, живущей выско в горах, в аиле. Плохо жить в старом аиле, но старушка упрямится, не переходит в избу. Трудно старому человеку покинуть

родное гнездо, как бы убого оно ни было. Трудно от многого отвыкнуть, и нет-нет, ксясь на насмешливую внучку, бабушка всё-таки подкормит старого глиняного божка молочком. В глубине души она уже давно не верит в него. Но ведь так верила когда-то! «Много мыться будешь, — предупреждает старуха Чечек, — счастье своё смоешь». И тут же сама думает: «Мы вало встарину боялись умываться, боялись счастье смыть. А где оно было, счастье? Его не было...»

Не так просто старой алтайской женщине, выросшей в темноте, с детства убеждённой в беспомощности человека, сразу перейти из одного мира в другой, из одной эпохи в другую. И, как бы убедительно и чудесно ни было то, что она видит своими глазами, медленно отыскивает верное русло не привыкшая к движению мысль, нерешительно расправляется смятая душа.

Вот Чечек возвращается домой с дедом — инспектором табунов. Вдруг мрачнеет его лицо, и он гонит коня в ту сторону, откуда доносится непонятный шум. Толпа вокруг беснующегося шамана. Неужели они ещё существуют? Нет. Это инсценировка — съёмка кинокартины о старом Алтае. Но, глядя в лицо деда, старого коммуниста, девочка понимает, что шаманы были ещё совсем недавно и что он, её дед, боролся с ними.

«Встречи» с прошлым помогают героям книги глубже понять и сильнее оценить настоящее.

В своей книге Л. Воронкова даёт возможность читателям снова осознать, почувствовать, как изменили советские люди

жизнь даже самых отдалённых уголков нашей Родины. Вместе с девочкой Чечек читатель как бы живёт в новом, свободном, счастливом Алтае. И так же, как Чечек и её друзья, он воспринимает свободную и счастливую жизнь ранее угнетённого народа, окружающий героев книги светлый мир больших и радостных чувств как нечто вполне естественное и закономерное.

В книге видно, как растут советские дети и как готовят они себя для будущего. Не всё даётся легко юным героям книги Л. Воронковой. Пионеры решают посадить возле школы яблони (до сих пор ещё никогда в этих краях яблони не росли). И вот саженцы, которые с таким трудом привезены в половодье, замёрзли. Но стремление осуществить свою мечту о саде так велико, что пионеры снова едут за саженцами и снова сажают их, оберегая от ледяного ветра. Косте Кандыкову не хочется сидеть в лесу и ухаживать за кроликами — он очень любит сад. Но только ему — самому надёжному — можно доверить кроликов, которых впервые стали разводить в школе. И мальчик, скупая о саде, сердито косит траву и кормит своих ненасытных питомцев.

Нелегко приходится и Чечек. Своенравная, живая, непосредственная, она легко меняет своё настроение: то плачет, то упрямится, то отмалчивается. Умно, бережно и заботливо воспитывают девочку и взрослые и товарищи. Её не сразу принимают в пионеры, но когда, наконец, принимают, это превращается в большой, настоящий праздник. Девочка переживает его глубоко и сознательно. К концу книги Чечек уже совсем другая. Мы расстаёмся с ней на пороге её юности. Уже выбрано любимое дело, уже пришла первая любовь. И в этой любви мы тоже видим черты нового. Чечек уважает Костю, ценит его, понимает, как много дала ей его дружба. Её с Костей связывает общая мечта: они вместе будут сажать сады на Алтае. И когда Костя уезжает в город учиться, Чечек старается мужественно перенести разлуку.

Читателя волнует судьба героев книги, потому что они показаны в движении, в борьбе с трудностями, показаны активно действующими. Они полны любовью к окружающей их природе, стремлением сде-

лать её ещё лучше, ещё краше. Эти чувства вносят в их поступки подлинную романтичность. Мы ярко представляем себе суровую красоту Алтая, острые запахи незнакомых нам до сих пор цветов. И это представление реально и сильно, потому что оно приходит не от авторских описаний, а его передают нам герои вместе со своими переживаниями и настроениями. И поэтому мы зябко поводим плечами, когда автор описывает вой северного ветра Хиуса. Или когда читаем о том, как ожила яблоня, то почти на ощупь чувствуем её клейкие первые листья. Это происходит потому, что мы увидели её глазами героев книги, вместе с ними испытали тревогу — привьются ли яблони, и вместе с ними радуемся, когда узнаём, что яблони действительно ожили и привились.

Но жаль, что в книге Воронковой мы познакомились сравнительно с небольшим числом людей. Из ребят мы, в сущности, знаем хорошо только Костю и Чечек. Остальные герои не живут в книге на всём её протяжении, а появляются от случая к случаю, так сказать, на подмогу главным. И все вопросы о дружбе, долге, честности, упорстве им приходится решать только в отношении Чечек. А необходимо отметить, что автор несколько пристрастен к своей героине. Поэтому решение этих вопросов не всегда достаточно объективно и, в сущности, предreshено заранее. Вообще, образ Чечек представляется нам спорным. Думается, что в своём стремлении создать образ яркий, своеобразный, Л. Воронкова несколько погрешила против истины. И если будущее девочки мы представляем себе хорошо, то прошлое её для нас не так ясно. Ведь Чечек кончила начальную школу, почему же она до такой степени не представляет себе элементарных школьных требований? Из описаний её родного посёлка мы видим, что там уже давно — новая жизнь, насыщенная и богатая, и сами люди стали новыми. Откуда же эта не свойственная современной советской школьнице диковатость, которая характерна для Чечек? Если бы автор показал, что упрямство, своеобразие — её индивидуальные черты, было бы вполне естественно. Поняли бы мы и то, почему Чечек ещё не пионерка и почему в новой школе приходится продолжать борьбу за воспитание её характера. Тогда бы и при-

ём Чечек в пионерскую организацию произвёл ещё большее впечатление. Но Л. Воронкова, видимо, опасаясь лишиться Чечек симпатий читателя, предпочитает объяснить её недостатки тем, что в начальной школе, где прежде училась Чечек, её повезло с вожатым и пионерская организация работала плохо.

Несомненно, рассказ о том, как налаживается пионерская жизнь в далёкой алтайской школе, о трудностях в её работе, об образе вожатого в этой школе мог бы стать темой книги. Но Воронкова не ставила перед собой этой задачи и посвятила «Алтайскую повесть» рассказу об уже сформировавшейся, хорошей пионерской дружине, крепко ставшей на ноги, и главное — о воспитании индивидуального трудного характера. Поэтому не следовало так поверхностно касаться этой темы. Возникает тревога за тех ребят, которые остались в школе, где училась Чечек, недоумение — почему в передовом селении так не налажена жизнь ребят, почему начальная школа выпускает таких недисциплинированных ребят, как Чечек, которая даже не знает, что списать сочинение и выдать его за своё, — нехорошо.

Жаль также, что чрезмерное увлечение образом Чечек помешало писательнице изобразить более глубоко другого героя — Костю Кандыкова. Думается, что он должен был по праву стать центральным героем «Алтайской повести». В нём правдиво намечены черты долгожданного героя нашей детской литературы — пионерского вожака. Воронковой удалось показать, как в самых повседневных событиях школьной и пионерской жизни, в отношениях с людьми, в мечтах о будущем Костя ведёт себя как настоящий пионер. И, право же, порой жаль, когда автор, увлечшись обаятельной, но взбалмошной и не до конца понятной Чечек, надолго нас разлучает с интересным, умным и живым Костём.

Художественно слабым и нераскрытым в книге оказался образ алтайского учёного-мичуринца М. Лисовенко. В глазах ал-

тайских школьников М. Лисовенко гораздо более романтичен, чем в описаниях Л. Воронковой: это мудрый волшебник, хозяин сказки, который знает очень много тайн и замечателен тем, что щедро отдаёт эти тайны другим.

Неправдоподобной кажется инсценировка «Арапа Петра Великого» на школьной сцене. Трудно представить, чтобы школьники могли собственными силами переделать это произведение в пьесу. Инсценировка романа или повести трудна даже для профессионального театра. Превратить же «Арапа Петра Великого» в пьесу было бы нелегко даже крупным специалистам в области драматургии и театра. Стоит ли наталкивать юных читателей на мысль о возможности столь смелого обращения с сокровищами литературы?

Подробно описывая природу и быт Алтая, писательница допустила целый ряд ошибок, неточностей, отмеченных кандидатом наук В. В. Обручевым. Так, например, неправильно использовано название «тайга» в тех случаях, где речь идёт о лиственном лесу. Географические названия, встречающиеся в повести, не всегда соответствуют названиям государственной миллионной карты. Опытная станция на Алтае носит имя не М. А. Лисовенко, а И. В. Мичурина. Неточно названы высоты перевалов и описанная на них автором растительность. Также не всегда правильно переведены на русский язык встречающиеся в книге алтайские слова. Некоторые другие фактические ошибки автора справедливо отмечены в недавней рецензии «Алтайской правды»

Своевременные советы учёных-географов несомненно помогли бы Л. Воронковой. Специалисты учёные подсказали бы автору много такого, что увеличило бы и познавательную и художественную ценность книги. А книга — талантливая, нужная, искренняя. Она пробудит у юных читателей живой интерес к Алтаю и горячую любовь к людям, которые живут в этом крае.

Е. УСПЕНСКАЯ.

Незавершённый труд

В предисловии к курсу лекций по западноевропейской литературе XIX века В. Ивашёвой сказано: «После широкого обсуждения публикуемый курс лекций будет издан в качестве учебника...»

Потребность в издании подобного рода давно назрела. Существующие курсы и учебные пособия по зарубежной литературе (П. Когана и др.), изданные ещё до войны, не дают правильного, научного освещения литературных явлений.

Курс лекций В. Ивашёвой — первая за последние годы попытка подытожить те значительные достижения, которых добилось советское литературоведение в области изучения зарубежных литератур. Автором собран большой материал. Обстоятельно характеризуется национальная историческая почва, на которой развивалась литература Англии, Франции и Германии (с 1789 по 1848 г.). Высказывания классиков марксизма-ленинизма, положенные в основу этой характеристики, позволяют ясно представить расстановку классовых сил и особенности социальной борьбы в изучаемую эпоху.

В XIX веке впервые как самостоятельная сила выступает на историческую сцену пролетариат.

Известно, что буржуазные идеологи стараются всячески принизить роль пролетариата в социальной борьбе XIX века, а буржуазные литературоведы при изложении историй западноевропейских литератур XIX века полностью игнорируют эту роль.

И. В. Сталин в беседе с английским писателем Г. Уэллсом указал на историческую роль чартизма для Англии XIX века. Товарищ Сталин показал, что автор «Машины времени» не прав, утверждая, будто чартисты «исчезли бесследно».

Автор курса лекций правильно подчёркивает:

«Рабочее движение в своём подъёме не могло не оказать влияния даже на тех писателей, которые субъективно были далеки от сочувствия ему... Более того, именно это движение можно считать той общественной основой, на которой строится

В. Ивашёва. «История западноевропейской литературы XIX века», курс лекций. Ответственный редактор проф. Р. Самарин. Книга 1, 1950; книга 2, 1951; книга 3, 1951. Издательство Московского университета.

критицизм реалистов 30—40-х годов, общественным источником критического реализма XIX века».

Достоинством курса лекций является широкое использование автором высказываний передовой русской критики от Белинского до Горького. В. Ивашёва при этом не просто привлекает соответствующие цитаты, а показывает огромное превосходство русской революционно-демократической критической мысли над современным ей западноевропейским буржуазным литературоведением. Высказывания В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, оценки передовых русских писателей, начиная с Пушкина, помогают наметить правильные ориентиры при рассмотрении сложнейших явлений литературной борьбы во Франции, Англии и других странах Запада.

Однако большая работа, проделанная автором по отбору материала, не привела к созданию полноценного учебного пособия.

Серьёзнейшим недостатком рецензируемого курса лекций является прежде всего то, что у автора отсутствует стройная научная концепция историко-литературного процесса в странах Западной Европы.

Характеристики отдельных авторов не связаны между собой, теоретические введения не всегда согласованы с конкретными характеристиками, идейно-художественный анализ в ряде мест подменён произвольным антиисторическим толкованием; автор не раз противоречит сам себе, а отдельные выпуски (изданные в разное время) обнаруживают разный подход к оценке одних и тех же литературных явлений.

Первый выпуск (посвящённый творчеству французских и английских реалистов XIX века) открывается большой вводной главой.

Читатель ожидает, что именно здесь будут поставлены и решены важнейшие теоретические вопросы, связанные с развитием реализма на Западе.

В. Ивашёва пытается охарактеризовать три этапа в развитии реализма — реализм Возрождения, Просвещения и критический реализм XIX века, который она называет «буржуазным реализмом». Этот термин дезориентирует читателя, мешает ему пра-

вильно оценить антибуржуазную направленность творчества выдающихся критических реалистов XIX века.

Антиисторична характеристика, которую даёт В. Ивашёва литературе Просвещения. Творчество передовых писателей XVIII века почему-то оценивается с точки зрения тех задач, которые выдвинуло демократическое движение в XIX веке и которых, конечно, не могли решать писатели, выступавшие до первой буржуазной революции во Франции.

«Нельзя забывать,— писал В. И. Ленин,— что в ту пору, когда писали просветители XVIII века... все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародыщевом состоянии»¹.

В. Ивашёва не вскрывает этого своеобразия просветительской идеологии в эпоху, когда буржуазия ещё выступала как революционная сила. Не пытаясь объяснить, почему именно в литературе Просвещения был возможен положительный герой (хотя и глубоко противоречивый), а критические реалисты XIX века на Западе утратили способность к его созданию, В. Ивашёва огульно объявляет положительные образы в литературе XVIII века «ходульными», хотя известно, что, например, образ Тома Джонса у Фильдинга, образ Фигаро у Бомарше и Фауста Гёте заслуживают иной характеристики. Любопытно, что в третьем выпуске, противопоставляя Просвещение романтизму, автор даёт иную оценку идеологии просветителей. Но читатель не знает, какому выпуску верить.

По существу, В. Ивашёва не раскрывает исторического своеобразия ни одного из этапов реализма.

Не даётся убедительной характеристики и критическому реализму. Так, автор заявляет: «Центральной проблемой реализма XIX века с этого периода становится социальная действительность». Естественно возникает вопрос: а разве, к примеру, Шекспир или Дидро не изображали социальную действительность?

Объявив критический реализм вершиной «буржуазного» реализма, В. Ивашёва в конкретной характеристике творчества Стен-

даля, Бальзака и других реалистов правильно показывает ограниченность этого реализма. Но, вскрывая черты ограниченности, автор временами снова, как и при оценке Просвещения, теряет историческую почву.

Так, характеризуя творчество Стендаля, автор относит его к первому этапу развития французского реализма (это деление на три этапа довольно условно и малоубедительно), указывая, что «мировоззрение Стендаля оформилось в годы Империи», и называя его «наследником якобинской идеологии».

Но при характеристике связи Стендаля с демократическим движением эпохи В. Ивашёва обрушивается на писателя за то, что он интересовался демократическим движением в Италии, а не во Франции. Она упрекает писателя также в том, что в «Пармской обители» он не изобразил борьбу революционного пролетариата. Автору должно быть известно, что Стендаль не совсем по своей вине вынужден был долгие годы жить в Италии и, следовательно, обращаться к итальянской тематике, и что о рабочем движении в Италии в это время говорить рано. Критикуя Стендаля за то, чего у него нет, автор курса лекций не показал достоинств его творчества. Известно, что освободительная борьба итальянского народа оказала огромное влияние на мировоззрение и творчество французского реалиста, как десятилетием раньше она оказала влияние на Байрона. Но В. Ивашёва почему-то не нашла места для анализа «Ванина Ваннини» с её ярким образом карбонария Миссирилли, а при разборе «Пармской обители» даже не упомянула бунтаря Палла Ферранте, фигура которого произвела такое большое впечатление на Бальзака.

Нечёткость позиции автора в первом выпуске становится ощутимой, когда этот выпуск перечитываешь после третьего, посвящённого литературе романтизма. У читателя создаётся впечатление, что великие реалисты XIX века — Стендаль, Бальзак, Диккенс — значительно уступают прогрессивным романтикам по глубине воспроизведения действительности.

Так обнаруживается коренная ошибка автора: реализм как метод и направление не занял того места, какое он должен занять в историко-литературном курсе.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 2 стр. 473.

Путиницу довершает распределение писателей по трём большим группам: романтики, революционные поэты и реалисты. А разве романтики не могут быть революционными и разве многие революционные поэты не являются реалистами? Почему Шелли значится среди романтиков, а Гейне — среди революционных поэтов? Почему Беранже не включён в число реалистов? Как можно представить литературный процесс в Англии в целом, если Байрон, Эрнст Джонс и Диккенс разложены по разным полочкам и рассматриваются вне связи друг с другом?

Редакция в предисловии ссылается на старую программу курса для филологических факультетов и обещает, что «при объединении выпусков в учебник материал будет размещён иначе».

Но наивно было бы думать, что механически, только путём перевёрстки, можно будет правильно воссоздать сложную и противоречивую картину литературной борьбы в каждой стране.

Разбивка материала по направлениям приводит иногда к искажению историко-литературного процесса. В разделе третьей книги, посвящённом немецкой литературе, автор считает себя обязанным подробно разбирать только явления романтизма и поэтому скороговоркой бросает несколько фраз о Гёте и других писателях, не принадлежавших к романтическому лагерю.

Правда, автор предпринимает попытку дать общую характеристику немецкой литературы 90-х годов XVIII века, но здесь он снова утрачивает исторические критерии: у читателя создаётся впечатление, что немецкую демократию одиноко представляет Жан-Поль Рихтер.

Имена немецких якобинцев Форстера и Зейме при этом не упоминаются, а роль Гёте неоправданно принижена. О нём и Шиллере сказано, что они «пытались скрыться от феодально-католической реакции в цитадели веймарского классицизма». Автор забывает, что современник Жан-Поля — Гёте именно в последние годы XVIII века создавал первую часть трагедии «Фауст», о которой автором учебника мимоходом брошена фраза, что она «насыщена пафосом борьбы против феодального застоя».

При характеристике немецкой революци-

онной поэзии 40-х годов не раскрыта руководящая роль К. Маркса и Ф. Энгельса в её развитии. Не проанализированы автором и важнейшие конкретные выступления основоположников марксизма по вопросам литературы. Автор курса лекций пишет, что стихи Фрейлиграта были подвергнуты Энгельсом критике «за легковесность их идейного содержания». У Энгельса речь шла, как известно, о борьбе против идей «исгнившего социализма», и одновременно Энгельс направлял творческую мысль Фрейлиграта. Это был образец партийного руководства литературой, а не просто критика за «легковесность». И, конечно, автору не следовало бы путать «Рейнскую газету» с «Новой Рейнской газетой».

Деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса, их роли в развитии немецкой революционной поэзии следовало посвятить отдельную обстоятельную главу.

Крупным недостатком курса лекций является и то, что В. Ивашёва рассматривает историю литературы почти исключительно как историю общественной мысли. Читая десятки страниц, посвящённых тем или иным писателям, можно подумать, что речь идёт о публицистах и ораторах, в лучшем случае — очеркистах, а не о творцах художественных образов. Многие писатели отличаются в курсе лекций только тематикой и степенью понимания тех или иных сторон буржуазной действительности. Автор, как правило, не ставит перед собой задачи раскрыть своеобразие художественного метода, показать особенности стиля и — в меру возможностей, предоставляемых переводным текстом, — языка писателя. Автор чаще всего ограничивается разбором эстетических взглядов писателя. Нечёткость в характеристике метода писателя приводит к тому, что читатель больше узнаёт о вкусах и взглядах писателя, чем о своеобразии его творчества. Например, автор упорно подчёркивает классицистические симпатии Байрона, вместо того, чтобы ярче раскрыть своеобразие его романтизма.

А. М. Горький неоднократно обращал внимание на художественное мастерство выдающихся западноевропейских писателей, особенно французских реалистов. Читатель курса лекций не получает представления об этом мастерстве. Прочитав 33 страницы о Стендале, он так

и не поймёт, почему Л. Н. Толстой восхищался описанием битвы при Ватерлоо в «Пармской обители»; он не узнает, почему Мериме считается мастером новеллы.

В. Ивашёва приводит высказывание В. Г. Белинского о художественном мастерстве Бальзака, но не раскрывает этой оценки на конкретных примерах. А высказывание А. М. Горького о мастерстве изображения характеров в «Шагренево́й коже» Бальзака совсем не приводится.

Пренебрежение эстетической стороной литературы, неумение анализировать литературные явления в единстве содержания и формы приводит во многих случаях к упрощенчеству, штампам, подмене анализа общими фразами.

Это относится к характеристике как прогрессивных, так и реакционных явлений литературы. Полезно при этом вспомнить, что К. Маркс даже в своих отрицательных характеристиках (например, Шатобриана) умел с необычайной выразительностью вскрывать черты, свойственные именно данному литературному явлению.

Дают о себе знать в курсе лекций и серьёзные недостатки стиля. Изложение излишне многословно, бесчисленны повторения (цитат, мыслей и даже отдельных формулировок). В тексте много штампованных выражений: «чёрнейшая реакция», «убийственная характеристика», «пламенный протест», «ярый противник» и т. п. Есть неряшливые фразы: «Обладая несомненной одарённостью...»; «Эта должность со временем превратилась в своеобразный уход писателя от действительности» и т. д.

Пересказы нередко бледны и маловыразительны. Весьма обильно приводятся цитаты для характеристики эпохи и оценки творчества писателей, автор недостаточно использует художественные тексты, не насыщает изложение образными выражениями данного писателя.

Большая работа автора, его добросовестные усилия не привели, к сожалению, к созданию подлинно научного курса лекций по истории западноевропейской литературы XIX века.

С. ТУРАЕВ.

★

Политика и наука

Путь английского интеллигента

В течение некоторого времени в Москве выходила на русском языке газета «Британский союзник», представлявшая собой пропагандистский орган правительства Великобритании. При зарождении газета декларировала свои намерения давать объективную картину жизни английского народа и отражать то чувство дружбы, с каким народы Великобритании относятся к Советскому Союзу, спасшему их родину от фашистского нашествия.

Практика «Британского союзника», к сожалению, резко отличалась от его возвышенных деклараций. От номера к номеру информация и статьи этого органа делались всё более недостоверными, переходя постепенно в прямую ложь и антисоветскую клевету. Читатели отворачивались от этого странного «союзника» с насмешкой и презрением. В конце концов газета тихо

skonчалась, забытая читателями, потерпев моральный и материальный крах.

За год с лишним до этого позорного финала газету покинул её редактор, старый английский журналист Арчибалд Джонстон. Немного позже так же поступил сотрудник «Британского союзника» Роберт Даглиш. Примерно в это же время руководитель агентства Рейтер в Берлине Джон Пит заявил, что порывает с западной прессой. Все эти журналисты сочли для себя невозможной дальнейшую работу в капиталистической печати, которая служит империалистской антинародной политике империалистических держав, ведущей к развязыванию новой мировой войны.

А. Джонстон в книге «Во имя мира», рассказывая о своём жизненном пути, делит его на три периода. Первый период обнимает полвека жизни в Англии, второй — два года работы в «Британском союзнике», третий начался 20 апреля 1949 года, когда Арчибалд Джонстон «оставил свой кабинет в отделе печати британского

Арчибалд Джонстон. «Во имя мира». Редактор Г. М. Беспалов. Перевод с английского. Издание «Литературной газеты», № 1952.

посольства на улице Калинина в Москве и покинул то, что было в сущности частью экстерриториальной британской территории. Я, — рассказывает в своей книге Джонстон, — написал письмо в «Правду», в котором изложил причины, побудившие меня принять такое решение, и заявил о своём желании посвятить все свои силы делу мира».

Так в возрасте пятидесяти двух лет произошло второе рождение Арчибальда Джонстона. Последующие события подтвердили правильность его поступка. Автор называет эти события: фактическое поражение Западной Европы Соединёнными Штатами, прогрессирующие темпы вооружения милитаристского блока, вторжение американцев в Корею, использование гитлеровских военных преступников, распространение во всём мире американских военных баз и пр. Сейчас автор мог бы прибавить к этому списку злодеяний ещё одно преступление американской реакции: применение гнусных методов бактериологической войны.

Всё, что совершается в мире, укрепляет в Джонстоне решимость отдать свои силы международному движению за мир. «И меня, — пишет он, — больше не останавливает соображение, которое слишком долго казалось мне существенным, что «один в поле не воин»

Небольшая книга А. Джонстона ценна как искренняя, волнующая автобиография английского интеллигента, нашедшего в себе силы на склоне лет совершить коренной перелом своей жизни во имя благородной цели борьбы за мир.

Но значимость книги не только в этом. Автор вращался в кругу дипломатов в течение двух лет. «Эти два года, — пишет он, — хотя и лишили меня многих прежних иллюзий, зато обогатили ценным опытом». Джонстон хорошо изучил этот мир. Он узнал тайные пружины антисоветских интриг, «политику негласной войны против Советского Союза». Его наблюдательный глаз и свойственное ему чувство справедливости помогли создать правдивую картину быта и нравов поджигателей войны, орудующих в дипломатическом ведомстве некоторых держав. Он использует свою широкую осведомлённость для их разоблачения.

Вся жизнь Джонстона протекла в капиталистической прессе. Он даёт этой прессе

уничтожающую характеристику. Газеты, в которых он работал, одна за другой проглатывались трестами. Этот процесс монополизации печати привёл к тому, что большая часть газет, издаваемых в Англии, является собственностью пяти групп миллионеров и с лакейской покорностью обслуживает их интересы. «Это мрачная иллюстрация к тому, — пишет Джонстон, — как маленькая сплочённая кучка жадных до власти дельцов всё настойчивей душит мою родину».

Сосредоточение богатства и власти в руках монополистических групп сказалось и на судьбе некогда прогрессивной газеты «Иьюс кроникл», где одно время работал Арчибальд Джонстон. На его глазах совершался процесс перерождения газеты. Она линяла, теряла своё прогрессивное опережение и сейчас представляет собой заурядный клеветнический антисоветский листок, рабозлобно пресмыкающийся перед фабрикантами вооружения. Автор вспоминает, что одним из основателей газеты был Чарльз Диккенс, чей бюст доныне стоит в здании редакции.

«Я, кажется, вижу, — пишет Джонстон, — как слёзы стыда струятся по мраморным щекам этого первого редактора — вами и мною любимого Чарльза Диккенса».

Описанию гангстерских нравов продажной капиталистической печати посвящено в книге Джонстона много горьких и жёлчных страниц. Но ещё более мрачными и отталкивающими выглядят картины деятельности некоторых представителей дипломатического мира. Тут страницы книги Арчибальда Джонстона достигают временами силы памфлета. Между тем автор нигде не сгущает красок и придерживается документально точного изображения действительности.

Чего стоит, например, отвратительная фигура Хью Брукинга, который, будучи в Москве, заявил во всеуслышание на завтраке в одном посольстве:

«— ...Что до самих русских, так атомная бомба слишком хороша для них. Я бы им всем с радостью глотки перерезал — и мужчинам, и женщинам.

— И детям? — спросил я, стараясь говорить как можно спокойнее.

— И детям, — был ответ».

При этом автор отмечает, что в центре антисоветской деятельности дипломатиче-

ского мира в Москве стояло не английское посольство: его перешеголяло другое иностранное представительство. «Эта «почётная» роль, — пишет А. Джонстон, — бесспорно, принадлежит посольству США».

Из своих наблюдений автор вынес впечатление, что американские дипломаты побили своеобразный рекорд цинизма.

«До знакомства с американскими дипломатами в Москве, — пишет Джонстон, — мне не приходилось сталкиваться с людьми, у которых практически совершенно отсутствовало бы чувство стыда. Такие заявления, как «когда придёт время «делить добычу», я хотел бы отхватить себе место директора Днепрогэса...», в американском посольстве стали в порядке вещей».

Арчибальд Джонстон даёт выразительный портрет одного из наёмных антисоветских клеветников, «лающей шавки», по его классификации. Это некто Булмер, который провёл на дипломатической службе в Москве восемь лет. Этот, с позволения сказать, «дипломат», который, по свидетельству Джонстона, «часто удивлялся колоссальным достижениям Советского Союза, например, в области автотранспорта и оборудования для строительства домов» и «был прекрасно осведомлён обо всех снижениях цен, проводившихся в Советском Союзе», возвратившись в 1949 году в Англию, выступил в бульварной газете «Санди пикториэл» с серией клеветнических статей против СССР. Собственно, писал-то их даже и не он. Джонстон убедительно доказывает, что статьи были сфабрикованы в недрах Форин офис (министерство иностранных дел) и редакции «Санди пикториэл», а Булмер только скрепил эту грязную ложь своим именем. Джонстон называет и цену этой подлости:

«У миллионеров шакальей породы палладь ценится на вес золота. Гонорар, полученный Стэнли Булмером за статьи, которых он даже и не писал, равняется полугодовой заработной плате честного железнодорожного рабочего... в Соединённых Штатах цены на клевету ещё выше...» На этом, собственно, и закончилась журналистская карьера клеветника, ибо «безмоторные баржи вроде Стэнли Булмера не находят больше спроса на рынке, после того, как первый рейс лишил их очарования незинности».

В некоторых случаях язвительная ирония

Арчибальда Джонстона возвышается до сатирической силы. Например, вот как он характеризует ничтожество лейбористского лидера Эттли: «...Я не могу представить себе безумца, страдающего манией величия, который бы вообразил себя Клементом Эттли». Отмечая низкий прожиточный уровень в Англии, автор пишет: «Я «удерживался» на этой работе (в газете «Дейли скетч») в течение пяти лет. Выражение «удерживаться на работе» пришло к нам из Америки, и в основе его лежит аналогия с положением ковбоя, удерживающегося на спине полудикой лошади. Но обычно в мире «свободного предпринимательства» не человек удерживает работу, а работа удерживает человека».

На юморе Арчибальда Джонстона лежит налёт мрачности. Современная британская действительность сообщает ему этот оттенок.

Пристрастный подбор фактов, выпячивание одних и замазывание других, систематическое искажение истины, замалчивание правды — таковы привычные приёмы работы капиталистической печати.

Когда один из редакторов «Британского союзника», Хорест Уайт, написал книгу, где допустил критику (весьма снисходительную) реакционной политики этого органа, то британское правительство не разрешило выход этой книги в свет, несмотря на собственные кичливые декламации о «свободе печати».

«Я хотел бы, — с негодованием восклицает Джонстон, — чтобы каждый честный англичанин и житель других стран Западной Европы с отвращением и гневом отнёсся к тем преступным лжецам, в чьих грязных руках находится до поры до времени судьба порядочных людей».

С болью и гневом пишет Джонстон не только о реакционных правителях Англии, но и о закабалении своей родины незваными пришельцами из-за океана, которые стали подлинными хозяевами Великобритании. «Финансовая политика Англии диктуется американцем Гарриманом; международная политика — другим американцем, Спосффордом; перевооружаться ей приказывает третий американец — Херод; английскими солдатами в Азии командует четвёртый американец — Риджуэй; английскими солдатами в Европе — пятый американец с немецкой фамилией Эйзенхауэр. И, нако-

нец, венцом всех унижений для островного народа с тысячелетней мореходной традицией является то, что его «привыкший к победам» флот должен получать приказы от некоего адмирала Уолл-стрита, немца по происхождению, Фехтлера».

Вспоминая свои юношеские годы, Арчибальд Джонстон пишет, что типичное английское воспитание, которое он получил, тщательно изгоняет всякое проявление глубоких чувств и запрещает выказывать интерес к политике. Надо признать, что автор преодолел особенности ханжеского мещанского воспитания, имеющего целью превратить великий английский народ в скопище замороженных субъектов с непомерно развитым рефлексом подчинения. «Во имя мира» — страстная взволнованная книга, продиктованная глубоким чувством гнева против поджигателей войны и проникнутая пылким убеждением в том, что мир должен победить и победит войну.

Кое-что из того, что пишет Джонстон, представляется столь общеизвестным (например, положение семьи в СССР, популярность наших первомайских праздников, значение великих строек и др.), что может возникнуть вопрос, для чего автор так подробно говорит о столь бесспорных вещах. Но Джонстон обращается не только к советскому читателю. Адрес его книги шире. Он и сам подчёркивает это:

«...В этой книге я обращаюсь одновременно к двум категориям читателей: к читателям, живущим в социалистическом мире, и к тем, кто находится в мире капиталистическом. И вопросы, о которых советскому читателю и упоминать незачем, приходится подчёркивать для этой второй категории читателей, живущих в атмосфере постоянного утаивания, искажения и фальсификации правды, с чем им приходится бороться».

Вот против этого-то и борется честная и горячая книга Джонстона. Она борется за мир, борется действительно, изобретательно, многообразно, то возбуждая эмоции, то обогащая сведениями, то убеждая неопровержимой логикой фактов.

Вот уж, кажется, автор исчерпал все аргументы. Но в самом конце книги, на последней её странице, он находит ещё один довод — личный, душевный, обращённый всё к тому же западному читателю, психологию которого Джонстон так хорошо знает, довод, проникнутый особым, присущим Джонстону интимным, добродушным и вместе язвительным юмором:

«Может быть, это нарушит ход нашей беседы, но я хочу рассказать вам, что делает жизнь особенно ценной для меня лично. Вероятно благодаря моей профессии, я всегда стремился, как я уже говорил раньше, быть непосредственным свидетелем крупных исторических событий. Так вот, теперь я особенно хочу прожить ещё хоть двадцать лет, чтобы посмотреть, как человечество сумеет использовать свою вновь обретенную способность влиять на ход истории и на собственную судьбу, как, например, Советский Союз будет намечать и претворять в жизнь всё более грандиозные проекты, по сравнению с которыми его нынешние гигантские стройки покажутся просто маленькими. Тогда я смогу умереть счастливым. А пока я сделаю всё возможное, чтобы помешать Эйзенхауэру, Макартуру, Риджуэю или ещё кому-нибудь укоротить мою жизнь. Прошу Вас, сделайте и Вы то же для себя».

Талантливая правдивая книга Арчибальда Джонстона является ценным вкладом в благородное дело всечеловеческой борьбы за мир.

Л. СЛАВИН.



Растительный мир Советского Союза

За исследования, опубликованные в томах XIV—XVII многотомного издания «Флора СССР», трём советским учёным — члену-корреспонденту Академии наук СССР Б. К. Шишкину, доктору биологических наук А. И. Поярковой и доктору биологических наук С. В. Юзепчуку — присуждена в этом году Сталинская премия.

«Флора СССР» представляет собой капитальнейшую работу, в которой дано описание всех видов высших растений, встречающихся на территории нашей необъятной родины. По широте охвата и по тщательной детализации каждого вида, по высокому научно-теоретическому уровню систематизации материала подобного издания мировая ботаническая литература не знает.

Появление первого тома «Флоры СССР» относится к 1934 году. С тех пор вышло в свет 17 томов. До завершения всей работы остаётся издать всего лишь три тома.

Идейным зачинателем и душой этого грандиозного дела, его руководителем и первым главным редактором был покойный президент Академии наук СССР Владимир Леонтьевич Комаров.

В своём предисловии к изданию «Флоры СССР» В. Л. Комаров писал, что современная деятельность хозяйственных организаций и запросы промышленности требуют от руководителей «хорошего знакомства с дикорастущими растениями, умения в них разбираться, различать нужные от ненужных, знания их местобитаний и местонахождений... мы постоянно натываемся, — отмечал далее учёный, — на острую необходимость выяснения состава окружающего нас растительного мира. Фонды растительного сырья не только не исчерпаны, но часто ещё и не намечены».

В 1932 году Иван Владимирович Мичурин, узнав о подготовке большого коллективного труда о флоре СССР, писал: «С живейшим удовольствием встречаю на-

мерение к изданию ботанического описания флоры, растущей на всей территории нашего Союза Республик. Эта нужда давно назрела у нас, крайне стесняя каждую работу во всякой осмысленной культуре растений. Надо удивляться, как это такой пробел до сих пор удержался у наших «ботанических светил науки».

Действительно, со второй половины XIX века не делалось подобной попытки. Первая и последняя «Русская флора» Ледебера была издана на латинском языке в 1842—1853 годах. В ней было описано свыше шести с половиной тысяч видов растений, не считая разновидностей, произраставших на территории европейской и азиатской (главным образом в Сибири) частях нашей страны. Описана была и растительность Аляски, принадлежавшей тогда России.

В дальнейшем подобного рода работ не появлялось. Отсутствие «монументальной флоры» учёные пытались заменить изданиями, посвящёнными преимущественно «местной флоре».

Однако эти издания не всегда охватывали всю растительность описываемой зоны и тем более не могли представлять собой действительного отображения растительных богатств нашей страны в целом.

К настоящему времени количество видов растений на территории СССР составляет почтенную цифру — около двадцати тысяч, и все они нашли своё отражение во «Флоре СССР». Для каждого из этих видов приводятся его особенности, данные о месте произрастания.

В отличие от зарубежных изданий подобного типа авторы «Флоры СССР» особое внимание уделяют описанию полезных свойств растений и их хозяйственного значения. Наряду с рассмотрением дикорастущих даётся также характеристика растений, культивируемых в СССР.

Известно, что академик В. Л. Комаров внёс большой вклад в науку, разработав «Учение о виде растений», за что и был удостоен Сталинской премии. Прогрессивные стороны его учения были положены коллективом научных сотрудников Ботанического института Академии наук СССР в основу работы над рецензируемым изданием.

«Флора СССР» (томы XIV—XVII). Начато при руководстве и под главной редакцией академика В. Л. Комарова. Редакторы томов XIV—XV Б. К. Шишкин и Е. Г. Бобров, редактор томов XVI—XVII Б. К. Шишкин. Ботанический институт имени В. Л. Комарова АН СССР. Издательство Академии наук СССР, М.—Л. 1949—1951.

Те или иные виды в пределах рода или подрода авторы «Флоры СССР» стремились расположить в так называемые «ряды», если удавалось установить их «кровную» близость.

Все описываемые растения благодаря имеющимся в издании «ключам» легко опеределаются со стороны семейств, родов и видов. С помощью этих ключей самый широкий круг людей, имеющих то или иное отношение к отечественной флоре,— агрономы, педагоги, медики, работники опытных станций — могут свободно пользоваться «Флорой СССР».

Как ни богат был Ботанический институт Академии наук СССР высококвалифицированными работниками по систематизации растений, В. Л. Комаров при работе над составлением «Флоры СССР» придерживался принципа «всенародности». Им были привлечены все крупнейшие ботаники-флористы нашей страны. Только подобная широкая мобилизация научных сил и позволила успешно осуществить столь грандиозное начинание в сравнительно короткий срок.

В XIV—XVII томах «Флоры СССР», вышедших в 1949—1951 годах, даётся описание свыше пятидесяти семейств цветковых растений, обнимающих около двух тысяч видов, причём свыше десяти процентов из них не были известны науке и лишь недавно открыты.

В составе описанных семейств имеются такие важные в практическом отношении, как бересклетовые, к которым принадле-

жит наш основной отечественный гуттаперченос — бересклет бородавчатый, и ряд других гуттонсовых и декоративных видов, а также актинидиевые, которыми, как замечательными плодоягодными растениями, так интересовался И. В. Мичурин.

В упомянутых томах содержится описание семейств молочайных, льновых, крушиновых, кленовых, виноградных, мальвовых, липовых, фиалковых, гранатовых и других, представители которых являются превосходными плодово-ягодными, дубильными, эфирно-масличными, лекарственными и декоративными растениями. К описанному в XVI томе семейству аралиевых относится знаменитый «корень жизни» — жень-шень, лекарственное значение которого исключительно велико. В XVI и XVII томах приведено полное описание всех видов, обитающих на территории СССР, из обширного семейства зонтичных. Многие представители этого семейства являются важными пищевыми, эфирно-масличными, кормовыми, смолоносными растениями, а часть видов, как, например, цикута, относятся к весьма ядовитым.

Наряду с описаниями многих практически важных для народного хозяйства растений в указанных томах «Флоры СССР» разработана новая система для ряда семейств, освещающая их происхождение. Это является весьма существенным теоретическим вкладом в конкретную разработку основ эволюционной системы цветковых растений.

Академик Н. Цицин.

★

Умение видеть

Географ-путешественник должен уметь не только видеть, но и передать виденное. Нелегко создать у широкой массы читателей представления о сложных явлениях природы, сделать доступными результаты научных исследований. Ещё труднее заинтересовать ими детей. Для этого требуются не только большие специальные знания, но и литературное мастерство.

Этими качествами несомненно обладает Ю. К. Ефремов — автор книги «Курильское

ожерелье», выпущенной Детгизом в серии «Наша родина».

От Камчатки до Японии протянулась гряда Курильских островов. Сюда, в этот далёкий уголок нашей страны, был направлен весной 1946 года автор рецензируемой книги. Это случилось вскоре после освобождения Курил — исконно русских земель — из-под японского владычества. В задачу Ю. К. Ефремова входило восстановить на карте старые русские и айньские названия и увековечить в новых названиях имена первых русских исследователей и

Ю. К. Ефремов. «Курильское ожерелье». Ответственный редактор В. Касименно. Детгиз, М.—Л. 1951.

¹ Айны — коренные жители Курильских островов и Сахалина.

героев-освободителей Сахалина и Курил. Попутно он должен был уточнить некоторые вопросы, связанные с географией островов. Это было почётной, благородной и увлекательной задачей.

Подлинным патриотизмом, гордостью за свой народ пронизана вся книга.

Автор пересекает в поезде, идущем от Москвы до Владивостока, «полтора материка». «Невольно поражаешься,— замечает он,— огромности труда, вложенного нашим народом в сооружение этой дороги». И тотчас «мысли о другом, ещё более удивительном подвиге приходят в голову. Нелегко было построить дорогу! А каково было пройти этот край вообще без дорог, по тайге и по рекам, через болота и горы...»

Ю. К. Ефремов бережно раскрывает перед нами героические страницы далёкого прошлого — освоения Курил русскими людьми.

Чувство восхищения подвигами русских моряков возникает у читателя, когда он знакомится с описанием грозных течений в проливах — «переливах» островов. Просто и вместе с тем ярко рассказывает автор о повседневном героизме рыбаков в главе «Курильские Одиссеи». С большой болью говорит он — советский человек, воспитанный на принципах сталинской национальной политики, — об уничтожении айнов японцами. Возмущением и гневом полны строки, повествующие о хозяйничании самураев и варварском уничтожении ими военнопленных.

Разнообразен и обширен познавательный материал, приводимый в книге. Здесь и история географической науки, и вопросы геологии и геоморфологии — происхождение очерченного «циркулем великана» (так называется одна из глав) тихоокеанского вулканического «огненного кольца» и «подводных Гималаев», наблюдения «в действующих кратерах», образование «долины загадочных озёр» и «утонувших рек», «горячего и бомбового пляжа», «пемзового берега» и «золотых гор». Автор описывает богатства морей и рек. Вот тигрица подводных джунглей — акула, «музыкальные тюлени», таинственный ход лососевых, хищные торпеды — касатки, секреты «крабоделия».

Интересно раскрывается чудесная техника аэрототосъёмки в главе «Географические открытия и закрытия». Автор знако-

мит читателей с особенностями аэроснимков. Изучая вместе с участниками другой географической экспедиции «стереоскопическую пару» снимков, автор обнаружил, что на них были видны заливы и озёра, отсутствовавшие на детальной японской карте. По соседству с вулканом Ивана Грозного он увидел огромный вулканический конус; на карте его не было. Так был открыт новый вулкан Ермака.

Но увлекательнейшие картины живописной курильской природы нигде не заслоняют живых людей: рыбаков, моряков, строителей, шофёров. С большой теплотой и любовью рассказывает автор о курильских новосёлах — переселенцах из различных местностей нашей страны. Они пришли на далёкие суровые острова, чтобы освоить этот край, поставить на службу Родине его богатства.

«Курильское ожерелье» — не учебное пособие. И при отборе материала и при его организации автор следовал лишь живым впечатлениям исследователя. Но это не уменьшает познавательной ценности книги. Множество полезных сведений, фактов, картин хорошо запомнятся юному читателю именно потому, что они не втиснуты в рамки надуманных дидактических сюжетов. Всё пережито и прочувствовано автором. Зорким, жадным глазом географа, не чуждого поэзии, наблюдал он жизнь Курил. Книгу вызвала к жизни потребность автора передать приобретённые им сведения другим.

Ю. К. Ефремов делится с юными читателями и своим многолетним опытом географа-исследователя и туриста. Понятными становятся особенности работы географа в поле, законы этой работы. Много ценных сведений почерпнёт будущий путешественник из книги «Курильское ожерелье».

Автор владеет трудным мастерством просто и ярко рассказывать о самых сложных научных проблемах. Богатство и образность языка, запоминающиеся метафоры и сравнения оживляют, делают осязаемыми и доступными казалось бы скучные, специальные вопросы. Вот, например, как передаётся характер и рисуется происхождение владивостокского побережья:

«Ясно видно, что край материка здесь некогда опустился и зачерпнул в свои долины воды океана. Море вторглось в глубину окраин Азии по горным падам на

десятки километров, заглянув при этом в каждую лошину — приток. Отсюда — несчётные изгибы берегов, укрытые бухты, игрушечные островки».

Живой диалог органично вплетается в рассказ, облегчая чтение. Удаётся автору и пересказ «с чужих слов». В этом отношении показателен заключительный раздел «Извержение вулкана Сарычева». Трудно поверить, что автор не был его свидетелем — столь ярко переданы переживания и волнения жителей острова Матуа, картина самого извержения.

Юные читатели — любители романтики. Ею насыщены эпизоды путешествия по Курилам, напряжённые трудовые будни исследователя. Это не погоня за «приключенчеством». В главе «О приключениях» автор доказывает, что они вовсе не обязательны во время путешествий. «Хорошо организованная экспедиция должна протекать без приключений». И с каким юмором излагает дальше он свою своё «приключенье», происшедшее по его небрежности, когда он «едва не был повешен на берёзовом суку... собственной лошастью».

Мягкий юмор вкраплен во многие страницы книги. Нельзя без улыбки читать, на-

пример, рассказ «Мученики бамбучника». Много и хорошо смеются ребята, читая эту умную книжку. Легко, с большим интересом читается она и взрослыми.

Но надо отметить и её недостатки. Стремление к яркости и занимательности приводит иногда к стилистическим ухищрениям, манерности, злоупотреблению восклицательными знаками. Встречаются, например, такие выражения: «громоздятся вулканические громады», массивы бамбука, «колышущиеся как только что выколосившаяся нива». Более тщательная работа редактора легко могла бы избавить от них хорошую книгу.

На последней странице автор сообщает о том, что он с волнением читает о дальнейших успехах освоения Курильской гряды. Почему бы и читателю не узнать что-либо о Курилах после 1946 года? Наверно, могли бы написать об этом автору и спутник его по «джунглям Итурупа» — Антипенко, и энтузиастка из «Бухты Софии» — Лидия. Это обогатило бы заключительную главу книги.

Кандидат географических наук
Е. ЛУКАШОВА.

★

Биолог-материалист

Русские биологи и медики первой половины XIX века, развивая материалистические традиции своих предшественников, подготовили почву для последующих крупнейших открытий в науке о живой природе. Однако многие из деятелей этого периода замалчивались бужуазными историками и только сейчас их заслуги получают должное освещение в трудах советских исследователей.

Книга С. Микулинского рассказывает об одном из забытых русских естествоиспытателей, враче-материалисте Иустине Евдокимовиче Дядьковском. Глубокое проникновение в специальные вопросы биологии и медицины неразрывно сочеталось в его научном творчестве с философскими обобщениями.

С. Р. Микулинский. «И. Е. Дядьковский (1784—1841). Мироззрение и общеприродные взгляды». Под редакцией действительного члена Академии наук Грузинской ССР Л. Ш. Давиташвили. Издание Московского общества испытателей природы, М. 1951.

К достоинствам работы С. Микулинского следует отнести то, что мироззрение Дядьковского рассматривается в ней не изолированно, а в органической связи с общественной жизнью, социальной и идейной борьбой того времени. В книге хорошо показаны национальные особенности передового русского естествознания — его боевой дух, его демократичность, глубокая связь с передовой философской мыслью, решительная борьба против устаревших учений и догм.

Дядьковский родился в 1784 году в селе Дядьково, расположенном неподалёку от Рязани.

Выходец из неимущей среды, он огромным напряжением сил и воли пробивал себе дорогу в науку.

В 1816 году Дядьковский защитил диссертацию «Рассуждение об образе действия лекарств на человеческое тело», являющуюся замечательным памятником пылливой русской творческой мысли.

Уже в этой диссертации, посвящённой

разработке теоретических основ медицины, он резко выступил против идеалистической философии и кровно родственного ей реакционного течения в биологии и медицине — витализма.

Руководя кафедрой патологии и терапии, Дядьковский завоевал любовь и уважение студентов. Это приводило в бешенство его недругов — профессоров-иностранцев. Они не остановились перед тем, чтобы обвинить Дядьковского в подстрекательстве студентов к бунту.

В 1831 году, после смерти профессора М. Я. Мудрова, Дядьковский был назначен профессором Московского университета. Здесь он продолжал развивать свои материалистические и атеистические идеи.

С первых же шагов своей научной деятельности Дядьковский выработал для себя правило, которого твёрдо придерживался всю жизнь: «Не признавать ничего умоположения за истину, иначе как только убедившись в истинности его верностью и логического, и нравственного, и физического его употребления». Он призывал русских учёных к «благородной национальной гордости, той высокой патристической любви», которая, как он говорил, необходима для расцвета науки и культуры, призывал «свергнуть с себя ярмо подражания».

Этот призыв учёного был тем более важен, что он прозвучал в тот период, когда русские реакционные круги восприняли идеалистическую философию Шеллинга (по которой в основе развития природы лежит некая духовная сила — «абсолют») и воспользовались ею для борьбы с революционной идеологией декабристов. Это дало повод некоторым историкографам считать, что научно-философская мысль в России начала XIX века находилась якобы под влиянием шеллингианства.

С. Микулинский показывает, что шеллингианство в России встретило серьёзный оппор со стороны передовых учёных.

Дядьковский характеризует учение Шеллинга «не только бесполезным, но и вредным». Он высмеивал лженаучные представления о «направляющем духе», «жизненной силе», «жизненном начале». В своих работах русский учёный последовательно отстаивал идею о том, что в основе всех явлений природы лежит движение материи.

Мысли Дядьковского, высказанные им в начале XIX века, поражают своей силой и глубиной. Так, например, он пишет, что «...первый источник, из которого должно почерпнуть объяснение всех тайн природы, должно искать не в силе или в каком-либо особенном начале, которое доселе старались отыскать и которое теперь можно ствергнуть как бесполезное произведение вымысла; но только в материи, как безусловной причине явлений».

Материалистическое мировоззрение позволило Дядьковскому проникнуть в тайны живого организма и своими исследованиями вписать славную страницу в историю русской биологии.

Дядьковский определял жизнь как непрерывный процесс взаимодействия организма с окружающей средой. Он горячо отстаивал положение о том, что «взаимное и непрерывное действие исчисленных сил тела человеческого, т. е. внешних на внутренние и внутренних на внешние, составляет жизнь его». «Без этого взаимного действия сил, — писал Дядьковский, — жизнь тела человеческого нельзя даже представить».

Признавая единство органической и неорганической природы, Дядьковский в то же время подчёркивал особенности, присущие живым организмам. «Первым основанием бытия» он считал специфический (биологический. — *И. П.*) обмен веществ — способность организмов воспринимать посторонние вещества и «уподоблять их себе».

Он утверждал, что живое тело никогда не остаётся неизменным, — наоборот, оно постоянно изменяется и обновляется.

Так же последовательно боролся Дядьковский за материалистическое понимание целостности организма. Он представлял организм как строго координированную систему, где все процессы находятся в тесной взаимозависимости между собой. Однако Дядьковский не ограничился только утверждением этого важнейшего биологического принципа. Он вскрыл сущность взаимодействия функций организма, показав ведущую роль в нём нервной системы. «Нервная система управляет всеми подлежащими ей системами, органами и частями», — писал он. С этих позиций учёный подходил и к пониманию сущности патологических процессов.

Общебиологические воззрения Дядьковского были передовыми не только для его времени, но не утратили своего значения и для последующего развития биологической науки и медицины.

Более чем за полвека до появления теории Дарвина Дядьковский выдвинул идею изменчивости видов растений и животных под влиянием климата, пищи и образа жизни.

Природа — не результат мгновенного «творческого акта», утверждал Дядьковский в противовес суждению подавляющего большинства биологов того времени. В соответствии со своими естественно-научными и философскими взглядами Дядьковский выступал как убеждённый атеист.

Опираясь на архивные источники, С. Микулинский показал тернистый путь смелого русского учёного, подвергшегося преследованию за свои материалистические убеждения.

В 1834 году министр просвещения С. Уваров дал указание отстранить Дядьковского от преподавания в университете. Но реакции не удалось заглушить смелый голос учёного и помешать распространению его взглядов.

Дядьковского хорошо знали Беличский и Герцен. С ним были близко знакомы Гоголь, Лермонтов, Шепкин, Мочалов и другие выдающиеся деятели русской литературы и искусства.

Анализируя отношения Дядьковского и Белинского, знакомство которых началось в 1831 года, С. Микулинский высказывает весьма интересное предположение о возможности идейного влияния Дядьковского на молодого Белинского ещё до вступления последнего в кружок Станкевича.

Герцен в одном из своих произведений (написанном после смерти Дядьковского) противопоставлял его идеи религиозно-мистическому направлению в науке начала XIX века. Это, как справедливо указывает автор рецензируемой книги, несомненно свидетельствует о близком знакомстве Герцена со взглядами Дядьковского, который был учителем и наставником Кетчера и Пассека — друзей молодости Герцена.

Специальная глава книги посвящена влиянию Дядьковского на последующее поколение русских учёных — медиков и биологов. Дядьковский сумел сгруппировать вокруг себя учеников и последователей. В частности, автор отмечает влияние Дядьковского на крупного учёного И. Т. Глебова, анатома и физиолога, университетского учителя Сеченова. В книге показана также роль Дядьковского в развитии научных взглядов физиолога-медика К. В. Лебедева, замечательного натуралиста М. А. Максимовича и выдающегося русского эволюциониста К. Ф. Рулье.

Особое внимание привлекают страницы, посвящённые Глебову и Максимовичу, где впервые освещены истоки их научного творчества. К сожалению, автор слишком коротко останавливается на вопросе о связи творчества Рулье с идеями Дядьковского.

Анализируя деятельность учеников Дядьковского, автор подчёркивает, что в лице их учителя русская наука имела активного, энергичного борца, сумевшего сгруппировать вокруг себя многих научных сторонников.

Всё же круг единомышленников Дядьковского представлен в книге недостаточно. Не упомянута, например, борьба против шеллингианства видного профессора Московского университета химика А. А. Иовского, всего несколько слов сказано о борьбе за материализм в науке крупного русского математика, профессора Харьковского университета Т. Ф. Осиповского.

Хотелось бы, чтобы более тщательно были прослежены связи Дядьковского с Герценом и, в особенности, с Белинским.

Язык книги ясный, чёткий; читается она легко и с интересом. Тем более досадно, когда местами наталкиваешься на чрезмерно длинные и тяжёлые обороты речи.

Автор снабдил книгу солидным списком научных трудов; однако в тексте иногда приводятся существенно важные материалы без точного указания источников.

Кандидат биологических наук
И. ПОЛЯКОВ.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Апрель — май 1952 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Б. Бекназар-Юзбашев. Борьба народов за Пакт мира. 64 стр. Цена 60 к.

А. Болгов. О произведении И. В. Сталина «К вопросам аграрной политики в СССР». 36 стр. Цена 40 к.

Г. Н. Евстафьев. Социалистическое соревнование — закономерность и движущая сила экономического развития советского общества. 344 стр. Цена 5 р. 10 к.

В. Иганов и Ю. Тодорский. На страже советского закона. 64 стр. Цена 60 к.

Н. П. Огарёв. Избранные социально-политические и философские произведения. Том первый. 564 стр. Цена 12 р. 15 к.

О Государственном бюджете РСФСР на 1952 год. Доклад и заключительное слово министра финансов РСФСР депутата И. И. Фадеева на второй сессии Верховного Совета РСФСР 26 и 28 марта 1952 г. — Закон о Государственном бюджете РСФСР на 1952 г. 36 стр. Цена 40 к.

П. И. Питаевский. Планирование местного хозяйства и культурного строительства административного района. 344 стр. Цена 6 р. 80 к.

Н. Саморуков. Первое Мая — день международной солидарности трудящихся. 43 стр. Цена 40 к.

Третья Всесоюзная конференция сторонников мира. Москва, 27—29 ноября 1951 г. 216 стр. Цена 4 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Борисов. Подвиг Севастополя. Документальная повесть. 354 стр. Цена 6 р. 50 к.

И. Гринберг. Николай Тихонов. Очерк жизни и творчества. 280 стр. Цена 6 р. 65 к.

Стефан Зорьян. Повести и рассказы. Авторизованный перевод с армянского. 308 стр. Цена 6 р.

Ион Канна. Утро над Днестром. Авторизованный перевод с молдавского Ф. Гарина. 228 стр. Цена 4 р. 30 к.

Ю. Лукин. Михаил Шолохов. Критико-биографический очерк. 172 стр. Цена 2 р. 50 к.

Л. Ленч. Юмористические рассказы. 120 стр. Цена 5 р. 50 к.

Маро Маркарян. Голос матери. Стихи. Авторизованный перевод с армянского. 120 стр. Цена 2 р.

И. Метгер. Товарищи. Повесть и рассказы. 198 стр. Цена 4 р.

И. Муратов. Буковинская повесть. Авторизованный перевод с украинского Л. Шапиро. 192 стр. Цена 3 р. 75 к.

И. Эрекбулуг. За мир! 408 стр. Цена 6 р. 65 к.

Александр Яшин. Советский человек. Стихи. 152 стр. Цена 2 р. 70 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

А. К. Виноградов. Осуждение Паганини. Роман. 348 стр. Цена 6 р. 75 к.

Н. В. Гголь. Мёртвые души. Поэма. (Иллюстрации П. Боклевского). 363 стр. Цена 21 р. 60 к.

С. В. Иванов. М. Ю. Лермонтов. 91 стр. Цена 1 р. 35 к.

А. А. Караваева. Лесозавод. Роман. 240 стр. Цена 4 р. 30 к.

Готфрид Келлер. Новеллы. Перевод с немецкого. 420 стр. Цена 9 р. 90 к.

В. А. Луговской. Стихотворения. 292 стр. Цена 7 р. 95 к.

Альфред де Мюссе. Избранные произведения. Перевод с французского. 708 стр. Цена 11 р. 50 к.

Шандор Петефи. Собрание сочинений в четырёх томах. Перевод с венгерского. Том 2. Стихотворения 1847—1849. 496 стр. Цена 10 р.

Рассказы советских писателей. В трёх томах. Том 1. 708 стр. Цена 12 р.

А. С. Серафимович. Город в степи. (Библиотека русского романа). 216 стр. Цена 4 р. 50 к.

Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. (Юбилейное издание 1828—1928). Том 30. Статьи и высказывания об искусстве. 1832—1898. 608 стр. Цена 18 р.

Д. А. Фурманов. Сочинения в трёх томах. Том третий. Повести, рассказы, очерки, статьи, литературные заметки. 280 стр. Цена 8 р.

Юлиус Фучик. Слово перед казнью. Перевод с чешского. 95 стр. Цена 1 р. 10 к.

Степан Шаулян. Литературно-критические статьи. 91 стр. Цена 1 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Михаил Алексеев. Солдаты. Роман. 380 стр. Цена 8 р. 25 к.

Олесь Гончар. Повести и рассказы. Авторизованный перевод Льва Шапира. 408 стр. Цена 7 р. 65 к.

С. Залыгин. На большую землю. 184 стр. Цена 3 р. 10 к.

В. Корчагина. Школьный сад. 144 стр. Цена 4 р. 50 к.

Шарль де Костер. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах. Перевод с французского А. Горифельда. 480 стр. Цена 10 р. 10 к.

Б. Лукьянов и В. Латов. У них нет детства. 151 стр. Цена 4 р. 35 к.

Пионерский лагерь. Сборник. 264 стр. Цена 7 р. 10 к.

Справочник комсомольского пропагандиста. 416 стр. Цена 4 р. 75 к.

Н. Студенецкий. Игры в пионерском отряде. 144 стр. Цена 2 р. 60 к.

Дм. Холендро. Горы в цвету. Роман. 488 стр. Цена 9 р. 30 к.

Маризтта Шагинян. Путешествие по Советской Армении. 360 стр. Цена 11 р. 75 к.

ДЕТГИЗ

А. Алексин. Отряд шагает в ногу. Повесть. 192 стр. Цена 4 р. 30 к.

И. Арамилев. На охотничьей тропе. 144 стр. Цена 3 р. 25 к.

И. Василенко. Повести и рассказы. 576 стр. Цена 11 р. 25 к.

Е. Воробьёв. Нет ничего дороже. Рассказы. 256 стр. Цена 6 р. 40 к.

Е. Долматовский. Стихи и песни. 160 стр. Цена 2 р. 15 к.

Н. Дубов. На краю земли. 240 стр. Цена 4 р. 75 к.

А. Кардашова. Мальчик Роб. Стихи. 32 стр. Цена 1 р. 30 к.

Б. Любимов. Прикамские встречи. 222 стр. Цена 5 р. 65 к.

К. Меркулева. Встречи в степи. 84 стр. Цена 3 р. 20 к.

Б. Могилевский. Пирогов. 296 стр. Цена 7 р. 25 к.

И. Новиков. Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. 192 стр. Цена 4 р.

Новинки детской литературы. 40 стр. Цена 36 к.

Приключения Одиссея. Прозаический пересказ Е. Гудоровской. 163 стр. Цена 4 р. 60 к.

Б. Прилежаева-Барская. Как жили наши предки-славяне. 76 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Саянов. Ленин в Горках. Юэма. 24 стр. Цена 2 р. 60 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

П. Жилин, А. Ярославцев. Бородинское сражение. 100 стр. Цена 1 р. 50 к.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. А. Сергеев. Оборона Петропавловска-на-Камчатке. 95 стр. Цена 1 р. 45 к.

ГЕОГРАФИЗ

Н. Г. Гарин. Из дневников кругосветного путешествия. 446 стр. Цена 11 р.

Б. В. Юсов. Тибет. 78 стр. Цена 1 р. 65 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

Библиотека самообразования. Круг чтения (Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина). Выпуск I, книга первая. Что читать по истории ВКП(б). История СССР. История зарубежных стран. 293 стр. Цена 7 р. 80 к.

А. В. Кармишин. Ветер и ветродвигатель. 78 стр. Цена 1 р. 60 к.

О. Б. Лепшинская. Клетка, её жизнь и происхождение. 62 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. К. Морозова. Великие стройки коммунизма. (В помощь лектору). 38 стр. Цена 70 к.

В. И. Прокофьев. Великие русские учёные в борьбе с религиозными предрассудками. (В помощь лектору). 64 стр. Цена 1 р. 50 к.

Р. М. Савицкая. Основные издания В. И. Ленина в СССР. 40 стр. Цена 1 р. 10 к.

Мир против войны. (Библиотечка «Художественная самодеятельность»). 72 стр. Цена 90 к.

Ю. П. Фролов. Органы чувств. 102 стр. Цена 1 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия. Сборник статей. 374 стр. Цена 20 р. 65 к.

Лев Семёнович Берг. 145 стр. Цена 3 р. 25 к.

А. И. Воейков. Избранные сочинения. Том III. 502 стр. Цена 29 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вилли Бредель. Эрнст Тельман. Политическая биография. С предисловием Вильгельма Пика и речью, посвящённой памяти Эрнста Тельмана, произнесённой Вальтером Ульбрихтом 18 августа 1949 г. Перевод с немецкого. 207 стр. Цена 4 р. 90 к.

Т. Данишевский. Первое Мая в Польше. Перевод с польского. 247 стр. Цена 9 р. 40 к.

За мир и демократию в Греции. Третья голубая книга. Об англо-американской интервенции, о монархо-фашистском режиме, об освободительной борьбе греческого народа. Издана демократическими организациями Греции. Перевод с английского. 223 стр. Цена 7 р. 60 к.

М. Питхавалла. Пакистан. Географический очерк. Перевод с английского. 132 стр. Цена 7 р. 80 к.

МЕДГИЗ

В. Ф. Здрасин. Большой с пороком сердца 244 стр. Цена 8 р. 50 к.

О. Д. Соколова-Пономарёва, В. П. Бисьярина. Краткий рецентурный справочник детского врача. 256 стр. Цена 7 р. 10 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Н. Некрасов. Избранные произведения. 490 стр. Цена 7 р. 15 к.

Г. Пухов. Вопросы методики проведения занятий в кружках по изучению истории ВКП(б). 97 стр. Цена 1 р. 35 к.

К. Струганов. Техническое оформление газеты. 83 стр. Цена 1 р. 5 к.

МУЗГИЗ

Д. Аспелунд. Развитие певца и его голоса. 180 стр. Цена 7 р. 90 к.

«Русалка» **А. Даргомыжского.** Либретто. 64 стр. Цена 1 р. 15 к.

ПРОФИЗДАТ

М. Басин. Сады рабочих и служащих. 96 стр. Цена 1 р. 70 к.

Дворец науки. Рассказы строителей нового здания Московского государственного университета. 136 стр. Цена 3 р. 80 к.

Мастера чёрного золота. 136 стр. Цена 2 р. 15 к.

ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Большая сила. Очерки о знатных колхозницах Воронежской области. 148 стр. Цена 1 р. 40 к.

Михаил Булавин. Боевой девятнадцатый. Роман. 2-е дополненное издание. 356 стр. Цена 7 р. 50 к.

КРЫМИЗДАТ

Я. Иосселиани. Записки подводника. 260 стр. Цена 8 р.

В. Кулеми. На вахте мира. Очерк о строителях Севастополя. 28 стр. Цена 40 к.

ЛАТВИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Жан Грива. По ту сторону Пиренеев. 256 стр. Цена 6 р. 10 к.

Я. Райнис. Стихи для детей. 88 стр. Цена 4 р. 60 к.

Советская Латвия. Литературно-художественный альманах Союза советских писателей Латвии. 424 стр. Цена 21 р.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Волков. Наше родное. Роман. 296 стр. Цена 6 р. 45 к.

УЗБЕКСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Георгий Павлов. По Сыр-Дарье. 252 стр. Цена 7 р. 60 к.

Е. С. Чхотуа, М. Р. Худайбердиев. Культура цитрусовых в Узбекистане. 76 стр. Цена 3 р.

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

К. В. Боголюбов. Певец Урала. Повесть. 186 стр. Цена 5 р.

Т. И. Леонова. Дома оставались жёны. Повесть. 174 стр. Цена 6 р. 85 к.

Люди сталинской Магнитки. Стихи, очерки. 310 стр. Цена 10 р. 20 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва 8, Пушкинская площадь 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-06-96

Сдано в набор 21/V-52 г. Подписано к печати 10/V-52 г.
А 01055. Формат бумаги 70x103¹/₄. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 130.000. Заказ № 855.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб